

ВИКТОР КОНЕЦКИЙ
ВЧЕРАШНИЕ ЗАБОТЫ

ВИКТОР
КОНЕЦКИЙ

№



5

ВЧЕРАШНИЕ
ЗАБОТЫ





СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1979



ВИКТОР
КОНЕЦКИЙ

ВЧЕРАШНИЕ
ЗАБОТЫ

(Путевые дневники и повесть в них)

В 1977 году вышла в свет книга В. Конецкого «За доброй надеждой». В нее вошли уже известные читателю «Соленый лед», «Среди мифов и рифов», «Морские сны». «Вчерашние заботы» — заключительная часть романа-странствия писателя.

ЧЕТЫРЕ СТРАНИЦЫ ОТ АВТОРА

О названии книги. Предполагалось, что назову ее «СЕГОДНЯШНИЕ ЗАБОТЫ». Дело в том, что за двадцать лет до описываемого здесь арктического рейса мне пришлось первый раз капитаном пройти по той же дороге. А за двадцать лет до напечатания этой книги я написал свою первую повесть на арктическом дневниковом материале, назвав ее «Завтрашние заботы», потому что был молод и все еще казалось «в завтра», в будущем. Название последней книги должно было перекликаться с названием первой, но отражать день сегодняшний и меня сегодняшнего.

Работа над рукописью затянулась, и за время работы я уже опять стал каким-то иным и понял, что название «ВЧЕРАШНИЕ ЗАБОТЫ» более соответствует смыслу и ритму написавшегося. И мы, и жизнь изменяемся все стремительнее. А значит, и флот. И главные герои этой книги для сегодняшнего флота в значительной степени рудименты. Уже другие совсем люди сейчас ведут в морях суда. Это не ради красного словца говорю, это правда.

О жанре. Литературные теоретики не способны пока разобраться в том, какими жанрами написаны многие прозаические произведения в последней четверти двадцатого века.

И сами прозаики не знают.

Я определил жанр этой книги как «путевые дневники и повесть в них». С таким же успехом мог бы определить как «путевые повести и дневник в них». Тут, вообще-то говоря, что в лоб, что по лбу. Но мне по ряду причин надо в данном вопросе серьезно застраховаться.

Потому прошу набрать крупно и жирно: **«ВЧЕРАШНИЕ ЗАБОТЫ» ЕСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЕ БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКОЕ**. Ниже я еще много раз буду возвращаться к проблеме жанра и подчеркивать, что в книге нет документальной летописи какого-то определенного арктического рейса на определенном судне, хотя есть описания подлинных событий и встреч с известными на флоте людьми, с литераторами.

Об эпитафиях. Ими я в первую очередь хотел подчеркнуть «производственный» характер книги. Она о труде. Читательская инерция очень сильна. От произведений, написанных на морском материале, традиционно ждут приключенческой романтики. Ее нет. Флот — это производство; каждое судно — огромный движущийся цех, в котором работают инженеры, техники, высококвалифицированные рабочие, то есть мотористы и матросы. Эти люди любят море и свою профессию, но любят ее совсем иначе, нежели еще тридцать лет назад. Моряки стали производственниками в полном смысле этого достаточно неуклюжего слова. И пора настала не ожидать от морских книг развлекательного, приключенческого чтива.

Несколько слов о сложностях писательства для профессиональных моряков.

Великий Данте жил в расцвет парусного мореплавания и глубоко чтит высокое искусство парусного маневрирования.

«Он был учеником этого наиболее уклончивого и пластического спорта — идти против ветра, идя по нему» — так написал Мандельштам. И еще заметил, что Данте не любил прямых ответов и прятался за спину или маску Вергилия.

Понятие «лавировать» в человеческих отношениях имеет налет несимпатичный. Такой же налет имеет «сменить галс», когда дело идет о линии человеческого поведения.

Моряки знают, что в этих понятиях, которые являются синонимами, нет ничего плохого.

Думаю, что нелюбовь Данте к прямым ответам, если она была, никак не может являться следствием его увлечения парусом и вообще мореплаванием. Море требует прямых вопросов и прямых ответов. Способность к быстрым решениям — одно из основных качеств хорошего

судоводителя. Характерным в большинстве случаев на море является еще то, что результат решения, его следствие, бывает наглядным и наступает быстро.

Моряки — плохие философы. Если рефлектирующий Гамлет уйдет в океан, он перестанет мучиться проблемой «быть или не быть».

Может, Гамлет будет слишком ждать возвращения к конкретной земле, чтобы заниматься отвлеченными вопросами? . .

Почему морские рассказы так легко превращаются в «травлю» и так легко забываются? Вероятно, потому, что в «травле» чересчур много выдумки, то есть лжи. А откуда она? Ведь основная штурманская, судоводительская заповедь: «Пиши, что наблюдаешь!» И эта заповедь въедается в морское нутро: никогда не писать в журнал того, чего не наблюдаешь; всегда писать даже то, что кажется невероятным, если это невероятное наблюдается. (Случаи заведомой «липы» не рассматриваются.)

Писание, как и судовождение, тоже серия решений, но процесс медлительный, результат его всегда остается за горизонтом, и о быстрой проверке правильности посылок не может быть и речи, как показывает мне собственный опыт. Необходимость для писательской и морской профессии прямо противоположных черт характера является, может быть, причиной того, что пишут моряки чертовски много, но значительных писателей из этой среды вышло мало.

Однако это не значит, что судно, корабль не культивирует в человеке черт, необходимых художнику. И парус, и железо требуют от экипажа тщательных, аккуратных, монотонных, предусмотрительных забот — иначе всех ждет гибель. Длительные заботы мы способны вынести только в том случае, если привязаны к предмету забот не за страх, а за совесть и любим его взыскательно.

Черты характера людей моря наглядно отразились в облике портовых городов. В сложном искусстве архитектуры, где гармония поверяется не только алгеброй, но и геометрией, дух людей моря проявляется отчетливо. От мачт и рей — строгость ленинградских проспектов и набережных.

Даже высота потолков имеет истоки в судовой архитектуре. Петр, например, был моряком и привык к низ-

ким потолкам кают. На земле ему хотелось или привычно низкого подволока, или очень большой, небесной свободы над головой.

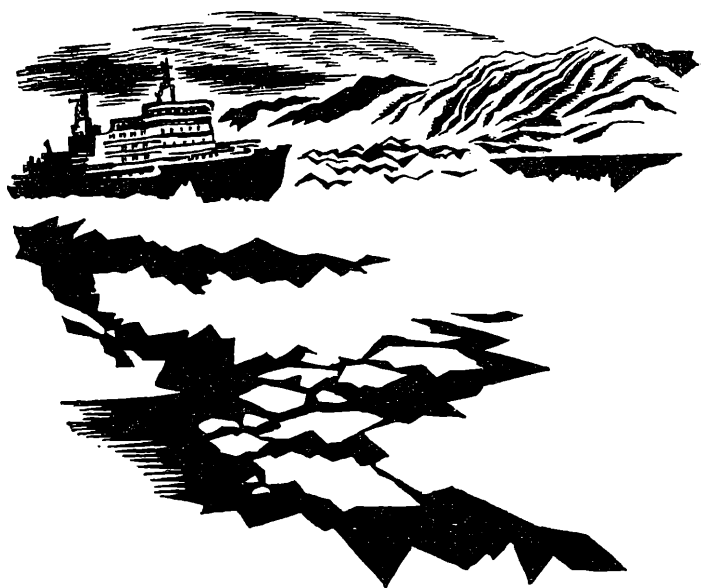
Любое мореплавание — и парусное, и нынешнее — древнейшая профессия и древнейшее искусство. Оно умрет еще не скоро, но оно стареет уже давно. Все стареющие профессии и искусства, как уводимые на переплавку пароходы, хранят в себе нечто приподнимающее наш дух над буднями. Но передать это словами — безнадежная затея. Такая же, как попытка спеть лебединую песню морской профессии, не поэтизируя ее старины, хотя старина эта полна ограниченности и жестокости. Моряк слушает не «голос моря», а шум воды в фановой магистрали своего судна. Судоводитель обязан думать и думает о нормальном, безаварийном возвращении, и эти мысли занимают в его мозгу то место, которое способно философствовать.

Психика же некоторых читателей и критиков устроена так, что поверить в возможность для писателя неписательской, но профессиональной работы на каком-нибудь современном производстве они ни под каким соусом не могут. И если писатель в море работает всю свою жизнь, они все равно считают, что он там путешествует. И сравнивают его писания с «Римом, Неаполем и Флоренцией» Стендаля или «Бродячей жизнью» Мопассана. От такого сравнения бедняге остается один путь — за борт. А кто же в таком случае за утопленника будет вахту стоять?

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Труд моряков относится к категории тяжелого.

«Инструкция по психогигиене для капитанов и старших помощников судов морского флота СССР»



ПО СТАРОЙ ДОРОЖКЕ

18.07.15.00.

Восьмизначные цифры будут обозначать: первые две — сутки, вторые — месяц, третьи — часы, четвертые — минуты. Иногда они будут фиксировать момент события, иногда — момент записи события.

Итак, 18 июля 1975 года в пятнадцать часов ноль-ноль минут я получил предписание на теплоход «Державино».

22 июля надлежало вылететь в порт Мурманск, куда судно шло из Ленинграда вокруг Скандинавии.

Дальнейшая ротация, то есть порядок заходов судна в порты, предполагалась следующая: Мурманск — Певек — Игарка — Мурманск — один из портов ГДР.

Теплоход «Державино» — лесовоз, построен в 1968 году в Раума, Финляндия. Скорость 13,5 узла, район плавания неограниченный, автономность 24 суток, длина 102,27 метра, осадка в грузу 6,00 метров, водоизмещение 5580 тонн, мощность двигателя 2900 индикаторных лошадиных сил.

Мое состояние в момент получения предписания — некоторое недоумение. Около полутора лет я отплавал на Европу и сделал два круга на США. Круг — это когда берешь груз на порты США из европейских портов, а из США — на Европу. И домой, в Ленинград, между кругами не попадаешь.

Беличье колесо.

Но при всем при этом нормальные рейсы. И если бы мне предложили еще такой, то я бы постарался увильнуть. Но увильнуть от невыгодного, тяжелого и нудного плавания в Арктику я не хотел и не стал.

Политическая обстановка на этот момент в мире.

Некоторая оттепель. Заголовки газет: «Рукопожатие в космосе», «Стыковка кораблей «Союз-19» и «Аполлон» осуществлена». Фотомонтаж: вверху американские и наши солдаты встречаются на Эльбе, в середине стыкуются космические корабли, внизу обнялись пять космических братьев.

Но в Лиссабоне дела идут паршиво, положение на Ближнем Востоке, по словам Вальдхайма, «серьезное и продолжающее оставаться опасным».

Хорошо хоть то, что я отправляюсь не на Ближний, а на Дальний Восток...

Положение на спортивной арене. «Овации Ольге Корбут». Студентка из Гродно в блестящей спортивной форме. За нее можно не волноваться.

15.30. Четырехзначные цифры будут в дальнейшем обозначать время внутри очередных суток: первые две — часы, вторые — минуты.

Итак, по-сухопутному говоря, в половине четвертого дня замначальника пароходства по мореплаванию обрисовывает мне арктическую ситуацию.

Я слушаю плохо, ибо боюсь назвать его «Шейхом» — это подпольная кличка Наримана Тахаутдиновича Шайхутдинова. Я же подпольно влюблен в Шейха, но он, увы, влюблен в Омара Хайяма.

— Да-а, уйти в море может и дурак, — задумчиво говорит Нариман Тахаутдинович, разглядывая огромную карту Арктики. — А вот вернуться... тут уж нужен отнюдь не дурак.

— Если я что-нибудь напишу о предстоящем рейсе, то разрешите поставить эти бессмертные слова эпитафией?

— Бога ради! Пожалуйста! — широко дарит эпитафию Шейх.

Под финал разговора узнаю, что нынче особо жестко требуют соблюдать «Положение о назначении в арктические рейсы дублеров капитанов».

На ледоколах этот институт привился давно, а нашему пароходству сложно находить людей. Потому-то, очевидно, и нашли меня.

Суть «Положения» в том, что на мостике во льдах обязательно должен быть капитан. Раньше суда подолгу лежали в дрейфах, их капитаны зачастую сами выбирали оптимальные пути и могли выкроить несколько часов для сна. Нынче техника заставляет находиться в движении во льду практически девяносто процентов рейсового времени, но никакой моряк, даже если он годится для выделки гвоздей, выстоять такое на мостике не в состоянии.

Получив традиционное «Счастливого плавания» и печатную инструкцию, уже иду к порогу. Шейх останавливает:

— Вы с Фомичевым знакомы?

— Нет. Но слышал много.

— Н-да, — загадочно ухмыляется Шейх. — Еретик. И знаменитый драйвер. Вам полезно будет с ним поплавать. Потом расскажете впечатления. Мне для дела надо.

— Есть.

«Драйверами» называли когда-то самых отчаянных капитанов чайных клиперов. Драйверы и в ураганный ветер не спускали парусов и не брали рифов, а когда мачты уже готовы были улететь к чертовой матери, стреляли в парус из пистолета. Дырочку от пули ураганный ветер за десятые доли секунды превращал в огромные дыры, и парус обвисал лохмотьями. А мачты оставались на местах.

Спрашиваю:

— Нариман Тахаутдинович, вы имеете в виду то, что мне предстоит работать с капитаном отчаянного мужества?

— Не только это, — со вздохом говорит Шейх. — Плоховато вы знаете английский, Виктор Викторович. Англичане странная нация. У них одно слово обозначает разом сто пятьдесят смыслов и понятий. Я всегда восхищаюсь такой плюшкинской скупостью великобританцев на слова. И как они книги пишут?.. Н-да, придете домой — посмотрите словарь на «драйвер».

— Есть, Нариман Тахаутдинович!

Дома смотрю англо-русский словарь и прихожу к выводу, что мне предстоит встретиться с достаточно сложным человеком. Ибо слово «драйвер» работает у англичан в диапазоне от «гонщик» и «преследователь» до «надсмотрщик за рабами» и от мирного «кучер» до мрачного «доводящий до отчаяния». На американском сленге «драйв» — продажа товаров по дешевке с целью конкуренции, в горном деле «драйвер» — обыкновенный коногон, в сельском — погонщик скота, в медицинском «ту драйв мед» — сводить с ума. Еще это слово обозначает хозяина-эксплуататора, бизань-мачту, вождение автомобиля и... писательский труд («ту драйв э пен» — «гонять перо» в буквальном переводе).

И вот я назначен дублером драйвера Фомы Фомича Фомичева.

Посмотрим инструкцию.

«Должностная инструкция дублеров капитанов судов на время плавания в арктических водах:

1. Дублер капитана назначается приказом начальника пароходства из числа наиболее подготовленных старших помощников, имеющих опыт работы во льдах в условиях арктического плавания, для усиления вахтенной службы и обеспечения безопасности мореплавания.

2. Дублер капитана относится к старшему комсоставу судна, подчиняется непосредственно капитану и отвечает за безопасность мореплавания во время несения своей вахты.

3. В процессе подготовки и погрузки арктического груза дублер капитана оказывает помощь капитану в организации грузовых операций.

4. Дублер капитана своим опытом, знаниями, всеми средствами содействует быстрейшему завершению арктической навигации.

5. На время плавания на трассе СМП капитан своим приказом назначает конкретные часы, в течение которых дублер обеспечивает безопасность мореплавания, непосредственно осуществляет управление и маневрирование судном при самостоятельном плавании во льдах и в караванах за ледоколом. Вахтенные младшие помощники несут вахту в соответствии с уставом и выполняют свои уставные обязанности.

6. В борьбе за живучесть судна дублер капитана по указанию капитана находится в месте наибольшей опасности и непосредственно руководит работами в соответствии с НБЖС-70.

Зам. нач. БМП по мореплаванию
Н. Шайхутдинов».

22.07.13.30.

Прощаюсь с живой природой перед ледяной Арктикой.

Отошел от муравейника аэропорта Пулково метров на триста.

Присел на предельно загрязненную травку под чистыми березками, гляжу на серенькие кашки, говорю кашкам о любви. Они молчат. Нужна им моя любовь!

Рядом траншея — копают канализацию. Пахнет свежей землей.

Солнце. Тени от березок ласкаются к кашкам. А в трехстах метрах пятитрубный аэропорт стоит на мертвом якоре, битком набитый человечеством.

Июль. Мягкость ветерка. Зелень лета.

Прощай, зелень.

Рейс № 8698. Взлетели точно.

Когда пролетаем Имандру, начинает тянуть на воспоминания.

Красивое озеро Имандра. Из-за его красоты я и погорел в ранней юности.

...Эшелон тянется от берегов Баренцева моря в Питер. Конец августа пятьдесят первого года, около девятнадцати часов. Мы где-то между Хибинами и Апатитами. Я — часовой. Обязанности просты. На очередной остановке вылезаете и ходишь вокруг да около концевой вагона с винтовкой наперевес.

Политическая обстановка в мире — пик холодной войны. Но мы знаем холодную войну как теплую, а то и чуть-чуть не горяченькую. И все мы — воины — вместе с газетами поднимаемся на штурм Марра, наступаем на теорию относительности, крепим оборону против морганистов...

Суровое время. Но впереди отпуск. И ты влюблен первой и прекрасной любовью. И такой сногшибательный закат над Имандрой: склоны гор алые, ели на их фоне черные, возле полотна по склонам насыпи цветут лиловые пышные цветы, между прибрежными валунами

вода нежная, и каждое самое легкое облачко отражается в темнеющем штилевом зеркале озера. А тебя овевает ветерок, пахнущий елями, соснами и близкой свободой, ибо ты сидишь на полу теплушки, свесив ноги через порог, ждешь очередной остановки эшелона и поешь с коллегам «Прощайте, скалистые горы...».

Тепловоз гудит предупреждающими гудками: сейчас застрянем на каком-нибудь полустаночке, освобождая место пассажирскому нормальному поезду. Пора кончать лирику и брать винторез. У меня он поставлен в уютном местечке — у противоположной двери теплушки в уголке между дверью и стенкой, но...

Винтовки в ее уютном гнездышке нет.

— Ребята, хватит шутки шутить! Куда винторез спрятали?

Никто не признается, а эшелон уже едва ползет. Согласно инструкции, часовому пора выпрыгивать, чтобы осмотреться и войти в боевую форму для охраны товарищей и народного имущества от всевозможных опасностей.

Теплушка обыкновенная, стандартная — нары в два ряда по бокам, пятачок в середине свободен, пирамид для оружия нет. Винтовку получаешь перед заступлением в караул в штабном вагоне. Потому в инструкции сказано, что часовой с ней не расстается и в промежутках между остановками эшелона. Но перегоны на Кольском полуострове иногда очень длинные...

— Ребята, кончай разыгрывать!

Шурую под сенниками-матрацами на нарах, лезу под сами нары, дергаю за ноги спящих. Мат-перемат из четырех десятков глоток. Потом боевые товарищи начинают кое-что соображать. Часть их включается в лихорадочный и бессмысленный поиск (знаете, исчезнет у вас из ванной комнаты мочалка, и вы ловите себя на том, что ищете ее и в столовой, и под комодом, и еще черт те где, хотя абсолютно ясно, что в столовую или в почтовый ящик попасть она никак не могла). Так вот, часть ребят включилась в такие поиски, а кое-кто начал уже удаляться от моей персоны, создавая знаменитый «круг безопасности», — время, повторяю, было суровое. И от потенциального каторжника логично держаться подальше, чтобы каким-нибудь макарон не быть замешану в историю.

Кто-то, самый умный, догадался, как дело происходило. Дверь теплушки, как у всякого телячьего вагона, откатывается в сторону по направляющим на колесиках. Изнутри стопорилась она деревянным клином. Клин от вибрации ослабел, между дверью и стенкой образовалась щель, винтовка в нее выпала; затем кому-то в щель стало на ныры сквозить, он встал, накатил дверь обратно и опять запер на клин.

Вот и все дела, браток. Закрыватель двери вспоминать этот момент не считал нужным. А может, «заспал» и действительно забыл. Мне же все важно было знать. Последний перегон был около сорока километров. Когда: в начале, середине, в конце перегона это случилось?..

Эшелон уже стоит, мне давно пора выскакивать на стражу. А в голове: «Часовой на посту утерять боевое оружие с боевыми патронами — трибунал? пять лет? десять? спишут в матросы?..»

Начальник эшелона — заместитель адмирала по строевой части полковник Соколов, уставник до мозга костей: на парадах и торжественных проходах по городским улицам он впереди, весь в золоте и владеет таким парадным шагом, что Павел Первый ему бы при жизни памятник поставил. А меня полгода назад разжаловали из старшин второй статьи — за длинный язык — в рядовые. Полковник Соколов обставил процедуру торжественно: был и барабанный бой, и срезание старшинских лычек, и отрывание козырька у старшинской фуражки прямо на плацу перед строем училища. Помнит меня полковник как облупленного... .

Вот эта строевая машина — начальник эшелона, отвечающий за курсантов Высшего военно-морского училища, за будущих офицеров флота, — расхаживала у штабной теплушки, ясное дело, парадным шагом. И так он это проделывал, что дерзко-задиристые и хамоватые кольские смазчики букс шмыгали носами, утирались промасленными рукавами ватников и проскакивали мимо полковника бочком и молчком, хотя никакого отношения к строевому механизму не имели и спокойно могли ругаться от души и размахивать молотками безо всяких яких.

Все, Витя, вылезай, потому что приехали.

И:

— Разрешите обратиться, товарищ полковник?

— Что у вас, товарищ курсант?

— Докладывает часовой концевого вагона. Мною на последнем перегоне утеряна винтовка.

— Старшина Рысев!

— Слушаю, товарищ полковник!

— Взять под стражу! Поедет дальше в штабном вагоне!

— Лезь сюда! — это Рысев говорит. Он мне лычки срезал.

— Товарищ полковник!.. Я... разрешите остаться!

— Старшина, проследите, чтобы снял ремень, и обыщите!

— Есть, товарищ полковник!.. Тебе сказано: лезь сюда!

Я влез, расстегнул бляху, снял ремень и вывернул карманы. Ничего в них, кроме носового платка и махорки, не было. Рысев посадил в угол и еще отгородил от свободы скамейкой.

«Часовой на посту утерьял оружие — трибунал и десять лет, как одна копейка, а для примера могут и еще что-нибудь пострашнее выдать».

Строевая машина поднялась в вагон.

— Доложите, что и как. Старшина, записывайте.

Я доложил. И закончил мольбой: оставьте, мол, здесь, я побегу обратно и найду винтовку, я ее из-под земли выкопаю, я...

— А не найдешь — башку с отчаяния под поезд? Или по молодой глупости дезертируешь? И мне за тебя трибунал?

Дежурный по полустанку заглянул в вагон и доложил, что эшелон отправляется через пять минут.

«По вагонам!.. По вагонам!.. По вагонам!..» — покатилося вдоль и вдаль.

— Нет! Товарищ полковник, нет! Честное слово! Не найду — вернусь!

— Товарищ полковник, здесь четверо лихих людей в тайге шатаются, — вклинился с дурацким напоминанием старшина Рысев. — Как бы они его здесь не пришили.

— Молчать! Вас не спрашивают! — рубанула строевая машина.

И пошла шагать из угла в угол штабного вагона, а вместе с ней шли секунды и минуты, складываясь в десять лет. И главное даже не в тюрьме было, а в матери. Я знал: не переживет. Но также знал и понимал все то, что творилось сейчас в душе и мозгу строевой машины. Оставить меня — нарушить законы, и каноны, и уставы, и кодексы. И ответственность взвалить себе на погоны, — а семья? а служба? а карьера, в конце концов? . . И так просто — оставить здесь пять человек, дать сопроводилровку, сообщить железнодорожному начальству, а разиня пусть катит за решетку. Конечно, и при таком варианте взыскание влепят и ему, полковнику Соколову, но всего на уровне выговора. А если мальчишка сдрейфит и ударит в бега? Конец тогда Соколову. Вот какой вопрос на уровне «быть или не быть?» решала строевая машина. Время, еще раз повторяю, суровое шагало, катилось, текло и по стране и по планете.

— Старшина!

— Есть, товарищ полковник!

— Отдай ему ремень!

— Есть!

— А ты — бегом за бушлатом! И сразу сюда! Марш!

Я кубарем вылетел из вагона и помчался за бушлатом, еще не понимая толком, что означает ремень, что — бушлат и зачем бегом обратно.

Тепловоз визгливо гуднул, когда я подбежал к штабному вагону с бушлатом.

— На поиски сутки, — сказала строевая машина. — Сейчас, — взглянула она на часы, — двадцать сорок восемь. Этот перегон был тридцать шесть километров. Через сутки при любом результате поисков догоняете эшелон на любом поезде. Все ясно?

— Так точно! Спасибо, товарищ полковник!

Эшелон дернулся. И в каком-то беззвучии покатали теплушки в свой вечный, тупой, безропотный путь. Я даже лязга буферов не услышал — немое кино. Но человеческий голос в сознание проник:

— Эй! Старшина! Брось ему хлеба!

— Не надо! Не надо! — крикнул я.

— Рысев! Кому приказано?! — прорычала строевая машина, и из проема дверей штабного вагона вылетела буханка.

Ребятишки пялили зенки, пока эшелон тянулся мимо — теплушка за теплушкой.

Кое-кто из них меня любил, кое-кто наоборот, но все пялились с испуганным любопытством.

Через минуту на безымянном кольском полустанке никого не осталось, кроме меня и буханки черного хлеба. Я ее не поднял. Не до нее было, дураку.

На мне была белая брезентовая роба, бушлат, бескозырка и яловые ботинки — «гады» на курсантском языке.

Вы когда-нибудь бегали по железнодорожным путям? Если бежать по шпалам, то надо или прыгать через две на третью, или частить по одной. И то и другое невозможное дело, если надо действительно бежать, а не кое-как передвигаться. Конечно, можете попробовать бежать обочь путей, но там был гравий, он осыпался под «гадами», от него невозможно было толкаться для настоящего бега. А надо было именно бежать. Я не так опасался того, что винтовку найдут лихие люди, как того, что ее сопрет какой-нибудь стрелочник. В таежной глухомани Хибин, во глубине Кольского полуострова винторез с полной обоймой боевых патронов для стрелочника был бы таким сюрпризом, что он никогда и никому его не отдал бы ни за мольбы, ни за слезы, ни за деньги, ни даже за коврижки.

Вы когда-нибудь пробовали начинать забег на тридцатикилометровую дистанцию после того, как месяц почти не двигались, сидя в отсеках подводной лодки?

Уже через несколько минут так заболело под ложечкой, что я сошел с дистанции и сел на рельсу, скрючившись в три погибели.

Сумерки перетекали в кромешную ночь. С одной стороны насыпи шумела тайга, с другой — довольно далеко внизу — чуть плюхала в камень Хибин Имандра. Глухо было вокруг. И сквозь боль я ощутил одиночество. Первый накат одиночества в ту ночь, еще слабый накат — как бы пленка одиночества.

Я, как всякий, кто служил в армии или на флоте, был не один раз гоняем в кроссы с полной выкладкой. И знал, что боль под ложечкой можно преодолеть только тем, что будешь продолжать бежать дальше, сквозь нее.

И я побежал, то прыгая через шпалы, то по осыпающемуся гравию. Но мне ведь не просто бежать надо было. Мне надо было смотреть во все глаза, чтобы не проташиться мимо винтореза. А как он упал? Куда закатился по инерции? Надежда обнаружить винторез сохранялась только потому, что выпал он не в сторону откоса насыпи к Имандре, а в противоположную сторону — между путями.

Километра через два я скинул бушлат и даже не оглянулся на него. Боль под ложечкой слабела, но черт бы побрал брезент робы! Этот жесткий морской брезент не для сухопутных кроссов. Он начал сдирать кожу на коленях. А широкая рубаха робы, которую я выпростал из-под ремня (взмок от пота), сильно парусила. И где-то на пятом километре я скинул и ее. К этому моменту я, ясное дело, уже не бежал, а брел и пучил глаза во тьму.

Тьма возле самой земли была какая-то более светлая, чем окружающий мир. Быть может, озеро собирало в линзу штилевых вод свет звезд и отбрасывало под ноги.

Кажется, не думал ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем. Сил хватало только на то, чтобы гнать и гнать себя вперед. Брезент содрал кожу на коленях до ощущения мокроты, но расстаться со штанами я не решился. Тем более, что главная боль спустилась ниже. Морские «гады» носятся не с портянками, как сапоги в презренной пехоте, а с носками. Железная яловость ботинок не амортизировалась носками и терзала щиколотки почище брезента робы.

На двенадцатом километре я понял, что наступает каюк, что надо отлежаться, спуститься к озеру и попить. До этого запрещал себе думать о воде, потому что знал: пить нельзя.

И вот когда я остановился, чтобы собраться с силами и съехать с насыпи к Имандре, то увидел винтовку.

Боевая подруга торчала из кучи запасного гравия прикладом вверх, на треть воткнувшись в кучу стволом. До винтовки было шагов десять. Я не стал их делать. Я съехал на задку с насыпи, подполз к урезу воды и опустил башку в чуть колыхающуюся волну. Потом расшнуровал и снял «гады». Носки были сочными от кровищи. Стаскивать их я не стал — было больно. Я сунул

ноги в Имандру, которая спасла меня привиденческим светом своих вод. Но в первую-то очередь спас меня, ясное дело, полковник Соколов.

Кажется, я заплакал, потому что после напряжения сразу наступил спад и я ослабел физически и духовно.

Штиль был над озером. Черное зеркало. Но вода все-таки чуть колыхалась. И шорох время от времени прокатывался вдоль берега. И мощные деревья за насыпью тоже пошевеливали черными вершинами с древесным шумом.

Я первый раз в жизни был ночью в тайге.

Из черного зеркала озера торчали под берегом белые глыбы. Казалось, они тоже шевелились. От жутки и одиночества или просто остывая после кросса я затрясся мелкой дрожью. Ведь, кроме мокрой от пота тельняшки, на мне ничего не было. И вообще, следовало начинать обратное движение — еще двенадцать километров по шпалам, по шпалам.

Более истертую ногу я обмотал носовым платком, штаны засучил выше колен и выбрался на насыпь. Вытащил и обтер рукавом тельника винтовку, пару раз щелкнул затвором, убедился, что все с затвором в порядке, загнал патрон в патронник на всякий пожарный случай и сразу почувствовал себя не таким уж и одиноким в ночи Кольского полуострова. И тогда вспомнил о наличии махры в кармане. Это было замечательно — сесть на рельсу, свернуть закрутку и закурить горячую махру, когда между стертых коленок зажата винтовка.

За все это время мимо не прошел ни один поезд, а тут рельса подо мной начала подрагивать и я увидел в чуть уже сереющей тьме свет фары. Катил тепловоз, но без состава.

Мне продолжало везти!

Я вскочил, поднял над головой винтовку и принялся отплясывать на путях индейский танец, и, конечно, орал что-то. Кто мои орания мог услышать? Но дикую фигуру в засученных штанах, в тельняшке и с винторезом над башкой машинисты заметили. И остановили тепловоз, и взяли на борт. Когда я полез по ступенькам-лопаткам в будку, кто-то решил бедолаге помочь и схватился за штык, подтягивая вверх. И я чуть обратно не спрыгнул, ибо в измученном сознании это представилось покушением на винтовку.

Да и патрон был в патроннике, а свернуть курок на стопор я от возбуждения и удачи забыл. Ствол же смотрел прямо в лоб моему чумазому помогателю.

Оказалось, что по селектору было сообщено кому положено на перегоне между станциями Хибины и Апатиты, что где-то там болтается не беглый каторжник, а военнослужащий, выполняющий спецзадание. Это полковник Соколов предусмотрел. Очень мудро. Потому что только на борту тепловоза, который развозил по линии смену железнодорожных работников, я понял, что, кроме щепотки махры, в карманах у меня ничего, включая хоть одну копейку, не было. Зачем военнослужащему деньги?

Ребят с тепловоза не запомнил. Даже где я там сидел, не помню. Зато отлично помню, как ныл про брошенные где-то бушлат и рубаху и про то, что с меня за казенное обмундирование высчитают всю отпускную получку. И бушлат ребята обнаружили, и притормозили, и кто-то за ним слазил.

... И пусть солдат всегда найдет
У вас приют в дороге, —
Страны любимой он оплот
В часы ее тревоги. . .

Рубаха осталась в тайге на радость путевому обходчику.

В Апатитах дежурный по станции посадил в первый же пассажирский поезд в общий вагон на третью полку. Жрать хотелось мучительно. Буханка, оставшаяся на земле, так и торчала перед глазами. Но я быстро вырубился, обняв винтовку и застегнув поверх нее бушлат на все пуговицы.

В Кандалакше милицейский патруль наконец-то обнаружил одного подозрительного беглого, да еще с винтовкой и на третьей, безбилетной полке.

Проснулся я от света фонарика, направленного в физиономию, и довольно крепкого тумака. И конечно, кто-то из патрульных ухватился за винторез. Вероятно, это были тренированные самбисты, регбисты и боксеры, но я плохо соображал после пережитого и принялся лягаться и отбиваться с такой беззаветной и неукротимой энергией, что они отступились, и тогда проводник объяснил им что к чему.

И я поехал дальше.

И догнал эшелон еще до Ленинграда — продолжало везти. Вернее, сперва я его еще и обогнал. Эшелон стоял на полустанке Валя, а пассажирский поезд там не оставался.

... Легким именем девичьим Валя
Почему-то станцию назвали...

В этой книге впереди еще достаточно невероятных встреч и совпадений, потому скажу только, что на полустанке Валя в августе сорок первого, то есть ровно за десять лет до того, число в число, наш поезд, следовавший в Ленинград, разбомбили и в упор расстреляли немецкие самолеты. Брат был ранен осколком бомбы, а я и мать отделались смертным ужасом.

Двадцать четвертого августа пятьдесят первого года я промчался мимо полустанка Валя и полковника Соколова, радостно-торжествующе размахивая бескозыркой из открытого окна.

Во Мге вылез, и часа через два подошел час расплаты.

Я поднялся в штабной вагон и по всей форме, но сияя полной луной, доложил, что курсант такой-то винтовку нашел и прибыл для дальнейшего продолжения караульной службы.

Строевая машина, которая только что поставила ради меня судьбу на кон, взяла винтовку, вытащила обойму, с облегченным вздохом подкинула ее на ладони — все патроны были целенькие. А в те времена и утрата одного-единственного патрона считалась преступлением.

— Молодец! Теперь чепухой отделаешься, — сказал полковник Соколов. — Двадцать суток простого ареста после прибытия в училище. Можете идти!

— Есть двадцать суток ареста! — сказал я, переставая излучать лунное сияние.

Единственный в году отпуск предстояло провести на гарнизонной гауптвахте в некотором удалении от мамы и любимой. А я-то, догоняя эшелон, думал, что полковник преподнесет мне конфетку на блюдечке за героизм и самоотверженность при выполнении столь боевого задания!

В части мой «подвиг» докатился до ушей адмирала Никитина — начальника училища. И я первый раз в жизни сподобился разговаривать с адмиралом. И даже в его кабинете.

Не знаю, как в армии, а на флоте рядовые знают о высшем начальстве только то, что успевают сами пронаблюдать. Никаких биографических справок рядовым об адмиралах не сообщают. Где он служил, чем занимался, когда и где родился — тьма над Имандрой. Быть может, в целях конспирации и секретности, а может, из традиции скромности. . .

Про адмирала Никитина я ровным счетом ничего не знал. И видел-то начальника только из строя в щель между впереди торчачими стриженными затылками.

Непроницаемое, тяжелое лицо, по-монгольски желтоватое. Лицо сфинкса перед Академией художеств. Небольшого роста, но плотный и широкий туловищем.

Через много лет я наткнулся в книге моториста 1-й Краснознаменной, ордена Нахимова I степени бригады торпедных катеров Валентина Сергеевича Камаева на такие слова:

«23 февраля 1937 года командир дивизиона капитан 3-го ранга Борис Викторович Никитин сообщил, что мы будем служить в особом дивизионе торпедных катеров, оснащенных новейшей военной техникой, позволяющей атаковать корабли противника, не имея на борту людей, а выводить катера в атаку будут специальные самолеты, с которых им будут выдаваться команды по радио. Очень часто место оператора в самолете-водителе занимал сам командир дивизиона Борис Викторович Никитин — удивительный энтузиаст новейшей военно-морской техники. . .»

Вот перед лицом этого энтузиаста мы с полковником Соколовым вместе и предстали, ибо были вызваны к нему «на ковер».

Разговор получился короткий:

— Полковник, как вы этого фокусника накажете?

— Двадцать суток простого ареста с содержанием на гарнизонной гауптвахте, товарищ адмирал!

— Вместо отпуска, получается?

— Так точно, товарищ адмирал!

— Куда ты собирался ехать в отпуск?

— Никуда, товарищ адмирал, я здешний, ленинградец.

— Мать жива?

— Так точно, товарищ адмирал!

— Десять суток, полковник. Пусть мать повидает.

— Есть десять суток, товарищ адмирал! — сказал полковник Соколов, и мы с ним повернулись налево кругом и парадным шагом выкатились из парадного адмиральского кабинета.

Борис Викторович Никитин прошел всю войну на самом отчаянном и дерзком — на торпедных катерах. За тея же с управлением катерами по радио — заводка двигателей, их реверс, маневрирование, торпедный залп, постановка дымзавесы при отходе — в боях проверена не была. Но не потому, что аппаратура и отработка применения ее были плохи. Просто господство в воздухе принадлежало длительное время противнику, и он сбивал летающие лодки типа МБР-2 (морской ближний разведчик, модель вторая), с борта которых должно было осуществляться управление катерами. Не в этих деталях, однако, суть дела и суть адмирала Никитина. Ведь в основе идеи лежит главный закон лучших русских флотоводцев — победа малой кровью! Сохранить родные души, уберечь матросов и лейтенантов от любого лишнего риска.

Как все это сочетается с: «Мать жива? Десять суток, полковник...»!

Процедура посадки на губу, оформление ее, была весьма бюрократически занудна. Поглядите, сколько надо было собрать резолюций и отметок на «Записке об арестовании»:

«29 августа 1951 года. Номер роты — Первая. Звание и должность — курсант. Кем арестован — командиром курса. Причина ареста — нарушение Устава гарнизонной караульной службы. На какой срок и вид ареста — 10 суток простого».

Наискосок: «По состоянию здоровья может отбывать наказание на гауптвахте. Майор...»

«Принят на ГТВ 29 августа в 16.15. Подлежит освобо-

ждению 8 сентября в 16.15. Горячую пищу давать — ежедневно».

«Приложение: Справка о мыльном довольствии. Арестованный удовлетворен мыльным довольствием за август 1951 года. На мытье в бане — 120 гр. На стирку белья — нет. На туалетные надобности — 400 гр. ...»

Куда мы девали такую массу мыла?..

Продавали мешочникам возле Балтийского вокзала.

На обороте: «В бане был 28.08.51. На арестованном состоят вещи: лента ВМС — 1, тельняшка — 2, кальсоны — 1, трусы — 1, ремень с бляхой — 1, ботинки яловые — 1, носки — 2...» и т. д. и т. п.

...Чтобы оформить справки и резолюции и дожидаться оказии в баню, пришлось потратить двое суток. А отпуск-то летит, ребята разъехались, и ты валяешься в пустом кубрике.

В город арестованного даже добряк Дон-Кихот не выпустит. И маме уже отписал, что среди лучших из лучших отправлен в секретную командировку за границу и мама должна гордиться замечательным сыном и его боевыми успехами.

Ленинградская гауптвахта в те годы находилась на Садовой улице впритык к площади Искусств. Здание губы не дотянуло сотни метров до того, чтобы вылезти на эту замечательную площадь фасадом.

Приятно, сидя на губе, сознавать, что рядом стоит вдохновенный Пушкин, рядом оперетта, Русский музей, Филармония и шикарный отель «Европейская». Или нет, Пушкина тогда еще не было...

Хорошее место для размышлений о соотношении искусства и жизни, красоты и решеток галерей внутреннего двора гауптвахты! Эти галереи тянутся вдоль каждого этажа, и путь в коридор, из которого ты уже попадаешь в камеру, обязательно пролегает по ним.

Ты идешь без ремня и без шнурков на «гадах» — очень эстетичный вид. Позади, гремя связкой ключей, следует мичман-надзиратель.

Морда у него зверская, но, как помню, он был даже добродушен. Во всяком случае, не злобен, а вернее всего — индифферентен.

Мичман-надзиратель — штатный работник исправительного заведения, ему уже все надоело, и он уже видел

все и вся на этом свете, кроме Русского музея и Филармонии. Он видел настоящие и поддельные истерики, хамство смелых и наглую трусость, и трусость слезливую, и слышал смертные угрозы и жалкие заискивания — всего не перечислишь.

А вот караул сменяется каждые сутки.

Я и сам бывал на карауле гарнизонной гауптвахты раньше. Караул назначается из воинских частей города по очереди. С тем, чтобы возможно большее число воинов воочию ощутило то, что такое гауптвахта и как там весело. Чаше в караул назначают курсантов — будущих офицеров.

Выводить арестованных по нужде, или делать «шмон», то есть обыскивать камеры в поисках махорки и спичек, или осуществлять подъем воинов в пять утра, выдергивая из-под упрямых и бесстрашных матросов «самолеты», — не очень-то приятное дело. («Самолет» — пляжного типа лежак, но на ножках. Ног две и только на хвостовом конце фюзеляжа. Головной торец укладывается на узенькую, в две ладони, скамью, которая идет по периметру камеры. Скамья сделана узкой, чтобы ты на ней не засиживался. «Самолеты» же после сигнала побудки уносятся из камер.) Служить на гауптвахте нештатно, то есть стоять там суточный караул, на мой вкус, еще хуже, нежели там нормально сидеть. Ведь к профессии, не исключая тюремщика, надо привыкнуть, а разве за сутки привыкнешь обыскивать, например, людей? Попробуйте сделать это хотя бы в шутку с приятелем. Потому наиглавнейшее, о чем думаешь, когда прутья и переплетения стальной решетки галереи мелькают слева по борту, а по корме звенят ключи мичмана-надзирателя, это простой вопрос: с кем окажешься в камере? Набьют тебе коллеги рожу для начала или пронесет? А побить могут, если в камере окажется хронический шалун-матросик, от которого ты отбирал папиросу полгода или год назад, когда был выводящим.

Но мне продолжало везти.

В камере оказались двое старшин второй статьи. Они продемонстрировали отличную строевую выучку и выправку, когда вскочили и стали по стойке «смирно» при появлении в дверях мичманюги со зверской мордой. Они сделали стойку получше медалированного овчара на собачьей выставке.

Как только дверь захлопнулась и замок щелкнул, старшины уселись на пол камеры и продолжили прерванную мичманским вторжением игру. Они даже не заинтересовались, протащил ли я курево или спички.

Скоро выяснилось, что арестанты имели то и другое в изобилии, потому и не поинтересовались.

А я, используя опыт караульного и выводящего, зашил в штаны — суконные второго срока, то есть в уже вытертые и выношенные, как мои коленки, штаны, — спички, обломок чиркалки и курево. Не будем уточнять, куда и как я это запрятал, — вдруг новичок-надзиратель прочитает.

Играли старшины в занятную и самобытную игру. Увы, мало кому ныне она доступна. Для игры необходим дощатый пол, а у вас паркет.

Два игрока садятся на одну и ту же половую доску в разных концах камеры на максимальном удалении друг от друга, широко раскинув ноги в стороны.

Игровой инвентарь — тяжелый шар, слепленный из хорошо пережеванного черного хлеба низшего сорта. Шар закаменел и будет, пожалуй, потяжелее бильярдного.

Характер игры военный. Надо поразить наиболее уязвимое место партнера. При этом вы не имеете права бросать шар. Он должен катиться по доске, ни разу не подскочив на ней.

Для определения точности попадания не нужно ни видеотеелемонитора, ни другой сложной финишной современной техники. Если попадание точное, то партнер в автоматическом режиме, без всякого участия подлого и лживого сознания, восклицает: «Ой!!!» Потом он некоторое время матерится, с неподдельной опять же злобой и азартом перебрасывая шар из руки в руку и прицеливаясь для обратного отомстительного броска.

Продолжительность игры ограничена только крепостью нервов партнеров и их, так необходимой на флоте, выдержкой.

Вопросы генетической наследственности в те времена еще не мучили наши умы и не мешали спать по ночам, ибо гены еще были зловещим бредом мировой буржуазии и космических космополитов. Потому я и принял участие в игре.

Без шуток: очень сложная и азартная игра! Надо обладать большим опытом, чтобы пустить шар строго по

доске, ибо если шар чуть захватит стык с соседней доской и при этом попадет противнику в ногу, то партнер получает право на двойной бросок. Тут даже не только опыт нужен, но и талант, и искусство. Я вышел из игры довольно быстро. Потому что у меня не оказалось ни первого, ни второго, ни третьего.

В силу этого я на следующие сутки попросился на работу. Не знаю, как ныне, а в сентябре пятьдесят первого года арестованные простым арестом могли работать, а могли и не работать — по собственному желанию.

Мои коллеги пачкать руки грязной тачкой не хотели, а я каждое утро отправлялся к Красненькому кладбищу — мы строили трамвайную линию на Стрельну.

В шесть утра на Садовой улице возле губы останавливался грузовой трамвай с двумя прицепами-платформами. Мы залезали на платформы и громыхали через пустынный еще и спящий город в Автово. Утреннее путешествие мне даже нравилось. Но вот вечернее — нет. Любопытный прохожий мог увидеть меня на открытой трамвайной платформе, а известно, что Ленинград отличается от всех городов планеты еще и тем, что каким-то чудом среди трех миллионов жителей на каждом перекрестке встречаешь знакомого, даже если знакомых у тебя жалкая дюжина. И я боялся: до матери докатится, что ее сын не в спецзагранкомандировке, а просто-напросто копается в земле и костях возле Красненького кладбища — трамвайная линия прихватила край сровненного с пустырем многие годы назад захоронения. И экскаваторы иногда выбрасывали на свет божий останки наших предков. А мы разравнивали грунт лопатами и укладывали на подготовленное полотно шпалы.

Первые дни сентября, чудесная погода, листья только-только начинают облетать с деревьев, загородный воздух, ветерок с залива, запах смолы от свежих шпал, шорох камышей в придорожных болотах и иван-чай на пригородных свалках, и добрые женщины — дорожные работницы, с которыми мы таскали шпалы в одной упряжке.

Они по русской древней традиции жалели арестованных матросиков и, хотя сами существовали впроголодь, делились то молоком, то хлебом.

...И пусть солдат всегда найдет
У вас приют в дороге...

Кто мог из арестованных матросиков платили им по наличному счету в кустах ивняка и среди могил Красенького кладбища. Вероятно, вы понимаете, чего даже больше хлеба хотелось женщинам-работягам в послевоенные времена.

Часовые в таких случаях не замечали исчезновения должника с зоны. Самые отчаянные из ребят этим пользовались и даже срывались в самоволку в город на часок-другой. Круговая порука действовала безотказно, и норму должников и самовольщиков дорабатывали менее отчаянные, проклиная при этом и себя, и самовольщиков.

Начали снижение. Быстро нынче летают воздушные лайнеры. . .

Самое тягостное на гауптвахте — воскресенье, когда не возят на работу. Тогда в обязательном порядке положена прогулка. Она в том, что вас выводят из камер на зарешеченную галерею и стоишь по стойке «вольно», но заложив руки за спину, с полчаса.

Если из шеренги кто-нибудь вякнет чего-нибудь надзирателю, то мичманюга командует: «Кругом! Два шага вперед! Марш!» И шеренга оказывается в положении «носом в стенку». И «гуляет» до самого конца уже в такой позиции.

Симпатичное на губе для моряков то, что утром дают не только хлеб и чай, как испокон веку завтракает флот, но, например, пару картошек с кусочком соленой трески — по сухопутно-солдатскому обычаю.

МУРМАНСК

17.00. Аэродром Мурмашей.

Плюс шесть градусов.

Низкие тучи над согбенными сопками.

Есть клочья снега у вершин.

Барак-аэровокзал без изменений. Одноэтажное синее деревянное сарайное сооружение. Тошно его видеть.

Автобус зато шикарный. Едем быстро.

Старые знакомцы валуны. Опившаяся болотной водой трава и девонский плаун-папоротник.

Опившаяся болотной водой трава — ядовито-зеленая. Это последний вскрик зелени перед тем, как она начнет исчезать. Это как румянец чахоточного.

Низкорослые деревца. Лиловые доски снегозадерживающих щитов. Лиловые столбы древних линий электропередач. Лиловые горбы сопки, лиловые тучи над ними.

Лиловое и ядовито-зеленое — красивое сочетание, но это та красота, которую оцениваешь, а не любишь. Намек на любовь может мелькнуть, если думаешь о том, как записать пейзаж. Но когда просто смотришь на него, душа молчит.

18.00. Вырываемся из кручения между сопки к берегу Кольского залива.

Прибрежный поселок. Автобус тормозит. Кого-то высаживаем.

Ничего не узнаю вокруг. Щемящее настроение.

Отсюда первый раз по тревоге ушел на спасательную операцию. Здесь первый раз спустился под воду.

Возле автобуса крутятся собаки.

Тогда, на приходе со спасения, полярной ночью, в пургу, на причале нас тоже встречали собаки. Женщины не приходили встречать. Или им запрещалось, или они ко всему привыкли. Только жена старшего лейтенанта Ханнанова иногда встречала.

Близко не подходила. Ханнанов стыдился сантиментов жены. Она работала зубным врачом.

Ее силуэт в ночной пурге, пробитой мощным лучом прожектора, и силуэт часового на причале, и собаки — прыгают, радуются, знают, что мы их скоро покормим...

18.30. Исковерканная новостройками земля и холодная грязь Мурманска.

Высадка у железнодорожного вокзала. Очередь на такси, но небольшая. Занимаю очередь.

Выпиваю кружку прекрасного кваса и звоню из автомата диспетчеру «Трансфлота». Автомат нормально срабатывает с первой попытки.

«Державино» на подходе. Отдает якорь около двадцати часов.

Еду в такси к морскому вокзалу. Таксист шипит и презирает за маленькое расстояние поездки. Проезжаем под носом «Вацлава Воровского». «Значит, ночевка для меня обеспечена», — на всякий случай отмечаю я, ибо пока твое родное судно не станет на якорь в натуре, с ним все может случиться: имею в виду задержку лесовоза «Державино» на орбите вокруг Скандинавии.

19.00. Сдаю вещи в камеру хранения.

Сижу на скамеечке на пассажирском причале прямо перед носом белоснежного лайнера. Он в отличном порядке. Только клюзы ободраны якорями, и под ними натекла ржавчина.

Солнце вспыхивает в просвете между тучами и лиловыми сопками западного берега Кольского залива. Прямо мне в лицо. Хорошо, когда солнце. Штук пять голубей шатаются вокруг скамейки. И какой-то сильно пьяненький гражданин плюхается рядом, просит закурить.

К пьяненькому подходит элегантно, по-заграничному одетая дама и энергично бьет его по голове опять же заграничным зонтиком, приговаривая: «Хрясь! Хрясь!»

Гражданин не сопротивляется, только закрывается руками.

И я вдруг решаю не пить весь арктический рейс. Уж больно тяжкая сцена разыгрывается в самом начале пути.

Иду в буфет морвокзала и ем холодную котлету, пью тепловатый кофе. Трезвость. Ни тебе аванса, ни пивной. . .

21.00. Поехал рейсовым катером на рейд Мурманска. Судов скопилось много. Улитками впились в штилевую, летнюю гладь Кольского залива.

Отлив.

И запах отлива, осыхающего морского дна.

«Державино» выглядит замызганно. Но морда у кобылки славная, доверчивая и добродушная. Шпангоуты кое-где уже обмяты. Увы, скоро они будут обмяты куда рельефнее.

Вся палуба в контейнерах, на контейнерах переходные мостики к баку и два красных пожарных автомобиля. Скоро мрачно-монотонные улицы чукотского Певека украсятся ярко-веселыми машинами. . . Интересно, радуются современные мальчишки пожарам, и вою пожарных

машин, и их боевому, тревожному пролету сквозь перекрестки?.. Ничего-то я не знаю о современных мальчишках. . .

Первый человек на борту «Державино» — девица, остро, заметно пригоженькая. Сидит верхом на чемодане возле траповой площадки. В джинсах. Рядом саксофон. Или какая-то другая труба.

— Где вахтенный матрос?

— Сейчас придет. Я подменяю. Катер скоро вернется?

— Минут через двадцать. Кто из штурманов на вахте?

— Старший помощник.

— Позовите его, пожалуйста. Я дублер капитана на время Арктики.

Она нажала тангетку звонка, но не встала с чемодана.

— Может, вы представитесь?

— Буфетчица. Соня. Списываюсь.

Это и так ясно было, что она списывается. И еще мне было ясно, что я ретроград. Ибо поймал себя на том, что, как человек в футляре, не одобряю позу женщин «верхум» — будь это на чемодане, велосипеде или лошади и будь они в джинсах или даже в ватных штанах.

— Как звать старпома?

— Спирос Хетович.

Спирос. . . в «Листригонах» Куприна есть Спирос. Греческое имя. . .

— Он грек?

— Нет, албанец. Простите, я волнуюсь перед разлукой и потому все спутала. Капитан у нас албанец. А он русак, заяц-русак. Вон идет, — кивнула она кудрявой головкой на высокого, вернее, длинного и сутулого человека, который не так шел, как плелся по палубе. Ему было далеко за пятьдесят.

Девица, глядя на зайца-русака, начала безмолвно гримасничать. Ее личико передернуло судорога, тик, пляска святого Витта, беззвучный сардонический смех.

— Приветствую вас, Спирос Хетович, — сказал я и представился.

— Она вам так меня назвала? — спросил старший помощник, старательно отводя глаза в сторону от бывшей буфетчицы. — Пошлая шутка. Меня зовут Арнольд Тимофеевич Федоров.

— Простите, — сказал я.

Девушка прыснула. А я наконец догадался, что «Спиро Хетович» происходит от спирохеты.

— Чтобы хулиганить под занавес, не надо мужества, — строго сказал я девушке. Мелькнул в ней сквозь красивую внешность легкий цинизм. Впрочем, и роза покажется циничной, если ее засунут в неподходящий букет.

— Для вас приготовлена каюта помполита, — сказал старпом, когда мы пошли в надстройку. — Его не будет.

— Первые помощники перед ближним каботажом часто прихварывают, — сказал я.

Арнольд Тимофеевич явно не одобрил мое замечание. А дело в том, что Арктика ныне в век НТР совсем не то, что в век «Челюскина». И потому помполиты считают, что раз тут не заграница, то и без них обойтись вполне можно.

— Ключ у стармеха, — сказал Арнольд Тимофеевич. — Иван Андриянович. Вы с ним плавали. Капитан на берегу. Супругу встречает. Она с нами поплывет. По специальному разрешению кадров. По персональному разрешению, — последнее он подчеркнул с гордостью за капитана.

Вслед нам от трапа донесся звонкий и дерзкий девичий голосок:

— Ведь командор повесить уже хочет Фрондозо на зубцах высокой башни! Без права! Без допроса! Без суда! И вас здесь та же участь злая ждет!

Я посчитал эту декламацию предупреждением в свой адрес. И неожиданно ощутил сожаление оттого, что эта Соня не идет в рейс. Даже нечто такое, как ощущаешь в юности, когда чужой и неприятный парень на танцах уводит вальсировать твою избранницу.

Встреча с Андриянычем оказалась теплой. А когда-то не ладили. Я только начинал становиться торговым моряком, работал вторым помощником, ошибался много, вероятно испытывал комплекс неполноценности, а такой комплекс мешает не только самому, но и соплавателям.

Андриянычу пятьдесят восемь.

Хорошенький получается средний возраст старшего командного состава на «Державино»! Я оказываюсь самым молодым.

Андрьяныч открывает апартаменты. Дурацкая каюта — койка возле дверей и нет столика у изголовья. Значит, пепельницу и предсонную книгу — на стул. Но стулья на качке улетают к чертовой матери. Вспоминаю, что девяносто процентов рейса пройдет во льдах. Там качать не будет. Тогда бог с ним, со столиком у изголовья. Зато каюта просторная. Ходить из угла в угол будет можно.

Андрьяныч приглашает на чай. И отправляется его готовить.

Незаметно мы уже перешли на «ты».

Вспоминаю его прозвище: «Ушастик» — за большие оттопыренные уши при маленьком росте и чрезмерном любопытстве к личной жизни окружающих. Моряк и механик отличный.

Осматриваюсь.

На полках в шкафчиках, в рундуках, в диване — тысячи политических, профсоюзных, комсомольских брошюр.

Близко за окном каюты виден грузовой контейнер. На торце контейнера марка иностранной фирмы — голенькая женщина с кругленькими бедрами сидит на фоне моря с факелом в руке, у ног дамочки петух в боевой позе, на горизонте — парусник, внизу крупными буквами «ВЕРИТАС». Очевидно, «истина» — так я, во всяком случае, считаю, ибо есть «ин вино веритас» и есть старинная страховая компания с таким названием.

Дамочка, петух и парусник будут попутчиками до самой Чукотки.

Пью чай с вкусными гостинцами у Андрьяныча. Семейство провожает его в море соленьями и вареньями. Вспоминаем, естественно, совместные подвиги в прошлом.

Главный подвиг — чисто мифологический.

Дело в том, что Андрьяныч в конце какого-то долгого рейса решил продать фановую магистраль. И попал с этим мероприятием в конфуз.

Согласно спецположению, эксплуатация магистрали — старпомовское дело, но заведует им четвертый механик, а отвечает в целом за все «машина», то есть «дед».

Технология прочистки магистрали проста. Надо перекрыть галюны — это дело палубы. И дать в магистраль давление — это дело «машины». Тогда дрянь, застоявшаяся в трубах, будет вышвырнута за борт на радость рыбам.

Старпом возражал против мероприятия, ссылаясь на

отсутствие схем магистрали. И Иван Андриянович принял всю ответственность. Он не сомневался в успехе.

На каждый галльон выделяется человек, который на всякий случай следит за поведением стульчака. Иван Андриянович обошел судно и убедился в том, что на страже бодрствуют моряки, которым такое занятие, вообще-то, было куда более приятно, нежели мазать кисточкой ржавый борт. Андрияныч не заглянул только в свой персональный каютный санузел. По принципу: сапожник без сапог. Удовлетворенный проверкой, он спустился в машину, чтобы лично руководить продувкой.

Когда все это дело продули, я как раз направлялся на ужин в столовую. И теперь могу сказать, что видел, вослед за Гераклом, Авгиевы конюшни. Они находились в каюте старшего механика. Причем густая жидкость затопила и рундук, где хранился рулон гипюра, купленного в Сингапуре в подарок любимой супруге.

— Викторыч! — проревел Иван Андриянович, заметив мою старательно сочувствующую, гнусную рожу (нос я зажимал в горсти правой руки со всей возможной силой — как жмут резиновый эспандер).

— Виктор Викторович! — ревел стармех, хотя обычно он говорит тонким дискантом. — Если вы об этом в газету напишете, я вас жизни лишу!

Он имел в виду стенгазету «Альбатрос», которую я с омерзением редактировал.

— В газету не буду, Иван Андриянович, — уклончиво прогнусавил я и подло хихикнул, намекая на то, что использую эпизод большим тиражом.

Конечно, и наши женщины, и дедовские мотористы предложили (правда, без чрезмерного энтузиазма) помощь Ивану Андрияновичу. Но у него был морской характер.

— Сам, маслопупый дурак, виноват, сам расхлебывать буду, — сказал он, разделся до трусов и полез в конюшню.

Когда все лишние зрители убралась в столовую команды на кинофильм «Я шагаю по Москве», я тоже разделся до трусов и пошагал к деду.

Мы вычистили конюшню в четыре руки...

Любое прошлое сближает людей. А тем более воспоминания о подобном происшествии, с которого мы начали беседу.

На «Державино» у Ивана Андрияновича в спальной каюте по диагонали натянута были проволоки. Я удивился: зачем? Оказалось, он заразился у капитана любовью к вязанью и плетет замысловатые, оригинальные авоськи из морских веревочек-каболок. На проволоках он распинает их в начальном этапе производства.

— Супруга в магазин с такой соленой авоськой пойдет, меня лишний разок вспомнит, — объяснил Андрияныч.

Он явно недоволен, что драйверу Фомичеву разрешили взять жену в арктический рейс, а ему нет. Ушастик знает Фому Фомича как облупленного. Тем более и дачи у них в Лахте рядом. И очень тянуло Ушастика выложить мне про Фому пикантные сведения, но пока только предупредил, чтобы я не заговаривал с капитаном об автомобилях, шоферах, особенно пьяных шоферах, и трубах большого диаметра. 1) Около года назад Фомичев попал в автомобильную катастрофу и разбил свои «Жигули». 2) Около пяти лет назад пьяный шофер с трубовоза предложил Фомичеву двенадцать труб диаметром девятью сантиметрами и длиной двенадцать метров — весь груз — в обмен на четвертинку водки. Фомичев знать не знал, зачем ему эти гиганты, куда их применить, но погнался поп за дешевизной. И вот пять лет половину дачного участка Фомичева занимают эти мастодонты, наполовину уже вдавившись в лахтинскую почву.

Андрияныч произвел подсчет (на то он и механик) средств, необходимых для эвакуации труб в ближайший овраг: автокран, тракторные сани, тягач, рабочая сила. Вышло около тысячи рублей.

Результаты вычислений Ушастик доложил капитану. Фома Фомич вычисления механика тщательно проверил и заявил, что он скорее закопает своих мастодонтов вертикально, чем потратит на их эвакуацию такую космическую сумму.

Затем я попросил Ивана Андрияновича сообщить какие-нибудь нюансы о списавшейся буфетчице, ибо она тревожила мое живое воображение (нюанс — любимое словечко Андрияныча).

Сонька, оказалось, появилась, когда стояли в ремонте. С музыкальной трубой. Трубу купила после того, как посмотрела фильм «Дорога». На ремонте было много свободных помещений, и Сонькины гаммы никого не тре-

вожили. Когда вышли в рейс, соседи по каюте вынудили Джульетту Мазину искать для репетиций какое-нибудь удаленное помещение.

Она отправилась на самый нос судна — под полубак, устроилась под трапом, высунула трубу за борт и отдалась искусству.

«Тут такой нюанс: шли, ясное дело, в тумане. Зундом. Фомич и Спиро, то есть Арнольд Тимофеевич, ясное дело, были на мостике. Слышат туманные сигналы встречного судна прямо по носу. А на радаре, ясное дело, никаких отметок — чисто все впереди: Сонька-то радиоволны не отражает... Застопорили ход, потом дали «задний» и удерживаются на месте — все по правилам. Встречное продолжает дудеть в опасной близости.

Вызвали опытного маркони, чтобы он объяснил им такой странный нюанс: рядом гудит встречный, а на экране чисто. Начальник рации крутил-вертел радар, потом говорит, что встречное не видно, так как оно в мертвой зоне, — это и ежу должно быть понятно, а не только капитану со старшим штурманом.

Тогда Фомич говорит, что они уже полчаса на «стопе» стоят и любой другой олух должен был мимо проплыть, и из мертвой зоны выйти, и пропечататься на экране радара, если мозги у радиста есть, а радар в порядке.

«А может, говорит начальник рации, на другом-то судне, на том, которое гудит, так вот на том, говорю, судне, быть может, такие же, как мы, олухи на «стопе» стоят! Как они тогда могут из мертвой зоны выйти?» И они так вот обсуждали этот вопрос, пока Сонька спать не пошла...

Потом все выяснилось и трубу от Соньки отобрали. А она перешла на художественный свист. И еще все время пела «Замучен тяжелой неволей». А тут такой нюанс: дед Соньки у Котавского заместителем был по политчасти. И Сонька свистит, и все!..»

Если в чем нынешние моряки еще суеверны, чего не любят и не терпят на судах, так это свиста (свистом раньше призывали ветер в заштилевшие паруса, он вообще обозначает ветер). И вот Сонька усекла этот факт и свистела и днем и ночью во всю ивановскую, и доводила Фому Фомича и Арнольда Тимофеевича до полубомрачного состояния. Перед Мурманском старпом не только ходил по противоположному от Соньки борту, но и бегал

от нее вокруг трюмов — и тут такой нюанс: впервые в жизни потерял сон. А капитан Фома Фомич Фомичев как-то осторожно заметил, что «таким, значить, обслуживающим персонам из женского персонала нельзя сан-паспорт выдавать», на что он, Иван Андриянович, между прочим, сказал, что это они сами девку до такого свиста и вообще безобразия довели...

К концу нашего с дедом чаепития вернулся с берега капитан.

Жену Фома Фомич Фомичев не встретил.

На лбу шрам после автомобильной аварии.

Первые слова: «Рад очень, значить. Вдвоем-то полегче будет. Давно в Арктике не работали. Избаловались. Это я про супругу с дочкой — они избаловались. Дочка, Катька моя, на курорт рвется, значить, на Азовское море. Не пущу. Как бы из этого курорта, значить, не вышло бы аборта...»

Роста Фомич чуть ниже среднего. Одна треть Фоми-ча — ноги, а две трети — тулово. Ежели он в приспущенных штанах и в тапочках, то нижние конечности не превышают одной четверти всей его длины. Тулово сбито крепко: недаром у англичан драйвер обозначает и коногона.

Полночь. Конец первых путевых суток. Вернее, я захожусь в пути на этот момент десять часов тридцать минут. А кажется — уже неделя прошла.

До двух ночи просматривал грузовой план и другие документы по грузу. Потом заснул мертвым сном.

Утром отбываем на катере за спецпособиями.

У морвокзала встречаем жену Фомы Фоми-ча. Приехала не тем поездом, или напутали с телеграммой. Сидела на той же скамеечке, где я вчера ожидал подхода «Державино». Зовут Галина Петровна. Глаза грустные.

Фома Фомич отправляется с ней обратно на судно. А я — в Службу мореплавания Мурманского пароходства на обязательный инструктаж.

Комедия. Показывают кальку ледовой аэроразведки района к норду от Новой Земли — вот и вся информация. Нет. Еще вручают список фамилий, имен, отчеств капитанов линейных ледоколов и их дублеров.

Ясно одно — Карские Ворота и Ю-Шар забиты льдом наглухо и мы должны идти в Карское море, огибая мыс Желания с севера. . .

Деликатно напоминают, что балтийским судам разрешается пребывать в Мурманске не больше восьми часов. Оригинальное и достаточно суровое разрешение. Суть: уже в Ленинграде должен быть полностью готов к Арктике, и потому нечего тебе выклянчивать у мурманчан зимние шапки и водолазов для осмотра винтов. . .

Да, никого из старых товарищей я не успею встретить здесь.

Трансфлотовский шофер высаживает на улице Ленина. Перехожу ее и начинаю восхождение на крутую сопку к «Дому книги». Сразу за асфальтом улицы начинается пересеченная местность.

Сердце бьется и хвост трясется, когда одолеваю сопку и вхожу в огромный, абсолютно пустынный, современный «Дом книги». Пустынный не только потому, что покупателей нет ни одного, но и книг нет.

Вдруг — под слоем некосмической пыли — сборник «Судьбы романа».

Уношу его с собой. Среди авторов сборника Мишель Бютор, Колдуэлл, Клод Прево. И стенограмма дискуссии о судьбах романа в Ленинграде в августе шестьдесят третьего года. Я там был и мед-пиво пил. Правда, не потому, что меня туда пригласили. Меня с великолепной наглостью проводил и на заседания, и под конец на банкет один мой друг. Вероятно, из-за того, что ехал я в симпозиуме зайцем, ничего хорошего не запомнил. А от банкета осталось: итальянский романист (фамилия неизвестна) в «Астории», сильно под мухой, на спор прыгает через двадцать лестничных ступенек, прыгает удачно и потом пьет фужер водки за свою победу.

Мне такое итальянское беспутство нравится, и я аплодирую. Рядом Вера Федоровна Панова. Говорит, строго поджимая губы:

— Мне кажется, Виктор Викторович, вы забыли нашу первую встречу.

И я прекращаю аплодировать, ибо первую встречу не забыл. Ужасная была встреча. Вера Федоровна звала на беседу, после того как я попросил ее прочитать мой очередной опус.

— Во-первых, сядьте поплотнее, а то вы свалитесь, —

сказала Вера Федоровна, когда я, потный от страха, при- тулился на краешке стула.

И вот я уселся поплотнее. Вера Федоровна неторопливо и тщательно надела очки и уставилась в мой опус:

— Во-вторых. Это вы написали, здесь вот, страница шестнадцать: «Корова, которую купил отец, вернувшись с фронта, сдохла»? Вы это написали?

— Да, — сказал я и прыснул, ибо в молодости был смешлив. И ясно вдруг представил, что моя корова обороняла Москву и дошла до Берлина, а вернувшись с фронта, бедолага, сдохла. Вообще-то, мы с рождения знаем, что смех дело заразное, и, когда один хохочет, другие начинают улыбаться. Но Панова не улыбнулась. Она была полна строгости, суровости и только еще больше поджала губы.

Никакого юмора, если дело идет о святом! Правильно это или неправильно — вопрос спорный, вообще-то. Но не для Пановой. Что ж, человек не может быть одинаков всегда. Ведь сама Вера Федоровна призналась в последней книге, что отдавала должное живительной силе улич- но-трамвайного анекдота.

На симпозиумном банкете Вера Федоровна тоже ска- зала мне ядовитую штуку:

— Вы сильнее всего там, где не стараетесь быть обаятельным, то есть не кокетничаете.

Выйдя из книжного мемориала на мурманской сопке, я не удержался и прямо под открытым небом посмотрел именной указатель в «Судьбах романа». Начал, как вы понимаете, с «К». Меня там не оказалось. Джозеф Конрад есть, а меня забыли! Безобразие! Опять завистни- ки — вот и все! Или меня не помянули, ибо я на симпо- зиуме зайцем ехал? Смотрю на «П». Панферов Федор есть. Пановой — нет. И я утешился.

Сползаю с сопки, досматриваю по дороге к порту киос- ки «Союзпечати». В одном среди уцененной макулатуры обнаруживаю Щедрина: «Пошехонские рассказы», «Не- доконченные беседы». Трачу рубль и две копейки за три здоровенных тома. Нельзя сказать, что Салтыков у нас дорогое удовольствие. Наконец-то я его прочитаю. Пока знаю великого сатирика только через мужика, который прокормил двух генералов.

Добавляю к томам сатирика четыре плитки шоколада

«Сказки Пушкина». Пушкиным торгует мороженщица одновременно с эскимо.

Впереди в очереди стоит мальчишка лет пятнадцати, просит прикурить. Чиркаю зажигалкой. Он дымит и пропускает меня перед собой, говорит ломающимся баском, солидно: «Бери вперед, отец!»

Отвратительно, что оценка твоего возраста с внешней стороны и внутреннее самоощущение не совпадают. И потому следует старательно талдычить себе: «Не глазами на эту девушку. Она считает тебя старой перечницей...»

Теперь следовало навестить парикмахерскую — и я готов к арктической навигации.

К сожалению, полубокс не получается, ибо в парикмахерской у морвокзала обеденный перерыв.

Рейсовым катером на «Державино». Там кавардак. Путаница со сменой экипажа. Приезжают люди с разных судов. У троих не пройдена медкомиссия, у четырех нет справки по КИПам (кислородно-изолирующим приборам), нет печати на санпаспорте у четвертого механика... А приказ отойти до полуночи — кровяца из ушей, но исчезнуть из Мурманска этими, так быстро текущими сутками.

Фома Фомич Фомичев нервничает, трепыхается и все время повторяет, ища у меня моральной поддержки: «Мы, значить, не почту возим! Куда лететь-то, голову, значить, сломав?..»

Его супруга легла спать после дорожных потрясений.

На борту нет доктора. Забурился где-то в городе. Появляется под мухой. К моменту оформления отходных документов выясняется, что:

а) доктор первый раз в жизни на пароходе; б) первый раз идет в море; в) доктор сам не проходил комиссии в Ленинграде и вообще не имеет санпаспорта.

За полстакана спирта на него оформляется пассажирская судовая роль.

Получена вода, овчинный тулуп, бункер, пять шапок, пять теплых роб и две куртки на вате...

Фома Фомич показывает мне отходную диспетчерскую РДО для штаба на Диксоне. Там он указывает, что ужасно слабым местом судна (по устным данным прежнего капитана) является район борта справа у машинного отделения. Отговариваю давать такую РДО: не следует с места в карьер раздражать штаб сообщениями

о слабости какого-то борта, у какого-то «Державино», по данным какого-то капитана и еще до того, как мы увидели хоть одну льдинку, — в штабе ледовых проводок на Диксоне сейчас кутерьма куда больше и серьезнее нашей судовой; товарищи там сразу подумают о явной перестраховке и начнут потом относиться к «Державино» с подозрением и уничтожением.

Андряныч держится на отходе с олимпийским спокойствием. И мы опять чаевничаем, теперь в моей каюте. Конечно, и того и другого дергают по всяким делишкам, но это не мешает Андрянычу рассказать об отце Андрея Рублева, нашего матроса из Архангельска. Отец Рублева прославился еще с довоенных времен великолепным упрямством. В сороковом он служил действительную в северных краях. Мороз был сорок. Объявили форму одежды номер шесть: шапка обязательно с опущенными ушами. Папа нынешнего Рублева заявил, что ни один помор в такую тропическую жару опускать уши казенной из веревочного меха шляпы не станет, и отгулял увольнение не по форме. Прибыл из увольнения уже не в часть, а в госпиталь, с огромными пузырями вместо звукоприемников.

Погиб в войну еще глупее, но с каким-то чисто поморским, космическим спокойствием. Был матросом на транспорте. Шли с Исландии. Торпеда. Транспорт затонул за две минуты. Сосед архангелоса (так Ушастик зовет всех уроженцев Архангельска) по кубрику утверждал, что от взрыва Рублев номер один умудрился не проснуться. И сосед шестьдесят секунд потратил на то, чтобы его все-таки добудиться. Но признать факт потопления своего родного судна архангелос отказался, перевернулся на другой бок, обматерил соседа, закрыл голову одеялом — погиб вместе с судном. Легенда или быль — не знаю. Но хорошо, что сын чудака плывет с нами и мы будем делить с ним не одну ночь и не одну ледовую перемычку. Андряныч утверждает, что наш Рублев Андрей в точности повторяет своим космическим упрямством папу.

Под соусом всей этой травли стармех мне подсунул «Правила технической эксплуатации дизелей при плавании во льду». И ввернул о том, что при работе на мелководье, в шторм, с буксиром и на буксире судовые дизеля

ведут себя особенно. Намек я понял. И поблагодарил за предупреждение...

Прибывают лоцман и портнадзор. Шорох с ними и стенания обеих сторон. С помощью некоторой подмазки договариваемся, что наш отход они оформят двадцать третьим июля, а на самом деле отходим уже 24.07. 01.00.

НАЧАЛО ВЫЯСНЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ

В Кольском заливе штиль.

Солнце опускается только за самые верхушки сопок.

Три колена в Кольском заливе. И три раза псевдо-закатная солнечная кутерьма переходит с борта на борт.

По свинцу вод — розовые размытости. Гористо-сопочные берега на фоне закатных полыханий угольно-черные.

Знакомые мысы и названия. Тяжесть утесов. Нигде не чувствуешь так вес Земли, как при виде береговых гранитов, обрывающихся в воду. Ругань лоцмана — капитан порта изобрел для близкого родственника должность «лоцмана по загрязнению окружающей среды», но залив от этого не стал чище.

Лоцман о литературе:

— Чепуха. Нет хороших книг. Пишут те, кто не хочет работать. Легкие деньги — вот и пишут.

Проходим Ваенгу и остров Сальный, Полярный и Большой Олений. И над открывшимся морем Баренца видим низкое свободное солнце. Солнце в три часа ночи. По синему морю Баренца течет бело-холодное мерцание полночного светила. И я вспоминаю Ломоносова.

Ложимся на сорок шесть градусов — один длинный курс через все Баренцево море — на мыс Желания.

Растаял в тумане Рыбачий... Прощайте, скалистые горы...

Проходим Кильдин. Гляжу в бинокль на камни Сундуки. Страшные минуты пережиты там. Обидно, что куда-то запропастились документы, которые хранил после окончания следствия по делу о спасении нами СРТ-188.

...Искореженная сталь логгера, сползая с каменной подводной террасы, на которую он выскочил с полного хода в тумане, стонала и скрипела. Стоны и скрежет отдавались в пустых помещениях таким жутким эхом, что сразу вышибали из мозгов мысли о второй половине двадцатого, технического века, о международных конференциях по спасению человеческих жизней на море и таких гениальных придумках, как надувные жилеты, которые были тогда на вооружении.

Вокруг была тьма, волны, пена. Судно уходило в мокрую могилу кормой вперед; мы карабкались по уступам надстройки. И оказалось, что нужны только воля каждого, сила духа, владение дыханием, хладнокровие, расчет, умение превозмочь дурноту и тошноту и другие рожденные страхом ощущения; превозмочь их, оставаясь все время человеком, то есть заботясь о более слабом; отступить только убедившись, что позади не осталось никого; веруя в исполненный до конца долг и непрерывно ощущая приближение страшного, но чем-то уже знакомого, виденного, пережитого уже, быть может в кошмарном сне, то есть ощущая приближение смерти. И крик внутри: «О, так это и бывает? Нет! Только не со мной! Я еще буду рассказывать обо всем этом! Еще буду вспоминать все это! Нет, я-то не поскользнусь, нет! Кто угодно поскользнется и сорвется, но не я! На мне резиновые бахилы с нарезной подошвой! Я молодец, что не надел валенки! Резина, если давишь ею сильно и прямо, не скользит, и я не поскользнусь! Я еще буду все это вспоминать!» Но не всегда можно ступить прямо и сильно, когда лезешь по внешней стенке ходовой рубки и видишь, как волна первый раз хлестнула в дымовую трубу ниже тебя. Но видишь плохо, потому что ресницы смерзаются, руки коченеют, одна варежка потеряна, а сердце все чаще дает перебои, легкие в груди сдавлены страхом и усилием мышц, теснящих ребра. Легкие не могут вздохнуть, сердце зашкаливает, тогда слабнут ноги, им не помогает резина, скользит подошва по мокрой, обледенелой стали, гложет бессмысленный крик, пухнет череп, пальцы еще несколько мгновений цепляются за что-то, а дальше ты уже ничего не помнишь.

На мой рассказ о гибели СРТ-188 стармех Иван Андриянович выкладывает свою новеллу. И делает это без традиционного в таких случаях запоздалого юмора.

На буксире в Северном море обеспечивали перегон трофейного немецкого дока: «На поворотах слону хвост в нужную сторону заносили, нетактичная работа...»

Зима, тяжелый шторм, скисла машина, вода в МО (машинном отделении). Капитан неосторожно сказал при молодом матросе, что при крене в тридцать градусов на такой волне и при таких нюансах судно теряет остойчивость. Из-за этих неосторожных слов тот матросик сошел с ума.

Они все время смотрели на кренометр и ждали конца. А стрелку кренометра иногда заносит по инерции и за сорок градусов. Рехнувшийся маниакально стал стремиться убить старпома — бросился с пожарным топором. Трижды вязали и запирали в каюте, и трижды он вылезал, хватал топор и находил старпома — «шпиона и вредителя». Сдали в клинику в Ростове. А он выпрыгнул со второго этажа ночью, нашел судно и опять бросился на старпома. Тот стал заикаться.

Первый раз в спасательной новелле я слышу настоящий ужас правды. О таком и так моряки говорят редко.

Когда в разгар шторма у Андрияныча один из цилиндров двигателя начал цеплять металл юбки и кромсать его, то дед оттягивал и придерживал юбку цилиндра обыкновенной веревкой, а судно несло на камни, где уже разбилась землечерпалка и погибло двенадцать человек.

В Баренцевом море пока мертвый штиль.

И если судно и покачивается, то это как бы не на всей толще вод, а только на кожице океана.

И, возможно, поэтому наш драйвер, наш капитан Фома Фомич Фомичев, молчаливо выслушав наши жуткие воспоминания и тщательно обдумав их, неожиданно сказал:

— Эт все что! А вот у меня, значить, когда на моего «Жигуленка» автопогрузчик наехал и его на клыки взял и нас на крышу поставил, и не поставил, а, врать не буду, так, значить, и шмякнул в бетон, — так пока я без сознания пребывал, то кто-то из портовой охраны из багажника портфель упер: замечательный портфель, настоящей кожи, а там у меня рубашка лежала, в портфеле этом, мать его... Настоящая рубашка там хранилась — полотняная, не нерлон-перлон! Я б ему, суке! Я б ему, кабы он мне в руки попался, охранник этот!!

И здесь лицо Фомы Фомича сделалось здорово похожим на противотанковый надолб.

— Не так «Жигуленка» жаль, — продолжал Фома Фомич, потирая затылок, — как рубашку эту... Ну, тут, значить, вру: автомобиль, конечно, больше жаль. Однако за «Жигуленка» возмещение рано-поздно получу, а за рубашку что? Кукиш!

Самое странное, что если совсем честно признаться, то мне после гибели логгера, то есть среднего рыболовного траулера номер сто восемьдесят восемь не так было жаль судна, как погибшего с ним вместе нашего аварийно-спасательного имущества: «галоши-слон — восемь пар, мотопомпа шестьсот — две штуки, вельбот спасательный — один, ракетный пистолет «Веря» — один» и т. д. Правда, я так за это имущество переживал еще и потому, что чуть было за него статью не получил...

РДО: «АМДЕРМЫ 54645 1115 ТХ ДЕРЖАВИНО КОПИЯ ДИКСОН НМ КАШИЦКОМУ СЛЕДУЙТЕ ОБЫЧНЫМИ НАВИГАЦИОННЫМИ КУРСАМИ РАЙОН МЫСА ЖЕЛАНИЯ ТОЧКУ 7710/7130 ЛОЖИТЕСЬ ДРЕЙФ ОЖИДАНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ СЛЕДИТЕ ЧТОБЫ ВАШЕ СУДНО НЕ БЫЛО ОБЛОЖЕНО ТЯЖЕЛЫМИ ЛЕДЯНЫМИ ПОЛЯМИ РАЙОН ОЧЕНЬ ДИНАМИЧЕН ТЧК ПОДТВЕРДИТЕ=24/66 КНМ ВАКУЛА».

Среди синего моря отдыхает под полуночным солнцем ржий от ржавчины двухмачтовый рыбацок. Вокруг него правильным кольцом кружатся чайки — как белая грампластинка.

Рыбаки, верно, не слышат чаячьих криков, подумалось мне, оглохли от них, привыкли и теперь не слышат, не замечают... И я давным-давно не слышал чаячьего крика — сидишь в рубке, отделенный от вод, небес и морских птиц сталью и стеклом... Когда я последний раз слышал чайку, вернее, дал себе отчет, что слышу ее крики? И не вспомнить...

Ничего, полярные чайки отличаются повышенной крикливостью и меньшей пугливостью. И скоро я их услышу, и их гуано украсит иллюминаторы моей каюты...

25.07.19.00.

Вышли на видимость полуострова Адмиралтейства.

Солнце. Синь. Свежесть.

Как соединить нежную прозрачность с суровой тяжестью, свирель с грохотом горного обвала, акварель со сталью? Вот если можно соединить такие несоединимости, то получится впечатление от северных берегов Новой Земли.

Зализанные плавности ледников, сползающих с вершин гор, и обрывистые вопли береговых круч. Бесследно растворяющиеся в нежной голубизне вершины и четкость берегового уреза. И розоватость неуловимой дымки.

Ветер южный, три-четыре балла.

Весь день изучал инструкции по плаванию в Арктике, по борьбе за живучесть, по связи. Чем больше читаешь таких штук, тем страшнее. В этом и есть один из их смыслов: не забывай, парень, о серьезности дела, тебе порученного.

Позор, но я забыл многие обозначения, необходимые для быстрого чтения ледовых карт и калек авиаразведок. Остальные «нюансы», как говорит Андрияныч, вспоминаются легко и укладываются на нужные полочки в черепе аккуратно.

Боцман принес зимнюю шапку, чтобы содержимое черепа не остыло. Отличная шапка.

Ожидание приближения схватки со льдом. И, как всегда, хочется, чтобы опасное произошло скорее. Ход — тринадцать узлов.

«Приказ по т/х «Державино»

На основании должностной инструкции дублеров капитанов судов на время плавания в Арктических водах, утвержденной нач. пароходства 11.07.74 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

На время плавания на трассе Северного морского пути дублер капитана Конецкий В. В. обеспечивает безопасность плавания, непосредственно осуществляет управление и маневрирование судном при самостоятельном плавании во льдах и в караванах за ледоколом с 00.00 до 06.00 и с 12.00 до 18.00.

Капитан

(Фомичев)

С приказом ознакомлен:

Дублер капитана

(Конецкий)

24.07.75».

Собаچه время стояния — с полночи до утра — я предположил ему сам: он старше меня, плывет с супругой, переживает автокатастрофу и т. д.

Овчинный тулуп нам с ним положен один на двоих. Ну что ж, значит, в уже нагретый влезать будем, будем не только друг другу вахту сдавать, но и своим теплом обмениваться.

21.00 — НАВИП — два айсберга на курсе нашего следования в назначенную точку ожидания. Оба в четырех милях к северу от северной оконечности Новой Земли — от островов Большие и Малые Оранские.

Пока же только розовые от низких лучей солнца чайки качаются на ультрамариновой слабой волне.

В открытом море взгляд привыкает главным образом к горизонтальным линиям. Горизонталь горизонта, горизонтальное глобальное движение волн, горизонталь облаков и слоев тумана, даже полет морских птиц обычно сугубо горизонтален. И потому с особенной силой обнаруживается мощь и особая суть земли. Твердь организуется вертикалями: морщины горных ущелий, сползание ледников, обрывы и прибрежные камни — все сечет привычность горизонтальности и тем с огромной силой увеличивает эмоциональность прибрежно-морского пейзажа.

РДО: «БОРТА 04 178 СК46 26 1405 ВЕСЬМА СРОЧНО ВСЕМ СУДАМ СЛЕДУЮЩИМ ЗАПАДА НА ВОСТОК ВЫХОДИТЬ ТОЧКУ 7630/7230 ЭТОЙ ТОЧКЕ ЛЕД 2/4 БАЛЛА ДАЛЕЕ ДОСТУПНЫМ ГЛУБИНАМ ОБХОДИТЬ РАЙОН МЫСА ЖЕЛАНИЯ СЛЕДУЙТЕ НАЗНАЧЕНИЮ ТЧК ВСЕМ ПУТИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЛЬДИНЫ ТУМАНЕ СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ=КНМ ВАКУЛА».

Неужели всего трое с половиной суток назад я сидел на травке возле аэропорта?..

Все РДО (радиограммы), начинающиеся словом «борт», означают, что поступают к нам с небес, с самолетов ледовой разведки. «КНМ» в конце означает «капитан-наставник».

Фамилия летающего в небесах капитана-наставника настойчиво вызывает в памяти гоголевского кузнеца Вакулу.

Солнце над Новой Землей. Оно совсем белое, а берега бредут на его фоне понурыми призраками.

За утренним чаем разговор о роли возраста для капитанской удачи. Я шел Северным морским путем на восток первый раз в 1953 году штурманом. В 1955-м — ровно двадцать лет назад — капитаном малого рыболовного сейнера.

Андрьяныч утверждает, что у молодых меньше аварий. И действительно, тогда прошли на Камчатку все малюсенькие суда — около трех десятков, а среди капитанов не было никого старше двадцати семи лет.

Фома Фомич свою точку зрения утаивает,

Самый северный мыс Новой Земли не мыс Желания, а мыс Карлсена.

Обидная дутая популярность мыса Доброй Надежды (ибо самый южный в Африке — мыс Игольный) повторяется на Крайнем Севере. Бедный скромный Карлсен. . .

Спросил у старпома про приборку в каюте на минуту раньше, нежели увидел, что приборку уже делает дневальная. Позвал электромеханика чинить выключатель настольной лампочки, а она оказалась исправной. Два случая недостаточной выдержки.

Близко идет «Урюпинск».

Попутное или встречное судно в штилевом безбрежье океана кажется бесплотным мотыльком.

Получили первые факсимильные карты ледовой обстановки по данным аэроразведки. Эти карты так пропитаны йодом или какой-то другой химией, что нельзя потом трогать глаза.

Читал «Толкование Правил по предупреждению столкновения судов» А. Н. Коккрофта. Перевод с английского капитанов дальнего плавания Брызгина, Володина, Факторовича под редакцией Николая Яковлевича Брызгина.

Есть такое замечание:

«Все лица, которые имели непосредственное отношение к любой аварии на море, должны помнить о том, что

их могут вызвать в качестве свидетелей в суд, который может состояться спустя несколько лет после происшествия. Они могут подвергаться перекрестному допросу, и если не смогут припомнить многое из того, что произошло, то окажутся в глупом положении. Поэтому при первой возможности следует сделать подробную запись. Следует принимать во внимание, что личная запись, представленная свидетелем в суд, может быть использована как доказательство любой из участвующих сторон...»

«Лорд Хэршелл в 1893 году заявил... Виконт Финлэй в 1921 году заявил...» — занятно встречать такие обороты.

Занятно и то, что и путевые записки, даже если автор привирает в них, через десяток лет уже становятся доказательствами для любых сторон истории, ибо даже ложь есть истина исторического момента.

12.00—18.00. Как раз все мои шесть часов ушли на форсирование первой перемычки.

Густой черный туман при солнце и штиле. Лед толщиной до двух метров, три-четыре балла, большие поля старого льда. В самый напряженный момент прилетел самолет, и мы вышли на связь с ним на первом канале «Акации» и мило побеседовали с товарищем капитаном-наставником по ледовой проводке Виктором Семеновичем Вакулой. Он прилетел к нам из Амдермы, оглядел поле боя и дал координаты точки, куда мы и последовали, тыкаясь в поля и выворачиваясь между ними.

Бежевые, толстые, брюхатые, теплые нерпы или тюлени плюхались со льдин в малахитовую воду при нашем чухающем приближении. Разнообразные птички ныряли и прыгали в штилевой водичке.

И все было привычно и мило.

Кроме двух минут, когда мы не смогли вывернуться и дали «полный назад», но все равно пхнули черное ледяное поле в поддых, и оно сразу дало нам сдачи. Но мы не обиделись, ибо все так и положено.

Итак, пусть маленькая и слабая, но первая перемычка позади.

Это, конечно, не настоящий лед — как бы обнюхивание, но бабки подбить следует.

Начнем с «Державино»

Крутится отлично, чуткая лошадка и добросовестная. Плох обзор. Он плох даже с крыла мостика, не говоря о том, что с центрального окна ходовой рубки вообще ничего вперед не видно. Мощная мачта и две мощные к ней подпорки плюс мощная стрела для тяжеловесных грузов — все это вместе не дает возможности рулевому видеть прямо по курсу ровным счетом ничего.

Да и нам тяжело. Когда шофер управляет автомобилем, сидя слева или справа от оси симметрии, то это на маленьком автомобиле и на земле. Управлять стометровой (высота Исаакия с крестом вместе) лайбой, вертеться среди льдин и имея возможность глядеть вперед только с краешка мостика, не очень-то удобно.

Немного привыкнем, как привыкает шофер, пересевший с малолитражки за баранку КРАЗа. Но до конца, до полного удобства и уверенности тут не привыкнешь. И некоторые крепкие слова в адрес корабелов-проектировщиков на языке крутятся.

Тетя Аня (Анна Саввишна) — наша буфетчица

Колорит в чистом виде: «Ране дефки юпки насили, а коли в бабы выйде, так сарахван, а ноне?»

Очень добрая и славная. Ей только-только пятьдесят, но считает себя этакой погибшей уже для вселенной и человечества девой.

Главный бзик тети Ани в том, что панически боится насилия. Широко известно, что на судах, где она работала, ее якобы пытались изнасиловать, но пока она выходила сухой из этой ужасной воды.

Имеет кота Ваську, кастрата. Раскормленный, черно-белый, как гусеница. К коту испытывает симпатию Арнольд Тимофеевич Федоров. Ей-богу, у старпома особое отношение и к хозяйке. И это интимно-особое он переносит и на кастрированную гусеницу.

Давно существует отличительный признак для определения начала сумасшествия моряка — он стучит в дверь собственной каюты, прежде чем в нее войти. Мне кажется, что на почве застарелой девственности тетя Аня иногда близка к этому состоянию.

Ее рефрен: «Надо сало кушать — организму очищает!»

Бессребреница. Обязанности, дела и всю посуду приняла у Соньки за пять минут, ничего не считая и не пересчитывая.

Ребята утверждают, что Сонька возрыдала и сама выдала тайны нехваток: и сколько простыней рваных, и сколько графинов разбито.

Внешняя повадка такая. Переступить порог кают-компания не может прямо и по-человечески. И с миской супа и без миски Анна Саввишна переступает порог, широко качнув над порогом бедрами, как старомодный пилот на «У-2» крыльями; одновременно она еще вздергивает голову высоко и своенравно — мол, вы! которые здесь сидите! я вам, бездельники и дармоеды, насильники и фулиганы, дам прикурить!

Короче говоря, в момент пересечения порога кают-компания тетя Аня смахивает на клодтовских коней с моста ее имени в Ленинграде (имею в виду Аничков мост). И каждому командиру, сидящему за столом, становится ясно, что если он полезет ее насиловать, то тетя Аня при первом удобном случае выльет претензионщику за шиворот миску горячих кислых щей. И не миновать ему этой кары, как и сковородки затем в аду.

Начало насильнической мании тети Ани, по данным Ушастика, таково. Любому флотскому человеку известна мазь «слоанс». Это жутчайшей жгучести и ядовитости мазь. Существует «слоанс» и в виде жидкости. На флаконах и на картонной упаковке изображен один и тот же мужчина с мощными черными усами. Моряки считают его изобретателем и зовут Трейд Марк. На инструкции к мази изображен во весь рост еще и голый мужчина. В том полном смысле слова «голый», что на нем и кожи нет — только мышцы. И к каждой мышце нарисована стрелка и название болезни. Чтобы вы, узнав название своей хвори, знали, куда «слоанс» втирать. Если, например, эта жуткая мазь попадает вам в глаз, то считайте, что вы его больше не увидите. Излечивает мазь от массы безнадежных болезней, ибо через минуту после начала втирания ее вы начисто забываете обо всех болях, кроме одной — от мази.

Еще на заре морской карьеры наша тетя Аня предприняла попытку вылечить легкую поясничную невралгию «слоансом». Обладая, как я уже говорил, врожденной ши-

ротой природы, молоденькая Анечка подливки не пожалела и плеснула на поясицу с русским размахом.

Дело было поздним вечером в океане, а жила Анечка в каюте одна. Потому обратиться за экстренной помощью, когда снадобье подтекло ниже ватерлинии, не могла ни к кому.

Да и вообще положение Анны Саввишны было, по образному выражению Ивана Андрияновича, «пикантный нюанс».

Пометавшись по каюте, поподвывав, смочив всякие места водой из умывальника, тетя Аня открыла иллюминатор, влезла на стол и высунула обнаженную корму на ветер, полагая, что час поздний и никого на ботдеке, куда выходил ее иллюминатор, не будет, а океанский ветер хоть немного облегчит борьбу с адски жгучими усами мистера Марка.

На ту беду, лиса близехонько бежала... Была это, правда, не лиса, а капитан. И никуда он не бежал, а прогуливался по ботдеку, так как страдал весьма закономерной для моряков болезнью, имеющей причиной малоподвижность. И капитан преодолевал болезнь променадом. Он, конечно, знал, что экипаж все про все знает, включая его хворь. Именно поэтому картинка в иллюминаторе подействовала на капитанскую психику особенно угнетающе. Он усмотрел в ней гнусный и подлый намек. И шлепнул по картинке с полного размаха.

Именно с тех пор, утверждает Иван Андриянович, тетя Аня никогда не плавала на судах, где у капитана есть усы. Тут такой нюанс: у того капитана, как и у мистера Трейда Марка, были могучие черные усы. И именно после того прискорбного случая, как утверждает Иван Андриянович, у нее и началась мужебоязнь.

Не следует забывать, что все анекдоты смешны только уже после того, как мы их переживем, — это заметила мадам Тэффи, кормилица Михаила Михайловича Зощенко (по его собственному признанию). И потому ни я, ни Иван Андриянович не смеялись, когда обменивались информацией и наблюдениями по поводу тети Ани.

Рублев, сын Рублева

Матрос первого класса. Год рождения 1944-й — отец начал его перед уходом в последний рейс. Учится заочно в средней мореходке в Ленинграде. Великолепный руле-

вой и вообще моряк, но упрям и своенравен — и тем опасен.

Можно ожидать, что, заорав: «Больше право!», ты вдруг увидишь, что судно забирает больше лево, ибо архангелос с тобой не согласен и считает, что ему, как рулевому, лучше знать, куда ехать, и вообще он один понимает «Державино» до глубин лесовозной души.

Кажется, Фома Фомич так обрадовался тому, что я сам предложил стоять с ноля до шести не из-за того, что может спокойно ночь спать, а потому, что с архангелосом не будет иметь контактов.

Рублев сделал в памяти Фомы Фомича прободную язву.

Делал он ее так. Стояли они однажды на якоре далеко от берега. Там сильные приливо-отливные течения. Рублев на шлюпке с подвесным мотором шел с берега, куда был послан за кинофильмом. Уже близко от судна заглох мотор. Фомич, который наблюдал за мореплавателем с мостика, заорал, чтобы, значить, Рублев разобрал весла и догребал к борту старинным и испытанным способом. Рублев, сын Рублева, категорически отказался в разгар научно-технической революции пачкать руки веслами. И принялся копаться в моторе. Пока он пачкал руки машинным маслом, нашел туман, и течением шлюпку унесло. Связались с берегом, объявили поиск. В море вышли катер, буксир и большой охотник. Три часа ищут, четыре, пять — нет Рублева. Ветерок, конечно, крепчает и все такое — по всем подлым морским законам. Ясное дело: перевернулась шлюпчонка. Или — такое предположение тоже было — попал под браконьеров и они его пришили, как нежелательного свидетеля.

Ночь Фома Фомич метался по мостику, терзаемый мыслью: сообщать в пароходство или еще, значить, подождать?

Под утро — стук мотора — идет из-за мыса Рублев. Ему на пересечку бросается большой охотник, палит от радости в небеса из тридцатисемимиллиметровки, подает Рублеву буксирную веревку. Тот категорически от помощи отказывается, ибо знает международное морское право: «Если бы я тогда у них буксир принял, то за спасение в открытом море платить бы пришлось, а так — фиг им: «Без спасения — нет вознаграждения». . .» (Закавыченные слова когда-то даже стояли эпитафией к «Договору

о спасении», и все это действительно так, но никто ничего, конечно, за спасение Рублева братъ бы не стал, и все это полная чушь, то есть характер. . .)

Оказалось, с мотором шлюпочки был порядок, а полетела шпонка, крепящая винт; Рублева течением унесло в тумане к чертовой бабушке, аж за Третий остров, но до весел он все равно не дотронулся. Там, у чертовой бабушки, на Третьем острове, упрямый трескоед нашел охотничью избушку, в избушке кусок стальной проволоки, заменил шпонку, расклепал ее каким-то чудом, закрепил винт и своим ходом вернулся на родное судно.

Меня удивил тем, что часто и к месту цитирует майора Горбылева, то есть читал (и крепко читал!) Щедрина, которого я купил за рупь в Мурманске и только начинаю изучать на старости лет.

Во всех несчастьях своих и мира винит тещу. Теща из глухой рязанской деревни. Отца тещи зарубили на деревенской свадьбе. Мать тещи сошла с ума от горя, задушила сына и погналась за шестилетней тещей Рублева. Та удрала. И Рублев все жалеет и жалеет об этом факте, ибо этот факт для него прискорбный. Еще Андрей утверждает, что именно его теща развязала первую мировую войну.

У него удивительный талант имитатора. А может, это называется чревоуещательством. Он говорит голосом любого члена экипажа и орет воплем любого зверя.

Когда мы пихнули льдину в перемышке, раздалось плачущее причитание тети Ани:

— Ах, тошенька! Ах, лиханька! Раз молодые што папала тварят, так и старые бесяца!

— А вы что тут, черт побери, делаете?! — заорал я на тетю Аню, носясь с крыла на крыло мостика. — Брысь отсюда!

Но она не убралась, ибо через минуту опять запричитала:

— Самалет ляти! Впяряди прямо! Ах, лиханька! Ах, тошенька!

Действительно, впереди вынырнул из туч самолет с кузнецом нашего счастья Виктором Семеновичем Вакулой. И только тогда, оглядевшись, я понял, что тети Ани нет, а есть этот подлец имитатор, который стоял на руле с совершенно бесстрастной физиономией и наглухо закрытым ртом.

Второй помощник Дмитрий Александрович Строганов

Младше меня лет на пять. По диплому — капитан дальнего плавания, работал старшим помощником на крупных судах, включая пассажиров. Где-то у него удрал — дезертировал с судна — боцман. И Саныча «смайнали», как говорится на морском языке о тех, кого понизили в должности.

Работать в паре с таким моряком спокойно и приятно: за битого двух небитых дают! Он с сильной сединой, высокий и красивый. Мне кажется, что мы встречались. И это «кажется» мучает, как застрявшее в зубах волокно говяжьей жилы, когда нет ни зубочистки, ни спички...

— Трудно после старпома опять грузовым помощником работать? — спросил я его. Дело не о психологии шло, а о самой работе.

— Нет, — сказал он. — У меня хорошая память. Не мозг в голове, а запоминающее устройство. Хотите, скажу цены в Дакаре на семидесятый год? Пятьдесят американских долларов — шестнадцать тысяч местных франков. Это заработок крестьянина за год. Бутылка импортного датского пива — полтора американских доллара. Сто грамм арахиса — двадцать франков.

— Почему именно эти цифры назвали?

— Не могу видеть голодных. Скажите, как может прожить крестьянин на пятьдесят долларов в год? Знаете, тот, кто в Сенегале имеет барана, по-нашему имеет как бы «Москвича» последней модели...

Старший помощник Арнольд Тимофеевич Федоров, он же Спиро Хетович, он же Степан Разин

Из шести вахтенных часов два я провожу с ним.

Ловлю себя на том, что боюсь писать внешность Арнольда Тимофеевича. Рука не поднимается. Боюсь, не смогу быть отстраненным при описании, объективным.

Есть мужчины, у которых плечевой пояс, сама спина, поясница и зад представляют одну плоскость, а от этой идеальной вертикальной плоскости отходит под определенным углом к горизонту длинная шея, а на шее висит голова с редкими волосами сивого цвета. У подобных

мужчин нижняя половина тела напоминает четырехугольную арку Колизея, ибо ноги втыкаются в туловище на значительном — сантиметров в пять — расстоянии одна от другой. Сократить это расстояние никакой фасон и покрой брюк и никакой портной не в состоянии.

Колизеевскую арку имеет и Тимофейч.

При обострении ледовой обстановки моментально укоркивает с мостика в штурманскую рубку.

Когда ситуация разряжается, возвращается и деловым тоном докладывает: «Прошли шесть миль!» (Это он рассчитывал среднюю скорость.) Или: «Нанес по «Извещениям мореплавателям» новую глубину в проливе Матиссена у островков скалистых. Четыре метра глубинка, а ее только обнаружили! Вот и работай тут!»

Я: «На кой ляд вы носитесь с глубинами возле островков скалистых, если мы там и близко не будем? Не знаете, что корректура карт — дело третьего помощника? Еще раз убедительно прошу не покидать мостик и следить за льдом с правого крыла».

Отскакивает от него. Страх? Но страх чего? Ответственности? Или глубинный, всепричинный, поедающий душу, возрастной?

Кроме «Спиро Хетовича» по судну бродит и еще одна данная ему кличка: «Разин». Эта дана ему на контрапункте. Ничего бессмысленного морячки на языки не пускают, хотя внешне иногда кажется, что в их трепе полная чушь... Что прямо противоположно Степану Тимофеевичу Разину? Трус. И тогда за Арнольдом Тимофеевичем надо глядеть в четыре глаза — не по Московскому водохранилищу плывем...

Пятьдесят семь лет. Бывший военный, давно получает пенсию капитан-лейтенанта. Служил в гидрографии на Севере в промерных партиях. Вероятно, отсюда недоверие к любой глубине на карте. «Я знаю, как их меряют!» — говорит Арнольд Тимофеевич с многозначительностью посвященного человека. И ясно делается, что сам он мерил глубины отвратительно. И потому не верит ни одной на карте.

Главнейшее удовольствие для Арнольда Тимофеевича — посеять сомнение и поднять переполох. А на море существует закон, по которому каждый судоводитель обязан прислушиваться и как-то реагировать на высказанное другим сомнение и опасение в чем угодно.

И вот про такой закон Арнольд Тимофеевич сладострастно помнит. Ну вот, к примеру, везут автокраны на палубе, и в море автокраны покачиваются, ибо они, естественно, на рессорах. И тут старпом замечает, что у автокранов есть четыре штатных домкрата, но эти домкраты не опущены. И сразу он подсовывает сомнение капитану в том, что качания автокрана опасны и надо обязательно опустить домкраты. И вот выгоняются на палубу люди, и начинают изучать устройство автокрановых домкратов, и пытаются опустить их, но машины стоят тесно, и домкраты мешают друг другу опуститься. И тогда начинают вырубать чурки и вбивать их на упор под краны и т. д. . . . А ведь автокран для того и существует, чтобы качаться на своих рессорах по самой ужасной проселочной дороге. И крану и судну от качаний автокрана ничего не будет, но. . . а вдруг? И люди уродуются, а Тимофеевич счастлив — он заметил значительное, он проявил знание и предусмотрительность, он — на месте! И вот, чтобы доказать самому себе и другим, что он на месте, Арнольд Тимофеевич ищет, ищет, ищет, где бы высказать опасение, посеять сомнение, — и наслаждается, если найдет.

Жена старпома Арнольда Тимофеевича (Разина, Спиридоновича) давно неврастеничка и психопатка. На берегу в родном порту он домой не ходит. Имеет сына, с которым в «политическом» конфликте. Имеет внука, которого, конечно, любит.

Стармех Иван Андриянович старпома терпеть не может. Их каюты рядом, и каждый щелчок ключа в дверях Разина бьет по ушам стармеху, а я уже говорил, что человек он ушастый, — иногда напоминает мне слоненка: сам маленький, а уши большие. Старпом же щелкает ключом непрерывно, ибо запирает каюту, даже выходя к третьему штурману за кнопкой или скрепкой.

Второй механик Родниченко Петр Иванович

Кое-какую информацию получил о нем от своего друга Ниточкина. Они когда-то вместе плавали.

«Вполне созревший фрукт научно-технической революции, — сообщил мне Ниточкин, когда прослышал, что я получил назначение на «Державино». — Знает дело и современный мир. Был стопроцентным технократом, уже

когда плавал у меня четвертым механиком. Усвоил, что подделка наукообразности под диалектику легко вводит окружающих в нужное тебе заблуждение. Помню, отвезили мы наследников в пионерлагерь. И возвращались из Рождествено на Сиверскую, уставшие конечно, в дачном автобусе-трясучке. Успели забраться первыми и уселись на отдельном заднем сиденье. А вокруг набилось с полсотни дачных женщин с авоськами, бидонами и мешками. Положение стало пиковым: сидеть — морально тяжело, а физически — опасно. И вот он, друг-блондин, вдруг хватает меня за рукав и орет: «Коллега, если смещать магнитный пучок по оси ординат и взять интеграл от плюс до минус бесконечности, то можно добиться смещения географического полюса, как по «а», так и по «це»! Если же дифференцировать, введя постоянную Больцмана. . . Ты меня понял?» Вот так он орал, мой четвертый механик, и тряс меня за плечо.

Вокруг мрачно и угрожающе дергались и качались полсотни дачных женщин, и ничего не оставалось, как заорать в ответ: «Нет, коллега! Нет! Ты не прав! Надо повернуть постоянную Больцмана по оси абсцисс!..» — «Тупица! — заорал он мне — капитану! — и понесся дальше: — Девиация мягкого железа, измеренная на уровне малой воды методом Ландау, дает возможность обойтись без закона Бойля и Мариотта, смещая постоянную Больцмана на «це квадрат». . .»

Минут через десять самая вредная и дошлая баба все-таки поставила ему на плешь бидон с молоком, но он этого как бы и не заметил и продолжал сомнамбулически орать свое. Еще через пару минут другая дамочка все-таки рушится на повороте мне на колени. И ничего не остается, как с обновленной силой взвыть: «Ты прав, старик! Из уравнения Пуассона и кривой Гаусса логически вытекает вакуум Нобиле, а если разложить их всех в ряд, то можно обойтись и без дифференцирования. . .»

Так мы проехали около часа и вылезли живыми, но я психически не совсем здоровым, потому что давным-давно выдохся и бормотал какую-то элементарщину, что, мол, достаточно извлечь кубический корень из Метагалактики — и все в мире станет на место. . . Да, Витус, народ науку уважает, хотя и знать не знает, куда она его ведет. Главное — она ведет».

Окромя вышеизложенной информации про второго механика Родниченко мне известно, что он спас кота тети Ани. Судно поставили на фумигацию, то есть накачали в какой-то зерно-семенной груз смертельного газа, и экипаж покинул пароход. И вдруг выяснилось, что Васька не эвакуировался. И перезревший плод НТР нацепил противогаз, облазал судовые закоулки с ручным фонариком, нашел Ваську и выволок на свет божий. На мой вопрос, что было в этой операции самым отвратительным, Петр Иванович сказал, что самое отвратительное — невозможность и бессмысленность ругаться, когда на тебе намордник. . .

Ну, а теперь о главном герое и нашего рейса, и моего повествования. О капитане «Державино» Фоме Фомиче Фомичеве.

Ему придется посвятить всю следующую главу. Она представляет собой, говоря научным языком, контаминацию. Слово это латинское. Обозначает оно смешение двух или нескольких событий при рассказе, вкрапливание одного события или литературного произведения в другое. Для лингвиста же слово это обозначает возникновение нового выражения из двух частей или нескольких выражений. Например, неправильное выражение «пожать удел» есть контаминация двух выражений «получить в удел» и «пожать плоды».

Ядовитая девица Соня Деткина придумала для некоторых героев из экипажа теплохода «Державино» определение — «нудаки». Это есть контаминация двух слов: «нуда» и «дурак». Такой контаминации и сам Щедрин бы позавидовал.

Вообще-то, я всей этой книге хотел дать название «КОНТАМИНАЦИЯ». Отговорили. Литературно, мол, манерно, претенциозно, выкаблучивание; не очень образованные читатели с «компиляцией» будут путать, и так далее.

Начать же книгу хотел как раз с той главы, которая сейчас последует. Опять отсоветовали. Легкомысленно для начала, пустой треп и не без безвкусицы; будет отпугивать утонченного читателя грубостью некоторых выражений. А по мне: пусть отпугивается. . .

Но, с другой стороны, вся книга дневниковая. Почему и зачем? А потому, что Чехов сказал: «Нужно, чтобы для

читателя. . . было ясно, что он имеет дело со знающим писателем».

Вот мне и приходится еще раз предупредить вас, читатель, что масса истинных деталек, и черточек, и происшествий, которые на самом деле были и случались, заложенная в книгу, превращается уже в так называемое в логике СОБИРАТЕЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ, то есть в совокупность, которую следует рассматривать как такое целое, которое имеет уже совсем свои особые свойства, во все даже иногда отличные от свойств составляющих элементов. Потому утверждения и угадывания, относящиеся к совокупности, не могут быть отнесены к этим документальным деталям, черточкам и происшествиям.

ФОМА ФОМИЧ В ИНСТИТУТЕ КРАСОТЫ

1

Фоме Фомичу Фомичеву снился оптимистический сон. Назвать сновидение можно было бы «Куда я еду?». Снилось ему дочка Катенька в трехлетнем возрасте. Как она впервые села на трехколесный велосипед. И поехала, но, как рулить, не знает и не понимает. И вот едет Катенька прямо в стену дома и кричит: «Куда я еду?!» Но все крутит и крутит ножками. Вполне бессмысленно крутит, но крутит и — бац! — в стенку.

Фома Фомич во сне рассмеялся, разбудил смехом жену Галину Петровну, она разбудила его, он хотел рассказать супруге про сон, но она слушать не стала и выгнала его досыпать на веранду.

Проснувшись утром на веранде от птичьего гомона, Фома Фомич с приятностью вспомнил ночной сон, а затем точно установил, что вчера утром шею мыл. Поэтому принял решение нынче ее не мыть. И по всем этим причинам день для Фомы Фомича начался безоблачно.

Только не посчитайте Фому Фомича нечистоплотным человеком. Он, к примеру, глубоко уважал общественную баню.

Кто-то из великих наших мыслителей заметил, что обычай русской бани есть гораздо более замечательное историческое явление, нежели английская конституция, ибо идея равенства удивительно в ней, в нашей бане, выдержана. Так вот, Фома Фомич умел баню любить и что такое «легкий пар» понимал со всеми тонкостями, являясь, таким образом, демократом мирового класса.

Но ванну и холодную воду (на даче не было теплой) Фома Фомич недолюбливал. Нелюбовь эта проистекала от одного из героических поступков Фомы Фомича, о котором рассказано будет ниже.

Возможно, давнее героическое происшествие обусловило и еще одну странность Фомы Фомича — во все времена года он носил кальсоны. Но последняя странность может быть объяснена и строгостью таможенной службы. Лет двадцать назад таможня свирепо пресекала ввоз в СССР гаруса и мохера клубками, то есть такого мохера, который продавали в инпортах на вес. И вот для того, чтобы обойти таможню по кривой, Фома Фомич научился вязать. И вязал из гаруса и мохера (в свободное от вахт и политзанятий время) нижнее теплое белье, то есть кальсоны, трусы, плавки и фуфайки.

В порту прибытия он спокойно, с совершенно чистой душой, надевал три пары собственноручно связанных кальсон и всего другого, затем без всякой нервотрепки проходил досмотр и покидал территорию порта.

Дома, на твердой суше, Галина Петровна распускала кальсоны на их составляющие, сматывала обратно в клубки и реализовывала среди знакомых дам.

И вот так — совсем незаметно для самого себя — Фома Фомич втянулся уже и в постоянное ношение кальсон.

Любуясь с веранды видом осеннего цветника, буйствующего после недавнего доброго дождя, Фома Фомич машинально и уже в который раз отметил про себя, что лупинусы растут здесь даром, а у метро в городе их продают по двадцать копеек штука. Эта мысль тоже была принята. И приятно было привычное легкое щекотание гарусных, собственноручно связанных кальсон, когда Фома Фомич их натягивал на крепкие белые ноги.

В ближайшем будущем ноги должны были покрыться стойким загаром — Фома Фомич загорал на курортных пляжах густо.

И только змей-горыныч на правой ляжке неприятно кольнул хозяина напоминанием, что нынче он едет в Институт красоты, где ему придется навеки расстаться:

1. С когтистым орлом (правый бицепс).

2. Со спасательным кругом, на котором в весьма неприличной позе висела головой вниз и задом вперед то ли нимфа, то ли русалка (грудная клетка — от соска до соска и от сосков до пупка).

3. Со змеем-горынычем, который уже сорок один год пытался дотянуться раздвоенным жалом до коленной чашечки правой ноги.

4. И с разной чепуховой мелочью — якорьки там и сердца, пронзенные кинжалами.

Все это были глупости тяжелого и далекого отрочества. К картинкам Фома Фомич давно привык, не обращал на них внимания, так же как и его жена, дочь и медперсонал бассейновой поликлиники, где Фома Фомич ежегодно проходил медкомиссию.

И вот...

... Господи, до чего одинаковые словечки говорят молодые хорошенькие дочки состоятельных отцов, когда начинают капризничать!

— Гутен морген, папуля! Какой ты сегодня красивый! Прямо Эдуард Хиль!.. Папульчик, я тебя люблю безмерно, но... Ты меня прости, но... Папуль, я буду говорить прямо... Там, в Сочи... возможно... ну, будет один молодой человек, и, прости, папуль, я не хочу, чтобы он видел твою эту, ну, на груди, которая в круге... Мы будем на пляже, и... ты меня понял, папульчик ты мой чудесный...

Фома Фомич вышел в капитаны из семейства железнодорожного рабочего со станции Бологое Октябрьской, а в прошлом Николаевской железной дороги. Он был фезеушником в сорок втором, солдатом в сорок третьем, ефрейтором в сорок четвертом, сержантом на крайнем северном фланге в сорок пятом и сорок шестом. Затем он преодолел среднюю мореходку, вечерний университет марксизма-ленинизма, курсы повышения квалификации

командного состава торгового флота, еще один университет и еще одни курсы.

Кто из молодого, длинноволосого поколения думает, что преодолеть все это — раз плюнуть, пусть сам попробует!

Отпустить дочь в первый ее бархатный сезон на курорт одну или с подругой (Галина Петровна жару не переносила по причине гипертонии) Фома Фомич и помыслить не мог.

— Поедет, значить, на курорт, а привезет усложнение ситуации во всей нашей династии, — сказал Фома Фомич в минуту откровенности супруге.

На просьбу дочери о сведении на нет татуировок Фома Фомич ответил не сразу. Он никогда не торопился с ответами и решениями.

— А где это, ну, значить, русалочку мою ликвидировать? — спросил он дочь через недельку.

— Что «ну», папуля? — рассеянно переспросила дочь, примеряя перед зеркалом мини-юбочку, которую Фома Фомич своими руками вынужден был привезти ей из вольного города Гамбурга.

— Тебя ясно спрашивают! — рявкнул Фома Фомич, раздраженный зрелищем мини-юбки на своей Катеньке (на других молодых особах они его раздражали меньше). — Где теперь с этой пошлой пакостью борются?! — заорал Фома Фомич, употребив и несколько крепких слов.

Катенька — интеллигентка, так сказать, уже во втором поколении, сдающая на пятерки экзамены за первый курс Текстильного института (за что ей и был обещан бархатный курорт), — заткнула пальчиками ушки и закрыла глазки. Папулина стрельба тяжелыми снарядами ее не пугала, но шокировала.

— Перестань, папка, права качать! — сказала интеллигентка второго поколения. — Поедешь в Институт красоты. Это на бульваре Профсоюзов, возле площади Труда, — и с пленительной улыбкой открыла глазки и вынула из ушек пальчики.

И от этой пленительной дочерней улыбки по лицу Фомы Фомича скользнула такая двусмысленная ухмылка. Дочь напомнила ему супругу в юном виде в первый после-свадебный год.

Да, было в такой ухмылке Фомы Фомича что-то от сатира.

Тем более что и некоторыми постоянными чертами лица он смахивал на Сократа. Кроме, конечно, лба.

Известно, что Сократ был из простых людей, имел лицо крестьянское, нос картошкой, а по свидетельству вечно пьяного Алкивиада, похож был то на Силена, то на сатира Марсия. Так вот, если обрить с Сократа бороду и усы да приплюснуть ему лоб до среднечеловеческого уровня, оставив нечто от Силена и сатира, то очень близко получится к Фоме Фомичу Фомичеву: был в нем сатир, был!

Вы, конечно, понимаете, что никакой Сократ даже в ранней юности не стал бы выкалывать себе от сосков до пупка нимфу, а тем более не стал бы ее, на старость глядя, уничтожать; но на какие только сравнения и параллели современный писатель не отважится, чтобы точнее и зримее донести до читателя образ и облик любимого своего героя!

2

Одевшись в темный костюм (сразу после завтрака он решил ехать в город в Институт красоты), Фома Фомич навестил интимный уголок дачного участка. И там, под росным кустом уже отцветающей калины, минут пять обдумывал все детали предстоящего дела. Например: стоит или не стоит сунуть докторше пачку жевательной резинки «Нейви татто»? Жвачка, вообще-то, была бы в жилу. Она американского производства, и ежели наслюнить ее обложку и прижать к телу, то отпечатается вроде как татуировка — пошлый, ненастоящий орел или фрегат под всеми парусами. А ежели потом плюнуть на тело и потереть платком, то вся пошлость легко исчезает.

На завтрак супруга подала отварной картошки со сметаной. И Фома Фомич покушал завтрак с удовольствием и аппетитом.

Катька, конечно, к завтраку опоздала; вышла, зевая и потягиваясь, сказала: «Гутен морген, предки!»

По радио передавали что-то о спорте и Гренобле.

Дочка уселась в качалку, взяла яблоко и спросила:

— Папуль, а Гренобль красивый город?

Фома Фомич сказал, что Гренобль город небольшой, даже просто маленький.

— А у тебя окна в отеле куда были? На Альпы? — спросила дочка.

— А я и не помню, — признался Фома Фомич, подумав при этом, что самый замечательный гальюн в ихних отелях хуже его будки под калиной.

Поблагодарив супругу за завтрак, Фома Фомич отправился по росной траве в гараж.

Автомобиль он приобрел давно, но в силу мокрой профессии ездил мало. С одной стороны, это было хорошо, потому что «Жигули» выглядели новенькими. С другой стороны, это было плохо, потому что Фома Фомич ездил неуверенно и даже иногда с большими страхами. Но все коллеги вокруг, имеющие дачки и дочек в Лахте, автомобилями обзавелись и сами на них ездили. И Катюша доталдычила его — благомысленного отца семейства — до таких чертиков, что. . .

Первым препятствием был выезд из гаража — очень узкий, по причине окружающих гараж труб большого диаметра. Затем ворота, которые в этот раз Фома Фомич миновал удачно и даже в сравнительно короткий срок — минуты за три-четыре.

Створку ворот придерживала дочка, вся такая свеженькая — прямо бутон розовый, и Фоме Фомичу захотелось ее поцеловать, хотя обычно он к таким нежностям расположения не имел.

— Запомнил, папуль? — сказала дочка. — Бульвар Профсоюзов. Рядом ограда такая высокая, а на ней бюсты-скульптуры негров. По ним и ориентируйся.

— Все будет гутен-морген! — сказал Фома Фомич и покатил в город.

Вопросы эстетики Фому Фомича никогда в жизни не волновали. И потому само название заведения, куда он ехал — «Институт красоты», — маячило ему всю дорогу как-то странновато, отчужденно и несколько тревожно. И он старался затушевать его радиоприемником, введя на полную мощность «Кармен-сюиту» Родиона Щедрина.

Под «Тореадор! Тореадор, смелее в бой!» Фома Фомич миновал дом с бюстами негров на бульваре Профсоюзов и с облегчением убедился в том, что «Института красоты»

рядом нет. Есть обыкновенная «84-я косметическая поликлиника».

А когда в подвальном гардеробе он увидел привычные кумачовые лозунги и сообразительства: «Выполнить производственно-финансовый план 1974 года к 25 декабря! И на отдельных участках отделений план двух лет к 17 ноября!» — то и вовсе успокоился (на морском языке «вошел в меридиан»).

Выяснилось, что в этом учреждении положено платить наличными и закон о бесплатной медицинской помощи в мире социализма — в мире эстетики уже не действует. «Сколько сдерут?» — полюбопытствовал в уме Фома Фомич, приглядываясь к обстановке, вникая в нее неторопливо, тщательно и осторожно.

В гардеробе-подвале сновало взад-вперед порядочно народу. И не только женщины, чего Фома Фомич тоже по дороге опасался, но и мужчины, и даже военные.

Гардеробщик сидел в пустом гардеробе, скучая и томясь: погода была еще теплая.

Фома Фомич просмотрел указатель помещений, одновременно краем глаза наблюдая гардеробщика.

В первом этаже поликлиники располагались: «Подводный массаж» — нечто профессионально близкое Фоме Фомичу, затем «Кишечные промывания» и «Грязехранилище» — довольно далекие от его опыта заведения. И, чтобы зря не путаться, Фома Фомич пошел к гардеробщику. Он всегда начинал со швейцара, ибо гордыней отнюдь не страдал.

— Значит, в медицине работаем? — так начал Фома Фомич. — Из фельдшеров небось? К старости-то фельдшерская работа и не под силу стала, угадал небось?

Гардеробщик, который выше медбрата в психиатрической клинике не поднимался даже в свои звездные часы, сразу оживился. А Фома Фомич еще подмазал его сигаретой «Пелл-мелл». Сам-то не курил, но иногда баловался. И на всякий — такой вот — случай пачечку иностранных сигарет при себе имел.

— Очень роскошное помещение у вас тут, — намеренно коверкая и те слова, которые он мог бы произнести правильно, продолжал Фома Фомич, восхищенно оглядывая старинную лепку на стенах.

— Особняк купца Родоканаки, турок из Одессы, — объяснил гардеробщик. — Богато жил. На широкую

ногу. В процедурных кабинетах у нас на потолках всевозможные старинные украшения — и с голыми бабами и ангелами.

— А вот люблю людей расспрашивать, — сказал Фома Фомич. И не солгал. Он действительно любил с людьми пообщаться. Даже уголовников всегда старался разговорить, когда сводила его с ними судьба на восточных окраинах страны.

Через пять минут Фома Фомич уже знал: 1) Косметологи происходят из венерологов. 2) Все они женщины, но если профессора, то уже мужчины. 3) Татуировки выжигают электротокком, кусками десять на десять сантиметров, и все это без бюлетня. 4) Когда в операционный день много выжигают пациентов, то даже здесь, в подвале, ужасно воняет жареным человеческим мясом. 5) И даже человеческим жареным жиром воняет, ежели рисунки углубился в кожу глубоко, а пациент толстомясый.

Все эти детали гардеробщик сообщил Фоме Фомичу с бодринкой в голосе, чтобы поддержать дух, помочь новичку решиться на мероприятие. Но результат пока получался противоположный.

— Дома после сеанса голый будешь ходить, — продолжал информацию гардеробщик. — Так зарастает скорее. И смазываться будешь по живому пятипроцентным раствором марганцовки — самодезинфекция называется. В ей, в марганцовке, кислород заключается, но болеть будет сильно. Сперва-то они тебя заморозят, да и электричество боль убивает, а дома уже прихватит. Температура подскочит — не боле как до тридцати восьми. Пирамидону купи. Четвертинку засади. Но не боле. А через десять дней следующий кусок жажнут. Теперя так. Если у тебя украшения эти очень замечательные, то иди прямо сейчас в шестой кабинет. Там такая Валентина Адамовна. Она для диссертации самые уникамы в альбом собирает. Ежели твои заинтригуют, так и без очереди пропихнет, а сама наблюдать будет и все такое, но сперва зафотографирует на цветную пленку. У ты цветные картинки или монотонные?

— Монотонные, — слегка крякнув, сказал Фома Фомич.

— Монотонные-то подлые — потому как старинные. А раньше-то, сам знаешь, добротнее делали, на всю

глубь. Теперешние цветные вовсе просто выводить. А с монотонными в пятницу летчик-испытатель, герой настоящий, так он не только в обморок брякнулся, но, прости, друг, по секрету скажу: описался! — восклицательным шепотом закончил информацию гардеробщик. — Полчаса отмачивали!

Фома Фомич обдумал информацию, слегка шевеля при этом губами и почесывая за ухом. Он, вообще-то, предполагал, что в век космоса и НТР процедура уничтожения змея-горыныча и русалочки будет проще. То есть настроен он был, как немцы перед блицкригом и «дрангах остен». И некоторое неприятное неожиданное переживал приблизительно так же, как немцы после разгрома под Москвой. Но духом не упал. И сказал гардеробщику:

— Я очень, значить, извиняюсь, но, кореш мой драгоценный, не описался! Не на того напали. И ты, значить, тут пациентов не запугивай, ты их вдохновлять должен, а ты. . .

Гардеробщик обиделся и даже растоптал недокурную «Пелл-мелл».

— Я очень, значить, извиняюсь, — еще раз повторил Фома Фомич, а про себя подумал: «Ну и черт с тобой, ну и обижайся, а за эту. . . как ее? . . . Валентину Адамовну (он имена и отчества всегда хорошо запоминал, если для дела надо). . . за эту ценную информацию — спасибо. Теперь курс прямо на шестой кабинет держать надо».

Валентина Адамовна — толстомясая, лет сорока, вся в золотых украшениях и в тапочках на босу ногу, — как только Фома Фомич закатал рубашку на животе, так сразу засуетилась, помолодела лет на десять, зарумянилась даже от возбуждения и восхищения. А когда Фома Фомич совсем обнажился, то. . . то все организационные вопросы оказались решенными моментально: вне всякой очереди, сегодня же начнут; все, что товарищ где-то и от кого-то слышал про ужасы (Фома Фомич, конечно, на гардеробщика не ссылался: еще тот, значить, и пригодиться может, незачем его закладывать), безобразно преувеличено; конечно, запах неприятный, но она-то сама его всю жизнь нюхает, а ей молоко за вредность не выдают; от жира, действительно, другой запах, но это как

раз и хорошо — это как бы сигнал для врача, что пора остановиться (по-морскому «давать полный стоп»); в обморок, действительно, мужчины падают, но это для них типично: а) потому что к боли непривычны, ибо никогда не рожают, а женщины — рожают; б) в обморок падают мужчины не от боли, а те, кто плохо новокаин переносят или вообще уколов боятся (Фому Фомича за морскую жизнь столько кололи от тропических лихорадок, холер, разных чум и тифов, что он хотя и терпеть уколы не мог, но к ним привык); в) кое-где его изображения можно будет и не сплошь выжигать, а только по рисунку, что вовсе не больно; г) через полчаса его покажут невропатологу для консультации и одновременно невропатолог, друг Валентины Адамовны, его сфотографирует, но без головы: все врачи дают клятву Гиппократата и тайны хранят свято.

Медкарту Валентина Адамовна заполнила на Фому Фомича собственноручно. А затем попросила посидеть четверть часика. Но сидеть не у процедурного кабинета, а где-нибудь поблизости: его потом проведут без очереди, но надо так это сделать, чтобы очередь не развопилась.

«Вот вам, значить, голубчики, и гутен-морген, — подумал Фома Фомич, проходя мимо обыкновенных записанных в очередь, имеющих рядовые, пошлые татуировки или не догадавшихся покурить с гардеробщиком в подвале пациентов. — С черного хода, значить, всегда тактичнее заходить, а вы тут и кукуйте до петухов...»

Беззлобно и благожелательно подумав так, он нашел свободное местечко в уголке под стендом с заголовком «О вреде самолечения» и засел, отирая пот с лысины, — в стрессовые моменты он иногда потел обильно. Ничего в этом хорошего, конечно, не было, ибо приходилось тратить валюту в инпортах на противоположные жидкости. Кроме того, из массы специальных инструкций, в том числе и «О поведении в спасательной шлюпке», Фома Фомич знал вред потоотделения (с потом уходит из организма соль, и вот именно из-за обессоливания люди и отдают концы, а вовсе даже и не от жажды).

Когда Фома Фомич обильно потел, то невольно вспоминал эту инструкцию и испытывал сожаление по той соли, с которой расставался.

— По вопросу потливости, папаша, в пятый кабинет, — хрипловато сказала Фоме Фомичу девица, которая сидела рядом. Ее бесстыдные коленки он, ясное дело, видел отлично, но глаз на девицу не поднимал — еще не до конца оклемался в мире эстетики. А тут уж пришлось поднять. Роба у девицы оказалась такой же бесстыжей, как и коленки. По робе тянулся от уголка левого глаза до середины щеки шрам. Шрам, ясное дело, был заштукатурен всякими пудрами. «Из приклатненных», — сразу засек Фома Фомич.

— Где ж это тебя, пригожая, значить, подпортили? — ласково поинтересовался он. — И каким это, значить, перышком?

— А вот, папаша, и не перышком, — так же хрипло и высокомерно сказала девица, — обыкновенный коготь.

— Ишь ты, — сказал Фома Фомич, — чуть без глаза, значить, не осталась. Коготь-то чистый был аль наманикюренный?

— Разбираешься, папаша, — одобрила знания Фомы Фомича девица и в виде награды поддернула двадцатисантиметровую набедренную повязку к самой, простите, талии. И у Фомы Фомича даже в голове зашумело, как шумит от первой рюмки после длительного сухого периода.

— Не фулигань, — хрипло, но по-отцовски тепло попросил Фома Фомич. — Расскажи лучше, как дело было, — и подмигнул по-приятельски.

Девица хохотнула и приспустила пояс стыдливости на пару дюймов.

— Седина в бороду — бес в ребро, — неодобрительно заметила дама, которая сидела напротив в шляпке с вуалью. Вуаль была такая непроницаемая, что напоминала паранджу.

— Лысина в голову — бес в ребро! — строго поправила девица завуалированную даму, самым тоном давая понять, что их разговор с Фомой Фомичом их личное дело и она не допустит непосвященных в круг их интима.

«Ну, лысина у меня еще не стопроцентная, — подумал Фома Фомич, — а корни еще такие ядреные, что мне бы вас двух и на один вечер не хватило, кабы я себя из рук выпустил...»

И это не были пустые мыслительные похвалы, а

абсолютная истина — корни у Фомича еще ядрились на полный ход. Но в данный момент он почему-то чувствовал необходимость и пользу держать себя с ободранной когтем девицей этаким папашей. Какой-то инстинкт подсказывал ему такую форму поведения. Этот «какой-то инстинкт» в Фоме Фомиче был звериной силы и спасал его всю жизнь от лишних неприятностей.

Иногда спросит сосед по самолету или по купе: «Вы кто по профессии?» А Фомич вдруг: «Счетоводом я, мил человек, в совхозе». И сам не знает, почему он в данном разе не похвастался и не сказал: «Капитан я, мил человек, дальнего плавания!» И вот потом оказывается, что сосед-то собирался его на какую-нибудь роскошную провокацию дернуть — на очко или преферанс, — а как услышал «счетовод из совхоза», так сразу и пересел к другому пассажиру, который с двумя институтскими значками на пиджаке в талию.

Этот звериной силы инстинкт или внутренний голос опять же роднил Фомича с Сократом. С той загадочной особенностью великого философа, которая в сократической литературе обозначается термином «демонион» (то есть демон). К демониону Сократ, как и Фомич, имел обыкновение прислушиваться еще с детства, и демонион даже в маловажных случаях удерживал его от неправильных поступков, никогда (что в случае Фомы Фомича Фомичева особенно важно), однако, не склоняя философа к чему-либо совсем уж определенному. В частности, как всем известно, внутренний голос воспрещал Сократу заниматься политической деятельностью. В последнем случае мы опять видим схожесть Фомы Фомича с Сократом, ибо капитану Фомичеву тоже хватало ума не залезать далеко даже в пароходскую политику.

Фома Фомич пошел делать этакого «папашу» именно потому, что сидел в нем сатир, но сидел в глубоком подполье, загнанный в погреб социальными установками и служебным положением. Девица же сильно действовала прелестями — произошло какое-то прямое попадание ее коленок в сатирический центр Фомича — вот инстинкт-то, демонион, и сработал, уберегая от неприятностей.

Ведь за сатирическую приятность мужчине обязательно надо платить неприятностью.

Ободранная когтем подружки девица бесила в Фоме Фомиче беса, но в силу вышеизложенного (и свеженькой гардеробной информации о происхождении косметологов от венерологов) он пошлого беса намертво придавил. Однако коленки и прочие прелести соседки вызвали такое возбуждение, что он вдруг понес её, как возил через моря-океаны абсолютно все. Даже жирафов. И вот уж кто плюется всегда не ко времени, так это не верблюды, а как раз жирафы. Но еще хуже возить подсолнечные семечки. Вот везли три трюма семечек из Архангельска в Одессу, так экипаж заплывал пароход до такой нетактичной степени, что и не сказать: не было, нет и не будет больше такого заплыванного парохода нигде и никогда...

— А что самое страшное в плаваниях видели? — заинтригованная рассказами Фомы Фомича, спросила дама с паранджой.

— Негра он видел, — ответила за него приклатненная девица. — Негра, с которого шкура слезала, потому что он в Архангельске на солнце обгорел, ясно? Вот и вам бородавки надо солнцем выводить! Только не в Архангельске, а в тропиках!

— Не груби, дочка, — по-отцовски заметил Фома Фомич. — Чего на культурных людей бросаешься?

— Привычка, — пожалала плечами девица и поправила бретельку на плече под прозрачным маркизетиком. — И на тебя брошусь, папаша, если себя к культурным относишь. Культурный! На когти погляди! Да они у тебя пленкой, как глаза у дохлой курицы, заросли!

— Что ж, вы от старого морского волка еще и педикюр потребуете? — спросила дама из-под вуалетки.

— С такими обгрызенными ногтями человек обязательно кого-нибудь в жизни подсидит! Подсидел кого, морской волк? — спросила девица.

Фома Фомич подумал, что никого в жизни не подсиживал, а если и подсиживал, то случайно, без черных замыслов. Однако обрывать девицу и злиться на нее не стал.

На почве врожденной рассудительности и жизненного опыта он каждого встречного и так и сяк поворачивал и обязательно обнаруживал самые неожиданные качества: и полезные для него, Фомы Фомича, и бесполезные. Пото-

му портить отношения с девицей по пустякам не стал и на пошлый выпад промолчал.

— Молодежь! Кошмар теперь, а не молодежь! — вздохнула дама. — Вот товарищ, — она даже чуть поклонилась Фоме Фомичу, — сразу видно, воспитанный человек и либерального духа, никогда без причины хамить не станет. У таких бы сегодняшней молодежи учиться!..

Здесь приходится объяснить, что в словарном богатстве Фомы Фомича обнаруживались иногда аномалии. На официальном языке, то есть на суконном, он вполне терпимо говорил. Рассказчик, когда можно было употреблять не совсем цензурные и жаргонные словечки, был даже неплохой. Отдельные слова, которые входят в «Словарь иностранных слов», тоже способен был употребить к месту — достаточно наскокался через языковые барьеры с лоцманами и в сикспенсах (заграничных универмагах). Но случались и досадные провалы.

Например, в недавнем рейсе плыл с ним в качестве пассажира на международную морскую конференцию знаменитый морской юрист и начальник из Москвы.

Третий штурман на отходе чуть тяпнул сухонького. И московский начальник говорит: «Вы бы, молодой человек, поменьше языком в рубке болтали, а то товарищ Фомичев уже вот-вот с цепи сорвется!»

Фома Фомич задумался минут на двадцать, решая вопрос: реагировать на оскорбление со стороны начальника или нет? И на двадцать первой минуте решил тактично все-таки выяснить: почему тот обозвал его собакой на глазах всего экипажа и при исполнении им, капитаном Фомичевым, служебных обязанностей?

Несчастный начальник даже смутился и битый час объяснял Фоме Фомичу, что существует выражение «держат себя в руках», оно аналогично выражению «держат себя на цепи», и так далее, и тому подобное. . .

В косметической поликлинике № 84 Фома Фомич очередной раз завалился в языковую пропасть.

— Что это вы, значить, имеете в виду под «либеральным духом»? — спросил он не без мореного дуба в голосе.

— А то, что ты, папаша, оппортунист, — дерзко объяснила (вместо дамы с вуалью) вульгарная девица.

Фома Фомич насторожился и так глубоко задумался, что лик его уже перестал смахивать на Сократа. И чем-то напоминал царя Додона.

Про оппортунистов Фома Фомич был наслышан достаточно и в таком политическом заявлении дамы усмотрел прямую провокацию.

— А вы, мадам, — наконец сказал Фома Фомич, — в таком случае, гм... обыкновенный недобитый петлюровец!..

И бог знает, чем бы все это кончилось, если бы в коридоре не запахло жареным человеческим мясом, а из процедурной не донесся бы нечеловеческий вопль.

Дама с вуалеткой заткнула уши пальчиками (точь-в-точь, как Катюша давеча), вскочила со стула и бросилась на выход.

— Слабонервная, — прокомментировала ей вслед приклатненная девица. — Такие и в гроб все в бородавках ложатся. За красоту, либерал, и муки принимать надо. Я вот третий раз штопать буду. Уже в стационаре лежала. Обещают так залакировать, что комар носа не подточит... Расскажи, папаша, чего еще. Вот в Париже бывал?

Нельзя сказать, что запах и вопль произвели на Фому Фомича успокаивающее впечатление, но ему перед девицей невозможно было это показать. И он рассказал, что недавно ездил в Париж. И даже в поезде. Как один из самых перспективных капитанов в пароходстве был отправлен в командировку на специальный французский тренажер. И все это правда была, но девица не поверила, хохотала от души, весело и от избытка чувств шипала Фому Фомича за пиджак на плече.

— Тише ты, тише! — урезонивал Фома Фомич девицу. — Люди оборачиваются! Знаешь, дочка, кого мне напоминаешь? — задумчиво спросил он, когда девица успокоилась. — Плавает у меня буфетчица. Сонькой зовут, — начал он новую историю, зажав руки между колен (любимая поза в отпускные домашние вечера у телевизора). — Плавает, значить, буфетчица. Сонька, по фамилии Деткина. А матросы ее «Сонька Протезная Титька» кличут. Хотя и никаких протезов там, значить, и не числится:

жаром от ее титек на милою полыхает. Но язва девка. Одно и есть положительное — рыбу готовит замечательно. Ежели где рыбки добудем, так она повара всегда замещает. Только Соньке доверяю рыбку. Охочий до нее. Да. До рыбки охочий, значить. . .

— Почему «протезной» прозвали? — с большим интересом спросила девица.

— А не дает никому проверить — вот они и прозвали, — объяснил Фома Фомич. — Коварная и языкатая. Старпома зовут Арнольдом Тимофеевичем, а она его Степаном Тимофеевичем — Разиным, значить. Он возмущается, кричит на весь пароход: «Арнольд я! Арнольд! А не Степан!» — «Вы, — она ему объясняет, — такой смелый, как Степан Разин или даже Котовский, вот и путаю. . .» А Тимофеич-то мой, чего греха таить, трусоват, но документацию ведет замечательно. . .

— Сколько ей, Соньке? — спросила девица.

— Двадцать исполнилось.

— И ни разу хахаля не было?

— Чуть было один не определился. В Триполи стояли. И у Соньки хахаль определился — журналист из морской газеты с нами плавал. Ну, из Триполи в Вавилон помполиты всегда экскурсии устраивают. Автобус заказали. Перед отъездом Сонька опять Тимофеича Котовским или Разиным обозвала. Он — в бутылку, прихватил ее на крюк, она тоже шерсть подняла, да. Ну, задробил старпом ей экскурсию. И тогда, гляжу, хахаль тоже не едет — любовь, значить, и круговая порука. Ладно. Поплыли в Англию. Кто-то пикантно мне намекает, что, значить, желтеет Сонька.

Вызываю на тет-тет.

Так и сяк, говорю, голубушка моя любезная. Тактично интересуюсь: ты, мол, не беременна, ядрить ты в корень?

Может, думаю, ее на аборт придется, так мне потом от валютных сложностей и неприятностей не очухаешься. Нашим-то судовым врачам запрещено.

— А она чего? — с нетерпением спросила приблатненная девица.

— А она: «Как смеете про меня так пошло думать?!» — «А чего, говорю, желтеешь? Мне-то, значить, из поддувала слухи доходят, что тебя и на соленое потя-

нуло. Я, говорю, заботу проявляю, по-отцовски, а ты все мне подлости хочешь, — травим, значить, здесь тебя, а я по-отцовски переживаю, у меня, значить, дочка как раз такая. . .»

— Товарищ Фомичев! В десятый кабинет! — разда-лось под высокими сводами особняка одесского турка Родоканаки.

И приблатненная девица так и осталась в неведении о дальнейшей судьбе Соньки Деткиной, ибо на обратном пути, как мы увидим, Фома Фомич ни с кем уже беседо-вать был не в состоянии.

3

Валентина Адамовна и старик невропатолог попроси-ли Фому Фомича раздеться до трусов.

Он смог раздеться только до кальсон.

— Ничего, не переживайте, — сказала Валентина Адамовна. — Мы здесь и не такие гоголь-моголи видели. Засучите кальсончики на той конечности, где у вас змея, а где нет, там можете не засучивать.

Затем старик невропатолог поставил уникума в конус света рефлекторной лампы возле откидного хирургиче-ского кресла. И пошел-поехал шелкать фотоаппаратом. Оптическая насадка на аппарате напоминала трубу рот-ного миномета — специальная насадка для крупномас-штабного фотографирования.

— Личность-то не попадет? — на всякий случай еще раз поинтересовался Фома Фомич.

— Нет, нет! Обязательно без головы выйдете, то есть будете, — мимоходом успокоил пациента невропатолог-фотограф. — Но, должен заметить, Валентина Адамовна, пациент уже в возрасте. И с нервишками не все в поряд-ке. Обратите внимание, как он на щелчки спускового ме-ханизма реагирует. Думаю, он у вас при сильном боле-вом шоке приступ стенокардии закатит. Такая древняя наскальная живопись — это вам не банальные оспенные следы или бородавки. . .

— Да, — легко согласилась Валентина Адамовна. — А мы вот Эммочку попросим с ним заняться. Она моло-денькая, нервы хорошие. . .

— Рыжая? В брюках? Практиканточка? — спросил

старик невропатолог, отвинчивая с фотоаппарата минометную трубу.

— Нет. Брюнетка. Вторую неделю тренируется, и рука у нее твердая, — сказала Валентина Адамовна.

Беседовали медики так, как нынче у них и принято, то есть не замечая пациента.

Сегодняшняя наука установила, что чем больше наш брат будет, например, знать о своем раке, тем сильнее будет ему сопротивляться, а внутреннее, духовное, психологическое сопротивление и аутотренинг играют в безнадежных случаях огромную роль в деле улучшения духовного настроения бедолаги.

— Я очень, значить, извиняюсь, но... — начал было Фома Фомич, испытывая нарастающее опасение за близкое будущее. Он хотел со смешком сказать несколько слов на тему практикантов (на них вдоволь нагляделся: в каждый рейс какого-нибудь практиканта подсовывают, а тот и нос от кормы отличить не может). Затем собирался попросить Валентину Адамовну самолично начать процедуру, но она после фотосеанса абсолютно утратила к уникуму интерес, перевела свет рефлектора на кресло и велела пациенту туда садиться. Сами же невропатолог и косметолог покинули кабинет.

Фома Фомич сел в холодное кресло и убедился в том, что и правая (со змеем-горынычем) ляжка, и левая (без украшений) мелко и противно вздрагивают. Вздрагивали и колени. А из подмышек запахло мышиной норой.

«Использовала, сука, и продала», — с горечью на людскую пошлую натуру подумал Фома Фомич, по телевизионной привычке засовывая кисти рук между коленок и судорожно сжимая последние.

Было тихо.

За окном кабинета качались верхушки бульварных лип. На старинном мраморном подоконнике, намертво в него вделанная, стояла буржуйская мраморная ваза с золотым антуражем в виде лир. А на потолке — прав был гардеробщик — резвились вовсе почти обнаженные ангелы, а может быть, и амуры.

«Все Катька придумала! — вдруг мелькнуло у Фомы Фомича. — А сама к отцу как? Только и поцелует да прижмется, коли ей заграничную тряпку приволочешь, а так и нет никакого беспокойства и переживания за отца... Супруга тоже хороша... Раньше-то ревновала, волнова-

лась, значить, а нынче что? Успокоилась. И в рейс проводить не придет — гипертонии да мерцания разные. . . Они на пару меня и сюда загнали, а потом и в гроб, значить, загонят. . .»

Влетела чернявая шустренькая практиканточка Эммочка.

— Ну-с, как мы себя чувствуем? Отлично мы себя чувствуем! Действительно уникальные изображения! Ну-с, соскй пока трогать не будем, — запела-заговорила Эммочка. — Корвалольчик приготовим на всякий пожарный. . . А вы откидывайтесь, откидывайтесь, не стесняйтесь. . .

— Как бы, значить, копыта не откинуть, — пошутил Фома Фомич, не решаясь откинуться на спинку и наблюдая, как Эммочка готовит шприц и громыхает всякими другими жутковатыми металлическими причиндалами.

— Отлично мы себя чувствуем! Отлично! — пела-говорила Эммочка. — Молодцом мы сидим! Молодцом! Все бы так! . . Где же моя сестричка запропастилась? . . Ладно, черт с ней, и без нее вначале обойдемся. . . Небось за мороженым помчалась. . . А мы мороженое любим? Любим мы мороженое, любим! . . Головку-то запрокиньте, зачем вам на иглу глаза пялить, укол как укол — обыкновенный новокаинчик. . . Вот мы с хвоста и начнем русалочку ликвидировать. . . Она у нас вся сплошь штриховая, русалочка наша, с нее и начнем. . . Ну вот, укольчик-то уже и позади! Отлично мы себя чувствуем! Отлично! Сразу видно, что алкоголем мы не злоупотребляем. . . Да запрокиньте вы голову, черт возьми! Кому сказано?! Сейчас вам в нос такое ударит, а вы его туда сами суете! . . Уникум, просто уникам! Первый раз вижу, чтобы у мужчины так мало шерстки на груди было! Красота — брить не надо! А отдельные волосики мы поштучно щипчиками и повыдергиваем! Быстрее будет. . . Вот мы их повыщипываем, потом спиртиком протрем и приступим. . . А чего это мы побледнели-позеленели? Ай-ай-ай! Такие мы уникамы, такие мы герои! И вдруг посинели. . .

«Вот те и гутен-морген», — подумал Фома Фомич, откидываясь вместе с креслом куда-то в космос.

И это было его последней мыслью, если такое абстрагированное, мимолетное мелькание можно назвать мыслью.

Пещерные рисунки остались в полной неприкосновенности.

А через полчаса благоухающий спиртом, корвалолом и валерианой с ландышем Фома Фомич покинул особняк одесского турка Родоканаки.

Почему-то вынесло его из 84-й косметической поликлиники через черный ход — туда сильнее сквозило.

По дороге к черному ходу он угодил в грязехранилище и еще куда-то, а затем уже очутился в милом и тихом дворе скверике.

Автомобиль Фомы Фомича в скверике, естественно, не было, так как оставил он «Жигули» на бульваре Профсоюзов возле дома с бюстами негров.

Негритянских бюстов Фома Фомич тоже не обнаружил.

Голова у него кружилась, и сильно тошнило. Но на свежем воздухе минут через пять уникум взял себя в руки, или посадил на цепь, и нашел дворовую арку, через которую окончательно выбрался из мира эстетики на бульвар Профсоюзов, прищепывая по своей давней привычке: «Это, значить, вам не почту возить!»

Забравшись в автомобиль, Фома Фомич обнаружил, что из поля зрения исчез сегмент окружающего пространства: спидометр он на приборной доске видел, а часы, которые рядом со спидометром, не видел. Или липу на бульваре отлично видел, а фонарь рядом напрочь не замечал.

Но такое с глазами Фомы Фомича уже случалось от сильного испуга. Бывало и похуже: вместо натурального одного встречного танкера прутся сразу два кажущихся. . .

В машине Фоме Фомичу нестерпимо захотелось зевнуть — во всю ширь, со вкусом, — но зевок как-то так не получался, сидел внутри, наружу не вылезал. А без зевка не удавалось вздохнуть на полную глубину. И Фома Фомич с полминуты сидел, ловя воздух ртом и пытаясь зевнуть, вернее, вспомнить движение челюстей при зевании и насильственно совершить этот акт, но не получалось. И он уже начал задыхаться и пугаться задыхания, когда наконец зевнулось.

И он сразу опять спазматически и с наслаждением зевнул, и слеза блаженно покатила по щеке. И он, най-

дя, вспомня способ, который помогал вызвать зевок, все зевал и зевал и плакал негорючими, бессмысленными, неуправляемыми слезами — это выходило из Фомы Фомича давеча пережитое страшное.

«Я те дам курорт! Я те такой бархат выдам, сукина дочь! Я те такого молодого человека пропишу! Я те... Ты у меня картошку весь бархат будешь носом копать! Вот те и будет гутен-морген!»

К такому выводу пришел Фома Фомич, заводя мотор и отшвартовываясь от поребрика. Ему надо было еще заскочить в порт, чтобы выдавить из капитана, принявшего судно, сто девятнадцатую записку-расписку за несуществующую или ненайденную документацию.

В том, что он такую расписку-записку выжмет, Фома Фомич не сомневался, так как капитан-приемщик был из интеллигентов уже третьего поколения и вообще, значить, порядочный дурак и слабак.

И когда Фома Фомич представил, как он будет обводить вокруг пальца молодого карьериста-специалиста, настроение улучшилось. И даже невтерпеж стало скорее добраться до судна и развеять кошмар давеча пережитого привычно-обыденным.

Но все произошло вовсе даже не привычно и не обыденно, потому что на контейнерном терминале Фома Фомич со скоростью шестьдесят километров насадил свои «Жигули» на клыки автопогрузчика. Или (что, по принципу относительности, то же самое) автопогрузчик всадил могучие полутораметровые клыки в борт «Жигулей».

Причинами происшедшего можно считать: а) недавно пережитый Фомой Фомичом стресс; б) нарушение правил движения автотранспорта на территории морского порта, которое последовало вследствие движения с недозволенной скоростью других четырехсот «Жигулей», отправляемых на экспорт в порт Гулль на борту теплохода типа «ро-ро» (скорость экспортных автомобилей по аппарели судов типа «ро-ро» должна быть равна пяти километрам в час, но ни один шофер при такой скорости не выполнил бы план, почему все шоферы-загонщики автомобилей носятся между контейнерами и по аппарели с космическими скоростями или уж, если не гиперболизировать, со скоростью молодых леопардов).

Фома Фомич попал в круговерть молодых леопардов и понесся куда глаза глядят, а не к своему пароходу. При попытке свернуть из круговерти за угол очередного штабеля контейнеров он и насадился на клыки автопогрузчика.

Водитель автопогрузчика был опытным портовым работником, но никогда в подобные переплеты не попадал. Когда прямо перед его глазами возникла (в кошмарной близости) физиономия Фомы Фомича — а физиономия последнего в этот момент заинтересовала бы даже мастера фильмов ужасов Хичкока, — то, вместо того чтобы бережно извлечь клыки из «Жигулей» при помощи заднего хода, водитель дернул что-то не то, а сам выпрыгнул для оказания экстренной помощи Фоме Фомичу.

В результате этих недоразумений клыки погрузчика поползли по направляющим вверх, и «Жигули» начали подниматься над плоскостью истинного горизонта со скоростью метр за двадцать секунд.

Пока водитель залезал обратно в будку и дергал рычаг в обратном направлении, Фома Фомич достиг пика.

Его взору вдруг открылась вся необъятная территория родного порта, ибо «Жигули» и драйвер оказались выше всех контейнерных штабелей вокруг.

И в этот пиковый момент произошло еще два события, хотя хватило бы для полной катастрофы и одного: 1) у автопогрузчика обломался клык; 2) железо «Жигулей» над другим клыком порвалось с легким шелестом папиросной бумаги.

Автомобиль, совершив в воздухе кульбит, упал на крышу.

Фома Фомич — на голову, то есть стал на попа.

Осенние облака, грязные и понурые, которые толпились над портом, как алкоголики у закрытого пивного ларька, наблюдали за катастрофой вполне индифферентно.

От портовой воды возле терминала пахло мокрой бочкой и половой тряпкой.

Но прибывшие представители ГАИ и портовой охраны, склонившись над потерявшим сознание Фомой Фомич

чом, обнаружили один запах — спирта. Легкий добавочек валерианового запаха еще больше прояснил для представителей власти общую картину, ибо давным-давно наивные русские пьяницы стараются перешибить запах алкоголя пошлой валерианой. . .

ДЕНЬ ВМФ НА ДИКСОНЕ

РДО: «ПРОВОДКА СЛЕДУЮЩЕГО КАРАВАНА ВОСТОК НАЧНЕТСЯ НЕ РАНЕЕ 28/29 ИЮЛЯ ОДНИМ А/Л ЛЕНИН ТЧК МЕСТО ВХОДА ПРИПАЙ ПЛАНИРУЕМ СЕВЕРНЕЕ БАНКИ ЕРМАКА ТЧК ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОСЛЕДУЕТ Д/П ПОНОМАРЕВ Т/Х КОМИЛЕС ОСТАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ ТЧК СТОЯНКА РАЙОНЕ БАНКИ ЕРМАКА НЕСПОКОЙНАЯ ПОЭТОМУ ВСЕМ НАДЛЕЖИТ СЛЕДОВАТЬ ДИКСОН ТЧК ИСПОЛНЕНИЕ ПРОШУ ПОДТВЕРДИТЬ».

Любимые очки Фомы Фомича давно треснули вдоль и поперек. Работать в них мучительно. Однако он, как и большинство нас, грешных, испытывает к старой вещи слабость, своего рода влечение, несмотря на наличие двух запасных новеньких пар.

Процесс чтения радиограммы начинается у Фомича с нацепления на нос треснувших очков. Уже в этот момент его губы начинают шевелиться, хотя он еще и не начал складывать буквы в слоги, а слоги в слова.

Затем следует первичный этап обследования текста, при котором Фомич еще ничего ровным счетом не понимает по существу вопроса. Он как бы производит техническое обследование текста.

На этом этапе Фомич любит исправить описку радиста, крупно перечеркнув неверную букву и водрузив над ней угрожающий вопросительный знак. Он органически не способен оставить на бумаге неисправленным «Телехаво», если какое-то судно называется «Телешаво». Он исправит это проклятое «х» на «ш» даже в том случае,

если от скорости прочтения радиограммы будет зависеть жизнь его дочери, а не только парохода со всем экипажем.

Затем в его череп начинают проникать отдельные слова-сигналы: «генеральный курс»... «самостоятельно»... «следовать»... и так далее. И начиная с этой микросекунды в нервной системе (я намеренно не употребляю слово «душа», ибо пока не знаю, есть ли у Фомича душа), в нервной системе Фомича пробуждается ощущение недоумения, там прямо-таки целый букет недоумений расцветает, переходя в устойчивое ощущение подозрения в адрес отправителя радиограммы.

Фомич всей шкурой так и начинает понимать, что отправитель только и думает, как бы переложить на его, Фомича, плечи бремя ответственности, спихнуть на него планету и даже Вселенную...

27.07.11.00.

Стали на якорь на рейде Диксона. Рейд пустой.

Штиль. Охра берегов. Коричневая запятая могилы Тессема (традиционный поклон ему). Полмили от Угольного причала (не самые хорошие ассоциации — шторм взасос и ободранный планширь на моем МРС-823). Прямо по носу хижина, где жили раздельщицы белух (с которыми в пятьдесят третьем году я танцевал падекатр).

Вдруг лень стало писать, думать, мечтать. Последнее особенно плохо. Да, если раньше здесь поддерживали необыкновенные мечты, то ныне поймал себя на их отсутствии. И что оказывается? То оказывается, что и без них жить можно! Вот обедать пойду, потом вздремнуть лягу или Нагибина почитаю...

А когда-то читал здесь «Обыкновенную Арктику» — и так, помню, захотелось сообщить Горбатову свой буйный романтический восторг! Вероятно, не следует перечитывать «Обыкновенную Арктику». Пусть остается прежнее ощущение от книги.

Сегодня же считаю, что романтическому автору кажется, что он уловил, ощутил, отразил поэтическую истину. И от находки поэтической истины художник-романтик делается пьян в сосиску, в стельку, в драбадан. А тому, кто действительно приближается к поэтической истине,

не дано опьяняться ею. Сойти с ума, как Ван-Гог, он может, но это с трезвого ума сходят, а не с пьяного. Это уже не романтизм, а высокий реализм, то есть максимальное приближение к красоте и ужасу правды.

От дурного настроения подначил Фому Фомича на устройство судового праздника. Коллективный ужин с выпивкой — запрещено специальным приказом министра, но пускай приказ министр проводит в жизнь на акватории министерства в Москве. А на судне, где экипаж с борю да с сосенки, перед ледовым плаванием следует людей сблизить и теснее перезнакомить, пообщать за праздничным столом. Все в меру, конечно. И повод должен быть — для оправданий (в случае чего).

Повод нашелся — День ВМФ.

Неожиданно Фома Фомич на мероприятие согласился легко и просто.

Насторожился только тогда, когда я сказал, что в арктических рейсах с некоторых пор не пью ни капли алкогольного и что беру на себя ответственность за вахту, связь и наблюдение во время ужина. Так я хотел его успокоить. Но...

На сократовском лице Фомы Фомича так и отпечатался демонион: «Дублер, значить, сам пить не будет, а на меня телегу за коллективную пьянку?..»

И вот очередной букет недоумений и подозрений расцвел на его физиономии.

— Как так, значить, «не пью»?

— А вот так. Слаб на вино. Если начну, то загужу, — продолжал я разыгрывать его. — Мне или ни капли, или все, что у вас есть в холодильнике.

— Я, значить, извиняюсь, но это... алкоголик, значить?

..Конечно, графа Меттерниха Фомич, пожалуй, не смог бы подсидеть, кабы вступил на дипломатическое поприще, но какого-нибудь Керзона обошел бы на первом повороте. Огромный дипломатический талант зарыт в этом самородке.

И я без шуток: разговор происходил в присутствии третьего лица — радиста.

Радист, как я успел заметить, был в микрогруппе ка-

питана и старпома. Иметь алкоголический козырь против меня Фомичу было очень важно.

— Да. Алкоголик, — сказал я, чтобы сдать Фомичу козырь и ослабить его подозрения в какой-либо злокозненности своей трезвости.

— Все, кто книжки выдумывают, — алкоголики. Вот Есенина взять. . . — авторитетно начал радист.

— Алкоголизм хорошо лечить триппером, — перебил его Фома Фомич с сочувственным в мой адрес вздохом; добро и задушевно сказал. — У меня, значить, братан старший. У него дочь. Так ее первый муж через это, значить, дело пить насмерть бросил. . .

И на этом принципиальное обсуждение вопроса праздничного ужина закончилось. Были вызваны артельный и старпом, уточнены запасы в артелке, остатки денежных средств из культфонда и прочие практические детали.

Вечер получился. Многие из нас как бы впервые и заметили друг друга (вахты и сон в разное время суток на судне иногда не дают возможности толком познакомиться и с соседом по каюте).

Ребята хорошо пели. И хором, и соло. Столы выглядели красиво. Тетя Аня и дневальная Клава постарались. Повар сварил отличный студень. Радист обеспечил музыкальное сопровождение. Никто не перепил.

А мой напарник — второй помощник Дмитрий Александрович — пел арию Варяжского гостя из «Садко» и — по требованию самых молодых — «Бригантину». Просто прекрасно пел! Оказывается, когда-то мечтал о ВГИКе, но умерла мать, отец спился, есть было нечего — пошел на казенные харчи в мореходку. . . Знакомая дорожка. . .

От песен Фома Фомич растрогался. И так, что отправил супругу за интимно-заветной бутылочкой. Очко в пользу капитана «Державино»!

Хоть по капельке добавки досталось ребятам, но она капитанская была, а это вам не понюх табаку!

Силу песни ценят моряки любых национальностей. У американского моряка-матроса и знаменитого писателя прошлого века Дана есть такие строки: «Песня стоит десяти человек, и это знают все, кто выхаживал якорь вымбовками».

Фома Фомич выхаживал якорь вымбовками, то есть вручную. И потому вырвал из сердца заветную бутылочку и угостил матросов. «Молодец!» — мысленно отметил я, и тут же Фома Фомич допустил гафу. Он... он назвал любимого старпома Степаном Тимофеевичем!

Брякнул — остолбенел.

И мы — почетные заседатели главного стола — остолбенели.

Ибо благоразумие и благоволение к верному партнеру всегда преобладало у Фомы Фомича над злопыхательством. И вырвался у него «Степан Тимофеевич» опять же по известному закону ассоциативности. Он как раз спорил с Иваном Андрияновичем о том, что видел фильм о Разине, и видел даже, как тот швырял за фальшборт ладьи иранскую княжну, и как принцесса цеплялась за бегучий и стоячий такелаж, чтобы, значить, не сразу булькнуть. А стармех утверждал, что такого нюанса вообще не было. И потому ничего Фома Фомич не видел.

Слушая спор, я отметил два нюанса: 1) старпом Арнольд Тимофеевич нервничает, и разговор про вождя крестьянского восстания ему не в жилу; 2) раздумывал о великой зримости образного слова, о том, что и я как бы видел сцену швыряния княжны за борт, хотя даже у Сурикова такого нет.

Стармех Иван Андриянович спорил аргументированно, говорил, что, может быть, в двадцатые годы и сняли фильм о Разине, но видеть тот фильм Фомич не мог, а про новый фильм только шли разговоры, потому что его Шукшин собирался ставить, да вот помер... Фомич обратился ко мне за поддержкой, я склонился к точке зрения стармеха. Тогда Фомич и бросился за помощью к верному помогале и — бряк!

— Степан, — говорит, — Тимофеевич, ты с тридцать девятого года, значить, все помнишь... так...

Вот тут-то и произошло остолбенение.

Арнольд Тимофеевич не тот человек, который способен делать веселую рожу при плохой игре. Он ткнул вилкой в студень, подцепил кусок и нормально уронил по пути к своей тарелке в чай Галины Петровны. Галина Петровна, несмотря на гипертонию и мерцания, рюмочку пропустила и потому стесняться не стала и высказала

разом и в адрес супруга, и в адрес его верного помощника одно только соображение:

— Старые вы уже, дурачье такое, а все о ерунде спорите!

— Вот, значить, и хорошо, что старые, — выходя из остоленения, заметил Фома Фомич. — Правильно я, Арнольд Тимофеевич, говорю? Чем старше, значить, тем осторожнее плавать будем! А перестраховочка-то на море-океане еще никому не повредила, значить.

— Да-а! — многозначительно заметила супруга. — А кто новую машину разбил? Кто на крышу поставил? Ты! А с какой перестраховочкой-то ездил! Смотреть противно было!

Фома Фомич потер красный шрам на лбу и по своей привычке задумался. А мой старый соплаватель Иван Андриянович дернул себя за слоновое ухо, и что-то такое мелькнуло в его маленьких глазках, что меня вдруг озаарило: весь разговор про кино и Разина возник за праздничным столом не самотеком, а с заранее обдуманскими намерениями хитрого Ушастика.

— Эт как так: на крышу поставил? — строго спросил Фома Фомич супругу. — Сама она на крышу, значить, способилась трахнуть! И ты тут не к месту вопросы поднимаешь, значить! Цыть!

Сдаваться капитан «Державино» не собирался. Полнейшую власть над супругой Фома Фомич демонстрирует трижды в сутки — в завтрак, в обед и за ужином. Каждый раз в дверь кают-компания, широко ее распахнув, входит первым наш Фомич, а за ним супруга. Чтобы, значить, экипаж знал, что супруга капитана знает свое место и что Фома Фомичев семейственности и всяких поблажек близким родственникам не допустит. По любому трапу он спускается и поднимается первым, а сзади, как падишахша за падишахом, на приличествующей случаю дистанции следует Галина Петровна.

Она мне нравится тем, что явно стесняется тети Ани — того, что той приходится подавать ей еду. И я сам видел, как Галина Петровна в начале рейса сунулась было в буфетную, чтобы помочь мыть посуду, но Анна Саввишна вытурила ее оттуда с цианистой, то есть женской ядовитостью, заявив, что для работы в буфетной надо иметь специальное свидетельство на предмет «чистоты и медицинского здоровья».

...Истинную расстановку сил в семействе Фомичевых, ясное дело, давным-давно обрисовал мне Ушастик на дачном материале. «Баба Фомича не под каблуком, а под шлепанцем держит! Придет к нему товарищ-приятель на дачку, он: «Поддай, Галина Петровна, стакан и закуску!» Она — нуль: сидит на веранде и на природу смотрит. Он приятелю: «Супруга, значить, отдыхать легла, сам соображу!» А она-то на виду на веранде сидит и на природу смотрит! Ну, а Катька ихняя — тут такой нюанс: на всех чихать хотела. Наедут к ней с магнитофонами и залезут молодые и лохматые на крышу загорать — как будто на земле места мало, мать их! Крыша-то в бунгало тонкая, прогибается, а Фома с Петровной головы под крыло прячут и терпят! Страх перед молодым поколением ужасный! Где тут, скажи мне, Викторыч, здравый народный смысл? Ведь вот как бывает-то, в кино смотришь про Чичикова или там «Ревизора» и думаешь: литература, мол, все это, выдумки, а в натуре — иное! Нет! Все именно так! Стоит на Арнольда посмотреть да и на Фомича, прости господи! Ну вылитые они из Гоголя! . . .»

Однако на «Державино», на службе своего супруга, Галина Петровна обычно выказывает ему положенное по штату уважение и почтение. Так что некоторый боевой наскок на Фому Фомича за праздничным столом можно объяснить только рюмочкой, которую она приняла в честь Дня Военно-Морского Флота СССР при тосте: «За тех, значить, защитников наших, которые сейчас в море, на вахте и гауптвахте!»

К концу пиршества я, как непьющий, решил подняться на мостик и подменить вахтенного третьего штурмана, чтобы тот мог принять участие в общем веселье.

Со мной на мостике остался матрос первого класса Рублев.

После застольного шума и духоты особенно чисто, и свежо, и просторно было наверху.

Белое полunoчное солнце катилось слева направо над согбенными сопками материкового берега бухты.

Штиль был полный, и тишина была полная.

И бесшумно, черным дневным привидением, скользил-входил в бухту Диксона теплоход «Павел Пономарев».

На его носу изображен белый медведь с агатовым зверским глазом, обозначая принадлежность «Пономарева» к судам арктического братства.

Назван теплоход в честь старого полярного капитана, с которым я когда-то был шапочно, но знаком.

Павел Александрович — первый атомный капитан. Он принимал атомоход «Ленин».

Был час ночи, но солнце пронизывало рубку, и все, что может сверкать под солнцем, сверкало в ней.

Рублев, сын Рублева, явно принял рюмку, не дожидаясь подмены, но такой мир и безопасность царили вокруг, что я сделал вид, что не замечаю этого неуставного нюанса.

Мы смотрели, как бесшумно и спокойно швартовался «Пономарев» к Угольному причалу. И только грохот якорной цепи нарушил и еще больше подчеркнул тишину, — они швартовались с отдачей правого якоря.

Северная тишина! Она особенная, как тишина гор.

Кроме якоря «Пономарева» тишину нарушила тетя Аня: принесла нам в рубку кофе. По своей инициативе принесла. Значит, есть в ней врожденное морское — заботиться о ночной вахте. Плюс тете Ане!

Третьим тишину нарушил Рублев:

— Входить, родима матушка, пожалуй к нам на пир-беседу! — приветствовал он буфетчицу ее голосом. — Не боишша, что снасильничаем тебя, бабуля?

— Янот ты бясхвостный! Тебе кофю приволокла, чтоб не локтем закусывал и командирам сивушным духом не дышал, а он. . . — в четвертый раз нарушила северную тишину, обидевшись на Рублева, тетя Аня. И, заложив имитатора, ушла.

И мне ничего не осталось, как нарушить тишину в пятый раз:

— Что же вы, Рублев? Часик подождать не могли?

Он вздохнул сокрушенно и поклялся памятью отца, что это первый и последний раз. Я с Андреем как-то говорил о его отце, интересовался тем, насколько правдивы легенды. Вот имитатор и даванул на мою психику — так мне сперва показалось. Но Рублев, сын Рублева, вдруг поведал, что День ВМФ у них в семье особый, что в море погибли в войну все мужчины семьи, что сам он отбухал на крейсере три года в посту управления планшетистом

и что в такой День ему пить вместе со всеми как раз и не хочется, а хочется приголубить стопаря именно в одиночку; с такой искренностью он это поведал, что пришлось отпустить ему грех.

ДОБРОХОТЫ ЖИЗНЕВЕРИЯ

«Дорогой товарищ! Ты, верно, уже седеешь. Но, прости старика, для меня ты навсегда останешься мальчишкой. Пишу тебе и твоим товарищам, покинувшим в силу разных причин наш славный Военно-Морской Флот, и боюсь по-стариковски ослезиться.

Для меня ты навсегда останешься подростком, как и все твои однокашники. Вы все для меня подростки, сироты или наполовину сироты, опаленные пожаром Великой Отечественной войны. Вы для меня славные сыны полков и кораблей, юнги и воспитанники детских домов, куда попадали по причине гибели отцов и матерей, или они сражались на фронтах, ваши родители. И вот партия и правительство проявили о вас заботу, создали Суворовские и Нахимовские училища, а для ребят старше пятнадцати лет было создано Ленинградское военно-морское подготовительное училище. Здание, которое отвели под это училище, было все разбито бомбами и снарядами, и там ничего, кроме искореженных взрывами железных коек, не было, и вы ютились вроде как под открытым небом. И вот тогда начальник училища, капитан первого ранга, участник гражданской и Отечественной войн Николай Юльевич Авраамов, вечный ему покой, обратился ко мне, чтобы на время разместить ребят на моем корабле. Когда вас привели, то мы смотрели, как вы поднимаетесь по трапу, и немало удивлялись. Кто был в лохмотьях, кто в военной форме и даже с медалями и орденами, но вы были такие голодные, что кулаки наши сжимались от ненависти к врагу. И с тех пор я с особенным вниманием слежу за вашей судьбой. Из вас вышли Герои Советского Союза, покорители и магелланы морских глубин, адмиралы и ученые, и преподаватели, и даже писатели — такие известные, как, например, Валентин Пикуль. Но даже те, кто давно не носит морские погоны, по-прежнему в строю.

И, как прежде, всех вас объединяет крепкая морская дружба. Нам стоило трудов разыскать вас и собрать ныне здесь. Мы — ветераны флота — обращаемся к вам с просьбой. Включайтесь в работу Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту не формально, душой.

Адмирал Макаров завещал: «ПОМНИ ВОЙНУ».

Т. Савенков, бывший командир учебного корабля «Комсомолец», капитан I ранга в отставке».

Это трогательное письмо было приложено к официальной повестке с приглашением явиться туда-то и тогда-то на симпозиум общественных активистов-инструкторов ДОСААФа. Симпозиум должен был состояться под девизом «Навстречу 40-й годовщине шефства ВЛКСМ над ВМФ».

Честно говоря, никуда бы я не явился, кабы не было приложенного письма от старого моряка в отставке. Увидев от всякого рода подобных мероприятий мы замечательно научились именно в силу специфики нашего отрочества, то есть специфики наших военно-морских биографий.

Но... но на «Комсомольце» я первый раз пошел в заграничное плавание и, кроме того, еще умудрился неожиданно встретиться на нем с родным братом. У входа в Ирбенский пролив «Комсомолец», его командир Савенков, я, брат и другие курсанты попали в тяжелый шторм; изношенные паровые машины старика «Комсомольца» не тянули (корабль-старикан под названием «ОКЕАНЪ» участвовал еще в Цусиме). И тогда я впервые увидел, как происходит потеря якоря, то есть рвется якорная цепь, когда огромный корабль в отчаянии пытается зацепиться за скалистый грунт при наличии мощного дрейфа и малых глубин.

Вот мне и не хватило духа сачкануть от мероприятия.

Нас, активистов ДОСААФа (на жаргоне — «доброхотов»), собрали в Военно-морском училище в историческом зале, стены которого были увешаны трафаретными для всех училищ, знакомыми с отрочества картинами старинных морских батальи, прославивших в веках наш флот. Полотна эти имеют обычно огромные размеры: почти

один к одному с натурой. Разорванные ядрами паруса, перебитые мачты, летящие с рей в кипящие волны вражеские матросы, развевающиеся победные флаги и вымпелы окружали нас, вводя в соответствующее настроение.

Пиджаки, куртки и свитеры выглядели на воинственном фоне кургузо.

Старшим в группе был назначен бывший командир дизельной лодки, а в то время лоцман в Выборге, по фамилии Ямкин — сумеречный мужчина, тяжелый в плечах, голубоглазый и молчаливый. Он получил кличку «Старик».

«Ящиком» прозвали холеного очкастого джентльмена с двумя значками высших учебных заведений на заграничном пиджаке. Джентльмен часто повторял: «Интересно отметить, товарищи, что мы угодим в до-о-лгий ящик». В прошлом он служил штурманом на подводной лодке, потом стал крупным ученым в таинственных околофизических областях.

«Психом» прозвали социального психолога, прошедшего путь от минера до заведующего лабораторией проблем стабильности производственного коллектива.

Я получил обидное прозвище «Сосуд Вedo».

— Ну, подводные асы, — сказал здоровенный лысый тип, последним присоединяясь к группе, — если без китайских церемоний, то прошлое у меня тоже таинственное, а ныне я специалист по Древнему Китаю. Ба! — продолжил он, взглядевшись в мою физиономию. — Здорово, Сосуд Вedo! Помнишь меня?

— Вы меня с кем-то путаете, — сказал я.

— Это я путаю?! — возмутился лысый тип. — Да знаешь ли ты, какая память должна быть у китаевода?

— И знать не хочу, — сказал я, начиная припоминать несимпатичное.

— В Корсакове! На Сахалине! В пятьдесят третьем! Ты тральщик сдавал, а я у тебя в каюте ночевал! Не помнишь? — орал тип. — «Сосуд вedo» у них пропал. Весь пароход вверх дном поставили, сосуд искали, сдаточный акт подписать не могли, идиоты!

И он выложил, к удовольствию слушателей, историю, которую я старательно забыл.

Итак, я сдавал тральщик. До меня во всех приемосдаточных актах значился «сосуд вedo». Мой приемщик оказался дотошным и потребовал представить сосуд для

личного обозрения. Я знать не знал, что это за штука, но, как и все мои предшественники, по морской глупости не мог признаться в этом. Я предполагал, что это что-нибудь связанное с определением солености морской воды. И вот тип, которого я пригред в своей каюте на далеком Сахалине, утверждал, будто первым догадался, что в слове «ведо» просто-напросто пропущено «р» и дело идет о ведре.

Конечно, я стал «Сосудом». Типа прозвали «Китайцем». Без клички остался только Петя Ниточкин. Мой друг никогда кадровым офицером не служил, но, как капитан дальнего плавания, а в прошлом матрос-подводник и старшина рулевых на эскадренном миноносце, теоретически был годен и для досаафовской деятельности по разряду подводников.

Вот и все действующие лица. Вокруг этих лиц топталось по залу еще около сотни корешков, но они в прошлом принадлежали к иным видам и специальностям военноморских сил. В едином потоке мы должны были прослушать только вводный курс.

— Товарищи офицеры! — прогремел молодой румяный капитан второго ранга, обреченный руководить нами. И две сотни рук опустились в поисках швов, хотя мы несколько и удивились такому к нам обращению-команде.

В высоком и широком дверном проеме показался контр-адмирал. Он медленно поплыл между нами, как авианосец среди джонок в Малаккском проливе. Тяжелым взглядом адмирал обводил каждого из нас. Мы явно ему не понравились.

— Флотоводец наверху не зависит от неба, внизу не зависит от земли, посередине не зависит от человека, — прошептал Китаец. — Сунь Цзы, трактат о военном искусстве. . .

— Это Беркут, — шепнул мне Петя. — Это с ним меня шарахнуло гранатой. . .

Суровое лицо флотоводца озарилось ласковой и чуть насмешливой улыбкой, когда его взгляд наткнулся на моего друга.

— Петр Иванович! Рад! Очень рад! Как твоя корма?

— Зажила, давно и думать забыл, Федор Сидорович, — сказал Петя.

— Ну, здесь я тебе не Федор Сидорович.

— Простите, товарищ адмирал!

— А к непогоде задница не болит? — поинтересовался адмирал.

— Нет, а ваша пятка? — спросил Петя.

— Прихрамываю, как видишь. Говори телефон! Быстро! — приказал адмирал. — Позвоню на неделе, прошлое рюмкой смочим.

— Не могу дать телефон, товарищ адмирал! Новую квартиру на Гражданке купил!

— АТС еще нет?

— Так точно!

Адмирал Беркут вытащил визитную карточку, сунул Пете в карман тужурки.

— Звони завтра же! Что-нибудь придумаем.

— Есть!

Активисты ДОСААФа слушали этот диалог с некоторым удивлением и заинтригованностью.

Адмирал дал ход и с небольшим постоянным креном на левый борт — из-за хромоты — миновал узкость, то есть двери в коридор.

— Следуйте за мной! — бросил он хмуро.

И мы тронулись за адмиралом бесформенной массой.

— Отставить! — рявкнул Беркут. — Построиться! Товарищ капитан второго ранга, командуйте, леший вас раздери! На кой черт вас назначили сюда?

Адмирал сразу давал нам понять, что мы пришли не в детский сад. И что уж если мы попали ему в руки, то его мало интересует наш общественный статус или заслуги на гражданском поприще. Здесь мы для него подчиненные — и все.

Молодой румяный кавторанг построил нас в две шеренги. И, шагая попарно, как детсадовские детишки, переходящие улицу, мы проследовали в клубный зал по пустынному коридорам под темными ликами великих морских людей прошлого.

Адмирал стал на якорь посередине рейда, то есть клубной сцены. Мрамор и величие колонн, бесконечно высокий потолок старинного зала, густой свет люстр заменяли ему береговые мысы, небеса и светило.

— Товарищи бывшие офицеры, деятели нашего славного ДОСААФа! — начал адмирал. — Я приветствую и поздравляю вас с началом нашего симпозиума!

Какой-то подхалим в зале захлопал.

— Вы уже многие годы живете и работаете на

гражданке и, как все советские люди, боретесь за мир, — продолжал Беркут. — За эти годы к нам и нашим супостатам пришли электроника, ракетное оружие, атомные двигатели и ядерные боеголовки. Сегодня вы познакомитесь с оружием, принятым на вооружение в сравнительно недавние времена. Затем будет лекция по сухопутному стрелковому оружию — обзорная. Затем вы посмотрите кинофильмы. Вопросы есть?

Это адмирал рыкнул так, что наши давно штатские языки оказались приваренными к гортаням намертво.

— Я почему так строго говорю? — спросил тишину или самого себя адмирал Беркут. И сам себе ответил через добрых тридцать секунд вопросительной паузы. — Потому что здесь специфический народ собрали. Здесь те, кому в сорок пятом шестнадцать исполнилось. Вы все на фронт рвались, да не успели. Все потом училища пооканчивали, а в мирные дни служить вам, стало быть, скучно показалось. И с флота отчалили. Однако кое-что повидать успели. Стало быть, о себе высокого мнения. Так вот, любые формы недисциплинированности будут наказываться беспощадно — путем отправки соответствующих сигналов по месту работы. Приступайте к занятиям!

Да, Беркут умел брать быка за рога совсем иным, нежели командир «Комсомольца», приемом. Старшины вытаскивали на сцену подставки-вешалки и рулоны схем. Румяный кавторанг поднялся на кафедру.

И мы туго, со скрипом начали вникать в законы самоотталкивания. Кавторанг сыпал в закрома наших черепов формулы, как горох в суп. Он их не разжевывал. Ему надо было заставить нас полностью осознать наше малознание, чтобы мы почувствовали себя первоклассниками и прониклись почтением к предмету.

Когда он добился своего, то есть увидел выражение сонной одури на абсолютном большинстве физиономий, то перешел на беллетристику: коснулся вопроса традиций.

— Товарищи, вы должны понять, что тот флот, который вы знали, и тот, который существует сейчас, качественно различны. Качественно! Обычно там, где традиции очень сильны, вырабатывается иммунитет к радикальным нововведениям. Даже если новое на флоте одерживало раньше ту или иную победу, оно, это новое, облакалось в традиционную оболочку и приобретало весьма неожиданные черты и свойства, которые во многом

изменяли первоначальный облик нововведения, а то и просто выхолащивали его суть. Мы имеем дело с качественно новым видом оружия, требующим иного, нового военно-морского мышления... Вы понимаете, о чем я говорю?

— Разрешите вопрос? — скрипуче спросил Ящик.

— Пожалуйста.

— Бывший капитан-лейтенант, ныне активист ДОСААФа местного масштаба Желтинский. Вторая слева схема изображает блок «Б» не той штуки, с которой вы нас знакомили, а несколько иной, — сказал Ящик, протирая очки.

Молодой кавторанг оглянулся на схемы.

— Простите. Лаборанты напутали, — сказал он и приказал старшинам заменить схему.

— Я попросил бы не заменять некоторое время, — скрипучим голосом сказал Ящик, надевая очки. — Мне кажется интересным отметить, что в блоке управления гироскопы расположены не традиционно и составляющая их прецессий являет собой радикальное нововведение, так как указывает не на истинный норд, а, интересно отметить, на плавучий ресторан «Чайка» или, в лучшем случае, на сухопутный ресторан «Садко».

Молодой кавторанг стал еще румяней и впился глазами в схему «Б».

— Активист местного масштаба Желтинский, ты, случаем, не шеф-поваром в «Садко» работаешь? — спросил из задних рядов явно уже давно сиплый бас.

— Интересно отметить, — проскрипел Ящик, — что автор схемы, перерисовывая ее с соответствующего пособия, уже забыл азы, то есть векторную алгебру.

Кавторанг погрузился в схему, отсчитывая и проигрывая в своем мозгу вариант за вариантом, чтобы найти ошибку, в которую его совал носом шпак в очках. И чем дольше ему не удавалось найти ошибку, тем веселее казалось ему близкое будущее, когда он поставит шпака на место.

И тогда Ящик повел игру кошки с мышкой. Мы ничего не понимали в том, что говорили два специалиста по существу вопроса, но отлично видели, что кот то прилапливает, то отпускает жертву, дает ей обнадежиться, маленько метнуться и опять когтистой и беспощадной лапой хватает за загривок.

Закончилось представление с честью для кавторанга, ибо он не стал выкручиваться и лгать, и использовать власть или даже пытаться ее использовать.

— Товарищи деятели ДОСААФа! — обратился он к нам уже с несколько большим почтением. — В схеме есть ошибки, которые я пропустил. Я благодарен капитан-лейтенанту Желтинскому за науку. Капитан-лейтенант знает гироскопические и инерционные схемы не хуже моего начальника кафедры.

— Лучше! — громко, но флегматично заявил Псих. Зал принялся обсуждать спорный вопрос.

— Прекратить! — сказал кавторанг. — Не на базаре!

— У Желтинского прямо на лбу написано, что он эту адскую машину сам выдумал, — сказал Псих. — Не местного он масштаба, а всесоюзного. Ящик, прав я или нет?

— Это уже нас не касается! — сказал кавторанг, начиная слезать с кафедры. — Вопросов больше нет? Тогда. . .

— Есть! — сказал Китаец. — Разрешите?

— Да, — без большого воодушевления разрешил кавторанг.

Зал опять насторожил уши.

— Интересно отметить, товарищ преподаватель, — сказал Китаец, — что изучение ошибочного, а также использование удивительных приспособлений и необычных орудий, не говоря уже о гадании по черепашьим панцирям, в Древнем Китае каралось смертной казнью через удушение. Я имею в виду то, что вы заставляете нас изучать ошибочно блок «Б» этого удивительного и необычного оружия. А мы в свою очередь будем неверно информировать молодое поколение будущих воинов.

— Хватит, — сказал Псих. — Каждый может запомнить или запутаться. Человек работает, и уважайте его работу!

— А знаешь ли ты, — сказал Китаец Психу, — что страсть спорить при помощи лицемерных речей в Древнем Китае наказывалась смертной казнью через отрубание головы? Я сейчас имею в виду то, что ты там не существовал бы и пяти минут!

— Мне кажется, что ты относишься к породе ужасных нахалов, — спокойно сказал Псих. — А чужое нахальство

вредно для окружающих. Оно вызывает стрессовые срывы. Именно из-за таких типов я и завязал с морем.

— Во! — восхитился Китаец. — Нашел причину!

Псих встал и внимательно посмотрел на Китайца.

— Могу с уверенностью сообщить, товарищи, — обратился он к залу, — что у этого типа, судя по степени оттопыренности ушей, было пять-шесть жен. А сейчас он вгоняет в гроб очередную, но она туда не лезет и. . .

— Прекратите посторонние разговоры! — попросил кавторанг.

Китаец его не слышал. Он вскочил с места и потянулся через спинку стула к Психу.

— Если без китайских церемоний, — шипел Китаец, — я вот тебе сейчас дам по шее. . .

— Стоп дизеля! — сказал старшина нашей группы Старик-Ямкин. — Сядь.

Весомо у него получилось.

Китаец вздохнул и сел.

— Теперь заведи кольчужный пластырь себе на ротовое отверстие, — посоветовал Старик.

— Есть! — без китайских церемоний согласился Китаец.

— Товарищ капитан второго ранга, лишних вопросов не будет! — заверил преподавателя Старик.

— Вы, товарищи, думаете, что мне самому охота здесь с вами топтаться в субботний вечер? — спросил кавторанг и улыбнулся обаятельной улыбкой адмирала Беркута. — Ладно. До перерыва тридцать минут. Проведем переключку, и травите потом баланду до звонка. . . Ананьев! . .

— Есть! — ответил знакомый сиплый бас.

— Кому всегда везет — так это Ананьевым! — совершенно неожиданно нарушил воинскую дисциплину и порядок сам Старик. — Черт бы их побрал!

— Почему? — часто моргая, спросил капитан второго ранга.

— Я — Ямкин! И вся жизнь из-за этой проклятой последней буквы в алфавите пошла вкривь. . . Простите! — спохватился он и дальше молчал, как стопроцентная рыба.

— Букин!

— Есть!

— Вертопрахов! . .

— Есть!

— Говядин!

Здесь пауза затянулась. И тогда раздался писклявый голосок близко от меня: «Есть!»

За легкомысленного Говядина ответил Китаец. Он еще раз пять отвечал за отсутствующих, постепенно наглая и даже переставая менять голос.

Наконец капитан второго ранга не выдержал.

— Вы что, — спросил он аудиторию. — думаете, я до сотни считать не умею, если с блоком напутал?

— А кто вас знает, — угрюмо засомневался из аудитории сиплый бас.

— Как вы пришли, вас всех отметили, — объяснил кавторанг. — И сосчитали. У меня по списку окажутся все, а у начальства? Фитиль получать? Сами не служили? Дюжину покрою, остальных — кровь из носа — не могу!

— Если без китайских церемоний, — с трогательной искренностью сказал Китаец и встал, — вы правы. Они в баре сидят, а я здесь за них мяукай! В Древнем Китае групповое пьянство, например, каралось смертной казнью. Цитирую из источника «Шан-шу», том четвертый, страница пятьсот третья, глава называется «Предписание об употреблении алкоголя...»

— Кто там поближе! Заткните этому Шан-шу-дуну пасть! Давно бы уже отповерялись и курить пошли! — раздалось из аудитории.

— Вас как величать? — спросил капитан второго ранга Китайца.

— Рядовой доброхот, — заскромничал, уклоняясь от прямого ответа Китаец.

— Продолжайте! Мне самому интересно про «Шан-шу», — сказал наш учитель.

— Цитирую: «Если кто-то донесет тебе и скажет: собираются сборищем и выпивают, ты не растеряйся, схвати их всех и приведи в столицу Джоу, где я их казню!» Здесь, товарищи по симпозиуму, — сказал Китаец, — кавычки закрываются.

Переключка закончилась тяжелым вздохом, с которым бывший капитан третьего ранга Ямкин выговорил короткое «Есть!».

Старшины на сцене скатывали в рулоны и уносили схемы блоков. Когда уносили блок «Б», Ящик обратился ко мне:

— Чем дальше я наблюдаю окружающих, тем более знакомыми мне все кажутся. Вот ты, например, был на практике на одном из фортов году в сорок шестом?

— Кажется, был.

— Голодуху помнишь?

— Конечно.

— Так вот, мы с тобой ловили как-то колюшку тельняшками: надеялись на уху наловить.

— Только это, пожалуй, сорок седьмой.

— Возможно.

Загремел звонок на перерыв, напомнив нам колокола громкого боя и на том форту и на линкоре «Октябрьская Революция».

И мы пошли курить по длинным коридорам под портретами знаменитых флотских людей. Когда миновали создателя толкового словаря русского языка Владимира Ивановича Даля, Псих сказал:

— Флот всегда отличался тем, что, будучи невыносим для некоторых людей определенного вида дарования, выталкивая их из себя, успевал, однако, дать нечто такое, что потом помогало им стать заметными на другом поприще.

— Только отчаливать с флота надо в точно определенный момент, — сказал я.

— Да, — согласился Ящик. — Тут как в фотографии: передержка гибельна.

Мы миновали угрюмый лик отца русской авиации, который под треск штормовых парусов у мыса Горн выдумывал самолет, и набились в шикарное место общественного пользования — кафель, фаянс, эмаль, зеркала, никель цепочек. Место соответствовало ракетно-ядерному веку. Однако выйти из него в залу с недокуренной сигаретой оказалось невозможно. У дверей встречал дежурный досаафовец.

— Товарищи, прошу извинения, — почтительно, но непреклонно говорил он, — курить в зале не разрешается. Только в галюне.

— Где курительная? — грозно вопрошали бывшие юнги и воспитанники, которым (для сохранения их здоровья) до шестнадцати лет не выдавали табачное довольствие вообще, а после шестнадцати и до восемнадцати выдавали вместо махорки ленд-лизовский шоколад, но которые курили лет с двенадцати-тринадцати.

— Прошу извинения. Недоразумение: уборщица не знала, что в субботу здесь состоится симпозиум, и унесла ключ от курительной комнаты.

— Где запасные комплекты? . .

— А если в курительной пожар, ключи найдутся? . .

— Ну и порядок! . .

— Где курительная? Сами откроем. Вася, у тебя отмычка с собой? . .

Грозный ропот на дежурного не действовал. Превосходство несущего пост над бывшими служаками укрепляло его дух. Он надежно укрывался за броню: «Не могу знать!», «Никак нет!», «Так точно, нет!».

Короче говоря, все курящие задымили в шикарном заведении. Облака дыма, имеющего отвратительный запах, — никотин, вероятно, реагирует с дезинфицирующими веществами, — сгущались с каждой секундой перерыва. И уже через пять минут заведение напоминало местечко на Венере, атмосфера которой, как известно, ядовитой и плотной пеленой укрывает планету утренней зари от глаз астрономов.

Мы кашляли, плевались, но продолжали смолить на полный ход. Загнать в легкие, то есть в кровь, максимум отравы между занятиями совершенно обязательно для занимающихся. При возможности ты загоняешь в себя две или даже три сигареты. И еще одна вещь типична для поведения бывших офицеров в перерывах. Хотя ты только что долго сидел и тебе предстоит впереди опять сидеть, но в перерыве ты тоже хочешь сесть. Просто ужасно хочешь сесть. Принцип «в ногах правды нет» так и вертится в твоей голове. Прошлые россияне, отстаивая церковные службы, отшлифовали эту простую истину до мучительного блеска. И даже самые изумительные фанатики клонули на удочку коленопреклонения. Ведь опускание на колени есть одна из форм облегчения кано́на стояния во время бесконечных церковных служб. С каким ясным и облегченным вздохом толпа верующих бухается на колени, когда к тому подается сигнал или представляется любая другая возможность! И сразу вместо двух точек опоры появляется целых шесть, ибо начинают работать и руки, упираясь в пол. И, таким образом, правда, которая не в ногах, чувствует себя отлично во всем теле коленопреклоненного.

Звонка с перерыва все не давали.

— Скажите, ребятки, — задал общий вопрос Псих, — почему величественные статуи украшали именно форштевни старинных парусников? Ведь статуя может очень даже красиво выглядеть и на корме. Кто первый?

— Интересно отметить, — заскрипел Ящик, — что статуи прикрывали высоким искусством обыкновенный сортир. А находился он в носу фрегатов, чтобы грязные брызги ветер сносил вперед по курсу, а не в физиономию судоводителям. Море всегда учило людей соединять утилитарное с прекрасным.

— Ты кандидат или доктор? — спросил Ящика Псих. — Подожди отвечать! Товарищи, что говорит опытному психологу манера человека поворачивать голову влево или вправо при ответе на вопрос?

— А если он ее никуда не поворачивает? — поинтересовался Китаец.

— В девяти из десяти случаев поворачивает, когда вопрос требует хотя бы незначительного размышления, — заявил Псих. — Левосмотрящие, по мнению ученых Мичиганского университета, более общительны, музыкальны, имеют более живое воображение, легче поддаются гипнозу и быстрее едят...

— Я какой? — живо спросил Ящик.

— А я? — спросил Китаец.

— А я? — спросил я.

— А я? — спросил даже Старик-Ямкин.

И все мы завертели головами в венерианском дыму, пытаясь вспомнить, куда поворачивается наш нос в момент тягостного вопроса.

— Я присваиваю Ящику доктора наук, — сказал Псих. — Он правосморящий. Такие меньше спят и чаще специализируются в математике. Среди них встречаются люди с нервными тиками и подергиваниями. Ящик, ты когда-нибудь дергался?

И, к нашему восхищению, лицо Ящика вдруг неуловимо вздрогнуло и кожа над его правым веком запульсировала.

— Мигрени частые? — старательно соболезнуя, спросил Псих.

Ящик кивнул и взялся за затылок. При этом безмолвном ответе голова его повернулась вправо!

— А меня всегда и всюду тянет влево! — заявил

Китаец, с грохотом опустил крышку ближайшего стульчака, удобно уселся, поддернул брюки и даже закинул ногу на ногу.

Нам стало завидно, но не так-то просто было последовать его примеру.

— Типичный случай распада интеллекта, — проскрипел Ящик в адрес Китайца.

— Да, примитивные формы духовной коммуникации все еще играют доминирующую роль в поведении некоторых человекообразных, — сказал Псих.

— Уши вянут от вашего наукобезобразного языка, — сказал Китаец. — Все очень просто, если смотреть в корень. И в век научно-технической революции подобное мероприятие должно начинаться в суровой и грубой обстановке. Здесь мудрый резон. Вот мы сейчас уже связаны между собой какой-то круговой порукой. Каждый из нас уже забыл про то, что в его ранце спрятан маршальский жезл. Между нами начинается чисто мужская дружба. Уборщица случайно унесла ключ от курительной, и мы случайно застряли именно здесь, но во всех этих случайностях есть закономерность...

— Товарищи бывшие офицеры! Перерыв закончился! — доложил дежурный. — Вас просят построиться!

Оказалось, что звонка не было так долго потому, что он испортился — обычная неравномерность в развитии НТР.

Лекцию о стрелковом оружии читал пожилой гвардии майор. Орденские планки, значки и все другие виды отличий покрывали его грудь броней, рядом с которой новгородские кольчуги показались бы женскими рубашечками.

Двое пожилых старшин-сверхсрочников вытащили на сцену и установили на столе образец какого-то стрелкового вооружения. Оно выглядело ужасно. Неясно было даже, где у него начало, а где конец.

Майор с удовлетворением оглядел зал, из которого тянулись к ужасному оружию любопытствующие шеи.

— Есть тут товарищи, которые знакомы с этим оружием? — спросил майор.

Мы молчали.

— Я знаю, — сказал майор, — что многие сейчас думают: а зачем мне стрелковое оружие, если я, мол, моряк и служил на подводной лодке? Думаете так?

— Думаем, — согласился Ящик и протер очки.

— А есть такие, кто возьмется разобрать этот образец? — спросил майор. — Нет? То-то!

— Разрешите, я попробую? — спросил Китаец и встал.

— Пожалуйста, сюда, — пригласил майор Китайца на сцену.

Китаец неторопливо вылез из рядов, громко приговаривая:

— Проходя между сидящими, не поворачивайся к ним задом — так учили в Древнем Китае.

— А голову за это не отрубали? — спросил я.

— Нет, Сосуд, только нос, — успел ответить он и пошел на лобное место к ужасному оружию.

— Много болтаете, — заметил майор.

— Разрешите ваш носовой платок, товарищ майор, — сказал Китаец, поднявшись на сцену.

Зал, привыкший к его выходкам, сдержанно заржал.

— Мы не в цирке, товарищ, а я не Кио! Марш на место!

— Если без китайских церемоний, — сказал Китаец, — я разберу и соберу эту игрушку за пять минут с завязанными глазами.

— Вы не сделаете этого и за десять с открытыми, — сказал майор, покрываясь пятнами.

— Прошу завязать мне глаза! — сказал Китаец. — Есть у вас платок или нет?

— Долго вы собираетесь дурака валять? — спросил майор.

Китаец махнул рукой, шагнул к столу и замер, глядя на оружие. Загорелая физиономия Китайца начала стремительно бледнеть. И аудитория затаила дыхание. И майор замолк. И старшины-сверхсрочники, которые уже готовы были ринуться на помощь преподавателю, тоже окаменели. Китаец медленно, как змея, гипнотизирующая кролика, склонился к оружию, потом схватил его, зажмурился и прошипел:

— Засекай время, ребята!

И майор, и старшины, и все мы глянули на свои часы.

В космической тишине то масляно и глухо, то громко и звонко заговорила вороненая сталь, застонали взводные пружины, защелкали зацепы и туго заскрипели штыри.

Китаец разобрал оружие и разложил детали на столе. Затем опустил руки вниз, как водолаз, который собирается нырнуть в рубаху, и хрипло сказал:

— Эй! Кто тут из рядовых-необученных! Снимите с меня пиджак, не видите: старлею жарко?

Пожилые старшины торопливо стащили с него пиджак.

И опять то масляно, то звонко заговорила сталь, застопали сжимаемые пружины, защелкали зацепы, закрепили нарезные части.

На четвертой минуте Китаец уронил какую-то деталь на пол и прошипел:

— Старшины! Поднимите пламегаситель! Не видите, он упал?

Старшины бросились под стол разом с обеих сторон и столкнулись лбами над пламегасителем. Это было сокрушительное столкновение, но никто в зале не засмеялся. Только Ящик мечтательно пробормотал:

— Абсолютный вакуум!

— Где? — недоуменно прошептал Псих.

— Неважно, не будем уточнять, — сказал Ящик рассеянно, погружаясь в ученое раздумье. — Второй год пытаюсь посадить гироскоп в вакуум высокой степени, и никак не получается...

На Ящика зашикали.

Китаец блестел от пота и тратил секунды на смахивание капель со лба, испачкав оружием маслом толстую физиономию.

В половине пятой минуты майор робко пробормотал:

— Осталось тридцать секунд.

Из аудитории прохрипел сиплый бас:

— Не мешай, отец!

Его поддержали:

— А вы, товарищ преподаватель, тренируйтесь пока!

— Сейчас на вас смотреть будем!..

В начале седьмой минуты Китаец вскинул оружие в боевое положение, направил в живот майора и яростно застрочил языком: «Тра-та-та!»

— Молодец! — вырвалось из майора помимо его уставной воли. — Где это вы так научились?

— Если без китайских церемоний, товарищ преподаватель, — сказал Китаец, надевая пиджак, — то... это военная тайна. Еще вопросы будут?

Не хвастаться и не торжествовать самым открытым образом было не в его характере. Проходя на место, он добил майора:

— Интересно отметить, товарищи доброхоты, что нас опять обманывают. У этой штуки давно борода и усы выросли, а ее за последний крик моды выдают!

Аудитория бурно аплодировала.

Но майор нам попался крепкий. Он быстро нас утихомирил. Все-таки хотя участники симпозиума и были в пиджаках, но помнили кое-что из дисциплинарного прошлого.

И до конца занятия мы послушно и внимательно слушали «те-те-де», вникали в схемыдвигающихся частей и в принципы боевого использования этого, действительно, как признался в конце концов майор, уже устаревшего в некоторой степени оружия.

В перерыве преподаватель демократически пошел курить вместе с нами. Опять заговорили о традициях.

— Воздействие традиции на современность — весьма сложный процесс, товарищи по оружию, — начал Ниточкин, залезая на подоконник. — Я осознал это вместе с адмиралом Беркутом на боевом мостике крейсера среди моря электроники и радиолокации, получив два осколка старомодной сухопутной ручной гранаты «лимонка» в правую ягодицу. Адмирал получил один в пятку. Он, вероятно, первый и последний адмирал в мире, раненный таким ахиллесовым образом. . .

— Интересно отметить, — перебил моего друга Ящик своим скрипучим голосом, — что Беркуту могут хотя бы позавидовать все прошлые и будущие адмиралы, а у вас нет даже этой компенсации, если, конечно, все это вы не врете. Я человек науки и верю только фактам. Для начала покажите шрам.

Петя вынужден был слезть с подоконника. Рассупониваясь, он сказал Ящику:

— Никакого странного мистического света вы там не увидите, коллега.

— Товарищ гвардии майор, — попросил Ящик, — судя по орденским планкам на вашей груди, вы, вероятно, понимаете в этих делах толк. Я попросил бы вас о небольшой экспертизе. . .

— Я, если без китайских церемоний, тоже кое-что понимаю, — заявил Китаец.

Да, здесь были мужчины, которые знали толк в старых шрамах. Им нельзя было всучить след от флегмоны вместо пулевого ранения, как делают иные, пытаясь подточить женское упрямство фактами героической биографии.

Вокруг Петиного шрама собралась порядочная кучка ветеранов. Несколько секунд раздавалось: «А может, противопехотная?» — «Нет, тут и эр-ге-де может, если метрах в тридцати...» — «Слабо задело...» — «На излете, дураку ясно...» — «Лимонка в пятнадцати метрах — зуб даю...».

— Не врет, не врет! — таково было решение жюри.

— А давность? Давность определите! — дотошничал человек науки. — Может, он в детские и отроческие годы всего-навсего по свалкам лазал и от врожденного любопытства незнакомые металлические предметы трогал?

— Ну, дорогой товарищ, — с каким-то даже сожалением к Ящику сказал гвардии майор. — Давность два года — максимум! И без биноклей видно, — не удержался и съехидничал старый рубака, заменив очки Ящика более мощным оптическим средством.

— Так вот, — продолжал Петя, приводя форму в порядок. — Нужно уважительно относиться к сухопутному оружию, даже если вы моряки до мозга костей. Все вы нынче видели адмирала Беркута. Это мужчина, который не бросает слов на ветер...

— Грубоват. Лихой моряк, но грубоват, — вклинился в Петин рассказ из открытых дверей какой-то некуращий. Физиономия его была покрыта флером мрачного юмора.

— Есть немного, — согласился мой друг. — Я был с ним на флагманском крейсере. Отрабатывали проводку конвоев. Не знаю почему, но в свободное время адмирал выбирал меня в собеседники. Рассказывал о детстве. Как жил в сухопутном подмосковном пригороде — коммунальные бараки и масса тараканов. Были у них черные тараканы, прусаки и темно-красные, именуемые по науке «американцами».

— «Мы прусаков не боимся!..» — запел на мотив Мальбрука доктор наук, идеи которого лежали в основе многих сложных видов оружия.

Глядя на Ящика, я еще раз убедился в одной бесспорной, но странной истине. Если мужчин оставить без над-

зора в коллективе, они немедленно опускаются до возраста самого молодого и начинают озорничать и безобразничать на его уровне. Но и этого мало: безнадзорный мужской коллектив характерен тем, что опускается еще ниже — до уровня мальчишек.

Быть может, я поэтому и люблю безнадзорные мужские коллективы.

— Путь в океаны Беркут начинал в ржавом тазу на полу барачной кухни, — продолжал Ниточкин с угрюмым вздохом (мой друг не любит, когда его прерывают). — Делали они с соседским пацаном бумажные кораблики, сажали в них прусаков и американцев — получался морской бой. Не знаю почему, но слушать детские воспоминания сурового адмирала мне было приятно. И я, как говорят, прикипел к нему душой. И потому болезненно переживал его неприятности и разочарования. А они были. И так, отработывали мы проводку конвоя. Флагман шел, как положено, в охранении эсминцев. По плану к флагману должны были прорываться подлодки...

— Заливает! — мрачно сказал из дверей некурящий. — В том-то и дело, что мы должны были атаковать торговые суда, а Заика решил показать класс и прорваться к флагману...

— Спускайся в центральный пост. Что ты через люк орешь? — приказал Старик. — Какой Заика?

Некурящий спустился в центральный пост, то есть переступил порог галюна. По его физиономии скользнул светлый луч, как у театрального статиста, когда ему вдруг разрешают сказать пару слов у рампы.

— В том-то и дело, корешок! — еще раз укорил он Петю. — А почему Заика лез на флагмана? Потому что он из кожи вон хотел вылезти — вот чего хотел Заика! А почему он из кожи хотел вылезти? Потому что он заикался, а Беркут об этом не знал. А в результате что? Я здесь с вами пузыри пускаю.

— Уточни позицию! — скупой приказал Ямкин, хотя и ему и всем нам ясно было, что некурящий принадлежит к тем морячкам, которые при подобной травле играют роль подсадной утки, как в цирке подыгрывают клоуну со зрительского места специальные ребята.

— Да я вахтенным офицером был, когда мы рубку под самым носом этого крейсера высунули, я! — с полной

достоверностью врал некурящий. — Знаете, как Заика «срочное погружение» командовал? Двадцать секунд: «Сро-сро-сро-сро...» Десять секунд: «Оч-оч-оч-оч...» И еще секунд сорок на остальные звуки — вот так! При таком командире мы не только рубку могли из воды высушить, но и над волнами подняться, как нормальная летучая рыба!

— Насколько я понимаю, — сказал гвардии майор, — они и нырнуть могли глубоко? Глубже, во всяком случае, чем окунь, а?

— Вполне! — серьезно сказал бывший командир дизельной подлодки Ямкин, потому что спектакль разыгрывался главным образом для сухопутного майора.

— Заика черепаху сварил, — гениально импровизировал некурящий, — живьем. Я сам видел. Зачем он черепаху сварил? Чтобы пепельницу сделать из панциря. Сварить-то он ее сварил, а вареное мясо сам вытаскивать не смог — нервы оказались слабые. И он эту операцию заставил старшину трюмных производить...

— Да, запузырить ракету в белый свет как в копеечку — это одно, а вот мясо из черепахи вытащить — другое... — вздохнул Ящик.

— При чем тут черепаха? — спросил Старик у некурящего. — Продуй носовую! Ну, удифферентовался? Поплыл дальше. Так, значит, Беркут Заика командиром сделал?

— Ага. Прибыл в дивизию, посмотрел в списки, спрашивает комдива: «Почему у вас десять лет ходит в старпомах капитан третьего ранга Заикин? Имеет он отличные показатели по всем статьям?» Комдив: «Разрешите доложить, товарищ адмирал...» Беркут: «Не разрешаю!» Комдив: «Но, товарищ адмирал, разрешите все-таки...» Беркут: «Никаких «все-таки»! Вы начальство разучились слушать?! Так вас и так! Вызвать этого десятилетнего старпома и швырнуть его на торпедный стенд, и пусть выводит лодку в атаку, а я посмотрю, как вы, так вас и так, не умеете подбирать кадры!...»

— Между прочим, — сказал Псих. — Извини, что перебею, но это всех касается. Недавно я ознакомился с диссертацией директора донецкой шахты Владимира Середы. На основании научного анализа он доказал: плохое настроение рабочего, обиженного грубым словом начальника, снижает производительность ручного труда

на шестьдесят процентов; обруганный шахтер, занятый на механизированных операциях, работает ниже возможностей на двадцать процентов; и даже автомат, товарищи по оружию, обслуживаемый обиженным человеком, выполняет автоматическое дело на четыре-пять процентов хуже, а вы здесь выражаетесь, как обыкновенные сапожники. . .

— Получается так, — сказал Ящик, — если боеготовность флота, которым командовал Беркут, находилась на должном уровне, то это означает, что потенциально флот имел запас боеготовности процентов на тридцать. Ведь адмирал мог в любой нужный момент увеличить мощь флота на тридцать процентов, заговорив с подчиненными сладеньким голоском. Да ему надо памятник при жизни ставить, а ты его порочишь!

Некуращий вполне натурально изобразил растерянность, ошалело заморгал глазами. Он как бы не мог найти, что ответить, если отвечать без крепких слов. Потом безнадежно махнул рукой, опять ругнулся и продолжал:

— Ну, швырнули Заика на стенд. А на стенде говорить надо? Нет! Решай себе торпедный треугольник. Он в атаку отлично вышел. Беркут торжествует, комдив молчит. Дальше на автомате через все комиссии: «Беркут лично приказал!.. Беркут лично дал указание!..» Вот почему потом Заика из кожи все время и вылезал. Пролопушило нас охранение — прекрасно! Стреляй тогда! Нет, Заика дальше лезет. Мы, говорит, е-е-е-е-е-е-му п-п-п-п-п-прямо в мидель в-в-в-в-впилим! Вот нас и выкинуло в кабельтове от крейсера, а они «полным» жарят! Каким чудом провалиться успели — до сих пор не знаю.

— Ясно, — сказал Ямкин. — Теперь ложись на грунт и прекрати всякий шум в отсеках!

— Перерыв кончился! — уже пятый раз почтительно доложил в центральный пост дежурный.

— Обожди! — отмахнулся майор. — У симпозикинов кино по программе, успеем, — объяснил он дежурному. — Что на крейсере-то происходило?

— На мостике из начальства был Беркут, командир крейсера, ну и всякая из мелкотня, включая меня, — продолжил рассказ мой друг Петя Ниточкин. — Когда прямо по носу выкинуло лодку, Беркут от злости чуть не лопнул. Неслись мы «самым полным», и определить сторону движения лодки — влево она смотрит или вправо —

времени не было. Беркут только успел рявкнуть: «Стоп машины!» И все мы, кто на мостике, сжались, съежились, кое-кто лицо руками закрыл, кое-кто спиной по ходу повернулся, кое-кто просто остолбенел. И ждали все ужасного этого мягкого удара, когда лодка под киль скользнет, а за кормой из кильватерной струи постельные принадлежности начнут вылетать, спасательные жилеты, и пилотки, и бессмертные бескозырки... Еще остолбенение не прошло, как адмирал заорал на командира крейсера: «Шары где, так тебя и так?! Кто «Шары на стоп!» командовать будет?! Ждешь, когда тебе эсминец в хвост влепит?!» Тут поняли мы, что проскочили над лодкой, что жива она, голубушка. Командир крейсера промяукал: «Шары на стоп!» — и понес вахтенного офицера-лейтенантика — прыщавенького, но с золотым перстнем на пальце — в пух и перья за эти шары. А Беркут ногами топает и требует немедленного всплытия подлодки. Ну-с, сигнал срочного всплытия — три взрыва ручных гранат за бортом с минутным или там двухминутным временным интервалом.

Гранаты эти на мостик принесли быстро — три «лимонки». Командир боевой части номер два взял гранаты у старшины и задумался. Беркут у него спрашивает: «Вы чего на них так уставились? Лодка-то уходит! Не тяните резину — они взрывов не услышат!» Командир крейсера поддерживает адмирала: «Что ты на них смотришь, как козел на вход в кинотеатр?» — это командир спрашивает у своего управляющего всеми крейсерскими ракетами, которыми любую столицу можно в дачный поселок или даже в райский хутор превратить за тридцать три секунды.

Вероятно, в ажиотаже сухопутной атаки или в оборонительном окопе ракетный управляющий и нашел бы в «лимонках» нужную дырку, и даже засунул бы туда запал, и зубами чеку бы вырвал, но вокруг крутились радары ближнего и дальнего обнаружения, под ногами считали для ракет траектории электронные машины, и в такой обстановке каптри нашел единственный и традиционный выход — перепихнуть сложное дело на подопечного: вручил гранаты вахтенному лейтенантику. И попали они в ручки с золотым перстнем. Этому прыщу признаться бы, что он «лимонка» даже в кино не видел! Нет!

«Ваше приказание понял! Разрешите исполнять?»

«Исполняйте!»

«Есть!»

И с этого момента судьбы тех, кто толкался на мостике, попали в прямую зависимость от современного молодого человека с высшим инженерным образованием.

А в Беркуте от вида сухопутного оружия ближнего боя пробудились опять воспоминания, и он мне рычит: «Я всегда уважал пехоту! Батя у меня в пехоте погиб». — «В пехоте что-то есть!» — поддакивает командир крейсера, а сам с лейтенантика глаз не спускает.

Тот к борту отошел и колдует над гранатами. Башковитый, надо признаться, оказался. Две штуки удачно снарядил и удачно выбросил.

Хлопнули они в волнах за бортом, и у всех на мостике начали проясняться лики. Ведь всем нам, идиотам, ясно было, что следует оставить лейтенантика наедине с его совестью. Но сработала традиционность: не бросай товарища в беде, и те-де, и те-пе. Короче, уронил лейтенантик третью «лимонку» на палубу, прыгнул от нее кенгуриным прыжком, заорал: «Спасайся, кто может!» — и посыпался по трапу с мостика. А ведь по традиции лейтенантик должен был плюхнуться на гранату, принять удар в свое жалкое пузо, защитить адмирала и корабль куриной грудью. Ан нет! Ссыпался он по трапу и был таков! Из его поведения можно сделать вывод, что даже очень крепкие традиции иногда терпят поражение и отходят на второй план, уступая место новым явлениям и структурам. Старая же структура — я сейчас про «лимонку» — здесь вышла победительницей. Она нормально катилась по кренящейся палубе в самую гущу офицеров — под действием традиционной силы тяжести.

Мы повели себя разнообразно. Я, например, столкнулся лоб в лоб с ракетным начальником за тумбой выносного индикатора кругового обзора. Мы с ним вышибли друг из друга искры на манер того, как сегодня это сделали старшины над пламегасителем. Потом мы с ракетным начальником рухнули за тумбой на корточки. В результате чего на свободе остались наши зады.

А Беркут — не знаю, какой он флотоводец, но он единственный, кто не совершал кенгуриных прыжков, ни с кем не сталкивался лбом и никуда со своего боевого поста не побежал. Он только повернулся к гранате спиной и

аистом согнул и поднял левую ногу. При этом адмирал накануне неминуемой гибели изрыгал кощунственную ругань.

Директор донецкой шахты Владимир Вторник, или как его, конечно, не написал в диссертации, что настоящие моряки обычно умирают не от той соленой и холодной воды, которая затапливает их легкие, а захлебываются в собственной ругани. И Беркут не изменил традиции прошлых моряков.

Вероятно, по причине оглушительной ругани я вообще не услышал взрыва. Я только вдруг почувствовал, что какой-то шутник повернул меня вокруг оси на триста шестьдесят градусов. И очутился я в ватервейсе на спине, как князь Болконский в канаве на Аустерлицком поле. И начал я глядеть в зенит на радарные антенны и думать художественной прозой: «Вот оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидел нынче...»

И здесь швырнуло взрывной волной на меня Беркута. Взрывная волна, как выяснили потом специалисты, долго плутала по мостику среди сложной аппаратуры, прежде чем найти адмирала и пихнуть его поверх меня в ватервейс. А масса адмирала килограммов сто. Умножьте массу на скорость его полета в квадрате, и вы поймете, почему высокое небо надо мной почернело и даже вовсе исчезло. Адмирал выбил из меня дух вместе с сознанием. И вернулся в меня дух только в перевязочной, где мы лежали с адмиралом рядом и оба на животах, — закончил Петя, машинально потирая левую ягодицу.

— И все-таки самое смешное было потом, под водой, — с загробной мрачностью сказал некурящий. — Потому что взрыв только двух гранат означает приказ сверху: «Лечь на грунт!» И мы легли и лежали там, как олухи. Лежали и лежали, пока от углекислоты глаза на лоб не полезли — хуже, чем здесь от вашего дыма. Только тогда Заика решился всплывать...

— В медпункте мы с Беркутом окончательно и подружились, — сказал Петя. — Ничто так не сближает мужчин, как совместное лежание на животах.

— Или на грунте, — заметил бывший командир дизельной лодки Ямкин.

— Совместное ползание на животах, если, конечно, без китайских церемоний, тоже сближает, — заметил Ки-

таец, покидая стульчак и одушевляясь. Его распирало желание привести пример из автобиографии. Но майор использовал преимущество старшего по званию:

— Точно! Сближает! Вот у нас на Втором Украинском, когда готовили форсирование... Отставить, гвардия! — вдруг приказал сам себе майор, из последних сил давя на горло собственной песне. — Все покурили? Выходи строиться!

И мне подумалось о том, что даже наш досаафовский симпозиум сближает мужчин, хотя нам не приходится вместе ползать на животах и лежать на них рядом в перевязочной. И что прав Китаец: будничное курение в венецианской атмосфере уже способствует созданию атмосферы круговой поруки и коллективному художественному творчеству. Ибо если когда-то и был какой-то конфуз на флоте, связанный со взрывом ручной гранаты в непопулярном месте, то неудержимое фантазирование Пети и гениальная, с актерской точки зрения, импровизация некурящего товарища увели всех нас далеко от реализма, в чудесный мир домыслов и гипербол, в мир мужской моряцкой травли — ведь флот стоит одной ногой на воде, другой на юморе.

Но после просмотра нескольких нехудожественных фильмов мы утратили способность к травле и покинули мероприятие в молчании.

Без всяких шуток мы спустились в гардероб. И без всяких глупостей оделись.

Смерть только что корчила нам рожи из грибовидных атомных облаков. Смерть с величественной неторопливостью взлетала из океанских глубин. Смерть шла на цель по вертикали из стратосферы. Подопытные верблюды и свиньи страшно завершали свое существование среди льдов, степных песков и на палубах боевых кораблей.

Я тогда впервые не только понял, но и почувствовал, что мир в нашем мире обеими ногами стоит на грани глобальной смерти. И удивился своей способности осознавать простые истины с огромным запозданием. Ведь серьезные люди изрекают умные вещи, начиная с отрочества. А я в глубокой зрелости размышляю с полной серьезностью о том, что, например, произойдет, если сыпать и

слить все лекарства какой-нибудь аптеки в одну цистерну. И мне все еще иногда кажется, что в таком случае из цистерны выскочит нормальная обезьяна.

Дождь выбивал из темной невской волны серые пузыри.

О гранит набережной терлись теплоходы варианта «река — море».

Буксир тащил против течения баркентину «Сириус». Ей суждено было превратиться в плавресторан. А в юности многие из нас карабкались по вантам этой баркентины и отползали по жидким пертам к ногам ее рей, и травили с низкого борта в балтийские волны.

— Лучше бы ее на дрова пустили! — сказал я. — Кабак сделают, а?

— Брось, Витус, — сказал Петя Ниточкин. — Зачем гнилые дрова, если она еще может служить? На ней «Ленресторантрест» еще встречный план выполнит.

Бронзовый Крузенштерн глядел на нас с противоположной стороны набережной. Он стоял чуть ссутулясь, прихватив себя за локти, кортик навечно прикипел к его левому бедру, дождь навел блеск на старые, позеленелые в непогодах эполеты.

Девушка в тужельках на каблуках шла через лужи набережной и смеялась.

— Вам не на Охту? — крикнул ей Ящик, забираясь в шикарную «Волгу». — Могу подвезти!

— Катись, папаша! — безо всякого сердца ответила ему девушка.

— Интересно отметить, что это уже старость, — с непритворным вздохом проскрипел Ящик. — Кому на Охту, ребята?

На Охту никому не было надо.

— Я знаю, в чем наше главное несчастье! — заорал Китаец на всю набережную. — Много думать стали, товарищи доброхоты! Этот вон, — он кивнул вслед «Волге», — с флота удрал, чтобы в физику погрузиться. Ты, — он пихнул Психа кулаком, — в души с психологическим мылом залезаешь! А этот дохлый, — и Китаец заботливо поднял мне воротник плаща, — литературные книжки сочиняет! Надо, если без китайских церемоний говорить, меньше думать, но много знать. Тогда и только тогда

сможешь хорошо водить корабли и хорошо воевать. Правильно я говорю, Ямкин? Тебе, как последней букве в алфавите, последнее слово.

— Пива выпьешь с нами? — флегматично спросил Старик Китайца, подсчитывая на ходу мелочь. На философию ему наплевать было.

— Нет, ребята, каким образом Псих угадал, что у меня жена уже четвертая по списку, не знаю, но это факт. И факт, что люблю первый раз. И сердце у нее прихватывает... В аптеку бегу. Привет, товарищи офицеры! — И он нарезал к остановке, увидев свой трамвай.

— Чертов командос! Чего молчал?! — крикнул ему вслед Псих. — У меня знакомых врачей навалом!

Чертов командос возле трамвая поскользнулся, чуть не шлепнулся и пролез в двери без всякой лихости.

— Интересно отметить, что он прав на сто процентов, если говорить без китайских... тьфу! Вот ведь! Теперь привяжется! — засмеялся Петя Ниточкин. И мы все засмеялись, ибо нет ничего более дурацкого, нежели повторять чужие отработанные словечки и уподобляться, таким образом, попугаю.

— Удивительная судьба у нашего поколения, — сказал Псих, борясь с импортным зонтиком, который распахнулся в обратную сторону. — Мы начали бурно дряхлеть, так и не повзрослев: морщины на лбах, пальцы на автоматических кнопках, а все шуточки да прибауточки...

— Какое это поколение ты имеешь в виду? — спросил я.

— То, о котором командир «Комсомольца» писал. Военных мальчишек, — сказал психолог.

ДИКСОН — МЫС ЧЕЛЮСКИНА

28. 07. 19. 00.

Съездил в поселок, чтобы подстричься и купить для личных нужд чай и кофе.

Полубокс (без одеколona) — 74 копейки. С «Шипром» — 158 копеек. Интересно на Диксоне вспомнить, что «Шипр» происходит с Кипра.

Парикмахерша хвалила местную милицию.

Полярники Диксона решили подарить атомоходу «Арктика» белого медвежонка (атомоход первым должен был прийти сюда и открыть навигацию). И в ожидании прихода чуда двадцатого века медвежонок жил в милиции: «Отсидел в холодной», — сказала парикмахерша. И отказалась от чаевых, которые я совал взамен одеколонной надбавки (не люблю и никогда не любил одеколоны всех марок, кроме «Тройного»).

«Тройного» не оказалось. Не удалось потом купить чаю и кофе — нет.

Закончил дела на берегу за час, а рейсовый катер должен был отходить только через три.

Сидел и грелся на полярном солнышке, ел апельсиновые вафли и решал вопрос: идти шестьсот метров до могилы Тессема или не идти. И не пошел, — чтобы не лгать самому себе, что, мол, мне идти туда охота.

В ковше между Угольным причалом и берегом торчали из-под воды надстройки затонувшего буксира. Тихо было. На базальте прибрежных скал красовались похабные надписи мореплавателей, имена их судов и даты посещения.

Увы и ах, но там сохранились и мои инициалы, намаленные свинцовым суриком в 1953 году!

А из цензурных надписей я обнаружил такое стихотворение:

Голодный бич — свирепей волка,
А сытый бич — милей овцы.
Но, не добившись в кадрах толка,
Последний бич отдал концы!

«Бич» — от «бичкамер» — безработный моряк. Слово исчезло уже давно. Потому, вероятно, старомодному сочинителю ответил современный:

Я в нос плевал тому поэту,
Кто пишет здесь, а не в газету!

На судне переполох. Работники из службы охраны окружающей среды, которые в силу специфики профессии все вокруг (кроме природы) знают, сообщили, что на Диксон летит К. Симонов с семейством — жена и дочь. Семейство якобы собирается проехать трассу Севморпути до Певека. Составлен даже график его перемещений по Арктике, но это — глубокая тайна.

Не знают о тайне только белухи.

И потому не знают, что их в бухте нет: или гуляют в открытом море, или они при помощи «охранников природы» уже отгуляли навсегда.

Реакция Фомы Фомича.

— Виктор Викторович, как думаете, к нам их, значить, не засадят?

— Нет. Не думаю. В караване будут более крупные и комфортабельные суда.

— А он, значить, чего Герой? Труда или военный?

— Труда.

— Жди меня, и я вернусь... — задумчиво шепчет Фома Фомич, ибо демонинон нашептывает ему что-то предостерегающее и опасительное. — А его стихи у нас в библиотеке имеются?

— А я откуда знаю? Я у вас без году неделя.

— Вот те и гутен-морген! — бормочет Фома Фомич. — А ежели банкет, или встреча, или другое мероприятие? Лицом, значить, в грязь?

Звонит стармеху (тот парторг и замещает помполита) и вызывает на экстренное совещание. Пока ожидаем комиссара, реагирует Арнольд Тимофеевич:

— У товарища Симонова восемнадцать премий. Помню, как в тридцать девятом на Халхин-Голе они под руководством маршала Жукова япошек долбанули. А в эту войну, — продолжает вспоминать, но уже как-то сомнамбулически-почтительно и тихим, восхищенным голосом Арнольд Тимофеевич, — его слова даже в личное дело записывали. Вот был у нас начальник минно-торпедной службы. Он из сбитого самолета самонаводящаяся бомбу извлек. А потом ее, сверхсекретную, союзникам показал. И товарищ Жуков, когда про эту глупость узнал, назвал торпедиста «шляпой». И тому в личное дело так и записали: «Капитан второго ранга Никифоров — шляпа. Маршал Жуков...»

А я-то, шляпа, в начале старпомовского монолога думал, что это слова Симонова в личные дела фронтовиков записывали (и такое наверняка было). Оказывается, Арнольд Тимофеевич уже на Жукова переключился — все смешалось в доме Облонских...

Реакция Дмитрия Александровича.

— В войну отец пропал. Писем несколько месяцев не было. И приходит, что жив. И в письме — «Жди меня». Мать редела два дня и две ночи. Стихи вслух перечитывала. Помню от кия до клотика. И про Суворова еще... Очень хорошо. И про бой в Петропавловске-на-Камчатке... А вы как к нему?

Я сказал, что Симонов вписался в Великую Отечественную войну навсегда. А потом — черт дернул меня за язык — похвастался личным с ним знакомством. И тем, что послал ему в свое время книгу и он прислал мне свою с надписью «От бывшего поэта»...

Представила меня Симонову на замечательном послесимпозиумном банкете, где итальянский романист сигал горным козлом, опять же Вера Федоровна Панова. Потом они заговорили о своем, а я не знал, торчать мне рядом или уйти и как в таких случаях положено по банкетному этикету. В разговоре Константин Михайлович произнес ту фразу, которую надписал на книге своих стихов, то есть, что он бывший поэт, подразумевая, что пишет теперь только прозаические произведения. Когда Симонов это сказал, Панова поджала губки и безмятежно заметила: «Не кокетничайте, Константин Михайлович!..»

Так вот, черт дернул меня похвастаться личным знакомством со знаменитым поэтом. Под конец хвастливой информации, где, конечно, был и банкет, и горный итальянский козел, и фужер водки, я сказал, что война оказалась, на мой взгляд, звездным мигом в поэтическом периоде литературной жизни нашего будущего соплавателя.

Реакция стармеха Ивана Андрияновича.

Он является по вызову капитана на экстренное совещание в замасленном ватнике и в немасленном раздражении.

Дед не чурается лично работать с металлом, если ему это в охотку.

Тихая стоянка на Диксоне используется стармехом на всю катушку — он хорошо знает сюрпризы предстоящего ледового плавания. Нашему парторгу и вриополиту не до обсуждения поэтических проблем.

Он — величайший мастер все услышать и засесть первым на судне — оказывается, еще и не уловил слуха о прилете Симонова.

— А мне до него какое дело? — спрашивает Иван Андриянович. — Вы лучше занятие со штурманами проведите! У меня оно еще на вчера записано: «Грамотная эксплуатация силовых установок только в содружестве штурманского состава и механиков позволит бесперебойно работать механизмам в плавании за ледоколами».

— Это, значить, проведем. Нынче проведем, — говорит Фома Фомич. — А сейчас ты, как парторг, скажи: книги товарища Героя Социалистического Труда на борту есть? Это, значить, раз. И второе — надо подарок готовить. Пускай токарь чего выточит — айсберг из плексигласа, к примеру, на черном эбоните...

— Токарь вторые сутки не спит, — начиная серьезнее относиться к происходящему, размышляет вслух Ушастик, — но... Тут в чем нюанс? Симонов что! Сам он и семейство — это полбеды. Но его в каждом порту начальство встречать будет. Этот нюанс надо учитывать. Нужно штук пять айсбергов заготовить. У боцмана руки золотые. Засаживай, Тимофеич, его за дело. Тут, товарищи, следует помнить, что чем дальше мы будем от банкетов держаться, то и подшипники целее будут. В слове «смелость» я десять нюансов знаю: девять нюансов — «Беги!», а десятый — «Беги и не оглядывайся!..» По вопросу библиотеки. Там не только черт, сам товарищ Симонов ногу сломит, — такое безобразное состояние. Только и стоит в порядке Большая Советская. Ее используем. Он в нее наверняка засажен. Пускай Викторыч займется. Тебе, Викторыч, партийное поручение: ежели тост или речь говорить... А вообще, Симонов и Зошенко в Новой Зеландии чрезвычайно популярные писатели...

Реакция Андрея Рублева.

— Клюква. Утка. Кряква. Никто не летит. Ни он, ни жена, ни внуки. В Сочи они летят. Или на Бермудские треугольники. — Это Рублев говорит своим голосом.

Дальше голосом старпома:

— Однако уши надо держать! Вот в тридцать девятом году знал майор Горбунов одного умного тайного

советника, так тот прямо советовал: «Вообще я в нечистую силу не верю, но ежели обстоятельства ей благоприятствуют, то не только сам верю, но и всем другим советую!..»

Реакция тети Ани.

— Про мириканцев у него сердешно написано. Англичаны-т у мириканцев на веревочке. Мириканцы хотели Кубу взять, когда мы там стояли, да ни вдалася им... Пущай старпом матроса даст — белье стирать пора, а стиральная машина лопнула: одно сплошное беззаконие на пароходе...

Утром поехали в штаб Западного сектора на инструктаж. На южных берегах острова Диксон кое-где снег.

Вылезли на остров.

Фома Фомич:

— А земля-то в прогалинах темная, нормальная.

Капитан «Софьи Перовской»:

— Да, чернозем.

Фомич:

— Вчера ходили в магазин, так она, земля, прямо теплая.

Я:

— Это угольная пыль, Фома Фомич. Здесь ледоколы бункеровались от самого дня их рождения.

Идем дальше по мосткам тесовым. Травка в щелях между досок — не пропадает зеленое-то в Арктике! Торчит — живучая природа...

Фома Фомич:

— Трава! А? Козу нормально можно вырастить, а?

Капитан «Перовской» (молодой, сдержанный, замкнутый):

— И козла. Чтобы козе не скучно было.

В штабе Анатолий Матвеевич Кашицкий — начальник Западного сектора.

Лет шестьдесят, широкая и узкая полоса на погончиках, не курит, ни разу не надевал очки.

Солнце просвечивает комнату с картами трассы на стенах. Цветные кальки шелестят под карандашами младших сотрудников.

Обстановка. Тяжелая впереди обстановка. Сутки чистой воды до кромки. Потом мощная перемычка в проливе Вилькицкого, потом — черный ящик: в Восточном секторе за 125-й параллелью стеной еще стоит лед.

У кромки встретит «Капитан Воронин», и будем болтаться в полыньях до конца августа.

Следовало выходить из Ленинграда на месяц позже, но у Ленинграда задача — выпихнуть суда в арктический рейс. У Мурманска — выпихнуть из Мурманска. У штаба Западного сектора — выпихнуть из своего сектора. Об этом и говорим в кабинете Кашицкого, когда ждем обратный катер. Фомич нудит о слабости правого борта в районе машинного отделения. Рассказывает о встрече в Дрогденском канале с бывшим капитаном «Державино» Шониным («Самый знаменитый архангельский капитан!» — это Фомич путает морского Шонина с космонавтом). И как Шонин предупредил в Дрогденском канале по радиотелефону о слабости борта. И как он, капитан Фомичев, хотел из Мурманска дать предупредительную РДО, но потом не дал, так как дублер (я) его отговорил, но теперь, ввиду тяжелой ледовой обстановки, он считает долгом — как бы чего...

Кашицкий скучает, но терпит привычно. Наконец тихо говорит, что если попал в зубы ледоколу, то как к крокодилу. О том, была или не была водотечность, ледокол спросит; про винто-рулевую группу — тоже; а вот уж если, не дай бог, что-нибудь с «Державино» случится, тогда уж ледокол будет индивидуальностью вашего борта интересоваться персонально.

Еще Кашицкий объясняет, что лед тает приблизительно по три сантиметра в сутки. Значит, метровая льдина, которая сегодня означает для нас пробоину, через десять суток превратится в семидесятисантиметровую — совсем иной нарзан, то есть качество: будет разваливаться под форштевнем...

— А все-таки я вам, очень извиняюсь, Анатолий Матвеевич, бумажку оставляю, значить, о нашем бортике... Заготовил тут... схемку... покумекал на досуге... — говорит Фома Фомич ласково.

По лицу капитана «Перовской» вижу, как ему стыдно за коллегу.

Кашицкий берет бумагу. Не читая, пишет синим карандашом что-то наискосок.

Фома Фомич продолжает бормотать, быстро моргая, вкрадчивым голосом:

— ...Рейсовое задание... ваши интересы не затронуты... мне большая неприятность... акт только для нашего диспетчера... я очень вынужден просить... я признаю... я понимаю... опыт подсказывает...

Кашицкий зачитывает резолюцию: «С документом ознакомлен и глубоко изучил».

Фома Фомич прячет бумажку в портфель.

Уничуждение паче гордости.

— Благодарю, Анатолий Матвеевич, очень извиняюсь, значить, и благодарю от души! Пойду катерок на воздухе подожду... — И уходит, кланяясь. А в душе-то его на самом деле светится снисходительная даже какая-то радость: этого-то — с широкими шевронами, седого — он, Фомич, обдурил как мальчишку. И вот рейс, «Державино» и капитан Фомичев начинают обкладываться, обеспечиваться, обвешиваться нужными бумажками, как портовый буксир — кранцами из автомобильных покрышек...

— Думаю, неправильно, что маленькие трехтысячники идут в Арктику первыми караванами, — говорит старый ледовый капитан Кашицкий. — Но мы не знаем смысл приказов в общеминистерском или в общесоюзном масштабе. Возможно, любые затраты на проводку вас первыми оправданы неизвестными нам причинами. Не след об этом забывать. И объясните это своим людям.

Он провожает нас с капитаном «Софьи Перовской» до дверей домика-штаба, жмет руки, желает счастливого плавания.

Да, когда старый моряк желает «счастливого плавания», это звучит не пустым звуком. Впереди тяжелая работа. Под занавес приглашает зайти в гости, если на обратном пути занесет сюда.

Долго ощущаю тепло и крепость рукопожатия...

«Тьфу-тьфу!» — думаю, не обойтись кому-нибудь из нас без приключений...

На причальнике красно от красных курток — ребята из экспедиции «Комсомольской правды» с рюкзаками и грузом. Они который уже год ищут останки Русанова. Перед отлетом из Ленинграда видел по телевизору ин-

тервью Юрия Сенкевича с их начальником. А теперь вижу парня в натуре. Знакомимся.

Нас жарят из кино- и фото-оружия со всех точек его коллеги. Еще бы: историческая встреча — морской писатель и молодые землепроходцы, искатели останков былых героев. Искатели без шапок, волосы выются над покрасневшими от холодного ветра физиономиями. Трое из них поедут пассажирами на «Державино» до ледовой кромки и встречи с ледоколами, затем вертолеты ледоколов перебросят их на Северную Землю.

Снимаемся с якоря в восемь часов московского времени вослед за «Пономаревым». На «Пономареве», действительно, Симонов с женой и дочерью.

Пролезаем в узенькую щель между островом и материком. За нами отчаянная революционерка «Софья Перовская».

Солнце. Ясно. Устойчивый ветер с севера. Поплыли всерьез.

Отношу в сушилку выстиранные свитер и фуфайку. А вчера подстригся и час отплескался в ванне Фомы Фомича — готов теперь по всем швам к свиданию со льдами.

Так как с детства я говорю и пишу правду, всю правду и только правду, то придется признаться, что вскоре после отхода с Диксона Спиро Хетович посадил меня в лужу! И как позорно посадил!

На стоянке он на берег не съезжал. И, отправляясь в парикмахерскую, я предложил старпому купить ему что надо из мелочей. Оказалось, Арнольду Тимофеевичу нужен один значок с полярным колоритом и один конверт. Я купил ему пять значков и десять конвертов с жирными штампами «ДИКСОН» и силуэтами ледоколов в сумасшедших льдах. Он полчаса ходил за мной и спрашивал: «Хау мени?» («Сколько стоит?» — Сколько он мне должен?) — и настойчиво пытался всучить мне рупь. Я не взял. И он заметно потеплел ко мне и принес электрочайник. Чайник я клянчил начиная с Мурманска, но он его зажимал, ссылаясь на отсутствие свободных. Здесь, вероятно, не паршивый рупь роль сыграл, а обычно-человеческое — услуга за услугу. Я ему значки для внука, он мне электроприбор. И я обеспечил себе на весь рейс чай

в каюте в любое время дня и ночи — хитрый я лис и психолог.

В результате потепления наших отношений я притупил бдительность и нормально сел в шляпу, как торпедист с самонаводящейся торпедой.

Дело происходило следующим образом.

Наличие у нас на борту ребят из экспедиции «Комсомольской правды» оживило интерес к прошлому Арктики. Русанов привел за собой других трагически погибших здесь путешественников. А оказалось, что, в отличие от Фомы Фомича, Арнольд Тимофеевич кое-какие книжки читал. И вот на этом я и погорел.

Еще в пятьдесят третьем году, когда первый раз шел на Восток Северным морским путем, я интересовался Русановым. И прочитал про него все, что мог достать. Интриговала в первую очередь женщина, француженка Жюльетта Жан. Русанов познакомился с ней в Париже, там они стали женихом и невестой. Предсвадебное путешествие Жюльетте Русанов предложил своеобразное — на слабеньком судне в роли врача через всю Арктику. И сам замысел идти на восток был, если говорить правду и только правду, и всю правду, авантюрой. И взять с собой на верную смерть девушку, студентку Сорбонны, на роль судового врача тоже как-то странно выглядит. И даже название судна «Геркулес», когда мощность его керосинового мотора была тридцать лошадиных сил, звучало или юмористически, или...

Погибли они где-то здесь, возле Таймыра.

Вот запись, которой больше двадцати лет: «12.08. 1955 г. Борт МРС-823. 20 ч. 00 м. — время местное. Проходим шхеры Минина, остров Попова-Чухчина. Здесь нашли остатки лагеря русановцев. Где ты, Жюльетта Жан? Какими были твои последние минуты?.. Штормит. Тучи мрачные... Обязательно сделать рассказ, как где-то во Франции мать ждала Жюльетту... 13.08. 1955 г. 23 ч. — время местное. Стали на якорь в проливе Фрама, измученные качкой, мокрые и грязные. Холодно. Низкий берег острова Нансена. Хлюпает вода. Нет шланга брать топливо. Читал Тихонова «Кавалькаду». Эстафета чужих вдохновений:

...Окончен труд дневных забот...
Вечерним выстрелам внимая...

«Надо писать Жюльетту!»

Не родился рассказ. Но нынче на «Державино», конечно же, я считал, что лучше меня историю Арктики никто ведать не ведает.

Ах и эх — эта привычка высказываться о вещах, которые только чуть понюхал! Я, например, часто обсуждаю кинофильмы, посмотрев афиши на заборах. И самое интересное, что абсолютно уверен в праве судить на основании заборных афиш.

И вот черт дернул говорить со старпомом о Джордже де-Лонге. Я был так уверен, что Арнольд Тимофеевич ничего об этом несчастном американце не знает! И в разговоре небрежно-безапелляционно брякнул, что могила американца — в устье Индигирки.

Тимофеич сказал, что это не так:

— Я с киндеров помню, когда и где погиб Лонг. В устье Лены он погиб. Вы разрешите вниз спуститься на пять минут? Я этот пошлый энциклопедический словарь принесу.

— Идите, — сказал я. А что оставалось делать? Хотя я уже понял, что путаю место могилы Лонга.

И он приволок словарь, и ткнул меня в него носом, и на глазах всей вахты торжественно и оглушительно повторил:

— Такие вещи, Виктор Викторович, моряк с киндеров должен знать!

И понес, и понес топтать меня. А шли в тумане, туман летел за дверью рубки, как выхлоп автомобиля в крещенский мороз. И хотелось сосредоточиться на окружающем мире: курс на остров Уединения, траверз острова Свердрупа — мы повторяем пока точь-в-точь маршрут «Геркулеса».

Спас из-под старпома меня Фомиш. Потом оказалось, что «Пономарев» сворачивает за мысом Челюскина на Хатангу и зондировал почву у Фомиша, чтобы передать семейство Симоновых нам. Но Фома Фомиш уклонился от этой чести. Все-таки он гений и Сократ! Он наврал, что у нас больше на одного человека получится, нежели могут принять спасательные средства! А про то, что через сутки трое ребят из Русановской экспедиции перейдут на ледокол и, в случае надобности, мест в спасательных шлюпках будет достаточно, утаил.

— А почему «Пономарев» хочет писателя передать?

Как они тут в нашей тесноте будут? Неудобства. Но я все точно прикрыл! Не хватает тут еще девушки восемнадцатилетней! «Пономарев» говорит, что писатель, мол, простой и непритязательный, а жена, мол, обаятельная!..

Вот в каком слове капитан «Пономарева» допустил решительную ошибку! Фомич испугался, что обаятельная супруга писателя загонит в тень его Галину Петровну — первую леди теплохода «Державино».

Да он, пожалуй, и прав, ибо две дамы плюс девушка на один лесовоз-трехтысячник — многовато. На пятитысячнике типа «Комилес» им посвободнее будет.

Я (в целях элементарной подначки):

— Значит, вы, Фома Фомич, нашему знаменитому гостю отказали в гостеприимстве? Вот ведь как получается. К борту не подпустили даже близко.

Фомич (перепугавшись и помрачнев насмерть):

— Что вы! Что вы! Кто такое может сказать?! Я очень тонко все, вежливо, доказательно, значить!

Потом он глубоко задумался, вероятно представляя себе все ужасы и угрозы, которые возникнут, если всплывет, что «Державино» необоснованно отказало писателю в гостеприимстве.

Чтобы развеять драйвера, я сказал, что нам теперь один выход — кровь из носу, прийти в Певек первыми и получить премии.

Фомич мрачно отказался и от такого предложения:

— Я, это, знаете, такой есть принцип: в начало не суйся, в конце не оставайся, в середине не толкайся. Так вот я его исповедую, хотя, конечно, исполнительность в нас с комсомольских времен, но все ж я ни разу в жизни никуда сам не полез. — Подумав еще пару минут, он добавил: — Когда здесь, значить, в кильватер за ледоколом идешь, так все как в очко — лучше недобрать, чем, значить, перебрать. Я про дистанцию: подальше — оно поспокойней.

Ребята из экспедиции «Комсомольской правды» ото спались и сделали экипажу доклад о целях и смысле мероприятия.

Один парень — радиоинженер, альпинист. Второй —

аспирант пищевого института. Третий профессию утаил, зато с бородой.

Попутно они испытывают пищевые продукты, свою психическую совместимость, должны собрать плавник на террасах острова Большевик на высоте ста метров. Если на террасах плавник есть, тогда будет доказано, что Северная Земля последние тысячелетия стремительно поднимается из моря. Ребята везут специальные пластинки, которые будут укреплять в памятных местах Арктики.

Очень обозлили нашего радиста, когда заявили, что у них есть радиостанция весом всего в два килограмма, и они с ее помощью держат связь в микрофонном варианте из Арктики с Москвой и вообще со всем миром.

Наш начальник радиции прямо весь взбаламутился. Он тратит на связь с Москвой черт знает сколько сил и времени.

Арнольд Тимофеевич:

— А вот товарищ адмирал Головкин, командующий Северным флотом, уже в тридцать девятом году разговаривал с Москвой из любой своей точки. . .

07.40. Начали лавировать между ледяных полей, слышен голос «Ленина», он зовет «Комилес» — значит, они уже совсем близко.

Поморы-зверобой кромку льда называют рычара.

Есть в этом слове нечто грозно-рычащее, настораживающее, приказывающее собраться.

А когда караван входит в настоящий лед, то минута эта и торжественна, и одновременно напоминает мгновение, когда двери зубного врача уже распахнулись перед вами и навстречу — никелевый блеск инструментов.

Свинцовое Карское море, свинцовое карское небо, на нем оловянные длинные отблески ледяных полей.

Три черные черточки на горизонте — атомоход «Ленин», ледокол «Мурманск», лесовоз «Комилес». Они лежали в дрейфе в полынье за разряженной перемычкой плавучих льдин кромки.

Мы с ходу разобрались и без задержки в передней дантиста вошли в дверь его кабинета, и навстречу нам зажужжали миллионы бормашин. Дистанция — пять ка-

бельтовых. Мы — за «Лениным» первыми. И сразу туман. И сразу пробки из огромных обломков в канале. «Ленин» тяжело переваливается с боку на бок в сплоченном льду. Его передняя мачта исчезает в сиреновом тумане. А минут через десять исчезают в тумане и три мощных, направленных в корму, прожектора атомохода.

Не очень приятное занятие следовать в густом тумане за ледоколом, чьи огромные винты выворачивают ледяные глыбы, каждой из которых достаточно для проделывания в твоём брюхе прободной язвы.

Мы шли, еще не привыкшие к сотрясениям, еще болезненно относящиеся к каждому корабельному кряхтению и оху, еще слишком настороженные и натянутые.

И на тридцать третьей минуте «Державино» намертво заклинивается. И здесь виноват я, ибо сдали нервы и я в пандан им сбавил ход, а этого не следовало делать: нельзя утрачивать инерцию.

— Добавьте! — сказал одно слово Дмитрий Александрович, но уже поздно сказал. Деликатность в нем сработала. Мы еще не привыкли друг к другу. Это нам еще предстоит.

Для успокоения моей совести еще через четыре минуты заклинивается в полосе торошения сам «Ленин» — в «ставке», как говорят ледокольщики, то есть в полосе сторошенных, многолетних льдин.

Лежим в приятной тишине.

«Мурманск» выкатывается из строя и дважды обкалывает «Ленина». Тот получает возможность движения назад и начинает приближаться к нам, чтобы получить впереди пространство для разгона. Потоки воды от его винтов, когда атомоход начинает разбег вперед, жмут нам в нос, давят льдинами, и мы получаем заметное движение назад: самое отвратительное, ибо это грозит перу руля и нашим винтам. . .

Со скрежетом зубовным даю ход вперед, хотя под кормой битком набито тяжелого льда. Продолжаем движение. Генеральный курс от острова Кирова на остров Садко, что в островах Цивильки архипелага Норденшельда.

«Ленин» оказывается вежливым лидером. Когда сотрясения от ледяного потока, обтекающего нас, делаются совсем уж трудно переносимыми, я вызываю ледокол

по радиотелефону и говорю бесстрастным — так положено по неписанным традициям — голосом:

— «Ленин» — «Державино»! Сотрясения сильные!

— Ясно, «Державино»! Уменьшаю ход! — отвечает лидер, но, черт побери, не очень-то уменьшает.

И течет, течет из глубины к нашему форштевню и вдоль бортов зелено-белый, громыхающий, булькающий, перекрученный поток ледяной лавы с глыбами зеленого ледяного гранита...

Из-за всяких профессиональных сложностей забыл, что мы уже повстречались с медведями.

Итак, вначале было целых два медведя, оба разозлились на нарушителя их покоя — атомоход «Ленин», оба рычали и долго бежали впереди каравана, как зайцы перед авто, каждую секунду оборачиваясь черными носами и пренебрежительно стряхивая ледовую пыль и снежный прах со своих лап в нашу сторону.

Лапы у натуральных медведей вроде бы вовсе бескостные и ватные, как у мишек из детского универмага. И соображают они долго и туго: только минут через двадцать галопирования наперегонки с атомоходом наконец доперли, что следует отбежать немного в сторону и пропустить мимо себя это огромное существо. А потом, передохнув, драпать возможно дальше.

Когда мишки удрали, то таким поворотом событий очень обрадовали тюленей, ибо тюлени получили возможность вылезать на лед вдоль извилистой дорожки, оставшейся среди ледяных полей от прошлых проходов ледоколов. А может быть, это и не тюлени, а нерпы. Никто у нас не знает, чем они отличаются. Все эти звери издали очень смахивают на улиток, а иногда на одну кавычку — то есть на половину кавычки.

Саньч, обнаружив очередную нерпу-улитку, обычно с сожалением бормочет: «Вон еще одна моя несбывшаяся шапка-мечта валяется!»

А Фомича больше всего терзает «Перовская», ибо они держатся за нами в кильватер в трех-четыре кабельтовых, а задана дистанция — пять-семь. «Ну, если мы в ледокол стукнем, так у него борт толстый, а вот если «Перовская» нам — так у нас-то борт тонкий! Вы уж, пожалуйста, им напоминайте, чтобы они, эт самое, ну, вы понимаете...» И опять про очко — лучше недобрать, значить, и т. д.

Придумываю Фомичу ласковую кличку — Забубенный Бурбон. В Париже-то он побывал! И даже Лувр посетил.

Через три часа делается ясно, что надо брать нас под уздцы.

В 20.20 «Ленин» берет нас, а «Мурманск» — «Перовскую».

Мы опускаем человека за борт на штормтрапе, привязываем к якорям веревки, стрелами затаскиваем якоря на подушку из досок на контейнерах палубного груза.

Ослепшим, безъякорным носом суемся в транец атомохода.

Он сажает корму, ибо наш нос оказывается ниже его ахтерштевня. В результате струя винтов атомохода будет с повышенной силой выбрасывать нам под брюхо утопленные им льдины.

В клюза заводятся стальные буксирные троса, они соединяются на полубаке двадцатью шлагами пенькового. У соединения — бензеля — ставится матрос с топором.

Рядом аналогичную операцию проделывает «Мурманск» с «Перовской».

Я уже раздеваюсь, чтобы свалиться в койку, — ровно восемь часов на мостике позади. И наблюдаю за операцией коллег в иллюминатор каюты. Стоит, конечно, поглядеть, как пятится линейный ледокол к носу маленького лесовоза, а на носу лесовоза качается на штормтрапе скорченный чертиком боцманюга, привязывая за якорную лапу веревку, — задержались ребята с уборкой якорей из клюзов. На корме «Мурманска» находится вертолет. Его, было, подняли в воздух, но туман закрыл обзор, и капитаны встревожились, что вертолет потеряется, и срочно посадили его обратно.

Красив и мощен линейный ледокол «Мурманск»! В ледоколах есть та зверски-зверюгская симпатичность, которая есть в белых медведях.

И вот линейный ледокол пятится кормой к маленькому лесовозу, а вдоль бортов у него встают на ребро двухметровые льдины.

В непо потревоженных лужах на удаленных льдинах, в малахитовых студеных окнах отражается кремовая надстройка ледокола, и алый огонек бортового отличительного, и голубая полоска полуночного неба.

От усталости не уснуть, хотя вставать уже через три с половиной часа.

31.07.00.00.

Солнце низко. Но ниже его — полоса черного тумана. Туман не доходит до судна, кончается в полумиле. И солнечные лучи проходят поверх полосы тумана и упираются в снежницы на льдах. И все эти извилистые, растянувшиеся, неморгающие окна воды блестят ровным потусторонним блеском старого серебра. И на этой непорочной белизне — пять огромных моржей — целое святое семейство.

От монотонности движения на буксире мысли делаются идиотскими. Я, например, иногда представляю себе, что оказался здесь совсем один и вот надо построить ледовый домик для защиты от ветра. И вот выбираешь подходящую льдину для домика, оцениваешь ее живучесть и строишь из ледяных обломков себе домик по эскимосскому образцу, — чистый идиотизм. И еще привязались строчки, навеянные прожекторами ледоколов:

..И три огня в тумане
Над черной полыньей. . .
..И три огня в тумане
Над черной полыньей. . .

О СУДОВЫХ ПОЖАРАХ И КАК ФОМА ФОМИЧ ИГРАЕТ В ШАХМАТЫ

1

Мутный, туманный холод над проливом Вилькицкого чем-то напоминает мертвую стылость блокадного Ленинграда.

Чаще всего застреваем там, где льдины имеют песочно-коричневатый оттенок. Вздорны и упрямы такие льдины, как бычки-трехлетки. Рябые льды — покорные, как часто бывают и рябые люди.

Продолжаем следовать на усах за атомоходом, под-

рабатывая «малым». Поток встречного льда, перемолотого и утопленного винтами и корпусом ледокола, при таком варианте движения проходит под нашим днищем.

Ограничили перекладку руля до пятнадцати, а иногда и до десяти градусов, чтобы лавина встречного льда не свернула баллер. Это приказал Фома Фомич. Я бы забыл. И это уже не перестраховка, а его ОПЫТ.

На всех судах каравана жизнь идет по разным часовым поясам. И потому в обеденное для нас время мы видим, как на «Ленине» кто-то на юте делает утреннюю зарядку. От раздетого до пояса морячка — пар.

15.00. Опять медведь. Но сенсационный. Сперва, пока он бежал кроликом впереди, удирал от атомохода, ничего особенного не наблюдалось. А когда догадался свернуть и, усталый, встал на ропаке, пропуская мимо себя суда каравана, то на шее мишки обнаружено было что-то черное и кольцообразное — автомобильная крышка!

Так как Филатов на гастроли в пролив Вилькицкого еще не приезжал, можно предположить, что крышка или свалилась на лед с какого-нибудь судна (их часто употребляют вместо кранцев), или вмерзла в лед какой-нибудь речки и была вынесена в море. Мишки же (всех национальностей: и гризли, и гималайские, и белые) обожают играть в игрушки. Вот этот и доигрался.

Он стоял на ропаке, как маршал на парадной трибуне. Или как маркиз на старинных европейских портретах, только жабо у него было не белое и кружевное, а черное и резиновое.

Диссертация для ученых-биологов: «Белый медведь и проблемы научно-технической революции».

Мы на меридиане Сибирского отделения АН СССР. Потому и пришли научные ассоциации.

...Молоденький, маленький тюлененок ползет по льдине, тычется в разные стороны. Родители со страху перед медведем и нами нырнули, бросили его на льдине, а он и растерялся; брюшко совсем светлое, спинка уже темная...

Рулевой Рублев докладывает, что ощущается неприятный «химический» запах. Принюхиваемся в три вахтенных носа.

Есть запах: какой-то эссенции. Решаем, что в рубку

задувает выхлоп собственного дизеля, так как ветер в корму, а идем медленно.

Начрации носит из рубки охапки негодных радиоламп и выкидывает их за борт, приговаривая: «А ведь все со знаком качества, так их в душу...»

Запах усиливается. На всякий пожарный проверяю станцию пожарной сигнализации. Внешне она в полном порядке.

Звонок из машины, срочно просят спуститься старшего механика. Его нет в рубке. Спрашиваю, почему не звонят ему в каюту. В каюте его нет. Больше ничего не спрашиваю у вахтенного механика. Ставлю второго помощника на руль, а Рублева отправляю на поиск деда по судну. Записываю в черновой журнал время обнаружения запаха.

Через минуту из машины звонит дед и просит срочно спустить ему туда два кислородно-изолирующих аппарата.

В машине что-то горит, и дело пахнет жареным. Рублев еще не вернулся. Сам становлюсь на руль. Саньча посылаю за боцманом и прошу приказать тому открывать кладовую кислородно-изолирующих приборов, а Саньча самого спуститься в машину и выяснить обстановку — второй помощник по уставу командир аварийной партии. Саньчу полезно посмотреть на ситуацию своими глазами. Знаю, механики не любят, когда судоводители суют нос в их дела, но плюю на это. Иван Андрияныч, вообще-то, должен был доложить на мостик подробнее, что там у них и как.

Но знаю, что иногда на доклады нет секунд.

Понимаю и то, что играть пожарную тревогу, если там какая-нибудь тряпка-ветошь загорелась, глупо; особенно глупо при плавании в караване и наличии рядом ледокола — оттуда в случае нужды немедленно окажут мощную помощь, а задержать караван — ЧП. И неприятность для Ивана Андрияновича в первую очередь.

Возвращается Рублев, докладывает, что стармеха нигде нет. Разумеется, нет: он давно в машинном отделении.

Из дверей котельного, открытых обычно, — дым, довольно густой уже. Рублев говорит, что в коридорах надстройки тоже есть дым. Дышит, как уставшая собака.

Пожалуй, пора тревожить Фомича. Конечно, стармеху это тоже будет неприятно, но я обязан это сделать. На судне всегда был, есть и, дай бог, будет один капитан. На «Державино» это Фома Фомич Фомичев, и поэтому решаю его будить.

Звонок из машины — просят застопорить ход. Это можно сделать так, что ледокол и не заметит. Мы держим «малый» только для того, чтобы винт не испытывал желаний самостоятельно вращаться от напора встречной воды и льда, а не в целях помощи ледоколу.

Стопорю машину и звоню Фомичу. Трубку берет Галина Петровна. Прошу капитана на мостик.

Звонок из машины. Звонит Саныч, докладывает, что горит или чадит — черт их, механиков, разберет — топливо в паровом коллекторе.

Дым показывается уже из светлого люка машинного отделения.

Прошу Саныча возвращаться в рубку и вызываю «Ленин», докладываю ему обстановку, говорю и о том, что застопорили машины. «Ленин» спокойно дает на это «добро» и сообщает, что тоже стопорит, пока мы не разберемся в ситуации. Благодарю. Как приятно, когда ледокол спокоен и в его голосе ни нотки раздражения.

Возвращается Саныч, долго кашляет, глаза слезятся — прихватило ядовитым дымом на верхних решетках.

Тишина. Запах химии. И надрывный кашель второго помощника.

Почему не сработала и не срабатывает пожарная сигнализация, если дым уже в надстройке?

Прибегает Фомич — полуодетый, но ведет себя спокойно. Сам объясняет свое спокойствие:

— Дед, значить, конечно, сплетник, но дело знает. У нас, значить, в дачном поселке дача отставного лоцмана горела, так Андрияныч один ее потушил. Он, значить, с «Моржовца», когда того на иголки резали, все огнетушители к себе перетаскал на дачу, в сарае они у него штабелем наложены. . .

Является сам дед, ничего толком не докладывает нам, но просит срочно связать его с механиком «Мурманска» — они старые знакомые.

Связываемся. Пока стармех «Мурманска» поднимается в рубку к радиотелефону, пытаемся вытащить из

нашего стармеха какую-нибудь информацию — черта с два! И на его ушастой физиономии тоже ничего не прочитаешь, хотя дым уже на трапе в рубку. Вот актер! И темнить умеет замечательно — по этой части у него опыт громадный: такую спецмеханическую лапшу нам вешает на уши, что хоть затыкай их пробками от мерительных трубок.

Ньютон с Фультоном и самим великим Дизелем тоже бы ничего не поняли.

Только при разговоре нашего деда с дедом «Мурманска» кое-что проясняется: слишком долго работали «самым малым», топливо там куда-то не туда забрасывало или отбрасывало, оно попало на раскаленные части и задымело; на ликвидацию неприятности надо полтора часа.

Деда заканчивают консультацию.

Ледокол дает «добро» на полтора часа стоянки, опять очень спокойно и доброжелательно это делает и говорит, что может послать людей оказать любую помощь. Иван Андриянович категорически отказывается и тепло благодарит.

Под занавес дед с ледокола опять берет трубку и рекомендует, если дело будет затягиваться, использовать углекислотное тушение, обещает Андриянычу сразу возместить разряженные баллоны углекислоты.

Дед благодарит и проваливается к себе в низы, как Шаляпин в «Демоне».

У меня все время чешется язык спросить о причине молчания станции пожарной сигнализации, но сейчас это не ко времени.

Пожар на судне — одно из самых безобразных и беспардонных бедствий. Особенно когда нет рядом ледоколов, то есть в автономном океанском плавании. Вода в машинном отделении — игрушки по сравнению с огнем в любом месте судна. Возможности и средства борьбы с пожаром ограничены, а судно имеет сравнительно незначительную площадь, которая еще больше сокращается огнем.

Кроме того, на судах имеются помещения, за которыми не ведется постоянное наблюдение, вследствие чего начавшийся в них пожар не сразу бывает обнаружен.

В случае же обнаружения пожара подступы к нему часто бывают ограничены, а помещения, как правило, заполнены дымом или горючими газами. Конструкции судов не исключают открытого распространения огня из одного помещения в другое.

Во время пожара раскаленные металлические части корпуса, палуб, переборок и шахт из-за теплопроводности воспламеняют обшивку и теплоизоляцию судна, а также различные горючие материалы и грузы в смежном трюме или помещении.

В период пожара образуются конвенционные потоки, способные быстро разносить продукты горения, огонь быстро перебрасывается с одной части судна на другую.

Развитию пожара на судне могут способствовать взрывы баллонов сжатого воздуха в машинном отделении, баллонов с аммиаком в холодильных установках, танков с топливом и опасных грузов в трюмах.

Пожар, возникший во внутренних помещениях, в большинстве случаев переходит на открытую палубу и надстройку через шахту машинного отделения, световые фонари и люки, выгородки выходов, иллюминаторы, а также через световые фонари надстройки, обеспечивающие усиление тяги и горения.

Краска, которой покрыты деревянные и металлические конструкции судна, является не только горючим материалом, но и распространителем огня. Во время горения краска выделяет едкий дым, затрудняющий действия экипажа в борьбе с огнем.

Судовая вентиляция и система кондиционирования воздуха также являются путями, по которым распространяется пламя.

Тушение пожара часто осложняется состоянием моря, силой и направлением ветра, временем суток и навигационными условиями.

По данным иностранной статистики, пожары, возникающие в море и в портах, в среднем составляют до 5% от общего числа аварий морских судов.

Вместе с тем судов всех флагов, погибших в результате пожаров или взрывов, насчитывается более 10%, а в отдельные годы около 22% от общего количества погибших судов.

Фома Фомич проявляет очередные черты драйвера теперь в смысле отчаянного мужества — приглашает меня к себе в каюту сыграть в шахматы.

Вообще-то, нам в рубке делать нечего — хватит вахтенного штурмана, тот сразу позвонит, если потребуется. И поведение Фомича мне нравится — никакой лишней суеты с пожаром. Очко в его пользу, но...

Но я бы: 1) врубил вентиляцию по всему судну; 2) ткнул электромеханика носом в станцию сигнализации; 3) сам обязательно слазал в машину; 4) воспользовался случаем, чтобы собрать свободных от вахты членов аварийно-спасательной партии и потренировал их в задымленном помещении в кислородно-изолирующих аппаратах. Конечно, людей лишний раз дергать неприятно, но я бы дернул. Вероятно, все это я бы проделал, ибо работал на спасателях и аварийные каноны впитались в плоть и кровь.

Или Фомич не полностью отдает себе отчет в происходящем, или он воистину из тех моряков, которые именно в напряженной ситуации обретают полное спокойствие духа.

Играем в шахматы. Галина Петровна угощает конфетами и кофе. Она гостеприимная и славная женщина. Приятно сидеть на мягком диванчике, слушать песни из Москвы, да и запах хорошего кофе — это не чад горящего топлива.

Выясняется, что Фома Фомич любит играть в шахматы только черными. Я люблю как раз белыми. Так что и разгадывать, кому какие, — не надо. Мир. Благолепие.

Галина Петровна извиняется и уходит спать — приняла снотворное, не может привыкнуть к частому изменению судового времени и полуденному солнцу.

После первых пяти ходов понимаю, что Фомич играет вовсе плохо. Быстро вжариваю ему мат. Он ничуть не расстраивается и расставляет фигуры для новой партии. При этом слегка прощупывает мое отношение к стармеху. Я уже давно заметил, что ему не нравится микрогруппа: я, дед, второй помощник. И вот Фомич слегка катит на деда бочку. Мол, тот редко пишет ему докладные бумаги по всяким неприятным случаям. Нельзя было отказать Фоме Фомичу в образности речи, когда он рассуждал о машинных делах, расставляя шахматы:

— Я ить капитан, значить, должён всегда знать, что у парохода в брюхе, что в голове, что в ногах; а они, значить, темнят — сидят в своем темном нутре и темнят, думают, раз в машине ни одного иллюминатора нет, так я ничего и не вижу! Значить, я им реверансы-нюансы бросать не буду больше! Мне из поддувала после каждого случая своя информация идет... Почему они горят? Перестраховка у деда! Вовсе маленькие обороты давали — думали, так повыгоднее, а, значить, топливо-то и загорелось! Все, значить, прикрыться хотят, а я их заставлю бумажки написать по каждому случаю, да к рапорту приложу. Тогда на будущий год сюда в Арктику «Державино», значить, и не пошлют. В возрасте пароход, поломки частые, деформации корпуса... А дед мне бумажки не пишет...

Вжариваю ему еще одну партию. Хотя в финале чуть было не проиграл. Играет он плохо, но страшно цепко и непреклонно. При ощущении близкого выигрыша тягуче зевает, а руки зажимает между колен.

Я спасся во второй партии только тем, что заметил: если даже у Фомича каким-то чудом получается атака, то лишить его этой атаки просто. Следует подставить под удар самую захудалую пешку в самом дальнем от атаки месте доски. И Фомич немедленно харчит эту несчастную пешку. Не взять пешку, которая находится под боем, совершенно для него невозможно. И он радостно уводит из атаки ферзя, приговаривая:

— А вот мы, значить, сперва пешечку съедим! Пешечки не орешечки! И я очень, значить, извиняюсь, но ее съем...

Упорство прямо рублевское. Плюс безмятежная задумчивость, когда, например, против его одинокого короля и парочки пешек у противника появлялось уже три ферзя, тура и целая упряжка коней.

В такой ситуации (я потом часто наблюдал подобное) Фомич думал над неизбежным матом, не обращая никакого внимания на противника, и четверть, и полчаса. Но не сдавался. Я ни разу не слышал из его непреклонных уст слова «сдаюсь». Нет, Фомич мыслил до конца.

Вы могли ему говорить, что мат неизбежен, и все вокруг это видели с отчетливостью прямо-таки сверхреальной, но Фомич не сдавался.

Противник, которого отделял от апофеоза один ход плюс временная бесконечность Фомичовых раздумий, вместо положительных победных эмоций начинал испытывать какое-то угнетенное, подавленное и даже уже беззлобное ощущение безнадеги...

Третью партию я ему проиграл. Обычное дело, когда зазнаешься и перестаешь относиться к любой игре серьезно.

В утешение Фома Фомич сказал мне, что в момент начала катавасии в машине спал очень крепко и супруга не могла его долго добудиться, потому что перед сном он начал читать мою книгу «Среди мифов и рифов». И так сразу — на четвертой странице — вырубился, что, значит, и вовсе теперь не помнит, с чего моя книга начинается.

Действует на Фомича моя проза посильнее, чем ноксирон с люминалом на его супругу: из спальной каюты доносился ее ровный и солидный, гостеприимный храп.

Смешно, но я расстроился и оттого, что проиграл, и оттого, что Фомичу скучно читать мою книгу.

Воздействие печатного текста на физиологию Фомы Фомича, как я смог потом заметить, было всегда определенным. Если, к примеру, в руки ему каким-нибудь чудом попадала книга классика, то уже через четверть печатной страницы Фома Фомич полностью отрывался от действительности и на добрых семь часов погружался в глубокий, ничем не замутненный сон. Видимо, слишком велика была нагрузка на мозг от классики. Добиться такого результата с помощью современной советской прозы Фоме Фомичу удавалось только на второй или даже третьей печатной странице.

Вообще, с самого детства буквы оказывали Фоме Фомичу яростное и тягучее сопротивление в те моменты, когда он начинал складывать из них слово. Но с еще более яростным, прямо-таки сталинградским ожесточением сражались за свою полную автономию и самостоятельность именно уже слова, когда Фома Фомич начинал

складывать их в предложение. Чтобы связать слова какого-нибудь всемирного классика по рукам и ногам, заткнуть им глотки и уложить в штабель предложения, Фоме Фомичу приходилось напрягать бицепсы и даже брюшной пресс.

При всем при том за жизнь у Фомича было всего два ляпа и один выговор в приказе, ныне снятый. Это он сам мне сказал. А я Фомичу верю. Без большой нужды он не врёт. Темнить может, конечно, замечательно, не хуже Ушастика, но по натуре не лгун.

Ляп № 1. В Роне пятнадцать лет назад наехал на баржу-грязнуху. Конечно, были всякие разбирательства, но даже до суда дело не дошло, ибо на грязнухе не горели огни и плыла она на приливном течении без управления. Оборвалась якорь-цепь, когда шкипер спал. Грязнуха и поплыла. Фомич очень смешно рассказал, как прилетел наш сухопутный представитель из консульства и все путал понятия «смычка якорь-цепи» и «смычка между городом и деревней». Рыльце у Фомича, вообще-то, было в пушку, потому что долбанул он грязнуху на левой стороне фарватера. «Однако я, значить, всегда помню, что курс к сердцу солдата лежит через его брюхо, как сказал Иван Грозный, то есть, прошу извинения, не Иван Грозный, а ихний Бисмарк. И напоил я шкипера с грязнухи так, что он и название моего парохода забыл скорей всего навсегда...»

Ляп № 2. В Англии. Не хватило при контрольном пересчете содержимого какого-то разбитого ящика семи будильников. Фомич тогда грузовым помощником плавал. И все это дело скрыл. Британские капиталисты прислали в коммерческий отдел пароходства вульгарные претензии и кляузы. Коммерческий отдел с яростью принялся отрицать претензии, так как не имел никаких с судна сообщений на данную нехватку. Тем временем Фомич и весь экипаж судна, как это и положено, получил премии за безрекламационную сдачу груза. И вот на этом нюансе Фомич и погорел. И влетел в приказ начальника пароходства, потому что обе стороны — английские буржуи и наши коммерческие специалисты — потратили на переписку из-за семи будильников добрую тысячу фунтов, и еще две тысячи отечественных рублей пошли на премию.

За давностью времен выговор с Фомича снят. И чист он перед богом и сатаной даже и не как чайчьи лапки, а как новорожденный теленок.

2

...И два гудка в тумане
Над черной полыньей...

Траверз острова Фирнлея в двадцати милях. Курс на острова Гейберга. На этих островах четырнадцать лет назад радист Камушкин нашел деревянный кораблик.

Чересполосица грязных льдов и ослепительно блистающих на солнце снежниц. Невысокие горбики островов Гейберга, адски черные. И куда с них снег сдуло? Виден гидрографический знак. Стамухи — севшие на мель большие льдины — торчат застывшими разрушенными корабликами-привидениями.

Выходим в полынью, отдаем буксир с ледокола.

Мы первые и пока единственные. Остальной караван застрял в перемычке.

«Мурманск» уходит его выкалывать.

Веду «Державино» к противоположной стороне полыни, врубаю нос в рычару, получается курс около ста градусов. Так и стоим, подрабатывая вперед «малым», — чтобы не остывал дизель.

Вода в полынье прозрачна, изумрудна и независима. Она кажется обнаженной. И не стыдится наготы.

Перед тем как расстаться с ледоколом, высадили на него ребят-«краснорубашечников» из экспедиции. Страшно было смотреть, как они тащили по мосткам через баррикады палубного груза на бак рюкзаки, каждый по сорок семь килограммов. С нашего носа они перелезали на корму ледокола по штурмтрапу.

Заходили на мостик прощаться. Пожелал им найти Жюльетту Жан и: «Бог в помощь». Они: «К черту! К черту!» — на то ребята и комсомольские правдисты.

Потом нашел в каюте сюрприз — огромное фото героев на Новосибирских островах, 1974 год.

Черные очки на глазах и лбах — от снежной болезни. Все на лыжах и одинаково бодро, жизнеутверждающе лыбятся.

Фото испещрено автографами и: «Карское море, т/х «Державино», 1975 год. Мы найдем Жюльетту!»

04.30. Отхожу от кромки полыньи и ложусь за «Лениным». Старпом является на вахту и спрашивает, где экспедиция. Я говорю, что высадили на ледокол.

— А деньги вы у них взяли за питание?

— А почему это я у них братъ должен был?

— Кто за них теперь будет платить?

— Сегодня дам вам десятку, а пока управляйте судном!

Он ходит взад-вперед по рубке и считает полупросебя шепотом:

— По рупь девяносто с двадцать девятого, трое...

— Будете вы управлять судном?

Он посылает матроса искать второго помощника и сам становится на руль.

Дмитрий Александрович денег с ребят тоже не брал, ибо это не его дело и не в его характере.

Арнольд Тимофеевич звонит куда-то по телефону.

Судно входит в тяжелую перемычку, туман, видимость три-четыре кабельтовых, впереди всплывают изпод «Ленина» злобно-мрачные льдины, зудит вертолет, взлетевший с «Мурманска».

У старпома старчески-испуганные, полные муки глаза, но при этом он старается держать на физии свирепо-напряженное выражение отчаянного мужества и решительности Харитона Лаптева.

Наконец будят третьего штурмана, и выясняется, что ребята деньги за питание отдали еще вчера и третий предупредил старпома. Забыл Арнольд Тимофеевич или под этим соусом уклонялся битый час от ответственности вахты во льду? Скорее последнее.

Проходим мыс Челюскина.

Арнольд Тимофеевич (повеселевший и успокоившийся):

— Вот у нас в тридцать девятом... Тогда еще торжественно отмечали пересечение меридиана Челюскина. И все перепились. Один я трезвый был. Сам капитан заставлял спирту выпить, я отказался. Никогда пошлой гадости не пил...

Со свистящим, вращающимся шумом зигзугит над башкой вертолет, отыскивая проход в перемычке.

И каждый раз страшно себя представить на месте вертолетчиков.

Выходим на чистую воду под южным берегом острова Малый Таймыр. Пролив Вилькицкого позади. Вперед море братцев Лаптевых.

Конец второго этапа пути.

Перед сном наношу на обыкновенную, «для домашнего употребления» географическую карту мира точки и даты. Полезно иногда поглядывать на карту всей Земли, а не только в морскую путевую. Глянешь вниз по меридиану — даже нечто похожее на высотное головокружение ощущается. Вся планета где-то под ногами, когда ты в арктических водах. Садись на салазки и... до самого моря Моусона в Антарктиде — к пингвинам в гости.

Сперва по тундре, по тундре, потом встряхнет тебя на медных пиках хребта Удокан, мимо Читы (не забудь снять шапку над могилами декабристов), мимо Улан-Батора и Сурабаи (не забудь вспомнить так старательно забытую песню: «Морями теплыми омытая, лесами древними покрытая...»).

Когда после вахты ложишься спать, то под закрытыми веками все продолжает мощными лавинами и струями катиться поток зелено-белого перемолотого льда, среди которого вдруг становятся на попа «кирпичи» (по выражению второго помощника) весом в десятки тонн.

Расставание с ледоколами Западного сектора было довольно будничным, ибо никто друг друга не видел — туман. И не получилось обычно впечатляющего прохождения ледоколов обратно — от головы каравана, мимо всех судов на контркурсе.

Слышались только радиоголоса.

Голос «Ленина» спрашивал претензии к проводке и замечания, другие отвечали, что претензий и замечаний нет, благодарили за проводку и желали спокойного рейса.

Когда-то в такие моменты гудели друг другу. Гудели и на отходе в рейс от причала. Я помню, как на отходе пожилые моряки предупреждали своих маленьких провожающих внучат, чтобы те не испугались, что сейчас пароход заревет, как слон, как носорог, как бегемот...

Теперь это бывает редко. Только уж в самых торжественных случаях. Соблюдение традиции вызывает опасение, как бы в сентиментальности не заподозрили...

как бы гудки за «Прошу обратить на меня внимание» не посчитали и нарушение «Правил по предупреждению столкновения» не пришили...

Я спросил у «Ленина», есть ли на мостике капитан. Оказалось, что Владимир Константинович отдыхает. На мостике дублер. Жаль. Хотел поблагодарить за гостеприимство, — когда-то застряли во льду, и я лазал смотреть атомоход. Разговорились об автоматизации судовождения. На атомоходе набито электроники полным-полно. Я сострил, что скоро уже и медведи смогут водить такие суда через океаны: один медведь — на мостике, второй — у реакторов.

Владимир Константинович подумал и сказал, что я не прав. Один будет медведь. И на мостике и в машине будет один и тот же медведь. Я сказал, что это, мол, уже фантастика. А он объяснил: «Второго медведя сократят! Система взаимозаменяемости профессий тоже не стоит на месте! И рано или поздно, но достигнет апогея».

Туман. Туман. Туман.

Градус чистой воды впереди до очередной ледовой перемычки. Следуем самостоятельно в назначенную точку.

И вдруг в особенной, туманной тишине дикий вопль моего верного напарника Дмитрия Александровича. Он вопит где-то в надстройке:

— Я не реаниматор! Не реаниматор я, товарищи! За что ж вы Ваньку-то Морозова?!

И опять тишина.

Это Саныча механики, вероятно, опять попросили заварить щель в кожухе выхлопной трубы. В машине нет дипломированных сварщиков, а Саныч хотя и штурман, но варит железо замечательно и даже имеет диплом. И механики часто просят его продемонстрировать талант.

У меня вопль «не реаниматор я!..» почему-то вызвал в памяти порт Касабланку. И опять ощущение, что в зубах застряла говяжья жила, — где я уже встречал напарника?

Никогда не бывает так вкусен обыкновенный растворимый кофе, как туманным, зябким, ночным полярным часом в рубке лесовоза.

Расходимся с гидрографическим судном. Все обычно, все так, как было тысячи раз: экран радара, круги дальности, зеленая отметка, бритвенная черточка визира... Два долгих гудка впереди, отсчет секунд, рев своего гудка — тоже два длинных...

Туман на стекле окон в рубке конденсируется в крупные капли. Скорость умеренная, и потому капли на сдувает и не расплющивает встречный ветер...

— От горшка два вершка, а гудит басом, — говорит Рублев о встречном гидрографе. Он говорит детским, сопливым голосом Рины Зеленой.

Арнольд Тимофеевич:

— Мы в тридцать девятом вместо радиолокатора использовали эхо. Идешь у берегов в тумане и гудишь, а сам на мостике с секундомером. Так всю вахту и дышишь на крыле свежим воздухом. Аппетит потом прекрасный. И для легких полезно — я до сих пор не кашляю. С радарами этими пошлыми и не дышит никто свежим воздухом, сигареты только смолите...

Меня настырно тянет увидеть в тумане огни встречного судна. Не нужны они мне, а тянет. И даже определенное усилие над собой делаю, чтобы сказать:

— Еще пятнадцать право!

Существует старая морская приговорка: «Стоп! — себе думаю, а за телеграф не берусь!»

Корявость оборота намеренная. Так звучит по-одесски, смешнее: «себе думаю». Смысл же большой. Человек понимает, что надо остановить движение, чтобы избежать уже очевидной опасности, но не берется за телеграф, не останавливает движения.

Почему?

Огромность массы судового двигателя вызывает и огромные перенапряжения при резкой остановке его и переводе на обратное движение. И ты испытываешь дурацкую стеснительность перед дизелем и перед механиком. И стараешься избежать опасного сближения со встречным судном только изменением курса.

При хорошей видимости и достаточной свободе для маневра это вполне логично.

При плохой видимости и наличии радаров отмечаются случаи парадоксального поведения судоводителей.

Капитан Бухановский исследовал шестнадцать случаев документально зафиксированных судовых аварий-столкновений.

«Создается впечатление, — пишет он, — что некоторые судоводители как бы искали близкой встречи, как будто не существует никакой разницы между условиями расхождения в тумане при радиолокационном наблюдении и при хорошей визуальной видимости и как будто с каждой милей сближения не возрастает риск столкновения. Похоже на то, что субъективность суждения человека делает риск взаимных опасных действий бóльшим при плавании по неограниченному водному пространству, чем при движении в стесненных районах».

Я думаю, что стремление увидеть судовые огни встречного судна и визуально определить его ракурс подсознательно играет главную роль. Жаль, что Бухановский не приводит биографических и психологических данных капитанов, участвовавших в анализируемых столкновениях. Особенно интересен их возраст и продолжительность плавания без радиолокации в какие-то моменты и периоды работы в море.

02.08.12.00.

Пока самая трудная вахта. Шли за атомоходом «Арктика».

Лед, не пропитавшийся еще водой, не тронутый разложением, звонкий и крепкий, как нержавеющей сталь, пронзительно-изумрудный на двухметровых изломах; отдельные торосы земляного оттенка толщиной до четырех-пяти метров.

Мы опять угодили первыми в караване — сразу за атомоходом.

Кучиев предложил такую тактику. Он жарит во всю ивановскую, а мы держим минимальную дистанцию. Но мы боимся огромных, крепких, ядреных льдин, которые иногда взлетают у него из-под винтов посередине канала. Когда такая штука оказывается в ста метрах и ты идешь

средним ходом, то затормозить уже не представляется возможным.

Кроме этого.

На малых дистанциях струя от винтов атомохода (их три) так могуча, что сбрасывает наш нос с курса, с середины канала, и рулевой не способен держать судно. И вот шла война нервов с осетином и с крепчайшим льдом.

Кучиев — ученик Павла Пономарева. Теперь он ведет «Павла Пономарева» в караване. И попутно рычит на меня, то есть на лесовоз «Державино».

А я не боюсь! За Юрием Сергеевичем семьдесят пять тысяч индикаторных лошадиных сил, за мной — дюжина тигров!

Прямо и не знаю, что и как сложилось бы в моей жизни, если б не тигры. Как мир стоит на китах, так я стою на тиграх. Пятнадцать лет они меня выручают из самых запутанных ситуаций.

И сейчас скажи я заветное слово: «Полосатый рейс!» — и дело в шляпе.

Двоюродный брат Кучиева Казбек Михайлович Хетагуров мой брат по тигриной крови.

Капитан «Арктики» когда-то соблазнил двоюродного брата Казбека на авантюристическую морскую профессию. И тот получил полную порцию экзотики и авантюризма, когда на его пароход «Матрос Железняк» посадили дюжину тигров, льва и обезьяну. Казбек Михайлович был капитаном этого несчастного судна. Он первым начал полосатый рейс.

— Нет, Евгению Леонову я не завидую, — говорил Казбек тысячам корреспондентов-альпинистов, которые со всех сторон лезли на него и на «Матроса Железняк». — Нет, товарищи, я артисту не завидую! Правда, и нам, морякам, не сладко. Шутка ли, товарищи корреспонденты, спускаешься в кубрик, а там во всю длину обеденного стола живой тигр лежит! Во всю длину! Или за чем-нибудь высунешь голову в иллюминатор, а перед носом — пасть льва. Клыкастая, товарищи, пасть! Обезьянка, конечно, симпатичная, добренькая — недаром ее Пиратом назвали. Недаром ее, товарищи корреспонденты, назвали Пиратом! То ночью из графина воду на голову стармеху выльет, то мне брюки в узел завяжет. . .

Ныне Казбек Михайлович Хетагуров работает «даточно»

ным капитаном Балтийского завода. Годика через два поведет на ходовые испытания атомоход «Сибирь», чтобы не отставать от двоюродного брата...

Стоит мне произнести заветное слово, и «Арктика», обвешанная гроздьями корреспондентов, сфотографированная во всех ракурсах, обложенная кипами статей и очерков, как новогодняя елка ватой, — первый рейс флагмана ледокольного флота! — эта «Арктика», это атомное сверхсущество, станет мне родной по крови, ибо нас сблизит юмор.

Есть единственное средство против перепутанности и сложности мира — юмор. Не бог, не царь и не герой. Все эти ребята не помогут. Только юмор, лучше безымянный: «Она съела кусок мяса, поп ее убил...»

Юмор — обыкновенная маска, но она помогает преодолевать растерянность от сложного и непонятного во круг. Смущение души реализуется в материи звуковой волны: «хи-хи» или «ха-ха».

В юморе, конечно, есть ложь, но это ложь жизневерия.

Колпак клоуна помогает шуту преодолеть страх и ляпнуть царю из-под стола правду-матку.

НЕОБЫКНОВЕННАЯ АРКТИКА

1

Разговор по УКВ «Пономарева» и «Комилеса» в три часа ночи сегодня. Разговаривали старшие помощники. Я стенографировал для истории и вообще потомков.

— Какое у вас время, «Пономарев»? — это старпом «Комилеса» спрашивает о номере часового пояса, по которому живет его собеседник. Собеседник относиться к такому вопросу серьезно не желает и потому отвечает довольно брюзгливо:

— Присутственное!

— Перейдите на шестой канал! — просит «Комилес».

Это означает, что говорящий хотел бы, чтобы разговор не слушали лишние. На судах каравана постоянно

включен шестнадцатый канал «Корабля» и второй канал «Акации» (последний для связи с самолетами). Именно потому, что кто-то просит перейти на шестой канал, все вахтенные штурмана немедленно тоже переходят на него — интересно же!

— Когда будет осуществляться передача к нам на борт писателя Симонова? — это старпом «Комилеса» спрашивает уже на шестом канале.

Вокруг плачет на одинокие льдины дождь и сально тускнеет между льдин стылая вода моря Лаптевых.

«Пономарев»:

— А у вас какое время?

«Комилес» не остается в долгу и потому брюзгливо сообщает:

— Присутственное!

«Пономарев»:

— Вот встанет писатель, позавтракает. И передадим его вам часиков в восемь по Москве.

— Так. Ясно. А скажите, пожалуйста, как вы у себя решили с ним жилищный вопрос?

— Он один живет, а жена с дочерью вместе в другой каюте.

— А она кто?

— Дочь генерала Жадова.

— Я о профессии.

— Вроде бы искусствовед.

— А скажите, это, ну, как, вообще-то, рюмку принимает?

— Нормально принимает. На Диксоне, конечно, устроили встречу, и он принял рюмку, а так не пьет.

— А чего он, главным образом, пьет?

— Чай. Чай сам заваривает.

— Ага, ясно, а возраст дочери сообщите, пожалуйста.

— У вас женихи, что ли, есть? Восемнадцать лет.

— А что про нее еще можете сообщить?

— Жилплощадь у нее в Москве хорошая.

— Что в питание надо? Диеты у них у кого есть? От чего воздерживаются?

— Завтрак по его просьбе. И вот овсянку...

— А в отношении воздержания диетического?

— Нет, они никто не воздерживаются.

— Так, хорошо, а что вы про овсянку?

— Утром овсянку любит. Не ананасы, а кашу. Есть такая каша, слышали?

— Ага, так, ясно, понял. Ну, а что еще посоветуете? Чтобы готовым быть, а?

— Ничего. Просто он держится, и жена очаровательная.

— Скажите, а он про что пишет-то?

— Дневники военные пишет, про нас не пишет. Хочет сам на восток пройти, а на запад оператора телевидения послать, чтобы уже про моряков по его советам снимали. . .

— Так. А он сам куда потом?

— После короткого отдыха в Москве полетит в Испанию. Работает по шесть-восемь часов. Говорит, нигде так хорошо ему не писалось. Не беспокоит никто: ни издатели, ни корреспонденты.

— А куда он избран?

— Думаю, он пока еще только в американский сенат не выбран.

— Ага. Вас понял. Большое спасибо.

Щелк, щелк, щелк. . . — суда каравана возвращаются на шестнадцатый канал. Кто-то из радистов так заинтриговался, что зазевался, не принял прогноз, получил взбучку от капитана и теперь просит свободного коллегу повторить прогноз. Помогает коллеге маркони с «Перовской» — голосок тоненький, совсем юный, вероятно практикант, но пытается солидничать:

— От двенадцати ноль-ноль до ноль четыре Москвы северо-восточной юго-восточной частях моря Лаптевых, заливе Буорхая, проливах Санникова и Лаптева ожидается туман, видимость менее тысячи метров. Токси-погода. Как поняли?

— Спасибо, понял. . .

Три часа сорок пять минут ночи, и в нашей рубке раздается абсолютно натуральный, чуть сонный, но уже победительный, вызывающий кукарек петуха — полнейшая иллюзия предутренней деревни, и петух-передовик орет, а потом хлопает крыльями и сваливается с насеста.

Это матрос первого класса Андрей Рублев приветствует близкий конец вахты — до сдачи пятнадцать минут. Одновременно крик петуха обозначает просьбу к вахтенному штурману стать на руль, а его, Андрея Рублева, отпустить на парочку минут в низы будить смену.

Хлопанье крыльев он имитирует не примитивным хлопанием себя по бокам, например, а падение петуха с наеста не банальным притоптыванием сапога — нет! До такого примитивизма наш Рублев никогда не опускается. Все изображается только при помощи языка, губ, глотки и черт знает еще чего, но сам «петух» неподвижно застыл у рулевого устройства и глядит вперед, ни на секунду не ослабляя внимания и даже не смахивая пот со лба.

— Вот зверь! — говорит Дмитрий Александрович без восхищения, становится сзади и левее «петуха» и с полминутки присматривается к пейзажу впереди по курсу с точки зрения рулевого, потом перенимает руль в свои руки.

«Петух» радостно блеет веселенькой козочкой и смаывается с мостика.

Конечно, таланты Рублева врожденные, но проявились они после того, как он некоторое время работал в зоопарке. Отпуск оказался чересчур длинным, деньги он промотал и вместе с дружкой нанялся в зоопарк подработать. Дружок — звериным поваром, а он — его помощиком. Оголодали ребята, вероятно, к этому моменту здорово. Потому что уже в первое утро звериный кок задумался: зачем это крокодилу надо кашу на молоке варить, кроме всякого мяса и рыбьего жира? Кто ему на воле кашу варит? Никто не варит! Ну, кто будет в Африке крокодилу эту кашу варить? Взяли сами и выпили молоко.

В обед выясняется, что белым медведям положены кроме мяса и рыбы еще и яблоки с морковью. Полное хамство! Яблоки — белому медведю! Может, ему и бананы подавать? Сожрали по яблочку сами.

К ужину отхватили от львиного рациона кусочек посочнее и соорудили нормальный шашлык.

Короче говоря, во-первых, надо самому слышать, как Рублев возмущается всем этим звериным баловством; а во-вторых, через неделю дружочков оттуда, ясное дело, с позором выгнали. Но за эту неделю он и обнаружил в себе талант звериного имитатора. Так что наш Рублев вышел из зоосадной истории чем-то даже обогащенный. А дружок его так потом хвастался перед соплавателями отпускным прошлым, что повел целую компанию в Калининграде в зоопарк, был под сильным газом и, перечисляя продукты из рациона белых медведей, положенные полярным существам в условиях жаркого или

умеренного климата, свалился в бассейн к медведям. Медведи на него серьезного внимания не обратили, а в отделе кадров — обратили и прихлопнули визу намертво.

Происшедшее Рублев объясняет так:

— Когда мы львиные шашлыки жрали и нас зоотехник накрыл, мы как раз о происхождении человека спорили. Я утверждал, что мы от ленивых обезьян приходим, типа, например, бабуинов. Корешок уперся, как баран, и твердит, что, мол, от шимпанзе или макак. Вот и допрыгался...

А старпом сегодня рассказал, как был на приемке судна в ФРГ, купил дешевое мужское белье. В гостинице обнаружил, что ему дали дорогой женский комплект. Дойдя до этого места рассказа, он захихикал.

— Чего хихикаете? — поинтересовался Саныч, сдавая ему вахту. — Примерили, что ли? Перед зеркалом?

Здесь я тоже хихикнул, ибо представил фигуру нашего морского мерина, нашего плоскозадого Арнольда Тимофеевича в нежном и пенном женском дорогом белье перед зеркалом в гостинице.

— Зачем примерять? — изумился вопросу Саныча старпом. — Зачем мне такой пошлостью заниматься? Я тогда только подумал, как тот господин, которому мой пакет выдали, жену обрадует. Разворачивает она пакет и... мои кальсоны!

— Так ты не вернул белье? — спросил Саныч. Он очень редко говорит Арнольду Тимофеевичу «ты».

— Дурака нашел! Господин пойдет в магазин, и ему все обратно восстаноят. Пускай капиталист страдает, — объяснил Арнольд Тимофеевич.

Дмитрий Александрович умеет владеть собой. И процедил одно:

— Капиталист у девчонки-продавщицы высчитает, которая напутала. Вам с обстановкой все ясно? Я вахту сдал, Виктор Викторович, разрешите вниз?

— Да, пожалуйста.

О, как громко и тоскливо кричат чайки, когда выслушаешь такую исповедь Арнольда Тимофеевича, и при этом еще застрянешь во льду, и на несколько минут за-

тихнет двигатель, и ты выйдешь на крыло — в озноб, сты-
лость и сырость. И сразу услышишь, как тоскливо они
кричат...

Чтобы не обижались моряки, уравнивешу Спиро авто-
ритетным литературным деятелем, с которым ездил
в Польшу.

Начнем с того, что я боялся повесить брюки рядом
с его в двухместном купе. Почему я боялся? Я боялся, что
мои брюки набьют его брюкам морду! Я-то могу держать
себя в руках, думал я; на то я и человек, я даже с этим
подонком разговариваю о поэзии, но у моих брюк такой
выдержки нет! И они обязательно набьют морду его брю-
кам, и получится форменный скандал!

Он вез из Москвы чемодан еды. Когда на второй день
пять яиц протухли, то он долго ругал жену за то, что она
плохо их сварила, а потом еще часа два мучился вопро-
сом: выкинуть их в мусорную урну или немного подо-
ждать?

После просмотра прелестного и игривого француз-
ского фильма, когда мы вернулись в гостиницу, он все
жаловался мне, что в левой ляжке у него «затвердение».

После того как мы побывали в известном всему миру
католическом соборе, он заметил, что собор отремонтиро-
ван хорошо, но ему не понравилось, что там много посе-
тителей — и туристов, и прихожан. Я спросил, что лучше:
ходить в пивную или в католический музей-храм? Он ска-
зал, что полезнее для нашего дела, чтобы ходили в пив-
ную. Я не шутки сейчас шучу. Я правду говорю.

В Кракове он питался московской колбасой.

На какой-то станции в каком-то старинном городке
поезд застрял неподвижно, и поляки предложили нам
поездку по интересным местам. И он побоялся оставить
чемодан в купе — в закрытом купе, при наличии провод-
ников и прочего. И решил оттащить на время поездки че-
модан в камеру хранения. Замечательная получилась
сцена. Кладовщик спрашивает у пана, во сколько тысяч
тот оценивает вещи. Мой литературный брат: «Пять ты-
сяч злотых!» Кладовщик, выписывая квитанцию: «Прошу,
панове, тридцать злотых!» Это за хранение, как вы пони-
маете. Мой литературный брат схватил чемодан и пово-
лок обратно в купе. Но прежде, чем он его схватил и

поволок, сцена была чисто клиническая: выпученные глаза, спазм, сердечный приступ и т. д.

В конце поездки я обнаружил, что от ненависти к этому человеку и от необходимости при этом долгого на него глядения на хрусталиках моих глаз образовались мозоли — такие, как на его ногах. . .

Остров Русский при низком солнце.

Остров напоминал католическую монашенку — черное, белое, розовое и опять черное при отчаянном желании взбрыкнуть ногой.

Почему вообще возможно писательство и актерство? А потому, что в каждом из нас есть *все* бывшие, сущие и будущие люди, со всеми чертами их характеров, только в разной степени их развития.

РДО: «СЛЕДУЙТЕ СОВМЕСТНО ТОЧКУ ВСТРЕЧИ Л/К 7500 13035 ГДЕ НЕ ВХОДЯ В СПЛОЧЕННЫЙ ЛЕД ЖДИТЕ УКАЗАНИЙ КМ АБРОСИМОВА ЗПТ ВОЗМОЖНО ПРИДЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОДОЖДАТЬ ПОЭТОМУ НЕ ОЧЕНЬ ТОРОПИТЕСЬ ЗПТ ДО ПРИХОДА УКАЗАННУЮ ТОЧКУ ВОЗМОЖНЫ ВСТРЕЧИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ ТЯЖЕЛОГО ЛЬДА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ».

Кроме этой служебной пришла частная радиограмма в адрес Фомы Фомича. Радист принес ее, чтобы посоветоваться: отдавать или не отдавать капитану.

«Дорогой любимый жду не дождусь встречи твоя Эльвира».

Радист встревожен, ибо: 1) некогда у них плавала буфетчица Эльвира; 2) на борту ныне супруга Фомы Фомича.

Фома Фомич вырос в моих глазах на целую голову, но что бы то ни было советовать я отказался, ибо не очень-то понял, почему именно меня радист выбрал в советчики.

Адресат же чувствует себя безмятежно.

Нынче ему очередной раз приснился сон про дочку,

как она на трехколесном велосипеде едет в стену и кричит: «Куда я еду?!» И все крутит и крутит ножками и — бац! — в стену.

И вот Фомичу во льдах хочется вдруг заорать: «Куда я еду?!» И он честно рассказывает про все это в кают-компании за ужином в тот момент, когда у всех разом и вдруг улучшилось настроение — солнце вышло после суток тумана и все и вокруг судна, и в кают-компании сверкает от солнечного блеска. И вот Фомич рассказывает сон и хохочет при этом до слез в глазах — и очень симпатичен в этот редкий момент (РДО от Эльвиры радист ему не отдал, подозревая какой-то неуместный розыгрыш).

Мы на меридиане реки Оленек (левее дельты Лены) и на параллели бухты Марии Прончищевой (где есть радиомаяк ныне).

Солнце с северной стороны горизонта, низко, градусов пятнадцать; небо в зените безмятежное и голубое, ниже сплошное кольцо серости и мрачности, море — чистейший холодный ультрамарин, и в густой синеве клинья сверкающего хирургически-белого накрахмаленного льда.

И мы идем полным ходом, огибая ледяные клинья, а далеко впереди пилит двенадцатиузловым ходом «Капитан Воронин» и говорит с нами с архангельским окающим спокойем. Где-то тут умер — в рейсе, на мостике — сам Владимир Иванович Воронин.

И я вспоминаю его сына Пеку Воронина — однокашника по Военно-морскому подготовительному училищу, и других друзей-доброхотов, и вообще раннюю юность, и даже детство.

Полярное солнце все-таки греет воротник казенной меховой капитанской куртки, подбородок то и дело ощущает тепло нагретого меха, и потому, вероятно, вспоминается детство. С довоенных времен у меня никогда больше не было пальто с меховым воротником, потому и ласковое тепло у подбородка так далеко возвращает в прошлое.

Я завидую способности Фомича до пятидесяти пяти лет сохранять свежесть страха. Он, например, радировал Шайхутдинову уже две РДО, где канючит на неправ-

вильность ранней посылки в Арктику слабых судов нашего типа.

Мы уже стрела в полете, никто наше движение остановить не может, и смысла в стенаниях Фомича никакого нет.

Правда, если быть честным, мне тоже иногда кажется, что наша «операция может оказаться опаснее болезни», как говорят хирурги. Очень уж трудно идем. Арктика ныне тяжелая — беременна льдами, как лягушка икрой.

В 02.00 расстаемся с «Ворониным» и «Пономаревым» — они продолжают идти на юг, к Хатанге, а мы ложимся на восток вослед за «Комилесом».

Льды идут за нами с левого борта, то исчезая, то вновь показываясь, как голодные волки за стадом карibu. И точат зубы, мерзавцы. В двадцати часах ждут нас уже дальневосточные ледоколы «Адмирал Макаров» и «Ермак».

...Когда ледяное поле тихо-мирно дрейфует в глубоком летаргическом сне и год, и два, а потом вдруг с полного хода наезжает на него грубиян-ледокол, то льдины встают на попа с таким ошарашенным видом, что вспоминается картина великого Репина «Не ждали»...

Сегодня ненароком сказал при Дмитриии Александровиче, что меня заинтересовала знаменитая их Сонька и что она как бы плывет с нами, потому что ее каждый и часто вспоминает (есть, например, подозрение, что РДО «Эльвиры» — ее работа).

Мы редко стоим с Санычем на мостике рядом. Если во льду, то мы на разных крыльях, если вне льда, то у вахтенного штурмана хватает дел.

А тут ему нечего было делать, и мы стояли рядом, и глядели на чаек, и следили за кромкой льда с левого борта, и, вероятно, он, как и я, думал о том, придется ли нашей вахте прихватить льдов или проскочим вахту чисто.

Полярные чайки знают, что черные огромные существа — корабли — полезные звери, потому что переворачивают льдины, а пока с перевернутой льдины сте-

кает вода, из нее легко выхватывать рыбешку. И потому чайки летят и ждут не дождутся, когда мы пихнем очередную льдину.

Перед посадкой на воду у полярных чаек ноги болтаются совершенно разгильдяйски — как пустые кальсоны. Еще необходимо отметить, что полярные чайки на воде отлично умеют давать задний ход. В этом они ближе к млекопитающим, нежели их южные собратья.

И вот мы стояли рядом на левом крыле и смотрели на чаек, и я сказал про Соньку, назвав ее «Соня» — мне нравится это имя. Саныч помолчал довольно долго. Потом сказал:

— Она плавала у меня на пассажире в семьдесят втором — совсем девчушкой была. Влюбился в нее. Тяжелый случай. Я старпом, я женат, жену люблю, и в нее тоже влюбился.

Он сказал это просто — очевидно, уже перегорело у него. Или такое тоже случается: сильно битые люди замыкаются в мрак или так крепнут душой, что позволяют себе открываться бесстрашно и просто.

— Ну что надо делать? Списывать надо — вот и все. Дураку ясно. А ситуация такая, что списывать — сильно ей повредить. Мы в каботаже работали. И у нас девчонки как бы предвизирный период проходили — чистилище своего рода. Спишешь без причины — пришьют в кадрах ярлык нехороший... Рублев! Оставьте эту льдинку с правого борта!

— Я и так ее с правого хотел оставлять!

Рублев не был бы Рублевым, если бы не отбуркнулся. Он и сам все знает! На Саныча его отбуркивания совершенно не действуют, а меня все-таки иногда раздражают.

— И прицепиться не к чему, — продолжал Саныч о Соне. — Работала она хорошо, старалась. Кукольный театр организовала в самодеятельности. Буратино играла. Думаю, хоть бы шторм к концу рейса ударил и чтобы она укачалась — причина будет. Нет, погоды нормальные... Рублев! Проходите все-таки подальше! Она маленькая, но мы же «полным» жарим!

Рублев:

— Я от вас, Дмитрий Аляксандрыч, аблаката найму! — это он говорит голосом тети Ани.

— Ты лучше немного зеброй поори, — советует Саныч. — Чтобы пар выпустить.

— Не буду! — мрачно отказывается Рублев. — Настроения нет. Для зебры. А «Комик» оборотов шесть прибавил. Чуть отставать начнем.

— Будем добавлять? — для порядка спрашивает у меня Саныч. И он и я знаем, что Ушастик послушно скажет, что добавит, но черта с два свыше ста пятидесяти восьми оборотов добавит хоть половинку.

— У кромки догоним, — говорю я. — А саксофоном когда она начала увлекаться — еще при вас, на пассажире? — спрашиваю про Соню. Мне интересно продолжить разговор о ней.

— Какой саксофон?

— А я на судно приехал, она с саксофоном у трапа сидела.

— Может, спутали? У нее корнет-а-пистон. Дед у Котовского воевал. А Котовский музыку любил. И больше всего корнет-а-пистон.

— Что это за штука?

И впервые за разговор Саныч оживает. До этого он говорил как-то равнодушно и пережито, как о постороннем и отброшенном. И по тому, как он говорит о корнет-а-пистоне, становится ясно: он про Соню знает все, что один человек может знать о другом, если он его любил или любит.

— Небольшой металлический духовой инструмент. Короче трубы. Три вентиля-пистона. Партия к нему пишется в ключе соль. В строе «В» он звучит на большую секунду, в строе «А» — на малую терцию ниже писанных нот. Может все, что и кларнет. Тембр корнета мягче и слабее трубы. Он может применяться и в симфоническом оркестре. Там их обычно вводят два... Пожалуй, я все-таки позвоню в машину? Туманчиком попахивает, а «Комик» сильно наддал.

— Попробуйте.

— Сейчас сделаем деду реанимацию, — говорит он и уходит с крыла в рубку.

А я смотрю на чаек, и почему-то опять крутится в голове Касабланка. Что за черт?!

...Так. Шли с Дакара домой... Цикады довели до ручки — налетела огромная стая цикад, облепили паролод... Вдруг РДО: зайти в Касабланку и отдать изли-

шек топлива «Пушкину». За ужином принесли эту радиограмму, когда мы обсуждали, поедая блинчики с мясом, варианты встречи Нового года — семидесятого года; решили как раз отойти в сторонку от главных морских дорог в океане, лечь там в дрейф и встречать Новый год без лишней нервозности, и вдруг — Касабланка... Так, Марокко так Марокко. Все-таки — к северу идти, в домашнем направлении... В ночь под Новый год мой рулевой матрос так перепугался, что убежал с мостика! Честно говоря, я тоже напугался: вдруг появилась в дожде и теплом тумане с левого борта белесая и чуть светящаяся в ночном мраке полоса, уперлась нам в правый борт в безмолвии и бескачании. Если бы не множество попутных и встречных судов, то я бы решил, что мы нормально вылезает на береговой накатик и сейчас загремим брюхом по камням. А это, вероятно, были фосфоресцирующие полосы пены, взбитые пролетевшим узким дождевым шквалом на штилевой ночной гладкой воде... Бр-р! Даже вспоминать противно... Увидишь такое и потом поверишь в летающие тарелки — что-то бесшумно-космическое и заунывное. Недаром морские смерчи в районе Марокко называют «танцующими джиннами»... Так. Была все-таки елка, флаги в столовой команды и дед Мороз. На деда Мороза набросился наш корабельный пес Пижон — не узнал своего в таком чудище, облаивал его с ненавистью, хотя всех своих узнавал безошибочно среди десятков чужих где-нибудь на стоянке в порту. Так. На подходах к Касабланке сильный шторм, тяжелая качка, и мне довольно тошно, так как я, пусть простит начальство, встретил Новый год крепко... Дальше... Что, и зачем, и почему «дальше»?.. Скобоченные ураганым прибоем молы гавани. Тесная гавань. Возле нашего «Александра Пушкина» — нос в нос итальянский суперлайнер «Микеланджело», водоизмещение сорок шесть тысяч тонн, современные прозрачные трубы, специальный собачник, где установлен фонарный натуральный столб, чтобы собачки туристов чувствовали себя в привычной обстановке... На «Пушкине» полно английских старух... Старухи сидят в шезлонгах и дуют рашен водку через соломинки под сигареты, между ними ездит на детском велосипеде английский воспитанный мальчик, как Катька Фомича... Старухи часто режут

дуба с перепоя... Реанимация!!! «Поймите, не реаниматор я! Я обыкновенный судоводитель!»

— Дмитрий Саныч! — заорал я.

Он ракетой вылетел на крыло мостика.

— На новый семидесятый год где был?

— В Касабланке.

— Так мы же знакомы!

— Конечно, — совершенно спокойно сказал Дмитрий Александрович.

— Да я измучился, вспоминая, где и что!

— А вы бы у меня спросили. Рублев, не лезь на льдинку! Оставь ее слева!

И почему я, действительно, у него не спросил? А бог знает почему. А почему так долго его вспомнить не мог? А потому что плох был со встречи Нового года, и он мне подлечиться дал — бутылку великолепного шотландского виски. Вот мне и отшибло память. А Саныч из деликатности не хотел напоминать.

Какое облегчение испытываешь, когда вытацишь из зубов застрявшую там жилу!

Все становится на места.

Я даже вспоминаю, как перелезал с «Пушкина» на «Невель» (мы стояли борт к борту) с драгоценной бутылкой в кармане. Была уже ночь, и «Пушкин» и «Микеланджело» залились веселыми, новогодними огнями иллюминации, а мой «Невель» зиял абсолютной чернотой без палубного освещения. Даже над трапом не горела люстра, и я чуть было с трапа не сверзился. И заругался в полную мощь, опасаясь, естественно, более всего за целостность виски в кармане, а не за шею. Во тьме схватил за руку третий штурман Женя: «Молчи, Викторыч! Молчи, бога ради!» Оказывается, этот коварный хитрец вырубил огни специально, чтобы цикады убрались с нашего скобаря на шикарные лайнеры — насекомые летят на свет. И они, действительно, понемножку летели на иллюминацию.

— Женя, пожалей туристов! — сентиментально попросил я.

— А там не наши, — объяснил Женя. — Там сплошь британцы. Они колониальные песни поют!

И действительно, туристы пели грустную песню. Известно, что для того, чтобы стать настоящим англичанином, то есть убежденным шовинистом, чуждым

всякой сентиментальности коммивояжером, сквернословом, но человеком честным, надо попасть в изгнание — так утверждает Грэм Грин (а может быть, Пристли).

В Касабланке англичане-туристы ощутили себя изгнанниками. И запели старинную песню: «Далеко, далеко на родном берегу, помолитесь, друзья, за душу мою...»

Певуньи-старушки печалились о былом мужестве первопроходцев, колонизаторов и моряков. В их душах взбалтывался коктейль из деятельного прошлого, бездельного настоящего и рашен водки.

— А помните, о чем мы разговаривали, когда я к вам потом пришел чай пить? — спросил Дмитрий Александрович посередине моря Лаптевых (на жаргоне: «Море лаптей»).

— Помню. Только что померла старуха туристка. И вы намучились с трупом.

— Это мелочи, — сказал Дмитрий Александрович. — Я другое запомнил. Вы очень интересно про собак рассуждали. Тогда «Аполлон-двенадцать» недавно только вернулся с Луны. Сели они еще спиной вниз, в оверкиль. И вот вы переживали: будут теперь собаки и волки выть на луну или не будут? Потому что, мол, месяц теперь опошлен и космос замызган, и влюбленным смотреть на луну уже как бы бессмысленно, и что придется переписывать старые сказки, где действует месяц, потому что оттуда американцы сперли камушек и луна уже не луна, а черт знает что такое. Очень интересно вы рассуждали.

— Н-да, действительно, интересно... — согласился я на этот сомнительный комплимент.

...Первым отвалил из Касабланки «Микеланджело» — двести семьдесят пять метров стали, каждый метр — образец изящества и элегантности... Да, а все-таки жаль, что авиация прихлопнула эти прекрасные лайнеры!

За «Микеланджело» отвалили в моря от борта «Пушкина» мы. Отшвартовка происходила под взглядами английских туристов. Пришлось нацеплять форму и вообще изображать морской театр — с архичеткостью

команд и лихостью выборки тросов и т. д. И я тогда в какой-то степени вдруг понял, что у неморяков существует особенный интерес к морякам, какой-то завораживающий интерес. Англичане — морская нация, а лезли друг через друга, чтобы посмотреть на обыкновенную отшвартовку одного судна от другого. . .

Через час после того, как Касабланка — фигурные пальмы, опутанные цветущими растениями, кокетливые паранджи женщин, лукавые и веселые женские глаза в прорезях паранджей, причудливые фонтаны и пришедшая из пустыни поглазеть на водяное изобилие бродячая голь, сувенирные лавки, ятаганы, пуфы, ковры, пушистые и ослепительные овечьи шкуры, кувшины, и т. д., и т. п. — осталась за кормой нашего скобаря, нас догнал и перегнал «Пушкин», следуя попутным курсом — на Саутхемптон. Он был отчаянно красив — в огнях, в пене, в брызгах, — он бы понравился Александру Сергеевичу, и, пожалуй, Александр Сергеевич воскликнул бы: «Ай да «Пушкин»!»

! ! 2

Щедрина открываю редко. Я и восхищаюсь огромностью и постоянностью его издевательского потенциала-запала, и скучаю по красоте, когда читаю. Когда художник обозлен социальной действительностью до колик, он способен сохранить до конца чувство смешного (ибо это одна из инстинктивных форм самозащиты и самоспасения), но теряет эстетическую ариаднину нить искусства. Сам юмор, конечно, несет частицу красоты, но непроявленной, растворенной в сложной смеси, как золото в морской воде. Душа же просит красоты с тем большей тоской, чем труднее обстоятельства.

Помню, как долго не мог понять, чем настораживает пейзаж Голсуорси, точный, с настроением, с ритмом близких и дальних планов, отлично сделанный пейзаж. Кажется, теперь понял. Он пишет не вольную природу, а подстриженные садовниками деревья частных парков, парковые, сделанные рабочими водоемы, розарии и ирисы вокруг сделанных декораторами лужаек. И чирикание садовых птиц. . .

Нам изменили точку встречи с дальневосточными ле- доколами к северу. Идем курсом восемьдесят пять. По- видимому, будем пробиваться в Восточно-Сибирское море проливом Санникова.

Да, как бы фанфаронски это ни звучало, но надо идти навстречу жизни, надо идти на нее грудью, подставлять себя под поток ледяной лавы. И тогда хотя бы на мгно- вение чувствуешь крепость в ногах.

03.08.18.00.

Легли в дрейф среди голубой непорочности и тишины. Не верится, что в шести милях мрачный и тяжкий лед.

Длинная и почти незаметная зыбь с запада перете- кает по морю Лаптевых в чистейшей голубизне.

Три усталых судна покорно и чутко кланяются при каждом его вздохе, как благоговейно кланялись наши языческие предки, когда их заносило в чуждые, но пре- красивые миры.

Тончайшим белым штрихом далекий лед отчеркивает голубые воды от голубых, нежно вечереющих в покое небес.

И, разжалованный из старших помощников шикар- ного лайнера, второй помощник лесовоза «Державино» чуть слышно пробормотал:

— Мы у ворот Снежной королевы...

Да, живет в его душе артистизм, и жаль, что судьба пронесла его мимо ВГИКа. Я использую момент всеоб- щей размягченности и спрашиваю:

— И как вы вышли из положения с Соней?

— А! Списал. Нашел повод и списал. Потом пере- горело.

— А здесь как встретились?

— Так она же ничего не знала. Мне в те времена гре- шить никак нельзя было. И не только из моральных со- ображений. Особенный момент был, когда или вот-вот станешь капитаном, или не станешь никогда. Понима- ете?

— Да, — сказал я. — Момент этот характеризуется поразительной неустойчивостью. Легчайший ветерок от локона судьбы способен толкнуть чашу весов с тобой и твоим будущим в любую из сторон света.

— Точнее все-таки сказать: в зенит или в надир.

— Да, так точнее. В подобной позиции все время думаешь: «Как бы чего не вышло!» — и ведешь себя удивительно миролюбиво, и послушно, и нравственно.

— Именно так я веду себя и ныне, — сказал Дмитрий Александрович. — Я еще не потерял всех надежд. Не имею права терять.

И стало ясно, откуда у него такая выдержка при общении со старпомом и Фомичом, — его судьба в их руках. Они будут сочинять послерейсовую характеристику, как он сочинял на сонь, маш, нин и роз.

И вспомнились «Воровский», невозмутимый капитан-эстонец Каск. Он сохранял полнейшее спокойствие не только в ураганах, но даже когда музыканты сфотографировали голенькую нашу уборщицу и пустили фото-«ню» по рукам и глазам всего экипажа. Помню, Михаил Гансович вызвал меня и приказал расследовать дело. «Да, — сказал он. — Это не Бегущая по волнам. Небось сама попросила. А теперь музыканты ее шантажируют. Расследуйте. Только, пожалуйста, деликатно. И так плачет и переживает. Утешьте и ободрите».

Когда он произнес «расследуйте», я уже собрался лезть в трубу или бутылку: я здесь не следователем работаю и прочее... А потом понял, что он думает не об официальных вещах, а жалеет девчонку и хочет помочь ей в той дурацкой ситуации, куда ее занесло по глупости. Помню, как засел в каюте, вытащил паспорта всей нашей женской составляющей — паспорта у меня хранились как у четвертого помощника, ибо мы без заходов в инпорты работали. И я искал паспорт «ню».

И замелькали штампы прописок, мест рождения: город Дружковка Донской области... село Землянки Глобинского района Полтавской области... деревня Бушково... село Заудайка Игнинского района Черниговской области... А вот и литовка, татарка, украинка (26 листопада 1946 — это родилась. 25 травня 1966 — уехала в Мурманск). Посмотришь, у иной весь паспорт уже синий от штампов прописок и работ, замужеств и разводов — а ей двадцати еще не исполнилось. И где ее уже

не мотала судьба. И сжалось нечто в душе. Вот они качаются там, внизу, под сталью палуб, посуду моют, картошку чистят, погоду заговаривают, чтобы ветер стих и вечером танцы состоялись, мечтают на танцах богатого рыбака подцепить, еще разок замуж выскочить... Как в них залезть, в их души простые? Как об их жизни правду узнать, написать? И ясно тогда вдруг почувствовал, что это не проще, нежели о проблеме времени и пространства. Попробуй представь провинциальные исполкомы и военкоматы, сельсоветы и больницы, милиции и домоуправления, штампы которых украшают паспорта уборщиц, корневщиц, горничных и дневальных... Помню, оторопь вдруг взяла от четкого сознания, что никогда не сможешь описать художественно обыкновенную, каждодневную жизнь; не сможешь украсить поэзией вывеску отделения милиции в городе Дружковка. Помню, смотрел на штампы о разводах в девятнадцать лет, видел за лиловым кругом больницы, аборт, измены разные и обыкновенный разврат. Но там ведь и радости, и записи детишек, и подвенечные платья, и графские дворцы бракосочетаний. И как все это написать, в это вникнуть, выяснить хотя бы одно — что девчонок мотает по белу свету, заносит в Мурманск на теплоход «Бацлав Воровский»?

И вот восемь лет прошло, а ни во что я не вник, ничего толком не узнал, кроме тонкой пленки поверхности жизни. Да, велика и безнадежно глубока Россия — шестой океан планеты. Тяжело разобраться...

Пролежали в дрейфе у кромки льдов до шести утра.

Начальство Восточного сектора вводить нас в сплошные ледяные пространства не решилось. Приказ идти на Тикси и ждать там у моря погоды. Одновременно Симон вызвал меня на связь.

Я только лег после вахты, а он как раз встал после сна и попросил меня на связь. Пришлось одеваться и идти опять в рубку.

Честно говоря, я считал, что Константин Михайлович уже давно должен был обратить на меня внимание, ибо не сомневался, что на «Комилесе» ему уже сказали

о моем существовании на «Державине». Кроме того, я привык к тому, что маршалы первыми здороваются с солдатами на парадах и, обращаясь к войскам, тоже начинают с нижних чинов: «Товарищи солдаты и матросы! Сержанты и старшины! Офицеры и генералы!..»

Константин Михайлович в нашей литературе давно маршал. Я капитан-лейтенант. И вот он выждал недельную паузу.

В неделе сто шестьдесят восемь часов. Считайте, что спал я из них одну треть, то есть пятьдесят шесть часов. Остается сто двенадцать часов. Так вот, сто двенадцать раз кто-нибудь так или этак, но обязательно с невинным и безмятежным видом интересовался у меня — хвастуна и болвана — моим с Симоновым знакомством, нашей с ним дружбой, перепиской и так далее.

О, эти моряцкие языки! Они шершавее тигриных и тоньше змеиных. . .

Разговор наш для радиоподслушивателей оказался разочаровывающе коротким, ибо в рубке сквозило, а был я только в портках и фуфайке. Он сказал, что рад меня здесь встретить. Я сказал, что рад еще больше. Он сказал, что надеется на встречу в Тикси или другом порту захода. Я сказал, что еще больше надеюсь на то, что он посетит наш героический лесовоз и встретится с экипажем. Он сказал, что в портах захода его рвут на части. Я ему посочувствовал. И мы закрыли связь, пожелав друг другу традиционного счастливого плавания.

Слава богу, и такого короткого разговора хватило, чтобы ребята перестали чесать свои шершавые языки о мою нежную кожу.

В сборнике «Судьбы романа» на двухстах восьми страницах ни разу пока не произносились слова «красота», «наслаждение от чтения романа», «эстетическое впечатление». . . Авторы сами не замечают, что, защищая роман от неведомых угроз, они смотрят на все глазами психологов или социологов, а не художников. Если в романе Роб-Грийе или Саррот есть красота и если появляется желание возможно дольше находиться в мире героев или автора, то и все в порядке.

Но от «нового романа» (если я что-то про него чувствую) нельзя ожидать эстетического переживания. Тогда для чего утилитарные анализы производить?

Иногда мне хочется читать философию, иногда заниматься ею, читая роман. Я наслаждаюсь, например, Фришем или Базеном. Но я не люблю покойников и никогда не испытывал желания общаться с покойниками. Из этого следует, что современный роман не покойник. Тогда почему по нему плачут и голосят на миллионах страниц? И голосят умные, блестящие люди! Что из этого следует?

Что я туповат.

Как монотонно из века в век идет спор о синтезе и анализе, и о смерти поэтического духа человечества, и о способах его реанимации!

Еще полтора века назад Бейль писал: «Поэтический дух человечества умер, в мир пришел гений анализа. Я глубоко убежден, что единственное противоядие, которое может заставить читателя забыть о вечном «я», которое автор описывает, это полная искренность».

Так что Феллини не открывает никаких америк, когда заявляет, что даже в том случае, если бы ему предложили поставить фильм о рыбе, то он сделал бы его автобиографическим.

А критики уже поднимают тревогу о том, что взаимопроникновение мемуарной и художественной условности зашло так далеко, что мемуарист, лицедей такой, не перестает чувствовать себя в первую очередь писателем. Так же и в автобиографиях. Например, вспоминают критики, Всеволод Иванов — а он, от себя замечу, серьезный был в литературе мужчина, не склонный к анекдотам и партизанским наскокам на литературу, — так вот он несколько раз писал... новую автобиографию, не похожую на предыдущую. И на вопросы, почему он так поступает, сбивая с толку настоящих и будущих исследователей, отвечал: «Я же писатель. Мне скучно повторять одно и то же». И критики со вздохом вынуждены признавать, что прошлое всегда остается одним и тем же, но вспоминается оно всегда по-разному.

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕЕ

Но если определяемое Волей Неба наше беспомощное судно будет прибито к берегу, то от водяной могилы наши мореходы на побережье могут спастись, коли веслами и мужеством владеть будут.

*Гамалея П. А.,
Опыт морской
практики*

Вместо вчерашней непорочной и сияющей голубизны небо набухло влажной мутью — «серок» по-поморски.

— Блондинка! — докладывает с военно-морской четкостью Андрей Рублев, пялясь в цейсовский бинокль на близкую корму ледокола и облизываясь под окулярами. Он докладывает об этом факте так, как сигнальщик об обнаружении перископа вражеской подводной лодки. Блондинка раздражает нашего рулевого тем, что око ее щупает, а зуб неймет.

Блондинка разгуливает по ледокольной корме без головного убора.

— В парике? — спрашиваю я.

— Нет, крашенная! — с презрением докладывает Рублев. — Откуда у этих ледобоев валюта на парики?

— Так что, Копейкин, она на палубу сушиться вылезла? — спрашивает наблюдателя Дмитрий Саныч. — Сушка вымораживанием?

— Нет. По другому поводу она вылезла, — мрачно не соглашается Рублев.

И мы все трое машем блондинке.

Она отвечает ледяным презрением и даже отворачивается. И в довершение кто-то из ледобоев обнимает ее и тискает сквозь ватник. С досады на такое вопиющее безобразие мой сдержанный напарник нарушает наш уговор — ругаться только в самые напряженные моменты проводки. Правда, он ругается на английском.

Для оценки нервно-психического состояния моряка судовые психиатры выделяют девять категорий: настроение, психическая активность, контроль над эмоциями,

внутренняя собранность, тревожность, общительность, агрессивность, потребность достижения (желание делать все так быстро и хорошо, как только возможно), потребность в информации.

Вероятно, при выработке этой шкалы психиатры изучили все виды морских стрессов. Но не учли стресс от зрелища объятий на корме ледокола с точки зрения, подобной нашей.

— Пари, что она в парике! — предлагаю я, чтобы снять стрессовые нагрузки с коллег.

— Давайте! — соглашается Рублев и орет через все море Лаптевых: — Эй, куртизанка!!!

Такое обращение появилось в его лексиконе потому, что Саныч пять минут назад рассказывал про Котовского. Оказывается, тот не только играл на корнет-а-пистоне, но и увлекался французскими романами. В результате в одном из приказов (в мирное уже время) он написал буквально следующее: «Ваша часть после маневров выглядела, как белье куртизанки после бурно проведенной ночи».

Тип, который обнимает блондинку, оборачивается на глас Рублева и показывает всем нам кулак.

— Кобра! — шипит Рублев.

Вахтенное время, когда лежишь в дрейфе и бездельничаешь, тянется медленно. И я рассказываю коллегам историю с женским париком.

Как однажды шел через мост над Дунаем в прекрасном городе Будапеште, рядом с прекрасной, прелестной, нежной и, видимо, страстной дамой, с этакой белокурой Гретхен. И все во мне ёкало от быстро нарастающей влюбленности. Она отвечала кокетством утонченным и вообще сногшибательным. И мы уже вдруг касались друг друга руками и сталкивались плечами на ходу, и прекрасно дурели.

А в сорока метрах под нами струил синий Дунай, вспененный крепким попутным ветром.

И, вероятно, ветер, высота моста, огромность пространства усиливали восхитительно мое возбуждение.

Я поглядывал за перила и на спутницу, чередуя эти взоры. И ее лицо, ее белокурые волосяные волны как бы мчались мне навстречу.

И вот в очередной раз эти волосяные волны на самом полном серьезе помчались мне в глаза, и в рот, и в нос. И сквозь мертвый холод волос до меня донеслось:

— Держите! Держите его! Господи! Ах!!

Волна волос перехлестнула через мою голову и высоты сорока метров полетела в синие волны Дуная.

— Дурень! — орал рядом кто-то черный, встрепанный, осатанелый. — Он из Парижа, настоящий! Прыгайте! Почему вы его не удержали?! Какой дурень! Ах, боже мой!

Первый (и, вероятно, последний) раз в жизни я наблюдал такую метаморфозу, такое мгновенное и абсолютное перелицовывание физиономии. Только что был «+», и вдруг выскочил «—».

Парик Гретхен спланировал в синие дунайские волны и исчез под мостом.

Несмотря на полное обалдение, я, к счастью, не сиганул через перила. А мог бы. Трансформация нежнейшей и очаровательной женщины в черномазую мегеру потрясла все мои логические центры, ибо произошла мгновенно! Причем и внешняя и внутренняя: из Гретхен — в мегеру и из пленительного кокетства — в «Прыгай!».

Рублев отвечает на мою новеллу новеллой о теще. Та работала троллейбусным кондуктором и беспрестанно заявляла, что там и сям видит его с разными посторонними женщинами, хотя близорука и даже под своим муравьевским носом ничего не видит.

Рублев однажды попал в ее троллейбус, и на беду еще мелочи не оказалось. И он своей родной теще дал рупь и, естественно, попросил сдачи. Теща подняла ужасный гвалт, ибо родственничка не узнала, не разглядела, рупь схватила, но сдачу давать отказалась. Он рупь обратно вырвал, тут весь троллейбус решил задержать хулигана за безбилетный проезд, и даже когда теща наконец его разглядела и билет дала, то вытряхиваться пришлось до нужной остановки — такая создалась в троллейбусе вокруг него безобразная обстановка.

— Аферизма беззаконная! — заканчивает Рублев свою новеллу голосом тети Ани.

И они оба сдают вахту. Саныч — старпому, Рублев — молоденькому парнишке Ване. Англичане таких салаг

определяют: «Еще не вытряхнул сено из волос». Большинство матросов приходили на моря из крестьян, прямо от самой земли. Море требовало обстоятельности. Крестьянский труд способствовал этому качеству.

Арнольд Тимофеевич, приняв вахту у Дмитрия Александровича, берет бинокль и тоже смотрит на ледокол. Но блондинка не попадает в сферу его внимания.

— К этим бы мощностям да хорошие головы! — заявляет он. И в его тоне так и звучит подтекст, что, мол, в тридцать девятом году у них-то головы были на несравненно более высоком уровне, нежели у моряков современных атомоходов.

— Обойдите судовые помещения и понюхайте! — приказывает старпом Ване.

Это он придумал после пожара в машинном отделении.

Ваня послушно превращается в станцию пожарной сигнализации и отправляется по пароходу. Вернувшись, докладывает, что нигде ничем не пахнет.

— А под полубаком двери закрыты? — спрашивает старпом.

Ваня мнется. Ему не пришло в голову идти на нос.

— Почему молчите? Отправляйтесь и проверьте!

— Есть!

Ваня кувиркается под дождем и снегом через палубный груз по скользким мосткам к полубаку проверять закрытие там дверей, а полубак не оранжерея, и ничего там от незапертых дверей произойти не может. Попробовал бы старпом приказать такое моему Копейкину! Тот обляял бы его натуральной немецкой овчаркой. И Арнольд Тимофеевич это отлично знает и учитывает.

РДО: «ИЗ ПЕВЕКА ВЕСЬМА СРОЧНО 3 ПУНКТА Т/Х КОМИЛЕС Т/Х ДЕРЖАВИНО Т/Х С ПЕРОВСКАЯ ВАС НЕ ПОСТУПАЕТ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТЧК СОГЛАСНО УКАЗАНИЯМ ПО СВЯЗИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ДАВАТЬ ДПР 00 ЗПТ 12 МСК ПРОХОДЕ МЕРИДИАНА 115 ТЧК ПРОШУ ВСЕ ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ВОСТОЧНОМ РАЙОНЕ МОРЯ ТАКЖЕ СТОЯНКИ ПОРТАХ РЕГУЛЯРНО ПОДАВАТЬ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СВОДКИ АДРЕС ПЕВЕК-ЗНМ ПОЛУНИН».

Опять ощущение застрявшего в зубах говяжьего сухожилия.

Так. Экспедиционное судно «Невель»... Полунин? Нет, капитаном был Семенов и вечно пел: «Мать родная тебе не изменит, а изменит простор голубой...» Индийский океан, архипелаг Каргадос-Карахос, гибель спасательного судна «Аргус» Дальневосточного пароходства... «Радиоаварийная Владивосток. Последний раз слышали «SOS» шлюпочной радиостанции «Аргуса»... указал свои координаты... больше наши вызовы не отвечает. Т/х «Владимир Короленко» КМ Полунин»... Тот Полунин или не тот?

Тот был назначен старшим спасательной операции. «Подошел месту аварии «Аргуса» широта 1635 южная долгота 5942 восточная. Восточной кромке рифов сильный прибой. Лагуне за рифами бот с экипажем. Передали светом светограмму. Снимать будем западного берега. Вероятно поняли. Бот парусом пошел западную кромку рифов. Связи ними не имеем подробности пока сообщить не могу. Следую западной кромке. КМ Полунин»...

Далее произошел такой диалог между нами и Полунинным:

— «Короленко», я — «Невель»! Какого цвета видите парус? Почему считаете бот принадлежащим «Аргусу»?

— «Невель», я — «Короленко»! Парус белый.

— «Короленко», я — «Невель», парус треугольный?

— Да!

— «Короленко», я — «Невель»! На спасательных вельботах паруса оранжевые. Вы, очевидно, наблюдаете парус местных рыбаков. Они здесь иногда шастают на пирогах. Как поняли?..

И Полунин вторично подошел к месту аварии «Аргуса». И мы хорошо представляли себе состояние капитана, который подводил свой здоровенный, в полном грузу теплоход к рифовому барьеру фактически без карты, чтобы точно разглядеть, что там за шлюпка мечется на волнах и кто в ней. И только когда разглядел, дал «полный назад» и вытер лоб... Мы спасли тогда людей с «Аргуса», и вахтенный штурманец «Невеля» со свойственной ему легкомысленной манерой объявил по трансляции: «Членам экипажа *бывшего* спасательного судна «Аргус» приготовиться к пересадке на теплоход «Короленко»!»

В книге «Среди мифов и рифов» я, описывая грустную историю «Аргуса», убрал из объявления легкомысленного штурманца слово бы в ш е г о. Оно, конечно, точное, но звучит не по-морски. Если есть экипаж, значит, все еще существует и судно. Вот если судно погибло со всем экипажем, то тут уж действительно оно «бывшее».

Из письма старого дальневосточного моряка: «Предпринятое в дальнейшем обследование остатков «Аргуса» показало, что судно конструктивно разрушено, и снятие его с рифов признали нецелесообразным. Пострадал в основном капитан Быков, получил восемь лет, отсидел половину, выпустили; но обратно в пароходство не взяли; где он сейчас, не знаю. Старпома и второго тогда уволили из пароходства с лишением дипломов на год».

Не очень суеверный я человек, но есть все-таки мудрость или тайна в старинных морских традициях. Имею в виду запрет называть новые суда именами погибших.

Не успел «Аргус» окончательно развалиться на рифах Каргадоса, как уже его именем назвали новый мощный спасатель во Владивостоке. А не успел этот новый спасатель сделать первый рейс, как погиб теплоход «Тикси» — тот самый, который тащил когда-то на буксире бывший «Аргус».

История эта настолько трагическая и столько в ней совпадений и всяческих пересечений, что напиши такой рассказ, и все в один голос скажут, что автор наворачивает трагизм сверх всякой художественной меры.

Когда «Тикси» буксировал «Аргус», капитаном был Бойко: «...связь «Короленко» поддерживаем. Он 09.00 МСК должен быть месте аварии «Аргуса». При получении ясности немедленно информирую т/х «Тикси». КМ Бойко».

Когда «Тикси» погиб недалеко от Японии, командовал теплоходом уже другой капитан, но вторым помощником работал сын Бойко. Он погиб вместе со всем экипажем. А дальше уже трагическая нефантастика.

Из письма старого дальневосточного капитана: «Бойко-отец стоял под разгрузкой в Йокогаме и смотрел в каюте телевизор. Японцы передавали прямую передачу с вертолета, показывали рыболовные суда на лове, и в кадр попал «Тикси»! Показывали, как он опрокиды-

вается! Можете себе представить переживания отца! А японский оператор моментально перевел объектив и запечатлел все, что можно, с воздуха, на расстоянии около мили. В этом году японцы, при проведении каких-то исследовательских работ с помощью подводного телевидения, обнаружили на глубине около трех тысяч метров корпус «Тикси», в японских газетах прозвучала сенсация, были опубликованы снимки, правда, пришлось поверить японцам на слово: на снимке я не смог опознать, было ли это «Тикси», или какое другое судно. Сейчас Бойко-старший, Иван Архипович, капитан-наставник нашего пароходства.

Всю вину за гибель «Тикси» свалили было на покойника — подменного капитана. Но теперь дело вернулось из Москвы на новое разбирательство».

Люди любят рассказывать про загадочное, про чертовщину или про чужое мужество и подвижничество, и про юмор во время смертельной опасности, ибо отблеск чужой нравственной красоты тогда ложится и на них.

..И три огня в тумане
Над черной полыньей...

Корабль, вернувшийся после спасательной операции в северных водах, всегда грязен, обросший льдом и производит впечатление смертельно уставшего, небритого шахтера, поставившего мировой рекорд продолжительности работы в вечной мерзлоте...

Главное для профессионального спасателя, как и для профессионального вояки, — некоторая врожденная беззаботность по отношению к будущему человечества и своему собственному. Его единственная забота — об очередном объекте спасения.

Нас догоняет «Великий Устюг».

Надоело повторяться, но видите, как связано все на свете.

«Великий Устюг» погиб 13 марта 1968 года в Атлантике, — потеря остойчивости. Весь экипаж спасся.

Через несколько недель над могилой «Великого Устюга» пришлось пройти нам на старике «Челюскин-це». Неприятное ощущение. Штиль. Звезды. Зарево маяков.

Запомнилось для своего профессионального, что катастрофа т/х «Великий Устюг» показала, что, несмотря на благополучный исход спасательных операций, в результате которых в исключительно тяжелых и опасных условиях весь экипаж был спасен, в организации спасения имел место ряд упущений.

Судно вышло в океан из порта Кайбарьен, не имея в спасательных шлюпках требуемого снабжения, согласно нормам Регистра СССР.

В момент возникновения опасного крена судна 40—45 градусов на правый борт, то есть когда реально сложилась аварийная обстановка, не был подан сигнал тревоги, предусмотренный Уставом службы на судах Морского Флота СССР и Временным наставлением по борьбе за живучесть судов Морского Флота СССР. Команду капитана о сборе экипажа у шлюпок, погрузке в них продовольствия и воды и приготовлении их к спуску, переданную старшим помощником капитана по трансляционной сети, услышали не все члены экипажа.

Отсутствие в спасательных шлюпках требуемого запаса пресной воды и продовольствия привело к необходимости производить их погрузку в крайне тяжелых условиях. В спущенной на воду шлюпке правого борта не оказалось тента, который в момент аварии находился во внутренних судовых помещениях. При спуске шлюпки на воду не было выполнено требование о своевременной разносте и креплении на борту судна фалиней, в результате чего, после того как были оборваны носовые тали и выложены кормовые, шлюпку сразу отнесло от борта. В шлюпке не оказалось четвертого механика, который, согласно расписанию, обязан был осуществить своевременный запуск мотора. Плот, находившийся на ботдеке с правого борта, своевременно не был подготовлен и поэтому не мог быть использован в нужный момент. Плот, находившийся на правом крыле ходового мостика, был использован не на полную вместимость.

Я слушаю разговоры нового «Великого Устюга» с ледаколами и вспоминаю, как над могилой старого ночами не полыхают лучи маяков.

Все эти воспоминания, все эти размышления рождают во мне совершенно неожиданную мысль: «Надо бы нам сыграть шлюпочную тревогу! И хорошо бы сыграть

ее на морозе, когда блоки шлюпочных талей прихватит льдом».

Главная подлость любой аварии в том, что она, ведьма, прилетает на метле или в ступе всегда неожиданно.

Если увеличить необходимость принятия решений в пять раз в данный отрезок времени, то количество человеческих ошибок возрастет в пятнадцать. Так говорит наука. Наконец наступает момент, когда на обдумывание решения просто-напросто нет физического времени — цепь умозаключений не строится, логика не успевает слагать силлогизмы; вместо подчинения себя логическим выводам ты начинаешь действовать по свойственному тебе характеру-стереотипу, который в этот момент реагирует не на объективную реальность, а на свойственные тебе представления о реальности. В такой ситуации самое правильное — вообще не принимать решений. Умение не принимать решений по трем четвертям возникших вопросов — это и есть Опыт. Ибо решение не принимать решений есть самое тяжело-трудное решение из всех. Мы привыкли решать и поступать с первого вздоха. Когда мы потянулись к материнской груди — мы приняли свое первое решение в жизни. Когда мы попросили морфия у доктора на смертном одре — это мы приняли последнее решение. Не принимать решений в сверхсложной ситуации может только очень сильный человек, ибо отказ от принятия решений не записывается в судебной журнал и не служит никаким прикрытием для судебных последствий. Если человек, отказавшись от принятия решений по трем четвертям вопросов, не испытывает при этом удрученности, растерянности, депрессии, то есть сохраняет даже повышенную, какую-то радостную готовность к принятию любых решений (когда сочтет их нужными), — это и есть настоящий человек поступков. У такого человека не должно быть сильно развито воображение. Хорошее воображение подсовывает слишком много вариантов будущего. Обилие вариантов ведет к утере цельности.

Есть у англичан «Руководство по надувным спасательным плотам». Скорее, это не руководство, а коммерческая реклама.

На английских рекламных плакатах люди с погибшего судна, сидя на плоту, задорно и широко улыбаются.

Плоты выглядят уютно. Хочется самому залезть под брезентовый полог и отправиться в хорошей компании на рыбалку.

Фирма «Бофорт» составила инструкцию для терпящих бедствие на море. Она рекомендует, например, вычерпывать из плота воду, бояться акул и помнить о них; курить, но осторожно обходиться со спичками; есть рыбу только тогда, когда за день можно выпить полтора литра воды.

Фирма «Данлоп» составила свою инструкцию. В отличие от «Бофорта», она рекомендует ухаживать за находящимися на плоту ранеными или потерявшими сознание людьми, помнить, что газ и воздух от жары расширяются; после высадки на пустынный берег использовать плот для жилья; не курить, так как курение увеличивает жажду, делает воздух спертым и вызывает у некоторых тошноту; помнить, что при всех условиях самым трудным для спасающихся является тяжелое моральное состояние; «для поддержания в них воли к жизни рекомендуются игры в карты (имеющиеся в снабжении плота) и разгадывание загадок».

Заключительная статья инструкции касается естественных отравлений: «Действие кишечника и мочеиспускание будут ненормальны. Не тревожьтесь! Это результат недостаточного количества принимаемой пищи и воды и ограниченности движений».

Таким образом, если естественные отравления застопорятся, не впадайте в панику, а продолжайте играть в карты или отгадывать загадки.

Вообще, фирмы «Бофорт» и «Данлоп» демонстрируют настоящий английский юмор. Правда, они это делают всерьез.

Кроме индивидуальных инструкций фирмы в соавторстве с фирмой «Эллиот» сочинили коллективное «Руководство для терпящих бедствие на море». Там тоже много полезного и много юмора.

Вопрос курения перестает быть спорным. Соавторы курить разрешают (очевидно, табачные фирмы свое дело сделали).

От морской болезни рекомендуются патентованные таблетки. Если они не помогают, нужно «лечь и крепко упереться головой в какую-нибудь часть плота». Послед-

ний способ мне кажется дешевым и удобным. Он вполне доступен даже пассажиру третьего класса.

В разделе «Наблюдение» сказано, что «для поиска чего-либо ночью, в темноте, необходимо пользоваться карманным фонариком». Очевидно, фирмы считают целесообразным использование гибнущими мощных дуговых прожекторов.

«Встретившись с местными жителями, необходимо обращаться с ними доброжелательно, но избегать близкого общения». О, Британия!

«Нельзя устраивать лагерь под кокосовыми пальмами, так как упавший орех может убить человека».

«Черепашки ловят следующим образом: надо напасть на черепаху внезапно и быстро перевернуть ее на спину». Короче говоря, предупреждать черепаху о том, что ты собираешься напасть на нее, не следует. Тем более не следует предупреждать черепаху о том, что ты собираешься потом, «вытянув ее шею из панциря, перерезать горло или отрезать голову».

Начинается руководство фразой, которая дышит сдержанной силой и типично британским оптимизмом:

«Терпящие бедствия должны знать, что для спасения одной человеческой жизни на море не жалеют ни средств, ни времени».

Правда, последняя фраза инструкции несколько противоречит первой: «Помните, ваша изобретательность и находчивость — залог вашего спасения!»

А у американских подводников в жаргоне есть выражение: «Поправка на И». Употребляется выражение в пиковых ситуациях и расшифровывается как «Поправка на Иисуса».

Навертелась в этой главе такая масса ужасов и страхов, что сам вздрагиваю. Потому замечу, что сегодняшний торговый моряк рискует в сто раз меньше, нежели вы, когда едете в такси по Москве в февральский гололед и, опаздывая на самолет, торопите и понукаете шофера. А крупные аварии на море — с полной гибелью судна и экипажа — чрезвычайно редки. Именно потому они так и заметны. И еще потому заметны, что при

взгляде со стороны есть в морских катастрофах нечто особенно романтическое.

Нигде в мире вы, например, не найдете специальных монастырей для вдов погибших в гололед таксистов. А монастыри для вдов погибших в море моряков — есть. Один расположен на берегу Босфора. Другой (я сам видел в бинокль, на проходе) — на маленьком островке в Ионическом архипелаге, на южном его мысе. Все суда, которые проходят между Критом и Грецией, проходят и мимо этого монастыря.

Морские вдовы живут на высокой горе, вокруг места пустынные и производят впечатление дикости. Видна тропинка в кустарнике, она сбегает к морю извилистой змейкой.

Говорят, в монастырь принимают тех вдов, у которых мужа не только погибли в море, но и трупы которых не обнаружены.

Море не оставило таким вдовам возможности прийти на могилку и поплакать. Как мрачно сказал один английский моряк: «Море не ставит побежденным кресты».

ТИКСИ

Булунский район расположен на крайнем севере Якутии, в низовьях Лены, на островах моря Лаптевых. Территория 235 тыс. кв. км. Население 25 тыс. (Территория ФРГ 245 тыс. кв. км. Население 50 миллионов.)

Приказ Полунина следовать в Тикси и там ждать неделю или больше, пока изменится ледовая обстановка в проливе Санникова и в восточной части моря Лаптевых. Полунин тот самый. Сейчас он работает в Арктической службе («Холодной службе» — на жаргоне дальневосточников).

Опять амурная радиограмма Фоме Фомичу: «Спаслась с судна живу родственников Ленинграде возвра-

щайся скорее жду твоя Эльвира». Радист начинает серьезно тревожиться. По всем законам он обязан вручать радиограммы адресатам, тем более капитану.

Третий день продолжаютя распри Арнольда Тимофеевича с Дмитрием Александровичем. Исчезло некое навигационное руководство. Старпом валит это на моего напарника и, принимая у него вахту, не расписывается в приемке карт. Саныч несколько раз сдавал ему их без расписки. Но это и нарушение положения, и достаточно опасная штука. Тем более для погоревшего недавно человека. И Саныч перестал сдавать карты вообще — прячет их где-то в тайниках лоцманской каюты, где хранятся у нас все навигационные пособия и где сам черт сломает две ноги, две руки и шею вдобавок, если попробует там копаться. В результате и я попал в дурацкое положение. Мне-то два часа плыть со старпомом, а карт нет. Дело кончилось тем, что за пособия стал расписываться я.

— Вы сырое мясо употребляете? — спросил меня после этого Андрюша Рублев голосом нашего «шефа», то есть повара. — Ну, фарш с солью и перцем?

— Нет.

— Татарские бифштексы за границей где кушали?

— Нет. Противно.

— И мне тоже. Даже тогда, когда их кто при мне чавкает. Существуют такие живоглоты. Еще сырым яйцом польют. И вот старпом у меня такое ощущение вызывает, как будто он при мне сырое мясо пожирает.

— Будьте любезны, держите себя в рамках. И оставьте свои соображения о старшем помощнике при себе! — цыкнул я на Рублева, поразившись одновременно тому, с какой точностью он сформулировал мое собственное отношение к Арнольду Тимофеевичу.

Двести восемь миль к Тикси шли в тумане и еще сразу забралась в ледовую ловушку. Поля толстых, грязных, как неухоженные свиньи, льдин. К счастью, они оказались и такими же рыхлыми, как перекормленные свиньи.

Вероятно, лед сильно опреснен водами Лены. Но от этого нам не намного легче. Особенно в тумане.

Генеральный курс — сто восемьдесят — юг. Чем ближе к дельте Лены, тем грязнее лед.

Механики считают по долгу службы количество изменений хода, даваемое им нами с мостика: «Особое внимание судоводители должны обращать на максимальное сокращение числа реверсов. За секунды пуска двигателя и реверсов его возникает такой же износ, как при нескольких часах работы полного хода».

Пока судоводители «Державино» держат пальму первенства по количеству реверсов на судах каравана.

Стояночная тишь и отдохновение.

Тусклый пейзаж — все время находит холодный и мокрый туман.

До зданий поселка и порта так далеко, что они почти и не видны.

Когда волна тумана проходит, из иллюминатора открывается вид на полярную землю. Ее берега устроены господом по принципу театральных кулис. Каждый ряд сопки, горушек, гор выступает над или из-за другого и имеет различные оттенки синего, сизого, голубоватого, а прибрежная полоса возле рампы, то есть возле самого моря, — бурая, как гнилая картофельная ботва.

06. 08. 07. 08. На рейде Тикси.

Вдруг жара — плюс двадцать шесть градусов.

Марево по берегам.

Сплошные сквозняки на судне.

Самая опасная погода на севере. Просквозило.

С ходу начал борьбу за здоровье: наглотался аспирин и решил залечь после обеда в койку до вечера. Не тут-то было. Является Дмитрий Санюч, расфуфыренный и возбужденный, просит подменить его с полдня до шестнадцати. Довольно неуместная просьба, но у него здесь старый друг работает.

Подменяю.

Четыре часа читаю в рубке на жутком сквозняке то Белля «Город привычных лиц», то биографию композитора Прокофьева.

В пятнадцать возвращается Санюч. Привез щенка чукотской лайки. Выклянчил у местной девочки.

Полуторамесячный, симпатия, ясное дело, до невозможности. Назвали Шерифом. Составил на Шерифа выписку из судебного журнала — первая бумага щенка для законного существования в этом бумажном мире.

Приезжает капитан-наставник. Звать Константин Владимирович, воевал на лидере «Ленинград», медали Нахимова и Ушакова, красивый, сильный, часто летает по долгу службы на ледовую разведку. Черт дернул меня попроситься с ним в очередной полет.

Он взглядом взвесил меня — имею в виду вес в килограммах — и сказал, что это вполне возможно.

— Как одеваться на разведку? — интересуюсь у капитана-наставника. — По-полярному?

— По-городскому, по-домашнему.

— Что брать с собой?

— Жевательную резинку возьми. Пилоты любят жевать за штурвалом. Есть резинка?

— Да.

— Вот и все.

Рассказывает, что при полетах на ледовую разведку — очень длительные полеты, двенадцать, а то и более часов — попадают в аварийные ситуации те пилоты, которые начинают торопиться на курсе к дому и проходят над мысами на малых высотах, срезая углы. Потоки нисходящего воздуха на границе суши и моря, резкая потеря высоты — шлепок о тундру.

Будут мои пилоты послезавтра торопиться домой или нет?

«Державино» не спит. По судну бродит бессонница. Время «дернули» сразу на три часа, и у всех сдвинулись стрелки биологических часов.

На вахте Саныч и Шериф. Шериф спит на ватнике Саныча в ведре тети Ани.

Саныч докладывает, что ледокол «Челюскин» прошел вдоль нашего борта в десяти метрах. И капитан голосом просил вызвать меня. Когда услышал в ответ, что меня нет, попросил передать мне, что «Виктор Викторович самый хитрый и счастливый человек на свете». Он просил Саныча записать это в черновой вахтенный журнал, чтобы Саныч, не дай бог, не забыл передать мне его слова. Что он хотел этим сказать, этот незнакомый мне капитан

местного ледокола «Семен Челюскин»? И ныне не знаю...

Все восьмое августа на якоре в Тикси. Ледовая обстановка на востоке, на местном жаргоне: «Глухо, как в танке».

Болею. Почему-то каждый резкий скачок в пространстве, вернее, начало нового прыжка всегда связано для меня с насморком. Завтра рано утром лететь в разведку, а я расхлюпался. Валяюсь с температурой, начиненный аспирином, вечером док-хирург неумело ставит горчичники через белую плотную бумагу. Встать в четыре пятнадцать утра, катер придет в пять, вылет на разведку в восемь.

Почему я лечу? 1) Потому что не хочу лететь. 2) Надо близко посмотреть море с птичьего полета. Видел только в юности, когда нас мотали над акваторией морских баз Северного флота, дабы мы могли ощутить их «в целокупности», по выражению Гегеля. И еще, чтобы мы прочувствовали, как хорошо видны подлодки с самолета, когда идут даже на приличной глубине, и как беззащитно выглядят с ястребиного полета кораблики на глади океана — ни тебе складок местности, ни окопов, ни блиндажей. Летали тогда мы на «Каталинах». 3) Надо наконец «привязать» значки и символы на картах аэроразведки к натуральным льдам и запомнить эти штуки уже навсегда. 4) Посмотреть на работу летчиков. Они меня интересуют и вызывают почтение, хотя Галлай, например, всегда убеждает меня в том, что глупее моряков только летчики, а я его убеждаю в том, что глупее летчиков только моряки.

Во времена ранней, молоденькой авиации самолет давал возможность пилоту соединять бога с геометрией, романтизм с рационализмом. Такое получалось и у моряков парусного флота. Пример первого — Экзюпери. Второго — Конрад.

На судне траур. Сдох Васька — кот тети Ани. Глупо, но это на всех действует как-то гнетуще.

В корпусе современных судов бродит слишком много всяких электрических токов и магнитно-электрических полей, И кошки приживаются редко,

Тетю Аню предупреждали о возможных горестных последствиях. Но она из людей такого типа порядочности (я определяю их словом «порядочники»), которые характерны удивительным умением смертельно вредить любому доброму делу, оставаясь глубоко порядочными и, естественно, глубоко себя за это уважая.

По морскому закону на тетю Аню обрушились в жестокой последовательности три драмы или даже трагедии подряд.

Во-первых, она не перевела свой будильник, а матрос не перевел часы в кают-компании. В результате она встала в три ночи по судовому времени вместо шести, пошла в буфетную и накрыла завтрак. Его слопали ночные вахтенные, которые завтракают в четыре с минутами утра.

Во-вторых, она воспользовалась общесудовой приборкой, которую затеял Арнольд Тимофеевич, и залезла в душевую механиков, где от души решила помыться. Старпом обнаружил запертую душевую и решил, что кто-то из мотористов уклоняется от аврала. На стук тетя Аня не отвечала, решив, исходя из своего корневого психоза, что к ней хочет проникнуть насильник. Арнольд Тимофеевич вызвал боцмана. Тот заявил, что против лома нет приема, кроме лома. И с его помощью Спиро ворвался в душевую, где его встретил не вопль и не крик, а струя горячей воды из шланга.

«С женщинами не соскучишься, значить, — приговаривал Фома Фомич, когда тетя Аня явилась к нему с жалобами на насильников. — Вот тебе, Анна Саввишна, значить, и гутен-морген!»

И, в-третьих, на тетю Аню обрушилась смерть Васьки.

Давно я не слышал такого безутешного плача. Довольно пронзительно действует женский голос, плачущий по умершему существу, на фоне металлической тишины ночного судна. Во всяком случае, мне вспомнилась мелодия трубы в финале «Дороги» и Джульетта Мазина.

И еще почему-то подумалось, что Соня, которая оставила на судне такой неизгладимый след, прикрывала своим дерзко-шутовским поведением какую-то драму и горечь.

Проснулся около четырех в холодном поту. Да, женский плач на судне — не колыбельная песня. Потому, вероятно, и приснилась чепуха.

Старый товарищ, однокашник по училищу Володя Кузнецов, с которым давно не встречался и в рейсе его не вспоминал, якобы, командует крейсером (он командовал сторожевиком). Крейсер Вольдемара (такая у Володи Кузнецова была кличка в училище) стоит на суше на прямом киле без кильблоков. Из такого положения он съезжает в воду, а когда надо, въезжает обратно. Кривоходил, а не корабль.

Я стою вместе с Вольдемаром на берегу. Крейсер выдвигается из воды на нас. Хорошо вижу огромный, все более нависающий над нами форштевень и носовую часть днища. Понимаю, что корабль двигается с креном. Говорю Вольдемару, что при крене изменяется осадка и константы остойчивости и как бы чего не вышло. Он отвечает, что ерунда и все будет тип-топ, то есть в ажуре и порядке. Но махина крейсера начинает крениться и рушится на борт. К счастью, в противоположную от нас сторону...

Проснулся и с омерзением подумал, что через пятнадцать минут вставать и лететь на ледовую разведку. Грудь болит, нос — плотина Днепрогэса, настроение хуже некуда, кости ломит, как на дыбе. Оставалась одна надежда — с вечера была нулевая видимость. Может, полет отложат? Нужно мне это приключение, как черепахе коробка скоростей. Еще шею свернешь с летунами. На всякий случай решаю запрятать кое-какие записки и заметки подальше.

Лежу и отсчитываю минуты.

Точно в четыре пятнадцать в дверях голова вахтенного:

— Виктор Викторович, просили разбудить!

— Какая видимость? — спрашиваю с тающей надеждой.

— Растащило все. Нормальная.

— Хорошо. Спасибо.

Встаю, тянусь к сапогам, но вспоминаю слова Константина Владимировича: «По-городскому». Неудобно лезть в самолет в сапогах, если летуны будут в ботинках. Условности сильнее нас. И надеваю ботинки. Они тропические, легкие, с дырочками для вентиляции:

только в помещениях судна ходить. Снимаю ботинки, натягиваю три пары носков, впихиваю ноги обратно в ботинки. В карман шерстяных новеньких брюк — санорин, анальгин, от кашля что-то, пачку жевательной резинки, блокнот.

Съедаю вафлю, закуриваю, кашляю, жду катера. Он еще не вышел. Бреюсь перед каютным зеркалом. Болезнь не украшает человека. Выгляжу, как Ван-Гог, который уже решил, что одно ухо ему мешает.

Тошнотворные мысли, что ничего серьезного не совершено, что художественного ничего не получится. Хочется треснуть по зеркалу электробритвой. Я катастрофически не похож на того, которым представляюсь себе сам. Это несоответствие раздражало всегда. С возрастом больше и больше. Женское увядание и мужское старение — жуткая тема. Ее не напишет и гениально талантливый молодой писатель. Надо самому причаститься.

Но очень приятно быть в новых, хорошо сшитых брюках. Даже в болезненном состоянии они чем-то помогают.

Пять утра. Катера нет. Думаю уже самые банальные думы: ну зачем ты куришь, если грудь разрывает, терпеть не можешь? А ведь все это сокращает, сокращает тебе время сеанса... А на кой ляд ты вообще лежишь? Ведь тебе вечером радист принесет и на стол положит факсимильную карту этой дурацкой разведки, и будет она лежать перед тобой, как скатерть-самобранка...

На катере болтливый шкипер. И к тому же ура-патриот. Просвещает меня: «Наша суровая северная природа по-своему щедра и богата животным миром... Наш район славится пушниной, первосортными породами рыб, многочисленными табунами диких оленей...»

Болтает подобное все тридцать минут до берега — скучно ему в ночном дежурстве.

Вокруг серая промозглость. Знобит.

Тыкаемся в гнилое дерево притопленной баржи-причала.

Недавно прошел дождь. Клейкая, безжизненная грязь на суше.

Полная ночная пустыньность.

В здании управления порта вахтерша-якутка. Пугается меня. Спрашиваю, где собираются на ледовую разведку. Таращит глаза, пятится к дверям ближайшей комнаты, захлопывается, кричит через дверь: «Не знай!»

— Как пройти к гидробазе?!

— Не знай!

— Можете позвонить в метеоуправление?

— Не знай!

Шлепаю по грязи к центру поселка тропическими ботинками, чувствую, как сквозь хлипкие подошвы и вентиляционные дырочки процеживается подкрепление к моим атакующим микробам. Сапоги надо было надеть, черт бы этого наставника побрал!

С этого и начинаю нашу встречу, когда нахожу Константина Владимировича в предбаннике гостиницы под названием «Маяк».

— Чего ж ты, такой-сякой: «по-городскому»!

— Ничего! Я коньячку прихватил бутылочку.

— Нужна мне ваша бутылочка...

Сидим с ним в предбаннике, простите, холле отеля «Маяк».

Дежурная администраторша, пышная хохлушка, пошучно ловит тараканов в своей будке.

Полумрак, дощатые мокрые после утренней приборки полы, тяжелый запах, помятый титан, который, ясное дело, не работает.

Курим. Ждем летчиков — экипаж живет в гостинице. Здесь же живут научные сотрудники одного из институтов Сибирского отделения АН СССР — космофизики, что ли.

— Пора бы этим космофизикам отправить всех тараканов на Юпитер, — говорю я Константину Владимировичу, когда он со сдержанной гордостью сообщает мне о близком присутствии ученых.

Он говорит, что лучше бы они сообразили, как из этого разрушенного титана сделать самогонный аппарат и как его установить на борту самолета ледовой разведки. Тогда пилоты стали бы летать в любую погоду и садиться хоть на сами облака и в любую видимость. Дежурная администраторша внимательно слушает и подтверждает, что из титана аппарат запросто можно сде-

лать. Она так вкусно говорит, что в тиксинской гостинице начинает пахнуть украинским летом, то есть борщом.

— С-пид Полтавы? — спрашиваю.

— Не, с-пид Киеву.

Зарабатывает жирную пенсию в Арктике.

Спускаются дружной кучкой летуны — два пилота, радист, штурман. Наставник представляет меня им как «морского журналиста». Так мы условились.

У подъезда автобус. В нем уже сидят гидрологи и начальник научной группы.

Автобус изнутри покрашен ярко-алой краской. За спиной шофера здоровенная фотография — чайный клипер в штормовую погоду под всеми парусами.

Медленно едем по колдобинам, полным жидкой, поносной северной грязи.

Вообще на Севере нет грязи. Ее творит здесь человек. Всякое человеческое жилье на Севере окружено сгустком грязи. Отойди сто метров в тундру — все в скупой спартанской гармонии и мокрой, но стерильной чистоте.

Проезжаем бетонный якорь, укрепленный вертикально. Над ним: «Тикси». Парадные ворота поселка со стороны аэродрома, который обслуживает трансконтинентальную союзную авиатрассу.

Фоном для якорно-архитектурного излишества служат кладбище.

Кособокие по причине раскисшей почвы надгробия на кособоком холме. Интересно, какие ассоциации вызывает этот якорно-кладбищенский натюрморт у приезжающего сюда впервые человека?

То ли архитекторы демонстрировали черный полярный юмор, то ли суровое полярное бесстрашие, то ли вечное наше хамство.

Семь утра. Останавливаемся у медпункта. Летчики вылезают, идут через дорогу по лужам, по-бабьи подняв подола плащей и прыгая по камушкам и обломкам досок. За час до полета летуны в обязательном порядке проходят медконтроль.

Ждем их.

Шофер рассказывает о недавнем отпуске. Ехал с пьяным дружком на мотоцикле за добавкой. Их сшибла упряжка двух взбесившихся лошадей. Дружка увезли в больницу с тяжелыми ранениями. Рассказчика повели

на экспертизу в вытрезвитель, но он со страху оказался трезвым.

Капитан-наставник:

— А лошадей на экспертизу возили?

После этого замечания я прощаю ему ботинки. И вспоминаю, что в войну он служил на лидере «Ленинград» и награжден медалью Нахимова. Если я когда завидовал награжденным, то матросам, получившим эту медаль. Она удивительно проста, благородна, красива — голубое с серебром — и очень редка.

До семи сорока сидим в здании пассажирского аэровокзала, чего-то ждем. Строгая якутка-уборщица перегоняет из угла в угол и наших пилотов, одетых в форму (при галстуках и запонках), и отлетающих в Москву пассажиров. Раскосенькие девушки тридцати двух национальностей уже в ярких расклешенных брюках, обтягивающих их симпатичные попки, готовы не ударить лицом в грязь на улице Горького и в Сочи — все по моде. А провожающие мамы и папы в звериных не первой свежести одеждах заметно робеют перед авиационным лицом НТР и якуткой-уборщицей. Уборщица, наконец, загоняет нас в угол, то есть в буфет, где очень грязно и ничего съедобного за современными стеклами нет. Выпиваем по стакану брандахлыста — какавы.

Я вдруг взрываюсь и говорю о вечной неприютности наших северных поселений, о мерзости, в которой здесь существуют прикомандированные люди, утешая совесть тем, что пребывание их здесь — временно. Монолог звучит не очень уместно, так как выясняется, что Константин Владимирович здесь не в командировке, а живет двадцать один год, хотя в Ленинграде у него, ясное дело, кооперативная комфортабельная квартира.

Начальник научной группы с жаром и азартом поддерживает меня в обличениях местных порядков и хвалит за откровенность. Говорит, что первый раз слышит, как проезжий человек вместо дурацких слов про полярную героинку несет правду про здешнее неприютство и скотство.

Гидрологи нас не слушают. Они гадают о том, выкинут завтра в магазины маринованные помидоры в банках или все это враки.

Наконец идем к самолету. Обычный ветер и холод взлетной полосы.

Позади гигантский фанерный щит на фронто́не барака-аэровокзала: силуэт современного самолета на фоне конного богатыря с картины Васнецова.

ИЛ-14 с красными оконечностями крыльев и красным зигзагом на фюзеляже. Встречает бортмеханик. Докладывает командиру:

— Шеф, все в порядке! Можно ехать!

Командир:

— Я не Гагарин. Будем летать, а не ездить. Левый чихать не будет?

Бортмеханик:

— Точно, командир, нам еще далеко до космоса! Левый чихать не будет! Но, граждане, сами знаете: эрэл транспорта келуур таба... — И залиvisto хохочет. Наставник переводит тарабарщину бортмеханика: «Единственный надежный транспорт здесь — оленья упряжка».

Лезем по жидкому трапику в простывший, хронически простуженный самолет полярной авиации. Измятый металл бортов, кресел, столов. В хвостовой части три огромных выкрашенных желтой краской бензобака. Они отделены от рабочей части занавеской. На ней табличка: «В хвосте не курить!» На одном баке два спальных мешка — тут можно спать тому, кто слишком устанет в полете. Штурман затачивает цветные карандаши в пустую консервную банку из-под лососины.

Вспыхивает спор науки с практикой. Наука хочет лететь на север и начинать оттуда. Капитан-наставник хочет лететь к западу, туда, где застряли во льду кораблики, и помочь им выбраться на свободу.

В простывшем самолете накаляются страсти и идет нешуточная борьба воле.

Бортмеханик мелькает взад-вперед по самолету, комментирует спор тоном Николая Озерова: «Хапсагай тустуу!» — и опять хохочет так, как никогда не разрешают себе наши комментаторы, даже если они ведут репортаж о соревновании клоунов в цирке.

«Хапсагай» — национальная северная борьба, в которой, кажется, разрешается все, кроме отрывания друг другу голов.

Штурман заточил карандаши, вздыхает и говорит:

— О, эта наука! О, эти кальсонные интеллигентники, которые видели за жизнь только одно страшное явление природы — троллейбус, у которого соскочила с проволок дуга! Когда мы наконец поедим?

Никто ему не отвечает. Командир подсаживается ко мне, интересуется:

— Так чего летим?

— Надоело плавать.

— Законно. Пора тебе проветрить мозги. Вон какой зеленый. Варитесь там на пароходах в своем соку.

— Долго будем проветривать мои мозги?

— Часиков тринадцать.

— Как раз до Антарктиды долететь можно.

— Нет. Только до Австралии — дальше не потянем. — И уже спорщикам: — Значит, победила практика? Владимирыч, пойдем по нулям?

В их разговоре многое непонятно — свой жаргон.

Спрашиваю: что значит «пойдем по нулям»? А значит вовсе просто — взлет в ноль часов ноль минут по Москве.

Рассаживаются кто куда. Моторы уже гудят, чуть теплеет, самолет трясет. Желтые кончики пропеллеров сливаются в желтый круг.

Даю бортмеханику американскую жевательную резинку, ору:

— Сунь в пасть пилотам!

Он:

— Они у меня шепелявые! Их на земле и на судах и так никто понять не может, когда они в микрофоны лаяться будут! А со жвачкой в пасти! Тут и я их не пойму!

— Давай, давай!

Идет к летунам и сует им жвачку.

Взлет. Никто не смотрит в иллюминатор. Начальник науки читает «Вокруг света», наставник — почему-то журнал «Здоровье». Вспоминаю слова Грэма Грина: «Странные книги читает человек в море...» В воздухе тоже читают странные книги. Смотрю вниз и не могу понять, каким курсом мы взлетели и куда исчезли наши кораблики в бухте — их не видно. Совсем другие законы ориентации по сторонам горизонта в воздухе. Проходим

береговую полосу. Полет мягкий, в самолете еще больше теплеет, бортмеханик накрывает на стол завтрак — банки с мясным паштетом, с гусиным, с молоком, огромная буханка свежего серого хлеба. По-домашнему все, по-доброму. Но я-то чувствую себя чужим и лишним. Никакой я не журналист и не соглядатай — еще раз остро убеждаюсь в этом. Надо начинать расспрашивать людей, хоть их фамилии записать.

Начинаю (и кончаю) с науки. Подсаживаю к себе начальника оперативной группы. Тридцать девятого года рождения, в шестьдесят втором окончил ЛВИМУ, океанограф, до семидесятого восемь лет жил и работал в Тикси, теперь в Ленинграде в Институте Арктики и Антарктики, готовит диссертацию: «Ледовые условия плавания на мелководных прибрежных трассах от Хатанги до Колымы», под его началом двадцать шесть человек, среди них два кандидата. . .

Здесь я допускаю ляп. Гляжу вниз и говорю, что море под нами совсем штилевое. Оказывается, под нами никакого моря нет. Идем над тундрой. То, что я умудрился спутать тундру с морем, вызывает у научного начальника выпучивание глаз и даже какое-то общее ошаление, но почтительное: как у всех нормальных людей, которые разговаривают с сумасшедшим.

А эта дурацкая тундра смахивает при определенном освещении на застывшее при легком волнении море с полупрозрачным льдом.

Крутой вираж, стремительный крен, ложимся на первый трудовой, разведывательный курс — на устье реки Оленек.

На двадцать третьей минуте проходим основное русло Лены, идем метрах на двухстах пятидесяти. Видны створные знаки и два речных сухогрузика — бегут, вероятно, на Яну или Индигирку. Огромный одинокий остров-скала, этакий разинский утес посреди речной глади — Столб, а недалеко от Столба полярная станция, видны ее два домика.

Отчуждение и одиночество утеса.

Мелкость домиков.

Желтый прозрачный круг от пропеллера.

Пьем кофе, еда мне в глотку не лезет. Температура, вероятно, уже большая, тянет лечь, невыносимо тянет, но неудобно.

Проходим песчаную косу, очень аппетитную сверху, пляжную, кокосовых пальм не хватает.

На тридцать третьей минуте пилоты зовут в кабину, хотят показать мне могилу де Лонга.

Пролетаем над ней метрах в пятидесяти.

На левом высоком берегу Лены или какой-то ее широкой протоки, на скале Кюсгельхая — шест-палка, воткнутая в небольшую грудку камней.

Как всегда на Севере, огромность одиночества одинокой могилы среди безжизненности волнистой тундры.

Пилоты говорят, что американцы просили разрешения вывезти прах, а наши не согласились. . .

Это неверно. Останки де Лонга и его товарищей еще в 1883 году были вывезены в США.

Я вспоминаю проигранный Спиро Хетовичу спор о месте гибели де Лонга. Как безобразно мы позволяем себе относиться к памяти героев и мучеников.

Де Лонг отправился на поиски Норденшельда, от которого давно не было известий. «Жаннетта» вышла из Фриско 8 июля 1879 года. Судно выдержало две зимовки в полярном бассейне, за время дрейфа были открыты острова Жаннетта и Генриетта. 11 июня 1881 года судно погибло. На пешем пути к материку по дрейфующим льдам открыли еще островок Беннетты. С Беннетты пошли на ботах. Шторм разметал боты. Судовой инженер Мелвилл, близкий друг де Лонга, оказался на самом удачливом боте — китобойном в прошлом. Он и его группа спаслись с помощью якутов, старосту якутов звали Николай Чагра. Мелвилл ринулся на поиски друга. Ему помогала в организации поисков русский ссыльный Ефим Копылов. Был ноябрь, метели. Ничего не нашли, вернулись в Булун. Русские власти открыли американцам неограниченный кредит для снаряжения новой поисковой группы.

В марте 1882 года Мелвилл обнаружил остатки костра и понял, что последняя стоянка де Лонга где-то близко. Затем он увидел чайник и, наклонившись, чтобы поднять его, нашел наконец своего друга. Из снежного наста торчала рука человека. «Я сразу узнал де Лонга по его верхней одежде. Он лежал на правом боку, положив правую руку под щеку, головой на север, а лицом

на запад. Ноги его были слегка вытянуты, как будто он спал. Поднятая левая рука его была согнута в локте, а кисть, поднятая горизонтально, была обнажена. Примерно в четырех футах позади него я нашел его маленькую записную книжку, по-видимому брошенную левой рукой, которая, казалось, еще не прервала этого действия и так и замерзла поднятой кверху».

Вот что прочитал Мелвилл в записной книжке де Лонга:

«22 октября. Сто тридцать второй день (со дня гибели «Жаннетты»). Мы слишком слабы и не можем снести тела Ли и Каака на лед. Я с доктором и Коллинсом отнесли трупы за угол, так что их не видно.

23 октября. Сто тридцать третий день. Все очень слабо. Спали или лежали целый день. До наступления сумерек собрали немного дров. У нас нет обуви. Ноги болят...

30 октября. Сто сороковой день. Ночью скончались Бойд и Гертц. Умирает Коллинс».

На этой записи дневник де Лонга обрывается. 30 октября, в сто сороковой день со дня гибели «Жаннетты», в живых остались только де Лонг и доктор Амблер, и, по-видимому, ночь на 1 ноября была последней в их жизни...

Я глядел на медленно проплывавшую внизу скалу Кюсгельхая с остатками креста на могиле де Лонга. И хотя могила была пуста, но душу щемило сильно.

И вдруг раздался вопль нашего весельчака бортмеханика:

— Тиэтэйэллэр!!

И мы вонзаемся в солнце. Над нами просвет в облаках, и солнце полыхает со всей своей водородно-синтетической мощью.

Сороковая минута полета.

— Тиэтэйэллэр — это, по-ихнему, солнце! — орет мне в ухо бортмеханик.

Внизу чересплосица синих гор, синих теней от облаков на них, фиолетовые заливы, прибрежные полосы, блеклые, как сгнивший силос. Затем солнце начинает мешаться с туманом и просвечивать его болезненным странным светом и наконец вовсе скрывается. Идем в молоке, в белом жире. Иногда — окна, края окон заворачиваются, как жир на ране кашалота, и в просвете — густо-синее

море. Перекрученные названия на карте. Например, остров Арга-Муора-Сисе. Через час двадцать появляются первые льдины — белые дредноуты и кильватерный след за ними, — плывут под ветром.

Бортмеханик рассказывает про мускусных быков. Участвовал в их переброске с Аляски на остров Врангеля. Явное лингвистическое дарование у механика. Он называет их по латыни и объясняет, что это плохое название, так как обозначает «овцебык мускусный», а никакого мускуса в быках нет. Эскимосы зовут его «умингмак» — «бородатый» — вот это точное название. Звери очень симпатичные, добрые. Имеют одну странность: всегда живут в стаде, но иногда уходят куда-нибудь, упрутся рогами в скалу и так стоят, думают, отдыхают от общества. На Врангеле один так ушел, все зоологи испугались, искали вертолетом и вертолетом же пригнали обратно в общество...

13.30 — внизу уже ледяные поля, на карте длиннится дорожка, покрашенная в голубой и зеленый цвета со значками, обозначающими характер льда. Солнце слепит с ледяных полей, и невыносимо хочется спать. Стыд при-тупляется, смущение прячу в карман, говорю ребятам, что болен, иду в корму и залезаю на бензобак. От него, даже сквозь два спальных мешка, тянет холодом, как вечной мерзлотой, но я сразу проваливаюсь в воспаленный сон — какое счастье!

В одиннадцать окончательно отворил глаза. Надо же — уже три раза из Ленинграда в Москву пролетали с момента вылета. Солнце бьет в плоскость и слепит. Долго смотрю на ряды заклепок — на современных судах давно отвыкли от них; когда видишь аккуратные самолетные заклепки, почему-то вздыхаешь. Желтый прозрачный круг от пропеллеров и черный номер в солнечном блеске на крыле: 04199. Идем над каким-то островом. Островная тундра похожа на инфузорию под микроскопом.

Слезаю с бензобака, наполненный приятным ощущением взбрыкивающей бодрости и абсолютного сверхздоровья — такое часто случается в первые мгновения после сна при простуде.

Недавно узнал, что у заболевших деревьев тоже повышается температура организма. Удивительная штука!

А у меня при болезни голова работает прямо на износ, если, конечно, нет болей, но температура высокая. Окачивается, при температуре расширяются капилляры мозга. И вот начинают мелькать в воображении сверхгениальные рассказы и гигантские замыслы.

На борту № 04199 при общем отвратительном состоянии возникает наметка рассказа: опытейший профессионал, мужественный и добросовестный человек получает приказ на опасное и сложное дело. Духовно готовится к делу, проигрывает его внутри, задавливает неприятные опасения, — наконец полностью готов, собран, настроен. И в процессе выполнения задания попадает в обычную, ненапряженную, облегченную даже ситуацию. И не справляется с ней, с чепуховой повседневностью. Гибнет. Я наблюдал такое у сильных людей. . .

Командир читает в салоне. Машину ведет второй пилот. В пилотском кресле командира утвердился Константин Владимирович. Голубая и зеленая полосы на карте обстановки уже пересекли все море Лаптевых. Бортмеханик уже закончил варку щей. Сетует на отсутствие картошки и просит не взыскать. При виде пищи сразу понимаю, что оживление во мне чисто наркотное, обманное. К тому же и есть с незнакомыми людьми мне всегда тяжело — блокадное — не могу себе налить, намазать по-человечески. Курю, рву грудь сигаретами. Внизу мыс Пакса — язык ящера. В 12.15 спрашиваю штурмана:

— Когда Косистый? Он слева будет?

— А может, и справа, — говорит штурман.

На воздушных это мелочь и даже, может быть, буквество — справа там или слева будет мыс Косистый.

Радист зовет «Лачугу» — славный у кого-то позывной.

Подходим к Хатанге. Льда мало. Внизу «Павел Пономарев», с которым мы выходили с Диксона, и борт к борту с ним «Капитан Воронин». По внешнему виду этих корабликов всем на борту 04199 становится ясно, что их капитаны чувствуют себя в данный момент очень уютно, спокойно и тянут рюмку друг у друга в гостях. Такое благолепие наставник считает порочным. Составляется РДО о том, что ледоколу «Капитан Воронин» в западной половине моря Лаптевых делать совершенно

нечего, и в штаб передается рекомендация об отправке его на восток.

Командир съедает таз щей.

Радиус таза сантиметров двадцать. В центре — айсберг вареного мяса на полкило.

Бортмеханик смотрит на командира влюбленно.

Во-первых, как мне кажется, все бортмеханики влюблены в своих командиров, во-вторых, какой повар не радуется, когда его щи едят тазами?

Я опять невыносимо хочу задремать. Но лезть на бензобак совсем невозможно — слишком стыдно лежать, когда все работают, во всяком случае не спят. И я мгновениями вырубаясь, сидя в кресле, и благодарю бога за свое умение спать в любом положении. Самолетный гул бродит в теле и будит эхо в пустом желудке.

Очухиваюсь в 17.30. Мы летаем уже девять часов тридцать минут — из Москвы в Нагасаки короче и быстрее.

Внизу довольно сплоченные ледовые перемычки. В одной тащится буксир с лихтером на веревке. Иду к пилотам. В правом кресле наставник с мегафоном — выводит буксирчик на чистую воду. Трижды проходим над игрушечными корабликами на высоте метров в восемьдесят — своим курсом показываем буксирчику разводье. Тот तो-ропливо поворачивает.

Командир напряжен за штурвалом, чуть трогает странные какие-то рычаги в центре приборной доски, эти длинные рычаги обмотаны изоляционной лентой и выглядят чужеродными. Тыкаю пальцем:

— Вас ист дас?

— Ленивчики.

— Вас ист дас «ленивчики»?

— Чтобы не тянуться!

Наконец понимаю: на верньеры, управляющие чем-то, насажены штыри, чтобы не тянуть руку далеко, чтобы подкручивать их, не меняя позы, — рационализация, самодетальность любящего бортмеханика. . .

Убеждаемся в том, что буксир с лихтером твердо осознали курс, ведущий к истине, и ложимся на Тикси.

Меня все-таки заставляют похлевать щи. Мне тошно от сознания, что я весь полет был лишним и клевал носом. Мне тошно, что я так и не записал фамилии, имена, отчества всех ребят.

18.00. Садимся, командир рулит к бензобазе на заправку. Дорулили, выключены моторы. В тишине — фонтан ругани в три глотки: командира, второго пилота и бортмеханика. На заправке стоит вертолет. Теперь этой троице — пилотам и механику — полтора часа ждать очереди. А самолет ледовой разведки должен быть заправлен под завязку сразу после приземления. Таков закон. И закон требует присутствия экипажа при заправке горючим. Везде свои законы.

Уже без прежней веселости бормочет бортмеханик, констатируя ситуацию: «Табаны манник туталлар!» Что означает: «Так ловят оленей!»

— Спасибо, ребята! Счастливых полетов! До встречи!

— Счастливого плавания! До встречи!

Наука и я покидаем фонтанирующих летунов.

Ждет автобус с чайным клипером. Шофер сообщает мне, что на караване полундра из-за моего отсутствия, ибо пришел приказ на срочный выход каравана к ледовой кромке.

Шофер гонит без моих просьб или понуканий. Только брызги летят.

Гостеприимный якорь на въезде в поселок — старинный символ Надежды — на фоне кладбища. Славные и мужественные люди лежат там, став навечно на мертвые якоря. И невозможно пожелать им традиционного: «Пусть земля вам будет пухом». Это прозвучит кощунственно — нет здесь земли, а то, что есть, нельзя представить пухом даже при наличии сумасшедшего воображения.

ТИКСИ — ПЕВЕК

В караване шесть судов. Все заняли места в порядке четко. Лидирует «Комилес». Очень нравится капитан Кобышев. Он не командует, а ведет себя по типу барометра — бесшумно показывает самим собой, то есть своим судном, что, когда, как делать.

Ушастик торчал на мостике и вежливо, тактично отравлял существование старпому. Облако яда окружало

Ушастика. Прямо анчар. И он разряжал свою ядовитость в Спиро.

Начал стармех с того, что тетя Аня после скоропостижной смерти Васьки нетрудоспособна и за ужином опрокинула на Ивана Андрияновича тарелку с макаронами. Тогда же за ужином выяснилось, что в момент прорыва старпома и боцмана в душевую для насилия над тетей Аней, последняя прикрывала интим резиновым ковриком. И Арнольд Тимофеевич при разборе происшествия уже «на ковре» у капитана заявил буфетчице (буквально): «Резиновые коврики в душевых кабинах располагаются на предмет защиты от удара электротокком, потому использовать их в других целях запрещается». Высказывание это повторяют на судне, как заклинание.

И вот, когда мы вытягивались с тиксинского рейда, Ушастик начал доводить старпома:

— Тимофеич, я тебе прямо скажу. Главный нюанс ты из виду упускаешь. Конечно, Анна Саввишна за кота переживает. И мы переживаем. Вот Рублев даже гробик соорудил. И ты молодец, что Рублеву доску не пожалел. Только, правда, расписку надо было за доску взять, но это я так, к слову...

Из радиотелефона голос Конышева:

— Впереди редкие перемычки льда, сплошной туман. Войдем в него через часик. Прошу немного сократить дистанции.

— Я — «Державино»! Вас понял. Спасибо!

Все суда каравана в порядке очередности повторяют то же.

Ушастик (задушевым шепотом):

— Нынешняя буфетчица, Тимофеич, в трагической ситуации, если начальник не умеет ее физически успокоить...

Спиро, который никакого юмора не сечет, и даже Леонов вместе с солнечным Поповым и грустным Никулиным из него улыбки не выжмут:

— Что лучше вот нынче, чем в тридцать девятом, так это связь радиотелефоном. Попробуй в мегафон покричи на морозе — губы к медяшке примерзали, с кровью отдирали от раструба...

Ушастик с последовательностью и цепкостью старого удава:

— От души советую, Тимофеич. Если хочешь, чтобы на пароходе все в меридиан вошло, соберись с силами. Поднапрягись, чернослива поешь, женьшень в Певеке купи, для нервов чего глотни — и валяй! А то сожрет нас Саввишна, хуже Соньки доведет, шами окатит. Видит бог — уест! Я ж по старой дружбе...

Я все ждал, когда Арнольд Тимофеевич взорвется, но он вел себя как-то странно, даже с некоторым смущением. Задрал башку к небесам, к клотикам мачты и соображал что-то, открыв рот.

Вообще-то, все люди, задирающие башку круто вверх, открывают при этом рот. Так, вероятно, нас устроил бог. Но когда задирает башку к верхушке мачт Спиро, то его пасть отворяется прямо-таки до невероятных растворов — напоминает двери во Дворце бракосочетаний.

Наконец Арнольд Тимофеевич опустил взгляд долу, затворил пасть и укоризненно прошепелявил:

— У меня сыновья чуть не ее возраста, а ты такие пошлые советы подсказываешь.

Я (хотя мне очень интересно, куда и зачем клонит дед, но порядок есть порядок):

— Прошу в рубке потише. Лишние разговорчики! Рублев, ты чего уши развесил? Вперед смотри! На Симонова. Что в данный момент писатель делает?

Рублев четко:

— Стоит на левом крыле теплохода «Комилес», смотрит вокруг, из трубы дым не идет.

«Трубой» ребята называют трубку Симонова, которую он не курит, но сосет постоянно.

Здесь Ушастика срочно вызвали вниз.

Еще через минуту дед из машины позвонил мне и доложил, что у них там тепловые перегрузки, возникающие по причине мелководья, и, чтобы не выйти за пределы ограничительных характеристик, ему надо часа три.

А у кромки ждали два огромных ледакола, и РДО на отход начиналось словами «весьма срочно!». Но что делаешь?

— «Комилес», я — «Державино»!

— «Державино», слушаю вас! «Комилес»!

— Скисла машина. Механик просит три часа. Причины уточняются. Доложу, когда сам пойму, что там у них.

— Вас понял. Буду докладывать ледоколам. По каравану! Всем сбавлять обороты! Четным выходить вправо! Нечетным влево! Ложиться в дрейф!

— Вас понял... Вас понял... Вас понял... Вас понял... Вас понял...

Вероятно, хвастаюсь, но уверен, что чувствую двигатель верхним чутьем и эпителием кожи. В том смысле чувствую, что жалею его не в силу инструкции, а как жалеют работающего тяжелую работу подростка. Отроками на «Комсомольце» нас гоняли на вахты в кочегарках и в машине, у мотылевых, упорных, дейдвудных подшипников, хотя готовили не в механики, а в судоводители. Никакой пользы с точки зрения понимания механики и механизмов это мне не принесло — плохо «вижу» нутро любого, даже простого механизма, плохо «вижу» чертежи. Пространственное видение в астрономии — небесной сферы, например, — приличное, но тоже не очень. Зато ощущение двигателя как живого, требующего и любви, и строгости, и справедливости, и поощрения, есть, и каждый лишний реверс напрягает душу.

11.08.00.10.

Встретились с «Ермаком» и «Владивостоком».

Восход. Небеса нежны, как крем-брюле, море студено, как торт-пломбир. Солнце поднимается в эту кондитерскую кровавым сгустком, рассечено сизыми тучами, как Сатурн кольцами, и такое же огромное. Следуем прямо в это солнце — на восток — в пролив Санникова.

В *01.30* у «Гастелло» тоже поломка — завис пусковой клапан в машине. «Владивосток» остается с ним, мы идем за «Ермаком».

В *05.30* «Владивосток» и «Гастелло» догоняют караван. И «Владивосток» занимает место перед всеми нами. Очень красиво срезает угол по сплошному полю, лед летит от его черного носа ослепительной волной-веером брызг, глубокое седло в середине борта между носовой и кормовой волнами. Он идет мимо нас на полном ходу сквозь утреннюю синь, которая охвачена по горизонту двумя кривыми белыми саблями льда.

Андрьяныч по секрету сообщил мне, что слышал, как тетя Аня назвала старпома в уюте камбуза «Кўтей». И это ее ласкательное обращение так потрясло деда, что ночь он не спал, держа под наблюдением дверь старповской каюты. . .

Сонька особенно бесила Арнольда Тимофеевича, заявляя, что в тот момент, когда его зачинали, в дверь спальни его родителей кто-то сильно постучал. . .

В полдень застряли на траверзе Земли Бунге и Малого Ляховского, на юге которого есть «Имба Толля».

Ледовая обстановка определяется выражением Рублева: «Глухо, как в женской бане». Можно подумать, что Андрей женские бани знает не хуже кухни зоопарка.

Лед десять баллов, пятьдесят процентов двухлетнего, отдельные глыбы до четырех метров толщиной.

Все шесть судов застряли одновременно и очень тесной компанией. Лучше бы нам в такой ситуации находиться друг от друга подальше.

«Ермак» берет на усы «Софью Перовскую». «Владивосток» лупцует «Державино» кнутом волевых понуканий, как надсмотрщик на плантации несчастного дядю Тома. Но дядя Том застрял намертво. Рядом безнадежно завяз «Комилес». По нему бродит симоновское семейство — две женские фигуры в брючных парах.

«Владивосток» пятится задом нам в нос, чтобы брать на усы. С него доносится полуплачущее объявление: «Дорогие товарищи! Горячей воды для личных нужд не будет до утра. Ремонтируется магистраль. Просьба к экипажу закрыть все краны! Будьте сознательными!»

На вертолетной площадке в корме «Владивостока» бегаёт вокруг вертолета полноватый морячок. Он бегаёт точно по белому пунктиру, нанесенному по зеленому фону взлетно-посадочной площадки вокруг синей стрелкозы-вертолета, — жирок морячок сгоняет. До суровой Арктики ему как до лампочки.

Вдруг «Ермак» обнаруживает, что, пока ледобои поштучно таскают нас на восток, восточный ветер сносит всю остающуюся компанию на запад с большей скоростью. Возникает угроза выдавливания нас на мелководье

у острова Котельный. А на малые глубины туда ледоколы для оказания нам помощи вообще не смогут подойти. И потому «Ермак» приказывает вылезать назад в точку, где были в 11.30 утра.

В 16.00 выходим в нее и ложимся в дрейф.

Ветер с востока. Ветер летит в трубу между Малым Ляховским и Землей Бунге. Баллов семь. «Комик» — так давно уже называется «Комилес» — стоит на якоре. Мы трое болтаемся, как некоторое органическое вещество в проруби. Только вместо проруби — полынья.

Безнадюга ожидания погоды у моря. Серятина.

И небеса и вода напоминают грязные бутылки, которые стоят на кухне холостяка уже второй год.

Из инструкции по психогигиене на судах морского флота: «Стресс от «неопределенности обстановки» следует рассматривать как замаскированный спутник почти всякой психической травмы у моряков дальнего плавания».

Мы бездельничаем, а в миле от нас бегают взад-вперед могучий «Ермак». С какой целью бегают, нам не ясно. Но вид у него такой деловитый, как у собаки, которая трусит через пустынную городскую площадь ночью и которая знать не знает, куда и зачем она бежит, но сохраняет на морде выражение озабоченной деловитости для собственного вдохновения, самоуважения и душевного спокойствия...

Как просили старые полярные моряки, чтобы старый «Ермак» не резали на металлолом! («На иголки» — на жаргоне.) Старики хотели поставить «Ермак» на вечную стоянку в Архангельске. Не получилось. Даже адмирал Макаров не помог.

Незадолго до вылета в Мурманск меня занесло в Кронштадт. Я давно там не был. И вообще никогда не был на Якорной площади возле памятника Макарову.

Площадь почему-то оказалась совсем пустынной, как будто в городе-крепости объявили воздушную тревогу.

Огромная площадь. Огромный Морской собор Николы Чудотворца — старинного покровителя мореходов. Собор напомнил Босфор. Он в плане повторяет Святую Софию в Константинополе.

Над огромной площадью, которая служила когда-то свалкой отработавших, уставших якорей, стоял в полном одиночестве бронзовый адмирал Макаров.

Восемь могучих якорей Ижорского завода по девяносто пять пудов пять фунтов каждый крепили его покой и его надежды.

По необтесанной скале-пьедесталу взметнулась черная штормовая волна, достигнув самых ног Степана Осиповича.

Скалу для памятника подняли со дна морского на рейде Штандарт. Хорошо придумали — поставить адмирала, боцманского сына, внука солдата — на подводном камне с рейда Штандарт.

На цоколе памятника знаменитое: «Помни войну».

Вокруг мощенная булыжником площадка.

К булыжникам и торцам у меня симпатия. Когда прошлые скульпторы и архитекторы задумывали свои творения, они, естественно, учитывали фактуру тверди. Бесполоая стерильность асфальта гармоничность их замыслов нарушает.

Степан Осипович Макаров — один из самых замечательных наших моряков. Когда «Ермак» уже сходил в Арктику, а потом спас уйму судов в Ревеле и броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» и когда имя Макарова уже гремело на весь свет, адмирал издал приказ «О приготовлении щей».

От века цинга среди матросов и солдат в Кронштадте была обыкновенным делом. Так вот, Макаров командировал на Черноморский флот врача-гигиениста, а оттуда выписал аса-кока. Кроме того, он приказал периодически взвешивать всех матросов, чтобы командиры кораблей всегда знали, худеют их «меньшие братья» (такое выражение было принято о рядовых в «интеллигентской среде») или толстеют.

Мне это понятно особо, ибо когда-то пришлось участвовать в походе к Новой Земле подводной лодки, где нас тоже взвешивали два раза в сутки специально командированные из Москвы врачи. . .

На памятнике Макарову выбита эпитафия:

Твой гроб — броненосец,
Могилы твоя — холодная глубь океана.
И верных матросов родная семья —
Твоя вековая охрана.

Делившие лавры, отныне с тобой
Они разделяют и вечный покой. . .

Ревнивое море не выдаст земле
Любившего море героя. . .
И тучи, нахмураясь, последний салют
Громов грохотаньем ему отдадут. . .

Как будто слышишь разом все наши старые морские песни и обоих «Варягов»: «Чайки, несите в Россию. . .» и «Наверх вы, товарищи. . .». И морские песни последней войны: «Севастопольский камень» и «Гремящий» уходит в поход. . .

И видишь огромный «Петропавловск», который в одну минуту перевернулся, показав над волнами обросшее водорослями и ракушками днище, — горестное и жуткое зрелище.

«Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война. . .» Это сволочь Плеве сказал.

Пользуясь тем, что площадь пустынна и никто моей сентиментальности не увидит, я стал на колени и помянул адмирала, и Верещагина, и матросов «Петропавловска», и всех матросов Цусимы, которые семь десятков лет тому назад снялись из Кронштадта на помощь адмиралу и своим порт-артурским братьям.

Потом по древнему подвесному мосту перешел Петровский овраг, любуясь чистотой зелени на острове. Вообще, приморские парки, леса, луга особенно зелены — влажные ветры и частые дожди промывают травы и листву. И стволы приморских деревьев по той же причине особенно черны. И контраст первозданной зелени с чернотой стволов заставляет взглянуть на обыкновенное дерево с каким-то даже восторженным удивлением.

12.08.20.30.

Снимаемся с дрейфа. Приказ Москвы ледоколам: следовать в лед на восток. «Владивосток» берет на усы «Державино». «Ермак» предлагает то же «Перовской», но молодой капитан отчаянной революционерки отказывается.

«Комилес» и «Гастелло» оставляются в полынье в ожидании, когда ледоколы проволокут сквозь перемычку нас.

«Комилес» экстренно выходит на связь. И просит выводить в первую очередь его, так как у Симонова уже заканчивается возможное для командировки время.

Ледоколы отвечают, что они все-все понимают, глубоко сочувствуют, но ничего поделаться не могут: приказ Москвы выводить в первую очередь слабые суда, «трехтысячники», а «Комилес» имеет более плотный корпус и сильные машины, потому останется болтаться в проруби.

Мы начинаем ехать за «Владивостоком» сквозь булыжники пролива Санникова. Остервеневшие после щелчка шамбарьером из столицы, ледоколы и нам приказывают работать «полными» ходами. И мы работаем.

Зависти к покинутым в проруби товарищам никто не испытывает, хотя приходится нам туго — лед очень тяжелый. И капитан «Владивостока» не из тех мужчин, которые танцуют па-де-де в «Лебедином озере» на сцене Большого театра. Он еще обозлен тем, что Фомич напросился к нему на усы.

Сюда бы живого психолога. Отличная тема докторской диссертации: «Капитан турбоэлектродокола + капитан лесовоза». Тема кандидатской: «Психологические нюансы подачи буксира с ледокола на застрявшее судно».

Любой ледокол терпеть не может подавать буксир. Так судовые радисты терпеть не могут подавать членам экипажа надежду поговорить с домашними по радиотелефону.

Чтобы взять на усы, капитану ледокола надо подвести корму к носу лесовоза — тютелька в тютельку подвести. Затем вызвать на мучительную, грязную работу боцмана и матросов, у которых полным-полно внутрисудовых дел.

Ну, и управлять ледоколом, когда у тебя появляется стометровый, весом в 5580 тонн хвост, намного труднее.

Раньше бытовала уничижительная фраза: «На ледоколах служат, на транспортах — работают».

«Служащий» — нечто такое с портфелем, в очках, в трамвай не способен прыгнуть впереди старшего по чину... Конечно, на ледоколе не то что на малом рыболовном сейнере или на стареньком сухогрузе: ни тебе

рыбы и вони, ни тебе грузов, ни погрузок, ни разгрузок, ни ругани с докерами, ни отчетов за каждую сепарационную доску; все штурмана при галстуках и крахмал скатертей.

Но... Попробуй прими-ка ответственность за сотни слабеньких судов, за каждую дырку в их днищах и бортах, за каждые сутки опоздания в порт, где ждут грузов как манны небесной, и за много-много еще кое-чего!

Такой красоты еще не видел.

Солнце в левый борт с чистого норда низкое и огромное над сплошным паком.

Лед с правого борта ярко-розовый до далекого горизонта, чернильно-фиолетового от туч и тумана.

По розовому льду извивается огромная, метров двести в длину, синяя тень — профиль нашего судна.

Отдельные торосы так изощренно коррозированы дождями, туманами, ветрами, что напоминают огромные кораллы — розовые, нежнейшие кораллы высотой в несколько этажей.

И среди этой красоты мы, идущие за ледоколом, испытываем такие жуткие удары о лед, что трудно печатать на машинке.

Бедный Фомич — он ведет пароход. А мне до этого удовольствия еще полтора часа.

Алые пожарные машины, обреченные волею судеб тушить певекские пожары, пляшут от сотрясений шаманскую пляску на крыше третьего трюма.

«Перовская» упрямо идет за «Ермаком» без буксира. И без жалоб, стонов и причитаний идет. Пожалуй, все-таки тут есть элемент мальчишества — молодой совсем капитан на «Перовской». И вот иногда ловишь себя на мысли, что неплохо бы этому парню покрепче разок стукнуться лбом. Это такая подлая мыслишка, которая знакома всем неотличникам в школе по отношению к отличникам. Ведь когда отличник хватает кол, то вся школа, включая не только лоботрясов, но и учителей, получает некоторое удовольствие.

ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ В ФОМЕ ФОМИЧЕ ФОМИЧЕВЕ

Сентябрьским днем девятилетний бологоевский школьник Фомка Фомичев с собакой Жучкой отправился на прогулку в лес, который начинается сразу за чертой поселка. К вечеру домой он не вернулся. На поиски школьника и Жучки были подняты сотни людей — местные жители, охотники, работники рабоче-крестьянской милиции. Спустя 16 дней Фомка, худой, оборванный, наткнулся на грибников. За это время он прошел десятки километров. Питался плодами шиповника, желудями, ягодами. За 16 дней «путешественник» потерял в весе четыре килограмма, но не заболел даже насморком.

*«Не пал духом...» —
заметка в районной газете (хранится в архиве семьи Фомичевых)*

Простуда терзает кости тупой болью.

Потому нынче после дневной вахты ничего не стал записывать и завалился спать. Но уже через полчаса врубилась «принудиловка».

Из динамика долго доносится шелест бумаги и кряхтение, по которому я узнаю Фому Фомича.

— Внимание, значить, всего экипажа! Прослушайте информацию! Наше судно с народнохозяйственным грузом следует в порт Певек. Он находится на Чукотке. Порт Певек свободен ото льда только с пятнадцатого или двадцать пятого июля...

Дальше он жарит прямо по лощи минут десять: о режиме ветров, образовании ледяного покрова и так далее.

Он жарит, запинаясь, сбиваясь, перечитывая сбитое, безо всяких точек и запятых, но очень вразумительно и обстоятельно, хотя ровным счетом ничего не понимает из читаемого. Писанный текст завораживает Фому Фомича, и он следует по нему с непреклонностью петуха, от носа

которого провели черту. Если капитан «Державино» сам текст выбрал или составил, то, значить, при произнесении текста вслух ни о чем больше думать не надо.

Фомич жарит по «принудиловке», и потому деваться от его лекции некуда.

Я лежу и злюсь.

Но! 1) Не следует забывать, что говорит Фома Фомич плохо еще и потому, что все зубы у него вставные — свои выпали в блокаду от цинги. Вставные челюсти у него разваливаются, и потому он не может есть ничего тягучего. И надо видеть, как переживает за мужа Галина Петровна, когда в кают-компании у него получается с жеванием что-нибудь некрасивое. 2) Хотя он обожает делать сообщения по трансляции, но сейчас вещает никому не нужную лоцию, ибо честно старается делить с Андриянычем нагрузку отсутствующего помполита. Положено проводить информации и лекции? Положено. И вот он проводит.

Потом он спустится в каюту и достанет любимое детище — изобретенную им «Книгу учета работы экипажа т/х «Державино» — и запишет время, дату, тему своей «информации».

Вчера пароходство потребовало радировать результаты парных соревнований за позапрошлый год. И вот Фомич с гордостью притащил свой гроссбух, где было обстоятельно записано, как его экипаж в позапрошлом году соревновался парно с коллективом Канонерского завода. В гроссбухе зафиксирована история профсоюзных, спортивных, досаафовских и всех других общественных организаций экипажа с рождества Христова. (Не все еще до таких учетных книг дошли. Здесь Фомич как бы опережает время.)

Я Фому Фомича ото всей души хвалил за такой гроссбух, а не успел он дверь за собой закрыть, я и ухнул во всю ивановскую: «Вот это нудило!»

Слышал он или нет? До сих пор мучаюсь этим вопросом.

Очень у меня дурная способность.

Лицедействовать я отлично научился. И поддакивать тоже умею. И серьезное, и даже восхищенное лицо делать при полнейшем непонимании происходящего замечательно могу. Одно плохо: иногда после акта талантливейшего лицедейства из меня выскакивает: «Ну и ду-

рак же! Это же какой дурак-то, а?!» И выскакивает такой комментарий, когда адресат еще не удалился на безопасную дистанцию. Вот несчастье-то!..

Да, еще писать Фома Фомич любит. Вернее, он любит процесс фиксации чего угодно чем угодно — пером, шариковой ручкой, фломастером или обыкновенным карандашом на бумаге («ту драйв э пен» — быть писателем).

Вот, например, мы в дрейфе, Фомич спокойно может спать. Но он бодрствует глухой ночью в тишине спящего мирным сном судна.

На служебном столе супруга поставила ему букетик из засохших цветочков с личного дачного участка.

Сама женская половина Фомы Фомича похрапывает в койке и бесшумно проклинает сквозь сухопутные видения тот день и час, когда поддалась на хитрые уговоры супруги Ушастика и поехала в Мурманск.

Фомич тихо сияет от счастья — его судно и он сам никуда не едут!

Он сидит в чистом белом свитере, разложив по всему столу приказы пароходства за последние два месяца, и регистрирует их. Вообще-то, это дело старпома, но Фомич любит регистрационную работу — это его счастливый отдых, его сладость. Он заполняет графы: «Дата поступления приказа на судно», «Краткое содержание», «Кому передан», «Меры», «Резолюция капитана» — и расписывается в конце каждой строки. Когда страница регистрационной книги заполняется вся, Фомич снимает очки и любитесь столбцами и графами невооруженным глазом. И на миг он испытывает такое полное счастье от неподвижности и регистрационной деятельности, что ему, как и всем людям в момент полного, всеобъемлющего счастья, делается как-то жутковато. И он тихо встает, и тихо достает из холодильника кусочек полусусрой рыбы. И, жуя рыбу, опять пишет, то есть фиксирует, хотя эта — вроде бы вовсе невинная и даже полезная — страсть дважды уже приводила благонамеренного Фому на край катастрофы или даже бездны.

Первый раз, когда он переписал от киля до клотика служебную инструкцию и какой-то поверяющий с ужасом обнаружил копию этого документа в каком-то Фомичевом гроссбухе.

Второй раз случился еще более сногшибательный нюанс, вытекающий из той же привычки Фомича все и вся фиксировать, и подсчитывать, и разграфлять.

Фому Фомича выдвинули делегатом на общebasей-новую конференцию, где должен был присутствовать министр Морского Флота СССР и где Фоме Фомичу предстояло выступать, ибо начальство отлично знало, что это самый лояльный из лояльных будет оратор и трибун.

Перед убытием на конференцию, как и положено, на судне было проведено собрание, чтобы выработать почины, наказы делегату и сообразательства о перевыполнении плана по разным показателям.

Как и положено, нашлись всякие недостаточно сознательные элементы (вроде нашего Копейкина или тети Ани) и обрушили на делегата необоснованные претензии, бессмысленные жалобы и пошлые выпады в сторону высшего морского начальства — в диапазоне от требования оплаты сверхурочных работ в инпортах в инвалюте до отказа от обязательной подписки на газету «Водный транспорт», потому что в этой газете про речников пишут больше, чем про моряков.

Фомич тщательно фиксировал все отрицательные выпады и положительные почины-обязательства. Затем систематизировал зафиксированное: на одну бумажку то, что можно будет говорить перед сверхначальством, а на другую все то, что ни в коем случае говорить нельзя, если не хочешь сломать себе шею и остаться на береговой мели навечно.

Прибыв на конференцию, Фомич, как и положено, сдал в секретариат бумажку № 1. А когда вылез на трибуну перед министром, начальником пароходства и другими божествами, то случайно вытащил из кармана бумажку № 2 и приступил к чтению. И сразу вся внешняя, окружающая в этот момент Фомича-чтеца реальность полностью перестала им замечаться и на него воздействовать. И трибун не заметил ни гробовой тишины, наступившей в зале конференции; ни редких, восхищенных смелостью оратора кряхтений других смельчаков-либералов и нигилистов из задних рядов; ни остолбенело выпученных (как у меня на мосту через Дунай) глаз начальника пароходства и секретаря парткома; ни даже того, что министр в президиуме проснул.

Читая написанное, он, как я уже объяснял, никогда не вникал в смысл и суть, никогда ничего не понимал из произносимого, ибо еще и вел борьбу с челюстями. И потому он нес с трибуны истины жуткие, никакому публичному обсуждению не подлежащие; сумасшедший смельчак, решившись говорить о них, должен был бы кричать, потрясать кулаками, негодовать. А Фома Фомич, абсолютно уверенный в благонамеренности своего текста № 1, читал его бесстрастно и монотонно, как дьяк по тысяча первому покойнику. И эта спокойная и добро-торжественная интонация спасла Фомича. Он уверен был, что зачитывает товарищам начальникам о превышении его экипажем планов и увеличении подписки на газету «Водный транспорт»!

А нес — про инвалютные сверхурочные!

И только сняв очки и не дождавшись положенных по штату всякому выступающему аплодисментов, повернулся к президиуму и что-то тревожное начал ощущать, ибо профессионально дальнзоркими глазами увидел, что начальник пароходства сыплет себе в рот таблетки (вероятно, валидол) из полной пригоршни, а секретарь парткома, сильно качаясь, идет за кулисы (вероятно, вешаться).

Обличай он и ушучивай, высказывай претензии и фантастические требования разных Копейкиных. в другом тоне — со страстями и негодованиями — и песенка Фомы Фомича Фомичева была бы спета. Но тут случился полнейший хеппи энд.

Министр встал и сказал, что он наконец-то понял, что приехал сюда не напрасно, что все предыдущие ораторы были только амебы, а капитан Фуфыричев — единственный человек, который по-настоящему болеет за дела на флоте. И что на месте начальника пароходства он, министр, отправил бы капитана Фуфайкина в Гренобль на международный спецтренажер для судоводителей суперсхогрузов.

Вот после этой истории Фомич не только прокатился в Париж на поезде, но и получил клику Драйвер — за полнейшее бесстрашие. Правда, прокатился он в Гренобль и даже посетил Лувр уже в почти вовсе облыслом виде — волосы начали у него выпадать пучками еще на трибуне, когда он увидел качающегося секретаря парткома и разобрал на своей бумажке: «№ 2».

Между прочим, сохранял эту бумажку Фома Фомич, чтобы не забыть, кто из его команды главный оппортунист и кто что на собрании наговорил лишнего.

Апогея облысения Фомич достиг в женском туалете, куда спрятался от окруживших его в перерыве восхищенных и потрясенных его бесстрашием поклонников-нигилистов. Он заперся в женском туалете, ибо был занят мужской, и сидел там томительно долго, обдумывая случившееся и выщипывая из недавно приличной шевелюры остатки кудрей.

Возле туалета собралась толпа разъяренных стенографисток и других дам, которые ломались в дверь, но даже они, когда Фомич, наконец, из туалета выскочил, не разорвали его в клочья — такое уважение и почтение вызвал у всех, даже у сухопутных женщин, героический трибун. . .

В какой-то далекой степени Фомич напоминает мне иногда и штабс-капитана Максим Максимыча.

Он легко сам говорит про себя: «Я, знаете, службист, всю жисть службист. А как мне иначе было? Мама да папа в Москве не имел. Лез, лез, лез всю жизнь в ледяную гору, карабкался, значить, медленно, все сам, ничего не отпускал, все через себя перепускал, в руках себя держал, и ночные бдения, и все такое прочее, и власть капитанскую контролировал, уж будьте уверены, полностью. А теперь, значить, сам чую — вожжи-то отпускаю, передоверять все больше другим, значить, начинаю, грести-то больше уж и не могу так, за всем сам следить. . . Другие мыслишки-то уже мелькают: как бы здоровышка до пенсии хватило, и всякое такое, значить. . . Сама-то власть на что она мне? . . . Вот раньше на ветеранов равнялся, себя в сторонку, а ветеранам свой кусок отдашь — заслужили, мол, с почтением к им. Теперь вроде и сам ветеран, а, значить, не замечаю, чтоб ко мне — как я раньше-то к другим ветеранам. Отпихивают, и все. . . Мне вот, к примеру, только в пятьдесят восьмом комнату за фронт дали, официальную, а всю войну отчухал. Ну, по правде если, у меня к тридцати годам жилищный вопрос решился, однако, значить, без ихней помощи, своими силами обеспечился. . .»

Но! В отличие от штабс-капитана Максим Максимыча, который никогда ни от какого дела или ответственности

не отлынивал, капитан дальнего плавания Фома Фомич отлынивать умеет замечательно.

Ушастик рассказывал, как они угодили в приличный шторм в Северном море, но все у них было нормально, и можно было спокойно следовать по назначению. Однако Фомич, который Норвежских шхер боялся всю жизнь (и сейчас боится), залез за какой-то островок в шхерах и дал в пароходство РДО: «Укрылся урагана Норвежских шхерах, отдал левый якорь, ветер продолжает усиливаться. Что делать?» В ответ он получил от Шейха РДО короткое, как бессмертные строки из рубаи Хайяма: «Отдайте правый».

Когда нам выпадает сейчас самостоятельное плавание во льдах, Фома Фомич теряет всякий покой и всеми силами, правдами и неправдами старается обратить внимание на свое бедственное положение, стать где-нибудь на якорь и дожидаться ледокола, или другого судна, или каравана. Когда же это происходит, то Фомич, угодив в руки ледокола, начинает всеми кривдами из-под него выбираться, ибо плавание на дистанции в два кабельтова и «полным» ходом в тумане под началом ледокола куда тяжелее для нервов и опаснее для судна (законы ледовых проводок — законы хирургии).

Далее. Всю жизнь Фомичу казалось и кажется, что не его вахта была легкая, хорошая, без всяких сложностей, а ему специально бог и гнусные люди подсовывают плохую.

Как-то ледокол вынужден был бросить на время караван и опрашивал капитанов судов об их ледовом опыте, чтобы выбрать и назначить старшего. И в эфире произошел такой диалог:

— «Механик Рыбачук»! Вы здесь плавали?

— Нет, я лично здесь не плавал, но «Механик Рыбачук» плавал.

— Механик плавал или ваше судно здесь плавало?

— Да, судно плавало, а я лично здесь первый раз, но штурмана здесь работали...

Фомич, слушая диалог, бормотал с глубоким презрением:

— И охота ему, дураку, в начальники напрашиваться! «Судно плавало»! Сказал бы, что не плавал сам, да и уклонился! А он: «Штурмана здесь работали»!..

Но!

Второй механик, тезка Пети Ниточкина, с которым они вместе вводили массы в нужное заблуждение при помощи наукобезобразной демагогии, рассказал мне (с истинным уважением и почтением рассказал), как в последнем перед автоаварией рейсе Фомич проявил подлинно драйверские качества.

В каком-то испанском порту экипаж североамериканского танкера дерзко бросил вызов экипажу «Державино», предложив сыграть в футбол.

И не как угодно составить команды, а обязательно включить капитанов, старших механиков и по равному количеству женщин, если таковые существуют на судах.

И Фома Фомич дерзкий вызов принял, хотя американскому капитану было на десять лет меньше. Ушастик взвыл, но драйвер приказал старшему механику, значить, не разговаривать, а искать подходящие трусы и майку.

Матч, говорит второй механик, был замечательный именно благодаря Фомичу. Главным форвардом американцев оказался их капитан, и Фомич взял на себя «оставить его без мяча» — такое есть выражение у профессиональных футболистов. Оно означает, что защитник должен сделать все возможное и невозможное, чтобы самый бандитски-опасный форвард был обезврежен.

И Фомич ихнего капиталистического капитана довел до истерики (помните: «ту драйв мед» означает еще «сводить с ума»).

При этом никаких внешне героических поступков он не совершал, на части не разрывался и не носился по испанскому полю метеором или матадором. Он просто приклеился к американскому лидеру, как банный лист или прилипала к акуле, и сопровождал его всюду, куда тот пытался от Фомича скрыться, но делал это на внутреннем, коротком радиусе. Американец совершал стремительные рывки, метался с фланга на фланг с такой скоростью, что просто исчезал из поля зрения болельщиков, а Фомич трусил рядом неторопливой рысцой и, как только противник готовился принять мяч, оказывался тут как тут, и отвязаться от него американскому капитану оказалось невозможно. И к концу игры американец вы-

глядел полностью изможденным, и его усталость особенно бросалась в глаза, поскольку рядом трусил свеженький Фомич.

— Если бы нашему капитану поручили опекать Пеле, — закончил рассказ Петр Иванович, — он, как знаменитый Царев, и Пеле бы довел до инфаркта! Я вам точно говорю, Виктор Викторыч!

Я спросил, кто из наших женщин играл и как все это получилось. Оказалось, в американском экипаже на танкере была одна женщина — барменша. И этой барменше Соня на второй минуте вывихнула ногу, или руку, или голову. Произошло это при первом же соприкосновении футболисток. Барменшу эвакуировали, а нашим назначили пенальти, и только из-за этого неотразимого пенальти наши и проиграли со счетом ноль — один. Пропустил неотразимый пенальти в наши ворота Иван Андриянович, ибо ни на что, кроме вратаря, годен не был. Но и как вратарь представлял собой по выражению Петра Ивановича, гайку без болта, то есть дырку от бублика.

К слову, наш стармех, который и спровоцировал капитана взять в рейс супругу, рассчитывая под этим соусом прихватить в Арктику и свою Марьюшку, последнее время пристрастился в свободное время развлекать первую леди «Державино» игрой в «слова» и «морской бой».

Ведь Галина Петровна от тоски и скуки уже готова в гости к тюленям и моржам сигануть без всяких спасательных поясов. И вот отчаянный футболист Фома Фомич Фомичев явно заревновал супругу к гайке без болта. И каждые полчаса покидает мостик, даже при движении во льду, чтобы случайно заглянуть в каюту к супруге.

Фомич отчаянно ревнив. Ибо собственник.

Прямо Сомс Форсайт, а не Фома Фомичев.

Ну, о том, что любую самостоятельно и удачно проведенную в жизнь инициативу или мысль своих помощников Фомич искренне и бесповоротно приписывает потом себе, и говорить нечего.

Но!

Как-то он:

— Я всегда за справедливость и всегда все в глаза — привык так, приучил себя. И самокритичен я. Помню,

в тридцать два года надумал жениться. И вот на женщин смотрю и думаю: эта не то, эта дама — не та... А потом вдруг и озарился: а сам-то я? Сам я кто такой? Что за ценность? Пентюх из-под Бологого!..

И действительно умеет говорить в лоб неприятные вещи, и действительно самокритичен, то есть сам понимает свою мелкость и недалекость, но он же знает, что он хитер, и зверино-осторожен, и настойчив, и за все это он себя высоко ценит: цыплят, значить, по осени... Он из тех клерков, которые высиживают без взлетов и падений, ровно и беспрекословно высиживают до губернаторов и пересиживают всех звезд и умников.

Но!

Фома Фомич не стал и фельдфебелем. Например, очень деликатно и предупредительно убирает голову, когда смотрит кино в столовой команды, чтобы не заслонять экран какому-нибудь молоденькому мотоциклисту.

А на тактичный подкус Андрияныча в отношении ревности к супруге Фомич, посасывая леденец и загадочно ухмыляясь, ответил:

— Наша династия, Ваня, она, значить, еще поглубже всяких там царских. Ты на мою королеву как следует погляди. Зад-то какой! Как у сухогруза на двадцать тысяч тонн! Куда тебе до нее? Нет, Ваня, я в своей династии, значить, полностью уверен.

И, действительно, людей он своим звериным чутьем чувствует и знает про них многое. Он знает, что Дмитрий Александрович в западне и потому его можно держать в струне даже и без всяких яких.

Мне, например, Саныч не говорил, что у него тяжело больна жена. Жену надо два раза в день возить на какие-то дефицитные уколы, и она, как женщине и положено, посчитала согласие мужа на арктический рейс бегством от тяжелого и трудного в житейской жизни, закатила недельный припадок со слезами и попытками отравления и всем прочим. А Саныч знал, что если он откажется от арктического рейса, то в кадрах его песенка будет спета навсегда и не видать ему капитанства, а его супруге — хорошей квартиры в новом доме и полного материального достатка и всего прочего, что следует за капитанством.

Так вот обо всем этом Фомич полностью информирован. Он даже знает, что «узы Гименея» у Степана Разина слабинку дали еще лет двадцать назад, когда с койки по боевой тревоге соскакивал...

А с чего я начал? С того, что Фомич зачитывал лоцию Восточно-Сибирского моря по принудительной трансляции и я проснулся и представил себе, как он сейчас спустится в каюту и запишет в гроссбух мероприятие.

Но!

Фома Фомич явился ко мне. Узнал от доктора, что я приболел после воздушных путешествий в Тикси, и принес кусок жареного муксуна — гостинец от Галины Петровны.

Был Фомич в тулупе и, раздеваясь, обнаружил в кармане тулупа очередной леденец. Я который раз передаю ему вместе с вахтой и тулупом такие презенты. И он каждый раз удивляется находке и радуется ей:

— Ваша конфетка? Нет? Съем ее, значить. А то на голодный живот курить вредно. Вот я ее перед вахтой и первой сигареткой и употреблю, конфетку эту. Значить, чем бог послал закушу, а тогда уж закурю, чтобы не так, значить, вредно курить было...

Явившись ко мне с муксуном, Фомич, порассуждав в отношении конфетки, вдруг довольно крепко выругался.

— Чего это вы вспомнили? — спросил я.

— Про науку, — объяснил он, усаживаясь у меня в ногах на койку. — По науке нынче размножение рыб зависит от птиц. Птица рыбу проглотит, а потом летит, и — кап! — из нее икринка и вываливается в другой водоем. Раньше, значить, мальков завозили самолетами из моря в море. Но они все обратно эмигрируют на родину.

И Фома Фомич опять выругался.

Конечно, что греха таить, на флоте еще сильно ругаются. И капитаны ругаются, и восемнадцатилетние щенки. И, простите, я тоже к этому привык. Но вот в последнее время начал ощущать смущение. Я еще не борюсь со своим пороком, но уже понял необходимость борьбы.

Хотя такой умный человек, как вице-губернатор Салтыков, заметил, что первым словом опытного русского администратора во всех случаях должно быть слово матерное.

— Так вот я об чем, Викторыч, с тобой потолковать хотел, — сказал Фома Фомич, нервно посасывая леденец. — Дураком себя не считаю, и образование кое-какое есть. Но вот чего не пойму, это как они с лёта, с воздуха управляются?

— Это вы про кого?

— А про живоготов этих, чаек. Летит со Шпицбергена, ведьма, на Новую Землю... Ведь честно если, оправиться по-малому и нам-то, мужикам, на ходу трудно, а как чайки-то на ходу гадють? Давно я об этом думаю. Ведь обязательно, ведьма, на видное место, на эмблему норовит. До того химия вьедливая! Помню, матросом плавал, сколько раз от боцмана по уху схватишь! Если ввечеру нагадят, к утру краску до металла проест. А он, боцман-дракон, тут как тут — по уху без всяких партсобраний, не то что нынче... А ты как, Викторыч, к этому вопросу подходишь?

— Знаете, Фома Фомич, — сказал я, — мне с лёта трудно угнаться за вашей мыслью, меня, честно говоря, больше ледовый прогноз интересует. И еще. Что, Тимофеич, вовсе рехнулся? Почему он за карты не расписывается? Мне это дело надоело.

— Я сам, гм, понимаю, что старпом того... Сам я люблю подстраховаться. И молодых осмотрительности и осторожности учу, но старпом в данном вопросе... Утрясем, Викторыч, утрясем...

— Мне кошмары сниться стали, — сказал я. — Покойники к чему снятся?

— К деньгам, — авторитетно сказал Фомич. — Мне давеча тоже как покойник снился. В Певеке аванс, наверное, получим — переведут из пароходства. Я им две радиogramмы послал... А снилось, будто я в сельской местности. Человек идет, и вдруг копь летит и прямо — бац! — ему в спину! Он, значить, поворачивается, вижу, копь-то его насквозь прошибло и конец из груди торчком торчит. И вижу, что это, значить, Арнольд Тимофеич. Он это нагибается, хватить камень и в меня! Потом по груди шарит вокруг копья, но крови нет! — очень многозначительно подчеркнул Фомич. — Просыпаюсь,

значить, и отмечаю, что крови не видел. Кровь-то к вовсе плохому снится. Ну, думаю, все равно или у нас дырка будет, или Тимофеич скоро помрет — одно из двух.

О скорой смерти своего верного старпома Фома Фомич сказал безо всяких эмоций. А концовка рассказа про сон оказалась неожиданной и произнесена была возбужденным и ненатуральным тоном:

— А ведь чем еще меня чайки эти так раздражают?! Никаких икринок они не переносят, просто рыбу жрут!

Вот только тут я почувствовал, что у Фомича есть ко мне дело, и какое-то сложное, неприятное для него, и что он плетет чушь про птиц и водоемы от нервов и по привычке темнить и тянуть кота за хвост.

— Перестаньте вы, Фома Фомич, про чаек, — сказал я. — В этих белоснежных птичек души потонувших моряков воплотились, а вы для них рыбы жалеете!

Он встал, прошелся по каюте, нацепил очки, посмотрел бумажки на моем столе, потом поднял очки на лоб и сказал:

— Вот вы их защищаете, а в Мурманске теперь только скользкого кальмара купишь. . . — И продолжал грустно: — И это в самом центре рыбной промышленности! А что про Бологое говорить? Там кильку-то последний раз на елке в золоченом, значить, виде наблюдали! А для меня это не просто закуска. Мне для жизни ее надо. Во всей династии нашей, как помню, рыбу уважали. Вот деда, например, помню, Степана Николаевича, так он любую селедку с хвоста начинал и жабрами заканчивал. В костях-то самая польза для мозга. А ты, Викторыч, такую чушь насчет их душ порешь. . .

Мне немного надоела эта сократовская беседа, и я поклялся, что все хвосты и все позвонки от селедки, которые мне до конца рейса положены, буду с теплой симпатией отдавать Фоме Фомичу.

Он отлично понял, что я понял, что он здесь с какой-то серьезной целью и что мне надоело ждать сути дела. И он вытащил бланк радиogramмы и подал мне:

— Знаете?

«Родственники уезжают остаюсь на улице жду целую твоя Эльвира».

— Эту нет, — сказал я.

— Розыгрыш, Викторич. Не вру. Я эту Эльвиру и пальцем не трогал. Да и в кадры запрос послал. В рейсе она. Об этом и сказать хочу. Чтобы вы, значить, чего-нибудь не подумали...

— Фома Фомич! За кого вы меня принимаете? За суку, что ли? — спросил я, искренне обидевшись. — Вы супруги опасайтесь, а не меня.

— Вы сегодня на вахту не вставайте, — сказал Фомич, немного успокоившись. — Ледок слабее пошел. Пускай Тимофенч покувыркается. Раньше-то, когда без дублеров, старпомы сами кувыркались. Вот он, значить, и покувыркается.

— Спасибо, Фома Фомич, но я уже нормально себя чувствую, а старпому не доверяю. Нельзя ему судно поручать. Опасно.

— Да, — вразумительно согласился Фомич и ушел.

А я принялся за «Пошехонские рассказы». Правда, рассказов среди них пока как-то так не обнаруживается. Другой это жанр. И вышел Щедрин, мне кажется, целиком и полностью из «Истории села Горюхина», из летописи сей, приобретенной автором за четверть овса и отличающейся глубокомыслием и велеречьем необыкновенным.

Если бы кто заказал мне попробовать написать о Щедрине, то я начал бы с покупки его книг в Мурманске. Потом съездил бы (обязательно трамваем и с двумя пересадками) к нему на кладбище. И подробно, минута за минутой, описал это трамвайное путешествие, стилизуя щедринские интонации и беспощадно воруя его собственные высказывания, но, как и всегда в таких случаях делаю, не закрывал бы ворованные цитаты в кавычки. И назвал бы «Андроны едут...».

Шопенгауэр видел источник юмора в конфликте возвышенного умонастроения с чужеродным ему низменным миром. Кьеркегор связывал юмор с преодолением трагического и переходом личности от «этической» к «религиозной» стадии: юмор примиряет с болью, от которой на этической стадии пытались абстрагироваться отчаяние.

В эстетике Гегеля юмор связывается с заключительной стадией художественного развития (разложением последней, «романтической» формы искусства).

Салтыков-Щедрин — юморист высшего из высших классов, но ни под какое из этих умных и интересных высказываний не подверстывается, ибо до мозга костей русский, а высказывания — западные.

Когда Фомич мил? Когда простыми словами, тихо говорит о тех муках и жертвах, которые он пережил и перенес в блокаду и вообще на фронте и после фронта. О лилово-чернильных деснах от цинги в Ленинграде, выпавших зубах, замерзшем прямо на горшке-ведре его товарище по школе, о своем младшем брате, который воевал ровно один день на Курской дуге, был страшно ранен разрывной пулей сквозь брезентовый ремень в живот, перенес три ужасные операции, потом туберкулез позвоночника, потом восемь месяцев гипса, потом три года в ремнях, и при этом «настрогал» трех ребятишек, и «вот женка-то намучилась».

Все это Фомич говорит как полномочный представитель народа, который своим животом заслонил страну от врага и гибели, но никак не кичится. Он показывает на скрученном полотенце толщину и внешний вид шрамов брата, показывает, какие у него самого были ручки и ножки — как у дохлого цыпленка, и т. д. И вдруг он проговаривается о каких-то странных деталях. Например: израненного братца каждые шесть месяцев таскали на перекомиссию, но, вообще-то говоря, чего ему было со своим дырявым пузом ее бояться? Ан выясняется, что родители отдали доктору из комиссии «полбарана», чтобы он не забрил братца обратно в армию. Так вот, откуда полбарана в сорок третьем или сорок четвертом годах? Или проскальзывает, что братца отпаивали после госпиталя молоком, так как у родителей была корова. И конец войны Фомич встретил на побывке дома с коровой.

Вот оно как.

УЛЫБКА КОЛЫМЫ

Человека более всего поддерживает надежда, предположение, мечта.

*Ф. Ф. Матюшкин,
Замечания к проекту
нового морского устава*

Время на девять часов впереди Москвы — певекское уже. Легли на колымский отрезок пути. Все продолжаем ехать на усах у «Владивостока». Лед десять-девять баллов, часто сторошенные участки, с гребнем будет до пяти метров.

На огромной махине ледокола вертолетик, привязанный к кормовой взлетно-посадочной площадке, кажется таким слабым, нежным и женственным, что хочется подарить ему букетик багульничка.

Из-под винтов ледокола то и дело вспениваются рыже-мутные струи — Восточно-Сибирское море, в которое мы наконец прорвались, самое мелкое из арктических морей, и могучие винты «Владивостока» вздымают с грунта ил и песок.

Очень забавно, как чем-нибудь провинившиеся ледоколы начинают говорить по радиотелефону голосом с поджатым хвостом.

Вот только что ледокол разговаривал с вами воле-стальным тоном, сурово вас подстегивал и подкусывал. И вы ему послушно и почтительно внимали.

Появляется в небесах самолет полярной авиации. И вы из подхалимажа к суровому ледоколу предупреждаете его деликатненько:

«Самолетик, мол, заметили? С первого от вас бортика! Летает там. . .»

«Сами не слепые!» — лаконично и презрительно обрывает ваш подхалимаж суровый бас ледокола.

Но тут с серых небес, с аленького самолетика раздается, в хрипах и шорохах, другой суровый голос — капитана-наставника:

«Ледокол, какой курс держите?»

«Сто девяносто семь!» — докладывает ледокол уже почему-то тенором.

«А кой черт вас несет не по рекомендованному курсу?!» — гремит с небес саваофовский глас.

«Тут... так... у нас... немного отклонились... следuem к теплоходу «Капитан Кондратьев»...» — все более тончает голос могучего ледокола, превращаясь уже прямо-таки в дискант новорожденного.

«А на кой ляд вы к нему следуете?» — гремит с небес и падает всем нам на головы вместе с воем самолета, который проходит в двадцати метрах над мачтами.

«Тут, э-э, свежие овощи должны принять с «Капитана Кондратьева», по договоренности!» — лебезит и виляет хвостом ледокол, которому на «Кондратьеве» приволокли из дома — Владивостока — пару ящиков огурцов или помидоров. Саваофовский небесный глас понимающе хмыкает и отпускает ледоколу грехи...

И тогда сразу голос ледокола делается стальным, суровым и недоступным в своем величии:

«Державино!» Почему ход сбавили?!»

И опять он, лицедей, начинает закручивать наши хилые гайки...

Злят физкультурники — бегуны вокруг вертолета на корме ледокола. Злят, конечно, тогда, когда тебе до предела тяжело и неуютно крутиться во льду, весь ты напряжен и обезвожен от напряжения, а тут перед тобой два или целых три здоровенных физкультурника занимают укреплением здоровья.

После вахты слушал передачу для дальневосточных рыбаков.

Им сообщали, что в Рязани «всем на удивление выскочили опята, обычно появляющиеся в местных лесах в конце лета»...

На дневной вахте опять поломка в машине — лопнула прокладка в трубопроводе охлаждения второго цилиндра.

Механики не сообщают истинного времени, потребного им на ремонт. В результате лишняя нервотрепка с ледоколом.

Механики просили сперва тридцать минут, потом еще тридцать, потом час и т. д. И все это я вынужден был передавать на «Владивосток». А мы подрабатывали «малым», ибо винт крутится от встречного потока, черт бы его побрал!

Арнольд Тимофеевич:

— Вот в тридцать девятом году мы на паровой машине плавали. Разве могла она при буксировке взять да и сама собой загореться? А тишь какая на пароходе, плавность. . .

На траверзе дельты Индигирки отдали буксир и долго стояли в ожидании, когда «Владивосток» закончит операции с «Капитаном Кондратьевым». Тем временем вертолет завел мотор и куда-то таинственно улетел.

Но Фомич-то сразу усек — куда! На Средней протоке Индигирки есть радиомаяк, а в дельте, среди озер, ручейков и рукавов, что водится? Рыбка! Она, желанная! И повез ледокольный вертолет в арктическую тундру служителям маяка ящик с пивом, а привезет, ясное дело, значить, несколько кулей рыбы.

Два часа летал.

И Фомич все точно прикинул — сорок пять миль до маяка. Прибарахлились ледобои. И теперь пьют и рыбкой закусывают. И бесплатность этой рыбки мучает Фомича и томит. Вся вообще рыба в мировом океане волнует его. Ведь вот за бортом — бери голыми руками — бесплатная рыба! Все бесплатное всю жизнь томит Фомича. И особенно мучает его рыба. Еще он думает, что если бы изобрести средство от бритья, то есть распространения растительности на мужском лице, то мужскому организму на этом можно было бы экономить полезные вещества, а так он каждый день псу под хвост сбривает и углеводы, и жиры, и роговое вещество. . .

Самый тяжелый за весь рейс лед — на подходах к Колыме: спускались к югу вдоль восточной оконечности острова Четырехстолбовой.

Уже ночь, уже солнце заходит, и мрак довольно густой.

Слепят прожектора, установленные на кормах на случай тумана. Их часто забывают выключить и в ясную погоду.

Холодно, а двери рубки открыты настежь. На одном борту Саныч, на другом я. Каждую минуту орем рулевому:

— Вправо больше не ходить! — это я.

Саныч:

— Право! Право! Викторыч, слева кирпич торчит!

Я:

— Чуть право, Андрей! Чуть-чуть! Саныч, у меня тут такой кирпич, что...

Саныч рулевому:

— Полборта лево!

Я одновременно:

— Полборта право!

И так шесть часов подряд.

С несчастного Андрея Рублева — пот в три ручья. Он в ковбойке, хотя по рубке из открытых дверей сквозит зверски.

Я как-то спросил Андрея, о чем он думает в такие вахты.

— А я торговков вспоминаю. Которые на морозе семечки продают. На рынке. Очень удивительные бабы. Весь день без движения стоят и семечки продают. А румяные! А веселые!.. И сами свои семечки и трескают!

Значит, Андрей, несмотря на огромное напряжение и великолепную работу на руле (иногда без приказа своим чутьем спасает судно от опасного удара), еще размышляет о бабах с семечками на архангельском базаре!

Подобный же вопрос задал кому-то из механиков или мотористов. Ведь мы с Санычем не только рулевого загоняем в пот, но и машину. Бывает, одновременно хватаем за телеграф: он на своем крыле дает «стоп» или «назад», а я «полный вперед». Дело идет на секунды, и случаются моменты, когда перекричать друг другу смысл своего решения нет времени.

Впереди вынырнула в канале льдина. Я решаю прибавить ход, чтобы увеличить поворотную силу руля и отвернуть, а Саныч дает «стоп», чтобы отработать «задним», ибо считает, что отвернуть не успеем. И при этом надо еще предупредить позади идущее судно об изменении своего хода, ибо и оно не велосипед...

Какие уж здесь нежности и ласковости с дизелем, когда дело идет о «быть или не быть»? И в машине, как и на мостике, ад крошечный.

Так вот, кто-то из механиков ответил на мой вопрос, что в напряженные вахты мечтает, как бросит плавать и устроится шофером на междугородные поездки. И всегда вокруг автомобиля будет земля, деревья, трава, поля, леса... Оказывается, тоже успевают мечтать!

Ну, а о чем думает капитан? По своему опыту судя, ни о чем. Даже о холоде и ледовых сталактитах под носом не думаешь. И вообще, тебя как бы нет на свете в обычном смысле. Ты весь в окружающей обстановке, и за собой самим тоже наблюдаешь со стороны, как за включенным в эту обстановку обстоятельством.

Кроме сигналов, которые дает глаз в мозг: «Право-лево-стоп-назад-вперед», откуда-то поступают еще такие: «Устал! — Пятый час на посту! — Не забывай, что устал! — Осторожность! — Проси ледокол сбавить ход! Черт с ней, с этой «Перовской», пусть налезает на хвост!»

И все эти самокоманды проходят «на автомате», без членораздельности, которую сейчас вынужден наносить на бумагу в виде отдельных слов и предложений.

И вот выходим в полыню. Сразу чувствуешь и холод, и себя уже не извне, а из собственного нутра. И прислушиваешься к разному интересному, и вспоминаешь что-нибудь...

Почему-то положили в дрейф, хотя лед на востоке вроде бы разреженный.

Арнольд Тимофеевич (в адрес ледоколов и вообще мирового прогресса):

— Вот на железных дорогах в тридцать девятом за простой вагонов сразу и без всяких судов — за решетку, а эти пошлые атомы что делают?

Рублев (копируя интонации старпома и очень серьезно):

— Арнольд Тимофеевич, а это факт, что финны в тридцать девятом по такому же пошлому льду, как мы сейчас прошли, на лыжах подбирались к Архангельску и вырезали ятаганами наши караулы?

Старпом, который, как я говорил, вовсе не чувствует не только юмора, но часто и злобной иронии в свой адрес, не сечет:

— Смешно слышать от старшего рулевого! Финляндско-советский вооруженный конфликт не захватил Архангельск. Я вам приводил подобные факты, но вовсе не такие, на материале Кронштадта. И нечего вам здесь околачиваться. Следуйте перебирать картофель!

Картошка, гниющая в хранилище, — вторая после взятия радиопеленгов кровная забота старпома. Сегодня прибавилась третья: график стояночных вахт в Певеке. Он корпит над списком очередности вахтенных у трапа с тщательностью и въедливостью Пиковой дамы, раскладываящий пасьянс в ожидании прибытия Германна, ибо панически боится Певека и длительной стоянки вплотную к берегу, то есть контакта наших молодцов с местным населением и винно-водочными изделиями.

Фома Фомич мучительную работу старпома по раскладыванию пасьянса стояночных вахт официально одобряет, но, в силу большого опыта, отлично понимает, что все эти графики при столкновении с чукотской жизнью полетят к якутской прабабушке и превратятся в кроссворд, который не распутают даже французские энциклопедисты класса Дидро.

Картофельным же вопросом старпом Фому Фомича все-таки умудрился довести до реакции на быстрых нейтронах. Ведь два часа ходовую вахту Арнольд Тимофеевич стоит со мной и два с Фомичом. И вот, когда в тяжеленном льду Фомич швейным челноком пронзает рулевую будку взад-вперед с крыла на крыло, а ему под руку и под ноги и под все другие места старпом пихает вопрос переборки картофеля, приговаривая еще: «Разве это лед?.. Не лед это, а перина... Вот в тридцать девятом мы шли, так это был лед!..» — то старый его друг-покровитель, регулярно пропихивающий фотографию Степана Разина на Доску почета, выдает такую реакцию, что даже белые медведи вздрагивают за дальними ропаками.

В 23.00 сняли с дрейфа.

И сразу «Ермак» казацки зарычал на «Гастелло»:

— «Гастелло»! Почему копаетесь?! Мало было времени на перекур?

— Правильно он его прихватывает, — одобрил Арнольд Тимофеевич. — Во, раньше на паруснике без железной дисциплины и с якоря невозможно было сняться... В корне всякое непослушание пресекали... Под килем протянут разок, а второй и сам не захочешь... Власть у командира была — так это власть, не то что теперь...

Захочет командир, если он в одиночном плавании да от базы далеко, и вздернет любого голубчика на рее...

Только наш старпом растекся мыслью по дереву, разбежался серым волком и разлетелся сизым орлом под облаками, как «Ермак»:

— «Державино»! Почему правее кильватера укатились?!

Я (Арнольду Тимофеевичу):

— Чего это вас, действительно, вправо тянет?

Рублев:

— Придется кого-нибудь из самых толстых на левую рею повесить...

Я (в радиотелефон):

— «Ермак»! «Державино»! Вас понял! Извините! Ложусь в кильватер!

«Ермак»:

— «Перовская»! Вы еще ближе не можете подойти? Нам давно в корму никто не впиливал — соскучились!

...Движение льда возле ледокола сложное, и не очень понятно, чем такое объясняется. Форштевень ледокола раскалывает лед, скулы его оттаивают. Максимального удаления отпихнутые льдины достигают на миделе, то есть на середине корпуса ледокола; затем они быстро стягиваются к его корме. Таким образом, льдины возле ледокола совершают вращательное движение.

Следить за ледовым вращением тянет, хотя утомительно для глаз и действует еще как-то гипнотически. И нужно усилием воли отводить взгляд в стороны, чтобы не проворонить очередной зигзаг канала.

Под конец моей вахты треснули несколько раз сильнее среднего. До чего неприятное ощущение, когда твое судно содрогается от удара, полученного ниже пояса. Истинно говорю вам — лучше самому получить удар в живот. Вот тут-то без всяких натяжек и литературщины ощущаешь свое судно живым, способным чувствовать боль существом.

При замере льял — междудонного пространства — у нас воды пока нет.

Когда стало рассветать, на небесах все тона и оттенки серебра, от черного, старинного до новенького.

Берега Колымы. Их увидеть надо. Жуткое величие жестокости.

Природа, из которой выморожено добро. Скулы спящего тяжелым сном сатаны. Дьявольские морщины присыпаны снегом. Неподвижность уже внегалактической вечности.

Это мыс Баранов.

Зады России. Их за всю историю видели считанные иностранцы — несколько полярных мореплавателей и ученых. Для большинства это оказывалось последним видением, ибо они гибли от тягот пути. И еще не скоро увидит русские тылы массовый немецкий, французский, китайский или итальянский зритель. А пока не увидит, толком в России ничего не поймет.

Вот писали художники Север, жуть заледенелых горных вершин, ледников — Кент, Пинегин, Борисов... Хорошо писали, прекрасно или похуже, но нет в их полотнах застывшей сатанинской мощи, иррациональной связи этих краев материка с вечностью и вселенной. И тут приходит на ум художник, который никогда в Арктику не ездил и на горы не забирался, — Врубель.

Ну, а кто здесь себя чувствует как рыба в воде, так это «Ермак». Успел использовать лежание в дрейфе и для прозаических дел: выклянчил у «Владивостока» двести килограммов свежей капусты. В обмен на капусту «Ермаку» пришлось взять до Певека пассажира — беременную дневальную с «Владивостока». Из Певека грядущая мама полетит домой самолетом.

Скоро разгрузка. Я, согласно положению, и в этой отвлеченной операции должен принимать посильное участие.

Взял последние инструкции, информбюллетени и т. д. и т. п. по перевозкам на арктические порты. И кучу циркуляров.

Да, жуткий порт ожидает нас!

«Из практики перевозки арктических грузов в 1973—1974 гг. видно, что судовая администрация ряда судов при приеме и сдаче груза не руководствовалась приказами ММФ №№ 272 и 236, в результате чего в портах выгрузки обнаружены большие недостатки грузов, ответственность за которые возложена на перевозчика.

Например:

1. Т/х «Мга» — рейс из Ленинграда на Певек с 28/VIII по 10/X-73 г. В порту Ленинград по отгрузочным документам на судно погружены 2 бетономешалки. Одна на

палубу, другая в трюм. При выгрузке в порту Певек установлена недостача 2-х бетономешалок. За недостачу груза пароходству заявлена претензия в сумме руб. 2213-40.

При рассмотрении дела в Арбитраже пароходство не могло защитить свои интересы за недостачу одной бетономешалки, так как последняя по документам была погружена на палубу. Счет палубного груза ни при погрузке, ни при выгрузке судовыми тальманами не производился.

За недостачу второй бетономешалки ответственность возложена на Ленинградский порт, т. к., согласно документам, бетономешалка была погружена по счету тальманов порта и до порта Певек следовала в опломбированных трюмах...»

Во как! Были бетономешалки — и нет их, царствие, так сказать, им небесное и вечный покой... .

В довольно мрачном настроении поднялся я на мостик.

А погода была ясная, солнечная, легчайший ветерок, отличная видимость и всего несколько часиков до порта назначения. Мы миновали уже остров Роутан. И кромку льдов миновали.

На фоне всей этой природной безмятежности возник диспут о начале работ по снятию креплений с палубного груза.

Фомич на мое предложение начинать сказал, что рано: а вдруг мы на самых подходах к Певеку дырку получим? Не положено по правилам в открытом море палубные крепления отдавать... крен образуется от дырки и... .

Андряныч (который, ясное дело, усек, что мастер его ревнует):

— Фома Фомич, вы супругу любите?

— А она здесь при чем?

— А при том, что если мы получим дырку не во льду, а здесь вот, на открытой воде, и получим такой крен, при котором груз с палубы за борт пойдет, то, говорю тебе по секрету, тактично тебе говорю, единственное, что нас спасет, так это как раз то, что груз улетит за борт; а если груз у тебя насмерть привязан к пароходу, то нам каюк. О нас-то, конечно, можешь не думать, но о супруге

подумай: это ей такой гутен-морген будет, такой, значить, сюрприз и нюанс, что. . .

И Фомич задумался и посмотрел на меня. Я пожал плечами, показывая, что не имею ничего возразить старшему механику.

Минут десять Фома Фомич шептал что-то и шевелил губами, а я взором телепата давил на ту часть его черепа, где находятся лобные доли человеческого мозга. Эти доли заведуют нашим сознанием и решительностью.

На одиннадцатой минуте Фомич вызвал старпома и повелел начинать рубить проволоку креплений палубных контейнеров. «Но чтобы каждое зубило и ручник привязали веревочкой, — пороняют разгильдяи матросы за борт. . .»

Вот и знать Фома Фомич не знает, как и все мы, истории России, а тут повторил приказ самого Петра Великого! Петр, вводя по образцу цивилизованных государств салют наций, предусмотрительно написал в инструкции, чтобы к ядрам крепостных орудий были всегда привязаны веревки: дабы ядра из жерл пушек при салютном залпе можно было быстро и удобно вытащить. Петр и ядра сохранить хотел, и того опасался, что наши разгильдяи предки по рассеянности запузывают в приветствуемого салютом гостя боевое ядро.

Остров Четырехстолбовой остался по корме, а по носу на карте скромно открылся мыс Матюшкина. Среди сложных местных названий он выглядит так же не приметно, как мыс Карлсона на северной оконечности Новой Земли.

Приколымский островок Четырехстолбовой, забытый богом, описал в 1821 году мичман Матюшкин, совершив пеший переход с материка в компании с Врангелем. Всего за четыре года до этого он закончил вместе с Пушкиным лицей, и уже успел обернуться вокруг света.

...Завидую тебе, питомец моря смелый,
Под сенью парусов и в бурях поседелый! . .

Единственный раз в жизни Пушкин завидовал. Да, да, Пушкин завидовал! И не Данте или Гомеру завидовал, а простому моряку.

Какая притягательная сила в океанской волне!

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полуночных морей?
Счастливым путь! . . . С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!

Сколько написано о слиянии человека с конем, парусом и машиной и ощущении счастья от этого; о счастье полета или штормового плавания под парусами. А суть, кажется мне, как раз в том, что нельзя разрешать себе полное слияние ни с парусом, ни с машиной, — нельзя! Дилетант думает, что через такое слияние он сам станет ветром, морем, вселенной, временем. Это-то и отличает профессионала от любителя. Профессионал знает, что не должно допускать себя до подобных слияний, что работа полным-полна самоограничений, самообладания, самоконтроля и в силу этого полным-полна скуки и рационализма.

Ты сохранил в блуждающей судьбе
Прекрасных лет первоначальны нравы:
Лицейский шум, лицейские забавы
Средь бурных волн мечталися тебе;
Ты постирал из-за моря нам руку,
Ты нас одних в молодой душе носил
И повторял: на долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил

Перед отплытием волонтера Феди Матюшкина в первую кругосветку Пушкин напутствовал друга по части ведения путевых заметок. Он предостерегал от излишнего разбора впечатлений и советовал лишь не забывать подробности жизни, всех обстоятельств встречи с разными племенами и характерными особенностями природы. Пушкин хотел фактов. Документализма, как ныне говорят, а не охов и ахов Бестужева-Марлинского.

В 20—30-е годы прошлого века очерки и заметки моряков-писателей публиковались щедро и пользовались огромным успехом у читающей публики, ибо базировались на романтизме — навевали золотые сны, уводили из кошмара родины в далекие и суперпрекрасные миры. Но этот «увод» совершался не беллетристами-литераторами, а обыкновенными моряками. Документальная подкладка сообщала их очеркам искренность, а грубова-

тость языка и неровность слога, например Головнина, вызывали у Бестужева даже недоуменное восхищение.

Волонтер Матюшкин записки в рейсе тоже вел, их нашли, но полностью и до сих пор не опубликовали. Первый раз частично использовали в 1956 году. Это опять к тому, что мы ленивы и нелюбопытны. А возможно, это связано с тем, что будущий адмирал Матюшкин не одобрял офицеров-декабристов. Это, правда, не помешало адмиралу отправить в Сибирь Пушину пианино.

Адмирал похоронен на Смоленском кладбище. Потому я знаю о нем с детства. Ближе покоится бабушка моя, Мария Павловна. И мама, когда мы навещали бабу Маню и проходили мимо могилы Матюшкина, рассказывала, как он не разрешал бить матросов и считал, что молиться, ходить, спать, сидеть, петь, плясать по дудке — убивает человека сначала духовно, а потом и физически. И что по его настоянию соорудили в Москве первый памятник Пушкину...

При всем при том старик был крутоват. Незадолго до того как упокоиться на Смоленском кладбище, он написал замечания к новому морскому уставу. В устав проектировалась статья, разрешающая «во избежание напрасного кровопролития» сдачу корабля противнику при пиковом положении. Матюшкин на полях проекта заметил: «Ежели не остается ни зерна пороха и ни одного снаряда, то остается еще свалка или абордаж...»

И позорную статью не занесли в устав.

Баба Маня тоже была женщина строгая и крутого, такого адмиральского нрава. Ее в семействе не только слушались беспрекословно, но и побаивались трепетно.

Незадолго до того как упокоиться на Смоленском кладбище, она рассказала нам с братом притчу.

...Однажды люди шли тяжким путем по горам. Не было видно солнца днем и звезд ночью, тучи льнули к вершинам. Нашелся среди путников один, который назвался Проводником и вел их.

Путники истошились и часто падали, они давно уже съели последний хлеб. И Проводник, чтобы ободрить, сказал: «Вон, видите гору? За ней конец пути», И упав-

шие ободрились и поднялись. У той горы Проводник сказал им: «Я ошибся. Конец пути за следующей горой». И они пошли к следующей горе. И Проводник сказал на вершине ее: «Я солгал вам, чтобы упавшие ободрились. Конец пути только за следующей горой».

И путники долго прощали ему ложь, потому что она помогала им идти. Но наконец тяжесть разочарования стала невыносимой. И даже самые сильные пришли в отчаяние и легли на землю. Тогда Проводник сказал: «Вы не верите, что конец пути близок, потому что я много раз обманул вас. Но теперь я не лгу и, чтобы вы поверили мне, готов лишиться себя жизни». И он пошел к краю пропасти, чтобы броситься в нее.

Но никто и теперь не нашел в себе сил подняться.

«Люди, — тогда сказал Проводник. — Простите меня. Я опять солгал вам. Конец пути еще очень далек. За самой дальней вершиной еще нет и половины пути к концу».

И тогда поднялся с земли один из спутников и сказал: «Веди. Я пойду». И еще один встал и сказал: «Я пойду тоже». И все сильные духом встали, решив лучше умереть в пути. А слабые духом остались, и тем облегчили путь сильным духом, потому что не надрывали их душ словами сомнений и отчаянья.

А Проводник, бредя впереди, все не мог понять, отчего ложь о близком уже конце пути, ложь, которую воистину он готов был подтвердить своею смертью, не заставила людей ободриться. А правда о бесконечно еще далеком конце пути подняла людей с обочины до роги.

И они идут за ним, и он не слышит слез и стенаний, как слышал раньше. И даже песню запели, найдя для нее силы и твердость духа. И Проводник пел с ними: «Дорогу осилит идущий, хотя нет конца у дорог...»

...Осень, дождь, опавшие листья, грусть о самом себе, которая возникает возле могил. Слухи, что Смоленское кладбище скоро сровняют с землей. И величие горы Паркалай.

Две вершины мыса Большой Баранов. И две речки впадают с обеих сторон мыса в Ледовитый океан — Крестовая и Антошкина.

Кекуры — каменные столбы — застыли в миллионно-летнем молчании на вершинах и склонах. Кекуры стоят семьями. И бессмертны, как хорошая семья. И стоят на-смерть под натиском ветров, времен, снегов, льдов, туманов. И веет от кекуров древними поверьями, и клочья мамонтовой шерсти должны висеть на кекурах, ибо когда-то мамонты терлись о них, как наши свиньи о забор.

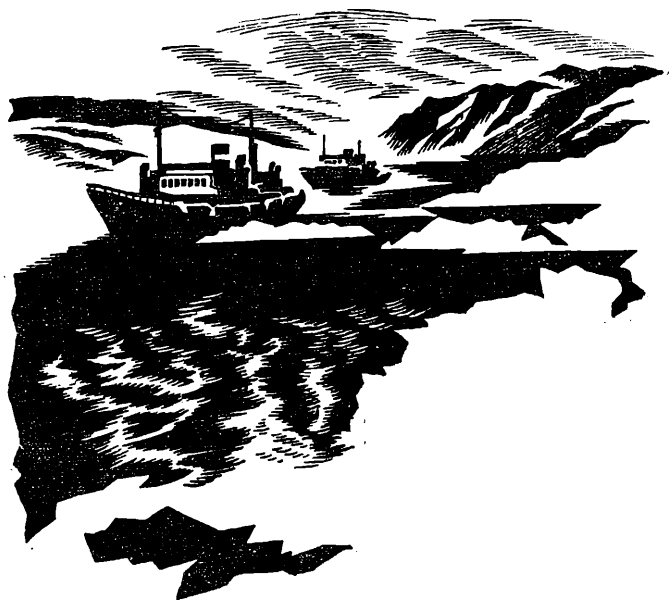
Сибирь под нами.

Сибирь, Сибирь, Сибирь — даль за далью.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Значительная продолжительность плавания приводит к выраженному утомлению и нервно-психическому истощению плавсостава.

«Психогигиена и психопрофилактика», методические рекомендации судовым врачам



В ПОРТУ НАЗНАЧЕНИЯ

17.08.19.00.

Мучительно стали на правый якорь на внутреннем рейде Певека.

Итак, преодолев коварство льдов, туманов, черные замыслы злодеев ледоколов, зависть и недоброжелательность всего белого света, теплоход «Державино» прибыл в пункт выгрузки, в этот ужасный порт, где исчезают даже бетономешалки и бульдозеры, растворяясь в воздухе.

Вся династия Кио должна систематически навещать центр золотодобывающей промышленности Чукотки и учиться, учиться, учиться.

Если хотите представить себе здешние берега, то закройте глаза и сделайте над собой небольшое усилие: представьте тюленя длиной в десять километров и высотой в полкилометра. Теперь круто заморозьте тюленя, припудрите холку снежком и положите тушу возле синего-синего моря. Таков здешний пейзаж в летнюю, тихую и ясную погоду.

А почему мы так мучительно становились на якорь, хотя был как раз полный штиль и полная свобода маневра?

Потому что битком набитый черной магией порт Певек требовал от теплохода «Державино» подойти поближе к портовым сооружениям. Разгар навигации, судов скапливается в ожидании разгрузки много. Морячков с

рейда и обратно возит портовый катер. И чем ближе и кучнее стоят суда, тем проще их обслужить.

А Фоме Фомичу Фомичеву, как и всегда, хотелось бы отдать якорь на пределе видимости самого высокого певекского сооружения или даже на пределе видимости самой высокой береговой сопки. И потому последние две мили теплоход двигался на «стопе», используя вместо дизелей силу инерции и энергию портового диспетчера, которая передавалась на судно без всяких проводов в виде лая, мата и воплей.

Каждые пятнадцать секунд Фома Фомич прерывал диспетчера и спрашивал, не пора ли ему уже шлепнуть якорь.

Порт Певек орал, чтобы мы шли ближе к нему, Певеку, что он нас, черт возьми, еще и вовсе не видит, хотя сидит на двадцатиметровой диспетчерской каланче.

А Фомич держал телеграф на «стопе», чесал за ухом и спрашивал порт:

— Идем-то мы, дорогой товарищ, правильно, значить?

— Да не идете вы! Не идете! — надрывался диспетчер, наблюдая нас по радару. — Ползете вы, как вошь по мокрому животу!

— Ну, а теперь мы, значить, можем якорь отдавать? — запрашивал Фомич.

— Нет! — орал диспетчер. — Ближе подходите! Ближе! У вас машина закисла? Тогда буксир вызову!

Тем временем нас обогнал «Волхов», проскочил вперед и стал в самом удобном местечке на рейде. И когда наконец пришло время шлепать якорь, то по корме оказалась здоровенная «Советская Якутия». И Фомич никак не мог решиться дать приличный «задний ход», а без такого хода якорь не заберет. И дал Фомич «малый назад», в результате чего, естественно, положил цепь в кучу.

А «Комилес», не становясь на якорь, прямым ходом отправился к причалу, что вызвало переполох на караване.

Разгрузка судов происходит в порядке очереди. Порядок этот имеет строгие законы, о которых расскажу ниже. Рывок «Комилеса», не имевшего никакого права на первое место у причала, вызвал яростную перепалку в ультракоротковолновом эфире. Всем ясно было, что такое ужасающее беззаконие связано с присутствием на «Ко-

мике» Симонова, но тут уж всякие авторитеты полетели к чертовой матери, ибо каждый жаждет возможно скорее разгрузиться и удрать обратно на запад: ведь каждые сутки прибывает темное время, а плыть во льдах при солнышке или во тьме — две большие разницы, как говорят в Одессе.

Переполох на рейде Певека напоминал куриный, когда одна курица увидела зерно и наярила к нему, а все другие бросились следом, кудахча и хлопая нелетучими крыльями.

Оказалось, что «Комилес» и мысли не имел становиться под разгрузку первым. Он юркнул к причалу только для того, чтобы Симонов с семейством не лазал по трапам на катер и с катера, а сошел на землю с борта «Комика» по-человечески.

После этой операции «Комилес» вернулся на рейд.

По прибытии в порт назначения я, как все настоящие, двухсотпроцентные моряки, немедленно завалился в койку, чтобы послушать шум подводной лодки или посидеть на спине — и то и другое, как известно, обозначает для начальства «отдых», а для нена начальства «дрях».

Мой отдых был прерван стармехом через полчаса. Иван Андриянович кипел. Он напоминал пароперегреватель.

Оказалось, зашел к старпому за витаминами, попросить «СР» — таблетки черноплодной рябины. Раньше случайно видел, что у Арнольда Тимофеевича в столе много баночек с рябиной, — вот и зашел, чтобы тактично одолжить витаминов. Старпом сказал, что уже все таблетки съел. Тогда Ушастик заметил мимоходом, что Тимофеич поступил опрометчиво, ибо тут такой нюанс: черноплодную рябину нельзя принимать при тромбозах. А у Спиро тромб где-то там есть. И вот старпом непроизвольно дернулся к ящику стола, где рябина, чтобы посмотреть инструкцию на этикетке, но поймал себя на этом предательском движении и застопорился по дороге. А Иван Андриянович услужливо продолжил прерванное движение и выдернул ящик. И там обнаружилось двенадцать баночек рябиновых витаминов.

Я кое-как понизил температуру в Андрияныче и сел писать слезливое письмо в кадры с просьбой о назначе-

нии меня на курсы повышения квалификации судоводителей — это два месяца в Ленинграде при сохранении последнего оклада, — очень милые и симпатичные курсы, ибо ты два месяца только и делаешь, что соединяешь полезное с приятным.

Возле ворот порта Певек висит стационарный, на добротной фанере написанный масляными красками стенд-реклама. Среди пышных пальм призыв: «Приобретайте путевки в ТАЛАЯ — лечение нервной системы и органов движения!»

Не знаю, как обстоят дела с нервами у аборигенов, но нам не мешало бы навестить это таинственное ТАЛАЯ.

«Радость возвращения, эмоциональный подъем от выполнения рейсового задания нередко снижаются от портовой нечеткости в работе и необоснованного затягивания работ. В этот период у моряков отмечается чрезмерное перенапряжение, которое может привести к срывам».

Так пишут ученые-психологи. И честно, правильно пишут. В любом нашем порту труднее и нервнее работа, нежели в любых льдах и штормах.

Неприятно, что и моряки-капитаны в порту немедленно утрачивают традиционные морские качества. В море каждый из них рванется на помощь совершенно незнакомому коллеге, рискуя и головой, и карьерой. В порту законы чести и совести утрачиваются. Кто более разворотлив и талантливее плюхочействует, тот и выиграл.

Существует приказ министра, по которому в Арктике в порту назначения первыми обрабатываются (разгружаются) суда, первыми подошедшие к ледовой кромке. Но существует и положение, что первыми становятся к причалу в порту Певек те суда, которые первыми вошли в сам порт.

Наш караван подошел к Певеку кильватерной колонной, то есть одновременно. Но пока Фомич тянул Тома Кокса («тянуть резину» на английском морском жаргоне) с выходом на место якорной стоянки, нас, как я говорил, обогнал «Волхов».

Подпольная кличка у капитана «Волхова» — Сиволапый. Он умен, лысоват, не стар, органически не способен глядеть людям прямо в глаза и великолепный прохиндей

в портовых делах. Кроме того, как потом выяснилось, он дружок одного крупного начальника в Певекском порту.

Первыми к ледовой кромке в Арктике прибыли мы — «Державино». И ждали потом остальных на Диксоне. Первыми в кильватерной колонне за «Ермаком» к Певеку опять подошли мы. «Волхов» обогнал нас в миле от порта и шлепнул якорь всего минут на десять раньше.

Сиволапый, используя этот нюанс, отправился к дружку на берег и легко утвердился первым в очереди на постановку к причалу под разгрузку.

Очередность в Арктике важная штука — каждые сутки количество темного времени (ночи) возрастает на добрые полчаса, ибо уже осень. И с каждым часом лед на пути обратно на запад тоже будет плотнеть. И еще: суда из Певека обычно следуют в Игарку под лес. Там очередь всегда будь спок какая! И там уже не существует льгот судну, первым подошедшему к ледовой кромке. Там обыкновенная, «живая» очередь. И потому надо стараться попасть в Игарку возможно скорее.

И в силу всех этих обстоятельств я взрываюсь и решаю вступить в драку с Сиволапам прохиндеем. Мне, честно говоря, домой пора, в Питер. И тянуть Тома Кокса за хвост, когда все права на стороне «Державино», я не собираюсь.

Фома Фомич из игры выходит — не хочет портить отношения с Сиволапам. Мне терять нечего. И на общее совещание капитанов прибывших в Певек судов к портовому начальству еду я.

Отоспался с ужина до утра без просыпу, бодр и полон сил для решительной драки за справедливость во всем этом мире.

В 13.00 портовый катер обходит суда прибывшего каравана и собирает капитанов на совещание.

Еще на катере говорю Сиволапому, что лучше бы ему самому отказаться от притязаний на незаконную постановку к причалу первым.

Он только хмыкает. 1) Он, побывав на берегу, встряхнул старые связи, подмазал бутылкой бренди портового диспетчера или презентовал кое-кому из нужных людей отрезик кримплена из вольного города Гамбурга. Кримплен отличная смазка — не мнется, держит форму, легко стирается, в Гамбурге стоит чепуху, в местных условиях ценится выше набивной мягкой шерсти, крепдешина и

плотного шелка. 2) Капитан «Волхова» отлично сечет, увидев меня, что если на совещание едет не основной капитан, а дублер, то это значит, что Фомичев в драку с ним лезть не хочет. Дублер же есть дублер — то есть лицо второсортное, с зыбким официальным статутом.

— Вы не хмыкайте, — говорю я. — Мы первыми подоли к ледовой кромке и первыми обогнули мыс Желания. Я хоть и дублер, но на зубок все приказы министра знаю.

— А у меня груз особой срочности и ценности — пушнина, — назидательно говорит он. — Я отсюда пушнину повезу, а вы балластом пойдете. Стране нужно пушистое золото. Срочно нашей стране оно нужно. Вопросы есть?

— Нет, — говорю я. — Нет вопросов. Но если наша великая страна получит выручку за ваше пушистое золото на недельку позже, то она, представьте себе, килем вверх не перевернется. Или вы считаете, что Союз Советских Социалистических Республик встанет где-нибудь с протянутой рукой на международном перекрестке, ежели вы после «Державино» станете к причалу?

Он опять хмыкает:

— Вы все свои соображения портовому начальству объясните, а не мне. И что там с вашим капитаном? Чего это его не видно? Какие-то нелепые слухи ходят — мол, из Фомичева уже весь песок высыпался.

— Ничего. Не беспокойтесь за моего капитана. Он, даже если из него песок начнет сыпаться, каждую песчинку подберет и обратно куда надо запихнет.

— Зря он так будет делать. Сами запомните и ему передайте, — назидательно говорит Сиволапый, — что воды приходят и уходят, а песок остается. Грузинская мудрость. Запомнили?

— Запомнил. Спасибо. А не видно моего драйвера-капитана, потому что вас побаивается. А я нет. Я на тему морского джентльменства в «Моряк Балтики» такую заметочку засажу, что вы ее до самого деревянного бушлата на ночь вместо молитвы читать будете.

Он опять хмыкает, но хмык получается уже менее уверенный.

Воображаю, как он сейчас материт всю мировую литературу и периодическую печать!

Катер швартуется. Вылезаем на твердь. Идем к зданию управления портом. И вдруг Сиволапый спрашивает у меня:

— Вы раньше с Фомичевым работали?

— Нет.

— Удивляет вас, как это он среди джунглей вечных страхов и опасений жизнь без инфарктов прожил?

— Удивляет! — вырывается из меня помимо воли, ибо не следует перед дракой вести с противником отвлеченные разговоры — это, вполне возможно, психологический прием опытного человека, которым он хочет тебя раскиселить и сбить с решительного настроя.

— А я вам объясню, — как-то задумчиво и беззлобно говорит Сиволапый. — Фомич истинно русский человек, истинно! Безо всяких примесей. Этим, значить, все и сказано. Я у него еще вторым помощником плавал. Знаю, что говорю. Нерусский-то от вечных опасений, страховок — ну, как он на якорь-то давеча становился! это же в кино снимать надо! — так вот, говорю, что немец какой или француз на месте Фомича давным-давно, в материнском чреве еще, через сутки после зачатия уже бы с инфарктом был, а Фомич нервы как раз имеет высшей пробы! Ему нервов еще на сто лет опасений и страхов хватит! . . А вы, товарищ дублер, сами не под-джентльменски собираетесь поступать! — довольно неожиданно заканчивает Сиволапый. — Нечестно свою связь с органами массовой информации использовать в таких наших делах.

— Хорошо, вы правы. Это у меня от злости вырвалось. Слово даю, что не буду. И никогда еще этим не пользовался. Но один вопрос вам можно?

— Хоть десять.

— Вы с Полуниным раньше работали?

— А кто он такой?

— Замначальника Восточного сектора. Здесь он сидит, в Певеке. И все РДО вы получали за его подписью.

— Нет, — длительно пораздумав, говорит Сиволапый. — Не встречались.

— А я работал. «Аргус» вместе спасали в Индийском. Слышали про «Аргус»?

— Слышал, — говорит Сиволапый. И в его черепе начинается перебор вариантов: десять в девяносто девятой степени вариантов.

— Так вот, я с вами сейчас никуда вовсе и не пойду. Я по Полунину соскучился. Навещу его. Прошое помянем, по рюмке протянем. Здесь-то уж нарушения морского джентльменства не будет, а?

С Полуниным лично я не знаком. Скорее всего, он вообще не знает про факт моего существования на этом свете и про то, что наши дороги пересекались на Каргадосе. Но если дело пойдет на ребро, на рубикон, напропалую, я Полунина найду и справедливость найду с его помощью — в этом я не сомневаюсь, ибо общее прошлое, как я уже замечал, людей сближает здорово. И слово «Аргус» будет для Полунина как «Полосатый рейс» для Кучиева и как «Сим-сим, открой дверь!» для Али-бабы.

— Пожалуй, моя карта бита! — говорит Сиволапый и вдруг смеется.

Господи, как меняется человек, когда он смеется! И смеется без всякого раздражения. Умеет Сиволапый проигрывать — редкое качество. Не нашел он хода даже среди десяти в девяносто девятой степени вариантов.

— Почему это вы развеселились? — спрашиваю я, все еще подозревая подвох и замаскированное плухождение.

— А потому, что пока Фомич подходил к якорной стоянке, то здешний диспетчер — я его давно знаю, спокойный человек, даже флегма, — так вот, говорю, на тридцатой минуте вашего подхода он трахнул графин с питьевой водой об стенку, а когда вы наконец шлепнули якорь, то он, диспетчер, с радости как бы ополоумел, потому что разбежался от самых дверей диспетчерской и воткнулся головой в несгораемый сейф.

— А зачем у них там несгораемый сейф? — спрашиваю я, из последних сил защищая честь своего капитана равнодушием тона.

— Спирт в нем прячут. Чтобы не испарялся.

— Ну и что вы всем этим хотите сказать?

— Что «что»?

— Цел?

— Кто цел? Графин?

— Нет. Сейф.

— Сейф-то цел, но от сотрясения бутылка со спиртом — вдребезги!

— Бедняга диспетчер, — говорю я с искренним соболезнованием. — Даст ему сменщик прикурить!

— Да на нашей работе не потешился б, дак повесился б.

— Зачем же вешаться? Это старомодно, — возражаю я. — Видите на примере вашего дружка, что новые методы

появились, более соответствующие духу века: башкой в нескораемый сейф с хорошего разгона.

— Ну, на такое дело еще далеко не у всех ума хватит, — замечает капитан «Волхова». Подумав, добавляет: — Да и пространства на пароходе для хорошего разгона мало.

— Этого я не учел, — говорю я, уже кусая губы.

— Слушайте, — сквозь открытый и легкий смех спрашивает Сиволапый, — а как там этот пошлый Стенька Разин? Он меня чуть в гроб не загнал!

Предложена мировая. Конечно, принимаю ее с радостью.

— Слушайте, — говорю, — объясните, бога ради, как такие на флоте держатся?

— Наивный вы человек, хотя и писатель. Объясняю популярно, что еще никогда и никого с флота за трусливую тупость не выгнали и не выгонят. Если такого типа заносит в номенклатуру морской орбиты, то он так всю жизнь и кружит по ней, даже и при полном отсутствии в позвоночнике какого бы то ни было органического вещества. Этим я хочу только то сказать, что кто-кто, а Тимофеич себе на флоте местечко найдет, даже и в самый разгар научно-технического шквала, потому что флот — это вам не синхрофазотрон. . .

У дружка Сиволапого, то есть в кабинете одного из начальников порта Певек, происходит сцена, напомнившая мне сцену дуэли из «Героя нашего времени». В роли драгунского капитана, секунданта Грушницкого, выступил корешок Сиволапого. В роли Печорина — я. А Грушницким был Сиволапый.

Драгунский капитан никак не мог понять, почему Грушницкий засовывает пулю в пистолет Печорина, если они все так хорошо обговорили и пулю из вражеского пистолета вытащили. Дружок-корешок Сиволапого тоже выпучил глаза, когда капитан «Волхова» с ходу заявил, что имеет право только на третью очередь, ибо прибыл к ледовой кромке за «Державино» и «Комилесом».

— Но вы же первые стали на якорь в порту! — сказал драгунский капитан.

— Ладно, брось ты! — сказал Грушницкий и махнул рукой.

По Лермонтову, драгунский капитан тут плюнул, сказал, что, мол, подыхай как дурак, и отошел в сторонку.

Так же поступил и корешок Сиволапого. Только сплюнул он не на кавказскую травку, а в мусорную корзину под служебным столом.

Я возвращаюсь на «Державино», торжествуя победу.

Возле трапа встречает Фомич. Рядом с ним наслаждаются солнечной погодой вахтенный Рублев и Анна Саввишна.

Передаю Фомичу привет от Сиволапого и сообщаю, что, согласно грузинской мудрости, воды приходят и уходят, а песок остается.

Фомич задумывается. Анна Саввишна говорит:

— Песок остается? Оно и так бывает. Все на свете бывает. Бывает, и у девушки муж гуляет.

Рублев спрашивает у нее:

— А знаишь ли, батона, как па-грузински кракадыл?

Он спрашивает, как вы видите, по-грузински.

Анна Саввишна отмахивается. Фомич заинтересовывается:

— Как?

— Нианги, — объясняет Рублев.

Фомич вздыхает и приказывает:

— Раз ты, Викторыч, победил, сам и команду. По местам стоять, с якоря сниматься!

И мы первыми из каравана идем к причалу.

Швартуемся с лоцманом и при помощи буксира «Капитан Берингов». Вот, оказывается, еще какой почти однофамилец Беринга здесь плавал когда-то. И хорошо плавал, если его именем назвали судно.

Приехали окончательно: «Подать носовой продольный! Подать шпринг! Крепи кормовой продольный! . . .»

На портовом кране аршинными буквами, мелом: «ОСТОРОЖНО — ЗДЕСЬ ЖИВУТ ПТИЦЫ!»

Птичье гнездышко под крановой кабиной.

Восемнадцатое августа восемнадцать часов сорок пять минут местного времени.

На причале элегантный военный в накидке по последней моде и в шикарных черных четырехугольных очках. Форма какая-то странная, прямо-таки иностранный военный в мягком хаки! Оказывается: главный пожарник — встречает пожарные машины; так в них и впился глазами, так весь и подпрыгивает на причале от гордости и удо-

вольствия, так мысленно и облизывает наш палубный груз. Еще не успеваем завести последние концы, как пожарник уже следит за стропами и кранами, и кроваво-красные пожарные машины с запасными черными колесами и лестницами на спинах осторожно поднимаются в воздух и опускаются на причал. Ну что ж! Теперь Певек может спать спокойно!

Собираюсь на почту. Приходит Галина Петровна, просит опустить письма, только не просто опустить в ящик, но обязательно заказными и с уведомлением о вручении.

— Может, ценной бандеролью отправить?

Она вздыхает, на миг прикрывает глаза и непроизвольно дотрагивается рукой до левой груди. Пошаливает у нее сердечко.

— Виктор Викторович, я должна вам сказать. . . извините, но. . . может, как-то подействуете. . . Я как-то встревожена за Фому Фомича. . . что-то такое не то с ним происходит. . . Уж я-то его знаю! Он. . . он. . . вот это письмо его родному брату. . . и он его под копирку писал, простое письмо, обыкновенное, я читала, а он — под копирку. . .

— Ну и что? Вы меня простите, но откровенность за откровенность. Ведь весь рейс Фома Фомич с Арнольдом Тимофеевичем берут расписки за что угодно, друг у друга берут и по любому поводу, хотя и знакомы давно, и. . . Я такое первый раз наблюдаю. Но. . . видите: все на море бывает. . .

— Нет-нет! Вы меня не понимаете. С ним что-то не то. . . Ладно, извините меня, бога ради, — и глаза ее набухли слезами.

— Галина Петровна, просто вы мужа знаете по дому, а наш брат мужчины дома и на службе часто разные во-все люди.

— Наверное, вы правы, спасибо. Вы меня успокоили, — сказала она и ушла.

На почте, оказывается, обеденный перерыв. Жду его конца и раздумываю о «законе бутерброда». Ведь обязательно, если соглашаешься оказать кому-нибудь услугу, маленькую даже совсем — отправить письмо заказным, — то получаешь себе на шею массу лишних хлопот.

Давно опустил бы свою корреспонденцию в почтовый ящик и дело в шляпе, а тут. . .

А над территорией порта Певек гремит Высоцкий — шпарят его пластинку с гидрографического суденышка. Высоцкий музыкально и оглушительно озорничает во весь свой надрывный голос:

Мы топливо отнимем у чертей!
Свои котлы топить им будет нечем! ..

И шуточку: «Даешь стране угля!» —
Мы чувствуем на собственных ладонях! ..

А ветерок дует с моря, а море синее, а чайки белые, а вокруг всякий портовый хлам, а Высоцкий ушкуйничает с гидрографа «Створ» во всю свою хриплую глотку:

Я не верю судьбе, я не верю судьбе!
А себе — еще меньше! ..

А на синей воде бухты лежат кораблики, беременные генеральными грузами, а за бухтой дальний берег виден — замороженный тюлень в нежной дымке. . . Хорошо все-таки жить на этом свете, господа, если вы уже в порту назначения и скоро тронетесь в обратный путь, ибо — и это главное — ваше судно уже разгружается!

ШАЛОВЛИВЫЙ ГИДРОГРАФ И ЮЖАК В ПЕВЕКЕ

Итак, в соответствующем документе сказано, что в порту чаще всего происходят у командного состава стрессы и срывы. И это не только по причине сложности выгрузки-погрузки. Парадокс в том, что именно в родном порту или в порту назначения на тебя и на судно наваливается бесчисленное количество комиссий, инспекций,веряющих и всевозможных наставников.

Далекий Певек не оказался исключением.

К нам явился ревизор для проверки карт и навигационных пособий.

Шестьдесят шесть лет, толстый, «открывал Колыму» для мореплавания, ленинградец, сюда ездит уже пятнадцать навигаций, чтобы пугать нашего брата и зарабатывать полярные, фамилия графская — Бобринский,

Настроение Фомы Фомича к моменту появления графа-ревизора было великолепным. Мы только что вернулись от капитана порта, из которого Фомич выбил, выдавил, высосал, вымучил, извлек необыкновенно замечательную справку о полной выгрузке судна в порту Певек. Не о том справку, что груз сдан полностью, но что трюма у судов остались пустыми.

Про полезность такой справки Фомич услышал в Мурманске. И замучил грузового помощника, то есть Дмитрия Александровича, требованием справку получить. Тот нетактично отказался (что потом ему дорого обошлось, ибо Фомич человек памятливым).

Выдавливание шлепка печати на заранее сочиненную Фомичом справку происходило в моем присутствии и оставило незабываемое впечатление как у меня, так и у капитана порта. Думаю даже, капитан порта Певек запомнил справочный эпизод еще лучше. И вздрагивать будет не только в живом сне, но и под гробовой крышкой.

Боже, как бодро и весело начальник попервоначалу орал на Фомича, как оптимистически и яростно топал ногами, как энергично швырял паркеровскую ручку на стол, и как презрительно плевался в мусорную корзину, и как грозил, что напишет на Фомича таких телег и в такие места, что. . .

А когда мы уходили, начальник обвис на стуле, потускнел взглядом, говорил. . . ничего он уже не говорил, ибо сил у него на какое бы то ни было говорение не оставалось. И вообще, он был как муха, высосанная пауком. У него даже не хватало обыкновенных физических потенций совершить шлепок на бумажку с должной степенью давления на печатку. И Фомич ласково наложил свою руку на его и помог сделать отшлепок.

Гений Фома Фомич Фомичев! Гений, гипнотизер, парапсихолог, телекинет, наркотизатор, западнонемецкий колдун! Он выработал спецманеру говоренья с разной степенью слышимости. Например, периодически переходит на едва слышное произнесение набора слов, попури слов, вариацию слов, которые якобы имеют отношение к предмету разговора. Это как бы музыкальные темы, которые сплетаются в симфонию удушения любого нормального человеческого мозга. Живой мозг под действием разнотонового бормотания Фомича теряет упругость, размягчается, и слушатель хочет одного — избавиться от Фомича

любой ценой — только бы избавиться! И тогда цена удовлетворения перестраховочной просьбы капитана «Державино» о справке или иной бумажке начинает представляться несчастной жертве чепуховой по сравнению с опасностью навеки потерять разум.

Вот таким манером Фома Фомич получил справку о полной выгрузке судна в порту Певек, хотя такой бумажки никому давным-давно не дают и она никому не нужна, и — это уже нонсенс парапсихолога — у нас в трюмах еще оставалась добрая половина груза к моменту высасывания Фомичом справки!

И это не все! Фомич победил и сокрушил не только капитана Певека, но и его секретаршу, которая было ринулась на помощь высасываемому начальнику. А когда мы уходили, секретарша полулежала на кожаном диване в глубокой прострации и по выражению ее великомученического лица было ясно, что у нее страшная мигрень и она сегодня же возьмет бюллетень дня на три.

— Метод надо иметь во всяком деле, подход иметь, — объяснил мне Фомич по дороге на судно. — А наш второй помощник что? Тьфу, а не грузовой администратор и помощник! Меня, значить, в мореходке преподаватели больше тец боялись под конец-то обучения, когда экзамены сдавал. . .

Бумажку-справку Фомич уложил в папку, папку в ящик стола, ящик закрыл на ключ, приговаривая: «Мы тут, значить, не почту возим! Нам тылы прикрывать — первое дело нынче!» Ключ спрятал в нагрудный карман тужурки.

После такой сокрушительной победы в драйвере проявилось веселонравие какого-то неопределенно-неожиданного свойства. Он не просто откупился от графа-ревизора бутылкой бренди или блоком сигарет. Он закатил шикарный ужин с испанской мадерой, смирновской водкой и солеными грибочками.

А граф Бобринский поначалу запугивал нас такими зловещими истинами: «Товарищи судоводители! Плавание здесь, на трассе Северного морского пути, связано с трудностями, требующими от капитанов и штурманского состава особых знаний в вопросе гидрографического обеспечения и особой тщательности в отношении к соответствующей документации. Где отчеты о проведении со штурманами предварительных занятий?»

— Есть! Есть! Есть у нас отчетики! А вы вот грибочком, грибочком закусите! — говорил Фома Фомич, хотя никаких таких идиотских отчетов у нас не было. — Сама Галина Петровна солила, а я, значить, собственно-ручно собирал. Ну, вкусили? Конечно, Петр Петрович, и у нас грешки найдете, но только когда нам пособия разные суют, так, значить, и времени проверить их нет, потому как сами, значить, знаете, мы всего восемь часов стоим. А водочку вы мадерой подкрасьте. Удивительные зрительные эффекты получаются в цветовом спектре. . . Нет уж, Петр Петрович, так у нас в династии не кушают, нет-нет, вы уж муксунчика тоже вкусите — не пожалеете. . .

А между прочим, фомичовское семейство действительно хлебосольное. И Галина Петровна даже электрический самовар привезла на судно. И угощал Фомич Бобринского не только для подмазки — затеял ужин-то, конечно, для этого, а потом увлекся от чистой души.

Бобринский, не будь дурак, понял, что перед ним: 1) встревоженный его появлением человек; 2) человек, любящий поболтать с гостем, с новым лицом, про себя порассказывать и собеседника послушать (потому что собеседник-то может и что полезное под рюмку-то сболтать).

И когда Бобринский это усек, то перестал нести чушь официальной фразеологией, а пошел-поехал пить, есть и еще супругу Фомича за коленку прихватывать шестидесятишестилетними пухлыми лапами.

Последнее Фомичеву не очень-то нравилось, но ради пользы дела он терпел и супруге строгий знак сделал, чтобы она, значить, тоже терпела.

Удачно напавшая графа ершом из мадеры с водкой, Фомич еще хотел и меня втянуть в это дело, но я проявил качества Ганди и пить не стал. И не жалею, ибо спектакль получился замечательный.

Надравшись, старикан-ревизор заревел песни приморской юности. Например, я, который интересуется фольклором, впервые услышал такую арию:

Липовый ты, липовый, жоржик-военмор!
Где же ты шалаешься, клешник, до сих пор?
Чаем ты да сахаром нагло обманул
И на мне, бедняжке, грубо спекульнул! . .

Короче говоря, старикан расшалился. Однако и слезу сквозь шаловливость пускал, когда раз пятнадцать подряд исполнил песенный номер из крепостного, вероятно, репертуара, — в строку лучше будет: «Уродилась я, как во поле былинка, — безо всяких забот — кругла сиротинка. Девятнадцать лет по людям ходила, — где качала я коров, где детей доила. . .»

При первых исполнениях граф еще замечал, что героиня его качает коров и доит детей, спохватываясь и перепевал заключительный аккорд; но Фомич убедил гидрографа, что и в перепутанном виде замечательно у графа получается, и последние рюмахи тот лакал под качаемых коров, уже не пытаясь поймать обратно вылетевшее слово.

Затем шалун вырубился и был отведен мною в медизолятор, где я его уложил на стерильный хирургический стол-каталку. Затем закрыл открывателя Колымы на ключ под аккомпанемент жалобного призыва из-за двери:

Клешник, клешник, да не покидай ты нас!
Клешник, клешник, да не уезжай от нас!
Здесь приводишь ты девиц в экстаз! . .

Призыв на меня не подействовал, и ключ от медкаюты я спрятал по примеру Фомы Фомича в нагрудный карман, чтобы уберечь старикана от публичного обозрения.

Сам Фомич немного раскис, торжествуя очередную победу над враждебной окружающей действительностью, и когда я вернулся к пиршескому столу, то по секрету сообщил, что все про все на пароходе знает. Даже такой нюанс, что начрации предусмотрительно не реализовал в европейском Ленинграде парики, купленные в последнем загранрейсе, а привез их сюда, и очень, значить, удачно у него получилось, потому как парики в арктически-азиатском Певеке идут аж по сто двадцать рублей штука.

Затем мысли Фомича метнулись в сторону разбитого автомобиля. Он часто возвращается к этой теме, ибо очередь на новый кузов в магазине на Садовой должна была подойти Фомичу в июне, а повестку, по данным дочери, все не присылают.

Кузов необходим Фомичу, чтобы продать автомобиль не без выгоды. Конечно, и с новым кузовом так сокрушительно разбитый драндулет за хорошую цену продать

было бы трудно, но у Фомича есть в городе гараж — «сухой, полметра гравия, доски, сто рублей один пол стоил». И под соусом гаража да и с новым кузовом он десять тысяч из какого-нибудь директора — богатых-то директоров в Ленинграде пруд пруди — уж себе как-нибудь да возместит за пережитые ужасы.

Слово «директор» повлекло воспоминание о том, как Фомич служил в подразделении недалеко от зверопитомника-совхоза, директор которого был передовик и маяк, и потому к нему ездил в гости сам командир. Время было послевоенное, и какой-то враг выломал доску из забора, окружающего прогулочную территорию зверей, то есть из их, значить, как бы парка культуры и отдыха. И все песцы и чернобурки рванули на свободу в тундру. Тут передовому директору зверосовхоза засветила статья Уголовного кодекса. И маяк позвонил дружку, а тот по боевой тревоге поднял солдат и бросил в тундру на обратный, значить, отлов зверья. И вот Фома Фомич и другие солдатушки-братушки беглое зверье переловили вручную поштучно в енттой проклятой тундре и лесотундре.

Сам факт проведения необычной операции не оставил в памяти Фомича какого бы то ни было неприятного осадка, ибо войны четко понимали, что времена тяжелые и родине нужны шкуры, но вот то, что зверей кормили творогом и даже измельченными яйцами, заставило Фомича и нынче здорово ругануться, и тем он сомкнулся с Рублевым, которого возмущают рационы белых медведей в зоопарке. А я подумал, что ловить песцов и чернобурок вручную, пожалуй, и посложнее выйдет, нежели загонять обратно в резервацию философствующего американского мускусного быка при помощи вертолета.

Гейзер возмущения, направленный в сторону бесстыдных гурманов-куниц, песцов и чернобурок, стоил Фомичеву посошка. Галина Петровна, промолчавшая, как копченый муксун, весь шикарный ужин, тоже взорвалась, выхватила из рук супруга сверкающую всеми цветами спектра рюмку и велела драйверу лезть в койку. Мне она объяснила, что после аварии у Фомы Фомича часто и без рюмки болит затылок, — так болит, что никакие таблетки не помогают.

Я это замечал и даже отметил, как мужественно умеет перемогать боль при окружающих Фома Фомич. Ведь мы любим пожаловаться на боль — она вроде даже слабеет

от жалоб. Быть может, наука еще объяснит это самовнушением или чем-нибудь психическим. А Фомич еще ни разу не пожаловался ни на какое недомогание, хотя устает куда больше меня.

Пожелав супругам спокойной ночи, я отправился читать воспоминания о Вавилове под музыку «Маяка». Купил воспоминания на почте Певека.

Я читал о Вавилове и глубокомысленничал.

Сколько существует формулировок того, чем наука отличается от искусства! А в сущности — так просто. Искусство обязано помогать человеку не терять веры в смысл короткого и парадоксального, вообще-то, пребывания на свете; и делать это при помощи возбуждения в человеке ощущения красоты и наслаждения от нее. А наука не способна убить в человеке припадки ужаса от сознания бессмысленности и глупости существования. Наука заботится о материи. Имеется в виду не ученый-творец, а потребитель его трудов, то есть не создатель телевизора, а телезритель. Так вот, если телезритель будет смотреть на шикарный телевизор, то это не поможет спастись от петли в тяжкий момент жизни; а если он увидит в тяжкий момент на экране «Сикстинскую мадонну» или «Жизель», то, может быть, и не повесится.

Около ноля вспомнил шалуна в медизоляторе и решил, что он проспался и пора отправить старика домой, пока на берегу не подняли полундру по поводу его исчезновения.

Я растолкал Бобринского только минут через пять. Отверзши глаза, он, конечно, не мог понять, где он находится и что медицинская обстановка вокруг обозначает.

Я объяснил, что он находится на борту теплохода «Державино», где им удачно проведена ревизия навигационных карт и пособий, и что сейчас ноль часов и ему самая пора убраться с нашего борта домой к маме.

— В-в-вызовите такси! — властно-нахальным тоном приказал он. — Ик!

Так как ближайшее такси находилось в Магадане, то я попросил разрешения у строгого начальника вызвать пожарную машину. Он отказался.

— С-казал: такси! З-зачем мне п-пожарная м-машина? И п-предупредите таксера, что это нетаксично. . . ик!

— Что нетаксично, детка?

— Так далеко е-ехать... сюда... ик!

Я вылил ему на голову стакан воды.

Он чуть очухался, пробормотал уже без командирских нот:

— Тьфу, черт! Помоги, сынок, одеться... Вот старый дурак!

Ему рано было одеваться, ему сперва следовало помыться и нужен был доктор.

Несмотря на позднее время экипаж не спал. Смотрели телевизор. Через «Орбиту» транслировался из Японии женский волейбольный турнир на первенство мира.

Среди болельщиков была Анна Саввишна. Это значит, что она стала «отходить» после смерти кота. Слава богу, а то у меня за нее душа немного ныла.

«Отхождение» тети Ани в момент моего появления было особенно наглядно, ибо она как раз желала матросу без класса дневальной Клаве: «Чтобы никто тебе, такая-сякая, никогда до самой смерти под подол не заглядывал!»

Дамы, очевидно, чего-то не поделили в волейбольном зрелище.

Хохот после этого пожелания поднялся оглушительный, ибо о том, что самой Анне Саввишне туда никто (кроме Арнольда Тимофеевича в душевой) не заглядывал, знают все.

Док понял ситуацию с полуслова, не стал философствовать, то есть артачиться и говорить, что это не его дело. Наоборот, сказал, что знает несколько приемов для облегчения алкогольного токсикоза. Я поинтересовался тем, какие это приемы. Док объяснил, что пооблучает гидрографа солюксом и даст воды с пятью каплями нашатыря. Солюкс меня удивил, но я сказал, что ему виднее, и попросил, когда старик будет готов к депортации, доложить.

С вечера задул местный ветер «южак», уже дали штормовое предупреждение на восемь-девять баллов, по территории порта ездили машины без фар, и я побаивался отпускать старика в таком состоянии на берег.

Док оказался просто молодцом. Он откачал шалуна, помыл его и еще — сам убрал в медкаюте! Зачем доку плюс.

Спускаясь по трапу с борта, граф Бобринский бормотал: «Эх, водка! Эх, вековое наше проклятье!...»

Я отправил с ним салагу Ваню. А сам в десять тысяч первый раз стал к трапу в роли вахтенного матроса. Ване приказал довести ревизора до проходной и возвращаться назад бегом. Но вернулся он только минут через сорок. И смущенно объяснил, что южак сорвал и унес в Ледовитый океан шикарную гидрографическую фуражку старика с огромной «капустой». И добросовестный Ваня чуть не утонул, пытаясь спасти фуру, но не спас. А пока занимался спасательными работами, старик заснул под портальным краном, и его было не добудиться.

Шел второй час ночи. Ветер крепчал. И все вообще мне вокруг не нравилось. Я поднялся в рубку, позвонил в машину и попросил вахтенного механика на мостик. Потом позвонил старпому — он был вахтенным штурманом, но нормально дрых в закрытой каюте — и приказал поднимать боцмана, матросов и заводить добавочные концы, ибо ветер давил с берега, а судно было в полугрузу и уже высоко торчало бортом над причалом.

Мне доставило удовольствие сообщить обо всем этом Арнольду Тимофеевичу. На море есть много всевозможной отвратительной работы. Заводка добавочных концов в хороший ветер в середине ночи тоже не мармелад.

Явился вахтенный второй механик, умеющий сидеть в пригородном автобусе, когда вокруг качается два десятка дачниц. На мой приказ, отданный, конечно, со словами «прошу», «пора бы» и «не тяните кота за хвост», о приготовлении машины в связи со штормом второй механик сказал, что он не карла и без личного приказа деда и пальцем не дотронется до дизеля. Ну что ж, он вел себя точно так же, как на его месте вел бы себя я.

Пришлось звонить деду. Он не стал спрашивать, что, почему и зачем, сказал:

— Буду через пять минут.

Первым из палубной команды вылез на свет божий Рублев. По всем правилам попросил разрешения войти в рубку, поизучал обстановку, заявил, что тут не только барану, но даже и психологу ясно, что добавочные концы заводить придется.

— Это, значить, ты меня вроде бы бараном обозвал, а? — спросил я.

— Ни в коем разе! — заверил Рублев. Немного поблеял бараном: попробовал, так сказать, голос. И очень

толково подсказал, что не мешало бы завести в корме вместо штатного кранца бухту старых тросов. Есть у них в форпике такая бухта, а южак только еще начинается и даст прикурить как следует; он, Рублев, однажды здесь так кувыркнулся на «Анадырьлесе», что. . . такого и незабвенный майор Горбунов, который майором служил испокон веку и изъездил на верном коне всю Россию и многое видел, но такого безобразия, как тогда в Певеке на «Анадырьлесе», никогда не видел, хотя во всех обстоятельствах его жизни прямо или косвенно принимала участие нечистая сила. Закончил эту чушь Рублев голосом стармеха:

— У нас тогда нюансы были по нулям, валы стучали в машине оглушительно, а поршни цилиндров купались в масле!

И я хохотнул, как обыкновенный мальчишка, потому что это любимая присказка деда в щекотливые моменты, когда щекотливые для стармеха моменты надо перевести в юмористическую плоскость.

— Ну и чего вы расхохотались-то на этого попугая? — опять голосом Ивана Андрияновича спросил Рублев.

И я не сдержался и приснул пуще прежнего. И тут обнаружил рядом натуральные уши натурального стармеха, а не рожу Рублева, которого и след простыл, как будто имитатора сдуло южаком за дальность видимого горизонта.

Ивана Андрияновича Рублев уважает и побаивается.

— Прости, Андрияныч, — сказал я. — Надо машину готовить. А второй механик мне в этой маленькой просьбе отказал. Без твоего личного приказа готовить не хочет. Если веревки порвем, таких дров на рейде наломаем, что все прокуроры оближутя.

Иван Андриянович, побряхтывая со сна и тихо чертыхаясь, минуты две изучал пейзаж рейда и гидрометеопейзаж сквозь залепленные мокрой грязью окна рубки.

Ветер давил от ста тридцати градусов, был типа длительного упрямо-тупо-тягомотного шквала, при ясном небе, под девять баллов.

Кораблики на рейде вытянули якорь-цепи в струнки и сами казались струнками, только потолще — контрабасными, например. «Ермак» уставился огромным парусом ооновской надстройки на ветер и ходил на якоре, как

задумчивый сом на спиннинге. Краны на причале вроде как покачивались, хотя это уже обман зрения был.

А на горушке правее городка неподвижно лежало плоское, тяжелое и чем-то жутковатое облачко — точно как в Новороссийске в бору. Картинка от черноморской отличалась только тем, что в Певеке чайки и в такую погоду не боятся садиться на волну.

Убедившись в том, что обстановка достаточно безобразная, Иван Андриянович гавкнул по телефону второму механику то, что требовалось по приготовлению машины, а затем поинтересовался, почему я не мог тактично объяснить ему нюансы прямо в каюте, когда он лежал в теплой постели, и на кой черт потребовалось его из постели извлекать, — он бы и из каюты мог позвонить этому прохиндею и вообще разгильдяю и лодырю, то есть второму механику.

— А потому, — объяснил я, — что иди-ка ты сам, Андрияныч, в машину и сам там приглядывай. И поднял я тебя только потому, что не хочу тебе неприятностей. Тут такой нюанс. До глубокой ночи по телевизору через «Орбиту» показывали волейбольный матч между японцами и нашими. Женский матч, между прочим. И никто из твоих маслопупиков и механиков, естественно, спать не ложился. И кроме того, половина под газом. Возьми вот бинокль и посмотри на бак.

— А там я чего не видел? — спросил Иван Андриянович. — Чего там мои маслопупики делают? Душ принимают?

— Не мотористы там, а боцман, то есть профсоюзный вожак, — объяснил я. — Добавочные концы заводит. Ты посмотри, посмотри. Интересно. В цирке-то давно не был?

— Тут такой нюанс, что я и без бинокля вижу, — мрачно сказал вриопомполит, бросив беглый зырк прямо по носу.

Да, наш толстяк боцман совершал на баке, заводя добавочные концы, такие кульбиты, стойки на кистях и задние сальто, что не только любой циркач, но и любой орангутанг ему бы позавидовал.

— Шеи они там не посворачивают, Викторыч? — поинтересовался стармех.

— Вполне возможно, — утешил я его. — Но еще хуже, если концы не заведем. Сейчас я их заставляю во главе

со Степаном Разиным бухты старых тросов в корме за борт вместо кранца засовывать. Рублев посоветовал.

— А он-то хоть трезвый, трескоед этот?

— Да.

— Все ясно, Викторыч. Спасибо, что поднял. Пошел в машину.

За поддержание порядка на судне, то есть за порядок службы, отвечает старший помощник. Потому, когда Арнольд Тимофеевич явился с бака и доложил, что концы заведены, я тактично намекнул ему, что пароход скоро развалится и что ему пора прибрать толпу к рукам.

— У них деньги есть, — прогнусавил он, подтирая рукавом нос. — Я говорил! Я говорил, что нельзя на стоянке им деньги выдавать!

Ну, о чем будешь разговаривать с человеком, который бесстыдно демонстрирует бессилие гальюнщика, а не хватку и твердость старпома! Ведь на военной службе, где власть осуществить проще, нежели на гражданском флоте, он небось только и делал, что твердил «ежовые рукавицы». А здесь суровая действительность показывает крупным планом, что магические слова утратили творческую силу, и Арнольд Тимофеевич поневоле поддерживается от них, когда надо спуститься в низы к выпившим и недовольным им людям; и потому большую часть свободного времени в Певеке он сидит, закрывшись и выпучив глаза, а следовательно, и не имеет случая и возможности выказывать административные таланты, то есть буквоедствовать в зачете выходных дней дневальной Клаве, обозвавшей его ослом.

В последнем абзаце я по примеру Рублева обокрал Салтыкова-Щедрина.

Оужак продолжал крепчать, судно било о стенку, хотя ветер был чисто отжимной.

Волновая толча в бухте металась под ветром, как стадо овец под кнутом пьяного пастуха, то есть в самые разные стороны, и бежала не только под ветер, но и, отражаясь от противоположного берега, возвращалась обратно и била нас о причал.

Я по всем видам радиотелефонной связи пытался вызвать диспетчерскую порта, чтобы прояснить прогноз. Андрияныч уже доложил, что машины более-менее готовы, и, если дело шло к урагану, следовало подумать о том,

чтобы отдавать концы и, пользуясь отжимным направлением ветра, выскакивать в море. Но диспетчерская глухо не отвечала.

Очень не хотелось, но я облачился в штормовик, опустил уши у шапки и отправился в диспетчерскую сам, выбирая путь за опорами кранов, за выгруженными штабелями грузов, за бетонными блоками строящегося склада, чтобы иметь прикрытие от сумасшедшего ветра, чтобы он не сдул несколько десятков килограммов моей плоти в серую мешанину волновой толчеи под причалом вослед за фуражкой Бобринского.

Ночная пустынность была вокруг, все и всё попряталось от ветра и стало в порту Певек, используя такую прекрасную непогоду для спокойного отдыха.

Ветер обвивал прикрытие, как лиана баобаб, и доставал со всех сторон.

Возле здания диспетчерской валялся и трепыхался, забившись углом под крыльцо, кусок железа, явно сорванный с крыши этого заведения, которое оказалось абсолютно, по-лунному безжизненным.

Я обошел два этажа и не обнаружил ни одного человека! Вот какие нервы у наших полярников. Они не такие штуки здесь видели, чтобы сидеть в диспетчерской, коли работы в порту по случаю южака прекращены. Они нормально наяривали по домам.

А в кабинетах отдыхали от эксплуататоров пишущие машинки, арифмометры и старомодные счеты. На подоконниках цвели цветочки. И всюду горел вполне бесмысленный свет.

Зря я совершил путешествие сквозь бушующие стихии в эту обитель спокойствия. И, обозвав себя крепкими словами, сделал это вслух, от всей души, чем вызвал эхо в пустых коридорах, я отправился обратно на родное «Державино».

Надо быть моряком, чтобы знать, как уютно и прекрасно чувствуешь себя на судне, вернувшись после штормового путешествия по земной тверди, и каким райским теплом дышат грелки, и какой вообще аркадией оказывается твоя прокуренная каюта. И какое наслаждение подержать руки под струей горячей воды, и заодно помыть раковину умывальника — для соединения приятного еще и с полезным.

Само же путешествие мое не было вовсе бесполезным.

Я, конечно, и раньше знал о местных ветрах типа боры здесь, но именно безмятежная пустота ночной диспетчерской и поведение других судов убедили в том, что все нормально, что ветер в ураган не перейдет и нечего держаться и думать об отходе от причала.

О чем я и сказал Андриянычу, когда он явился с предложением попить чайку, если уж я его поднял.

Дело шло к утру, ложиться спать смысла не было, и мы неторопливо попили чайку. И я услышал рассказ, как роте Ушастика был дан приказ взять какую-то деревню. И они ее взяли малыми потерями, почти без боя, и, как все настоящие солдаты, обрадовались такому положению вещей — окопались, и даже костерки в окопах тихонькие развели: мороз был большой.

И вот подвозят им боезапас ездовые на лошадаках и орут, что в следующей деревне, куда отошли немцы, есть две копны сена, цельненьки, стоят за околицей, и что надо бы и ту деревеньку взять, потому что боевые клячи уже неделю не жравши и под ветром качаются.

А тут такой нюанс: командир роты был из кавалеристов и лошадей любил и жалел; и вот он тактично пошел по рядовым бойцам и провел симпозиум на тему: «Согласны они взять еще одну деревеньку или нет?» И раз такое дело, то воины и согласились, и взяли, и лошадак покормили.

— Неужели без приказа свыше, без штабов всяких пошли и взяли? — усомнился я. — Ведь за такую самодеятельность ротному могли ноги повыдергивать.

— Обошлось. . .

Вот так мы провели время до завтрака, а после завтрака по мою душу явился книголюб-пропагандист с просьбой выступить перед читателями местной библиотеки. Конечно, я согласился. Тем более и пропагандист понравился. Мы с ним целый час прорассуждали о Тейяр де Шардене и об искусстве.

Дочь пропагандиста четвертый раз поступает в Гнесинское, хотя, по его собственному выражению, «тупа к музыке и вместо божественного дара имеет по-матерински крепкий лоб».

Объяснив мне этот нюанс, несчастный отец ушел служить в золотодобывающую промышленность. А я глядел в окно каюты ему вслед.

Южак продолжал свирепствовать. Гаки порталных кранов мотались никак не маятниками Фуко. И все вообще напоминало Новороссийск до какой-то уже даже странно неприятной повторимости тяжелого сна. Штормовать в порту для моей психики куда хуже, нежели в море. Терпеть не могу сильный ветер на берегу.

И вот под вой певекского южака вспомнилось, как я пошел за «Справкой о приходе судна» в управление Новороссийского порта в разгар тяжелой многодневной боры. Такая справка нужна для оформления морского протеста, а протест должен быть подан в течение первых суток после прихода. Потому и пришлось переть по лунно-безлюдным закоулкам и улицам в управление порта.

Пока добрался до управления, бора сделала из меня и моей психики отбивной бифштекс. А в вестибюле сидела старуха охранница. Из уже ничего не понимающих в окружающей действительности старух, старух с крысиной настороженностью ко всему на свете, с некрасивой немочью, злобностью и фельдфебельской жаждой власти (подобной той, которую использует смотрительница ночного общественного нужника, выпихивая на обледенелый ночной тротуар ослабшего сердцем помирающего пьяницу, хотя он молит оставить до утра, потому что деваться ему некуда).

И вот я сцепился с такой старухой в вестибюле управления Новороссийского порта: она, не помню под каким предлогом и по какой причине, решила не пропустить меня в портнадзор.

Многодневная бора! И как люди в Новороссийске существовать могут?

У меня случился тогда первый и, слава богу, пока последний припадок с потемнением в глазах и полной потерей контроля над собой. От патологической ненависти к старухе и омерзения. Детали не помню. Помню только, как начали подниматься руки и потянулись к ее жалкой глотке. Это был настоящий припадок, это была настоящая, без примесей, достоевщина. Я мог ее задушить голыми руками тогда.

Но нашелся какой-то бог, кто-то заорал внутри: «Ты сходишь с ума! Ты сходишь с ума! Ты сходишь с ума!» И вспыхнувший мозг как-то опал. И я даже как-то физически ослабел. Старухи-то, когда сознание окончательно

прояснилось, в вестибюле уже не было. Она, верно, крысиным чутьем почувствовала, что к чему, и смылась с девичьей проворностью в неизвестном направлении... И потом мне было стыдно и страшно самого себя. Ведь я, конечно, представил всю жизнь старухи, всю боль в ее ревматических ногах, опущенном после голодух желудке и доброй сотне всяких других мест и подумал, что в оккупацию она, быть может, наших раненых прятала или в их колонну свой хлеб кидала, и те-де, и те-пе...

Вот что такое многодневная бора на суше, о, как расшатывает она нервишки. Никогда ни в какой ураган на море я не ощущал даже ничего похожего на тогдашнее затемнение в мозгах. Ведь в штормовом океане иногда даже петь хочется...

Певекский южак злобен, как новороссийская бора, но короток. Он исчерпал себя к полудню. А когда я отправился на встречу с читателями, был уже полный штиль.

До начала мероприятия посидел возле библиотеки на детской площадке.

Качели, турники, качалки.

Только деревьев нет.

Детство без зелени берез и пуха тополей. Во всем остальном певекские дети — обычные дети. Веселые, румяные, красиво одетые. И в том они еще обычны, что один похоршее, другой посреднее, третий — вылитый питекантроп. И каждого своя судьба ждет. В соответствии с тем, как он на детской площадке резвится. Один отчаянно качается на ржавых качелях или на доске, а другая куда-то на крышу сарая лезет и стремится туда с настойчивостью Дарвина, а третий к качелям подойти боится — заяц будет...

В библиотечном зале были накрыты столы — кофе, коньяк; свет, чисто, уютно, и даже живые ромашки в изящных вазочках.

Читатели дьявольского порта и библиотекарши «тянут» в современной литературе так, что меня кидало и в пот и в краску — современную беллетристику знаю плохо, а вопросов уйма.

И я решил лучше почитать книголюбам свою собственную сказочку про булыжники. Она тем хороша, что ничего короче я в жизни еще не сочинил:

«Они лежали тесными рядами и всегда чувствовали плечи друг друга.

Они были булыжниками и все вместе назывались мостовой.

Каждый день булыжники работали до поздней ночи. По их спинам ехали машины, громыхали ободья телег, шагали люди. Воскресений для них не бывало.

Булыжники любили свою работу, хотя от нее у них часто шумело в головах.

Только глубокой ночью, когда засыпали люди, забирались в гаражи машины и, опустив на землю оглобли, замирали телеги, на дороге становилось тихо. Тогда можно было и булыжникам или подремать, или поболтать между собой о том и другом.

Иногда ночью моросил дождик и мыл булыжникам усталые спины. Иногда их поливали из длинных шлангов молчаливые люди в белых передниках — дворники. Дворники, вообще говоря, самые главные начальники над булыжниками.

Потом прилетал ветер, сушил на спинах и боках булыжников воду, обдувал песчинки.

Всем на мостовой это было приятно. И булыжники любили предутренние часы, когда можно было болтать между собой, смотреть на медленно светлеющее небо и чувствовать, как потихоньку начинают шевелиться возле них травинки.

Потому что, как бы тесно ни лежали в мостовой булыжники и как бы много ни ездили по ним машины, травинки — маленькие, тонкие, но живые — всегда находили лазейку и чуточку высывались из земли.

Когда начинал падать снег и мороз пробирался глубоко в землю, травинки переставали жить. Но до самой весны булыжники вспоминали своих травинок, и жалели их, и ждали, когда они опять начнут шевелиться.

Булыжники были хорошими, честными работягами, и они хотели знать, сколько кто наработал за день. Поэтому молодые считали все машины и телеги, которые проезжали по мостовой. Ночью молодые сообщали эти цифры старым. Старые не считали. Старые забывают арифметику и потому не любят считать.

Старые по ночам вспоминали прошлое и рассказывали о нем молодым.

Они говорили, что главная гордость булыжника — лежать на главной колее, там, где работы больше всего.

Потому что зачем лежать на мостовой, если тебе нечего делать? Для чего?

Но не все всегда думают одинаково. Да это, наверное, и скучно — всем всегда думать одно и то же.

На самой обочине торчал из земли большой и очень, очень твердый булыжник по прозвищу Булыган. Он был красивый — весь в блестках слюды, голубой с розовым отливом и очень гладкий.

Булыган торчал из земли выше всех других булыжников. И очень важничал от этого.

Никто не ездил по его спине. Все обходили и объезжали его. Потому что кому охота спотыкаться?

Как-то один пьяный человек зацепился за него ногой и упал. Человек рассердился и долго пинал Булыгана по голове каблуком сапога, а Булыган только смеялся над ним.

Он вообще смеялся над всем и над всеми. А больше всего — над своими братьями, которые лежали на главной колее и много работали.

— Вы глупые и серые булыжники! — кричал по ночам Булыган. — Вы каменные тупые головы! Неужели вам не надоело подставляться под вонючую резину шин? Неужели вам нравится брызгаться искрами под железными ободьями колес? Неужели вам не надоело смотреть на лошадиные копыта сквозь подковы? Ведь шипы на подковах так больно царапаются! Вылезайте, как я — повыше из земли, — и все начнут вас объезжать и обходить. Тогда вы долго будете молодыми и красивыми, такими, как я!

— Перестань! — обрывал Булыгана очень, очень старый булыжник по прозвищу Старбул. — Перестань! Мне стыдно слушать твой слова!

Старбул уже сто лет работал на разных дорогах. Он был весь в морщинах и щербинах, в конопатинках и шугамах. Старбул помнил еще те времена, когда по дорогам ездили в каретах, а женщины носили такие длинные юбки, что подолами гладили булыжникам головы.

Все на мостовой очень уважали и любили Старбула за мудрость и честность.

Старбул и в старости трудился больше других — и глубже всех других ушел поэтому в землю.

После строгих слов старого булыжника Булыган ненадолго умолкал и все старался перевеситься набок, чтобы скатиться с обочины в канаву. Там, в канаве, тек ручеек, росли тенистые лопухи. И Булыган хотел попасть туда, уйти от трудолюбивых братьев подальше. Но щепень крепко держал Булыгана, и скатиться в канаву ему все не удавалось. Разозлившись, он опять начинал издеваться над другими булыжниками и портил им настроение.

Он кричал Старбулу такие плохие слова, как «заткнись, старый!», и после этих слов Старбул умолкал. Потому что нельзя упрекать старого в том, что он стар. Ведь это не грех и не преступление — быть старым. И это совсем не весело сознавать.

Старбул умолкал, потому что ему было горько и обидно слышать такие плохие слова от совсем гладкого булыжника. «Портится, портится молодое поколение», — думал Старбул.

Так жили на мостовой булыжники и не знали, что ожидает их в будущем.

А люди, которые ездили и ходили по мостовой, говорили, что пора уже покрыть дороги асфальтом, чтобы твердые булыжники не портили шины машин, и чтобы не звякали рессоры в колдобинах, и чтобы красивее все стало на дороге вокруг.

Сперва люди только говорили об этом, а однажды перегородили мостовую деревянными загородками и повесили на загородки круглые железные бляхи с красными восклицательными знаками посередине.

Было лето. Солнце ярко светило. Голубое небо и солнце отражались в булыжных спинах. Тишина стояла над дорогой.

— Что такое? — удивлялись булыжники. — Почему так тихо? Почему солнце светит, а никто не ездит по нам сегодня? Старбул, что вы скажете об этом? Может, нам дали воскресенье?

— Подождите, я думаю, — отвечал Старбул. Он не любил торопиться. Но когда пришли рабочие люди и стали сыпать на мостовую чистый мягкий песок, Старбул сказал:

— Судя по всему, друзья, нас будут ремонтировать. Нас повалляют с бока на бок и пересыпят новой щебенкой. Лежите спокойно. Все будет хорошо. Грейтесь на солнышке. . .

— Ха-ха-ха! — немедленно загоготал Булыган. — Наконец-то я попаду в канаву! Люди не оставят меня и дальше торчать здесь и мешать им. Скоро ручеек в канаве начнет журчать вокруг меня, а лопухи расскажут мне всякие интересные вещи!

— Мы тоже будем рады расстаться с тобой, Булыган, — хором отвечали ему сознательные булыжники.

В полдень люди отодвинули с дороги загородки и пустили на мостовую тяжелые машины — утрамбовки.

Утрамбовки были ленивые машины. Они никогда никуда не торопились. Они едва-едва крутили громады колес, но под этими колесами-цилиндрами все булыжники делались одного роста. Под этими колесами тонким голосом пискнул Булыган и глубже всех других вдавился в землю, и треснул при этом пополам.

— Ой! — вздохнули добрые булыжники. — Бедный Булыган!

— Так тебе и надо! — сказали не очень добрые булыжники.

— Ты перестал быть булыжником, ты просто битый камень теперь, — сказал, подумав, Старбул. — И это хорошо, потому что теперь ты не будешь позорить наше звание. Но мне искренне жаль тебя. И постарайся понять, что и самый простой камень тоже может служить хорошо и честно работать, хотя он уже и не булыжник.

Так сказал мудрый Старбул, а Булыган замолчал навсегда, потому что простые камни не могут разговаривать.

К вечеру утрамбовки кончили ползать по мостовой. На смену им притащились машины, которых булыжники никогда раньше не видели.

Эти машины тоже были ленивы и никуда никогда не торопились. Из них тек на спины булыжников теплый мягкий асфальт.

К утру вся дорога покрылась им, а булыжники никак не могли понять, что случилось. Они ждали, когда опять начнет светать, покажется солнце.

Солнце, однако, не показывалось. Было душно.

— Какая душная долгая ночь! — удивлялись булыжники. — Надо спать: во сне время проходит незаметно. Какая странная ночь сегодня!

И они опять засыпали и все реже и реже просыпались. А когда просыпались, то видели только черное над собой. То есть они не видели ничего.

Потом они перестали просыпаться. Зачем просыпаться, если ничего не видно вокруг?

Только Старбул все не спал. Он был старый. Старые любят подремать. Им трудно долго не дремать. Но Старбул не спал и все думал.

Он лежал в темноте и тишине, потому что другие булыжники перестали просыпаться и разговаривать между собой, и думал о длинной ночи, о травинках, которые почему-то перестали шевелиться даже на обочине мостовой.

«Может, травинки умерли? — думал Старбул. — Умерли так, как они умирают на зиму? Но почему? Ведь еще не холодно!»

Так он думал.

И все вокруг было тихо. Совсем тихо.

И вдруг, когда Старбул уже решил, что ему ничего не понять и поэтому тоже следует заснуть, он что-то услышал.

Это был слабый, едва слышный звук: «Ш-ш-и-х! Ш-ш-орх!»

Потом опять: «Ш-ш-орх! Ш-ш-и-х!»

И каждый раз, когда раздавался этот звук, темнота начинала давить на спину Старбула. Очень слабо давить и совсем ненадолго, но все-таки. . .

«Это несутся автомобили, — понял Старбул. — Они. . . они едут! Они едут над нами!»

Он хотел закричать об этом, разбудить все булыжники мостовой, но сдержался и стал слушать и думать дальше.

«Нас чем-то закрыли. Чем-то очень гладким, потому что никогда раньше по нам так быстро и с таким слабым нажимом не пронсились машины», — понял Старбул. И еще он понял, что никогда не увидит солнца. Никогда больше дождик не будет мыть ему спину, а ветер сдувать песчинки и гладить его шрамы и конопатинки. Травинки перестали шевелиться потому, что они не могут жить без солнца и воды.

«Мы все больше никогда не увидим солнца, — думал старик булыжник. — Но зачем мне говорить об этом другим? Разве им станет легче? Пусть они спят и во сне ждут утра. Так им будет покойнее. Ведь хотя они и не знают правды, но все одно работают, даже во сне. Мы продолжаем делать дело, но нас не видно. Скоро все наверху забудут о том, что здесь лежим мы — старые булыжники — и держим на спинах гладкую темноту».

Так думал Старбул, и ему все больше и больше хотелось спать. Потому что зачем бодрствовать, если ничего не видно вокруг?

И он заснул.

А над ним было светло, по асфальтовому шоссе мчались машины, ехали телеги и шли люди».

ПОПЛЫЛИ ИЗ ПЕВЕКА В ИГАРКУ

РДО: «В/СРОЧНО Т/Х «ДЕРЖАВИНО» СЛЕДУЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕДКОМ ЛЬДУ ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ МЕЛЕХОВА ДАЛЕЕ ЧЕРЕЗ 7110 16033 7133 15800 7138 15600 7216 15300 ОТКУДА ЧЕРЕЗ ТОЧКУ 7200 15100 ДОЛЖНЫ ВХОДИТЬ В ПРОЛИВ ЛАПТЕВА ЮЖНЫМ ВАРИАНТОМ ВДОЛЬ ИЗОБАТЫ 8 МЕТРОВ».

Закончили выгрузку в 02.00, оформили документы и отошли на рейд в 03.09 22 августа.

Приказу следовать самостоятельно Фома Фомич сопротивлялся с такой же мрачно-смертельной решительностью, с какой все судовые буфетчицы почему-то сопротивляются ношению белого чепчика...

Когда говоришь по «Кораблю» (по УКВ), нажав тангетку, то собеседник никакими силами тебя прервать не может, ибо ты его не услышишь до того самого момента, пока сам, своей волей, тангетку не отпустишь. Вот эту-то техническую тонкость Фомич использует на всю катушку.

Удачно протянув резину таким манером с тангеткой часа четыре и вторично доведя диспетчера порта Певек до попытки пробить головой сейф, Фомич было уже

решил, что ему разрешат не следовать самостоятельно и дожидаться «Комилеса» на якоре в бухте, но...

РДО: «НЕМЕДЛЕННОСТЬ ВЫХОДА КОЛЫМУ ПОДТВЕРЖДАЮ ТЧК РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ПОЛУЧЕННОЙ КАЛЬКОЙ ДАЛЕЕ ПРОЛИВОМ МЕЛЕХОВА ДАЛЕЕ ЗАПРОСИТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КНМ ЛЕБЕДЕВА КНМ ПОЛУНИН».

— Против лома нет приема, если нет другого лома, — пробормотал Фома Фомич.

И в этот момент (очень неудобный, неподходящий момент для подобного вопроса) Галина Петровна спросила у супруга:

— Это правда, что если чайка сядет в воду, то будет хорошая погода?

— Вообще-то, значить, правда, — ответил разъяренный неудачей Фома Фомич, — но и среди них падлы попадают! Сядет такая на воду, а погода-то и плохая!

Такую грубоватую реакцию Фомы Фомича можно еще объяснить тем, что он, по его собственному выражению, «репу ломал» всю ночь на предмет какой-то где-то на нашем пути примерзшей ко дну Восточно-Сибирского моря подводной стамухи и какой-то еще неприятной радиогаммы с какого-то непонятого парохода.

Да! Чуть не забыл, что Фома Фомич за свое более чем полувекое существование так и не познал природу и назначение кавычек. Потому названия судов он всегда пишет без кавычек, чем иногда запутывает даже себя.

Но самым ужасным для Фомича бывает вариант, когда радиограмма действительно путаная и угадать ее философский смысл надо интуитивно. Так, например, однажды ему принесли радиограмму, в которой вместо подписи отправителя стояло два слова «ПРОШУ ПИНСКИЙ», причем ни о какой просьбе разговора в тексте не было. Этот мучительный случай закончился только через двое суток, когда, придя в очередной порт, Фомич узнал, что там есть мелкий начальник Прошупинский...

Когда Фомич встречается в эфире коллегу, то сразу что-нибудь вспоминает из прошлого, ибо за долгие годы со многими работал или общался раньше. Это такие воспо-

минания: «Значить, этот-то, кажись, это он в пятьдесят шестом мне белье сдавал без процентовки, не на дурака нарвался. . .» Или: «А этот вторым механиком на «Коломне». . . полтонны картошки у меня с ночной вахтой съел, а высчитать так и не удалось с него. . . Ишь холодильник отрастил — на одни брюки два метра надо, — жрет, как трактор. . .»

Восточно-Сибирское море Фомич упрямо называет «Новосибирским». И в разговоре с капитаном порта Певек тоже так называл.

Еще о наивности Фомича. Он двадцать раз в Арктике и, например, впервые узнал, что летом не бывает северных сияний, — какая-то симпатичность в таком безмятежном неведении обо всем, что лично Фомича не касается.

Итак, в жутком Певеке дела закончены — судно обработано. «Обработать судно» звучит странно. Но смысл выражения простой — такой же, как, например, в выражении «обработать квартиру» на воровском жаргоне. То есть ее обчистить.

Сдали груз более-менее ничего. Не хватило двухсот-двадцати банок консервов и нескольких мешков сахара.

Консервы воровали и жрали прямо в трюмах, бросая за борт пустые банки, певекские грузчики. Саныч припутал одного, но тот потом удрал, а бригадир не назвал фамилии.

С 12.00 до 18.00 вдоль острова Айон по узкой щели между семибалльным льдом и берегом, в сплошном тумане при сильном солнце — самое омерзительное сочетание, ибо ничего не видно.

Много плавающих ледяных полей метров по сто пятьдесят — двести и отдельных внушительных глыб.

Около ноля вошли в сплоченный лед.

Уже ночь. Тьма.

За нами шел «Булункан». Фомич все науськивал его пройти вперед. «Булункан» местный, назначение на Колыму, осадка четыре метра, может огибать мыс Большой Баранов в четырех кабельтовых. Под берегом полынья чище. Выбрались в нее, пропустили «Булункан» вперед. Там (хорошо видно по радару) свинья псов-рыцарей — ледяной мешок.

«Булункан», не будь дурак, не полез, шлепнулся на якорь. Мы, конечно, тоже.

Я послал РДО на Чекурдах Лебедеву, что, мол, застряли, ждем рассвета, видимости, указаний.

Нашел туман, еще более глухой.

Под килем восемь метров, кромка в полутора милях, одно любознательное любопытствующее поле все поровит приблизиться и познакомиться. Очень настырно и навязчиво оно это делает.

Фома Фомич о «Булункане»: «Как бы его первым подтолкнуть. Вот он за мыс пройдет, нам скажет, что да как, тогда и мы пойдем...»

Разин: «В войну у нас одному командиру и старпому крепко припаяли. Они не прошли, а кто-то прошел. Надо ждать, но только так, чтобы кто другой не прошел...»

Утро. Развиднелось.

«Булункан» уже ползает у подножия Большого Баранова.

Фомич: «Плыть-то оно, значить, нужно бы... Но, значить, первая заповедь-то какая? В лед не входить — вот она, первая заповедь-то... И мы не пойдем. Вот когда «Булункан» окончательно за мыс проникнет и нам скажет, то... Нет, значить, первая заповедь: в лед без приказа не входить, самовольно, значить, не положено...»

А есть пока один приказ: идти к Колыме и потом к Индигирке самостоятельно...

Полдень.

Солнце. Ясность. Огромное небо. Тумана нет и в помине.

«Высокое» или «низкое» небо не зависит от высоты облаков. И при облаках оно бывает иногда огромным, а при чистом зените — низким. Почему небеса распахиваются, не знаю.

Над мысом Большой Баранов они распахнулись в голубую необъятность. И абсолютный штиль. И холодная стеклянная прозрачность вод вокруг льдов. И белизна льдин. И зелень их подножий. Вот все-таки опять обнаружена зелень в Арктике.

И зелень ледяных основ сквозь прозрачную стылость вод не мертва. Глядя на такую изумрудно-салатную зелень, способен понять, что и вся жизнь родилась из океана.

Оранжевые лапки и клювы крупных полярных чаек. На каждой мачте и стреле сидит пассажир — чайка. Это те, которые насытились, безбилетники. У полярных чаек особенное — какое-то приветливое, самую чуточку испуганное отношение к судну. . .

Когда «Булункан» уже вошел в реку и говорил с диспетчером Колымы, Фомич решил соваться в лед у Баранова. И мы поплыли. И мне показалось, что в самых глубинах своего опасливого, но морского (!) сердца Фомич обрадовался тому, что пошел в лед. Но все-таки его сердце было, вероятно, похоже на чайчи лапки — оно часто поджималось и переступало по ребрам его грудной клетки, точно так, как это делают полярные чайки на льдинах.

Необходимо отметить, что тетя Аня резко и броско похорошела и серьги каким-то особенным блеском сверкают в ее ушах.

Близко места, над которыми я летал на разведку.

На путевой карте есть приписка: «Место высадки де Лонга». Его могилу на карте я не нашел.

Сутки нормального плавания в сильно разреженном льду.

Делать двум судоводам в такой простой ситуации на мосту нечего. И я мирно спал на диване в штурманской рубке.

Пока на вахте был Дмитрий Александрович, я видел хорошие сны. Потом заступил старпом. Я встал, спустился вниз, попил чай с сухим хлебом и не менее сухим сыром (среда) и опять завалился на диванчике в штурманской.

И был разбужен нечеловеческим по накалу испуга и значительности воплем старпома: «Виктор Викторович, снег!»

Еще не уразумев, что там за словом «снег», я слетел с дивана и влетел в рулевую осколком шрапнели, успев в этом полете все-таки заметить время по часам над штурманским столом — 05.15.

Оказался обыкновенный снежный заряд и, естественно, резкое уменьшение видимости, но при включенном радаре и чистом море никаких оснований для нечеловеческого вопля не было. . .

А Тимофеич смотрел на меня, как невероятно глупая, но невероятно верная собака, поднявшая хозяина с постели в пять пятнадцать утра бешеным лаем в адрес хозяйской дочери, возвращающейся с гулянки.

Всю следующую неделю — до траверза Хатанги — точное повторение того, чем я уже утомил вас, описывая дорогу на Восток.

Лед, лед, лед, лед, мы идем по Арктике. . . Лед, лед, лед, лед, мы идем по Арктике. . . Интересно, был ли Киплинг женат? . . . Лед, полынья, лежание в дрейфе, лед, прибрежная полынья. . . День, ночь, день, ночь, мы идем по Арктике; день, ночь, день, ночь — все по той же Арктике. . .

В проливе Лаптева несколько тяжких мгновений при вроде бы неизбежном навале на «Гастелло». Пронесло чудом.

Вообще-то, конечно, Арктика середины навигации другая, нежели в начале. Имеется в виду не сама Арктика, а наша деятельность в ней.

Начало навигации — это период с изрядной долей показухи, это много статей в газетах и вспышка энергии.

Сейчас Арктика — льдина, которая перевернулась вверх брюхом, то есть вместо заснеженной белизны вдруг показалась грязь и тина от всех мелей, на которых эта льдина сидела. Ледоколов не дозовешься, самолеты разведки уже все поломались и не летают неделями, корабликов набилось уйма, вожжи управления ослабели, организация оказалась полулиповой, все пошло по-русски — то есть извечным «давай-давай!». . .

На траверзе Хатанги получили приказ ожидать атомную «Арктику».

Бездеятельный дрейф в ожидании ее скрашивал Шериф. Он все чаще делит с нами тяготы морской службы. И растет с такой скоростью, как будто воздушный шарик надувают велосипедным насосом.

В Певеке Саныч носил щенка к ветеринару, бедняге вкатили укол от бешенства. Он получил на этот предмет справку с печатью и зазнался, и держится так, что напоминает мне меня самого в детстве. Помню, когда еще не

умел читать, то ходил по улицам, держа перед глазами развернутую газету: читаю, мол, даже на ходу — такой грамотей. И вот один язва-мужчина взял да и перевернул газету перед вундеркиндом на сто восемьдесят градусов — я держал ее вверх ногами.

Шерифа Саныч собирался назвать Аполлоном или Аполло — в честь американских покорителей космоса. Потом решили, что это непочтительно по отношению к героям. А я еще добавил, что у одного сумасшедшего есть рассказ, который ведется от лица собаки-боксера, и звать боксера Аполлоном, и что такое имя подходит только для интеллигентских собак, а не для чистокровной чукотской лайки. И тогда по закону ассоциативного мышления его назвали Шерифом — тоже американское.

В 16.00 явился Арнольд Тимофеевич и занял на тему щенка, ибо обнаружил в ватервейсе кал, и что если еще раз обнаружит, то по законам и положениям имеет право щенка выкинуть.

Саныч попросил извинения и сказал, что немедленно после сдачи вахты пойдет и уберет. Умеет держать себя в руках второй помощник. Хотя сегодня получил какую-то неприятную РДО от жены.

Угрозы старпома выкинуть щенка пугают и меня. Это просто сделать так, что никто и не увидит: свалился, мол, щен по глупости за борт — и концы в воду. И Саныч теперь закрывает каюту, когда уходит куда-нибудь без Шерифа.

Дело и в том, что щенок начал гавкать. И с каждым днем громче. И вот он, чувствуя врага в старпеме, гавкает даже тогда, когда тот транзитом следует мимо. Мало того, Шериф начал лаять по ночам, когда слышит, как в соседней каюте переворачивается с бока на бок Спиро. И Санычу пришлось смастерить щенку миниатюрный намордник. Попробуйте своими руками надевать душевному, обаятельному, пушистому существу — собачьему ребенку — намордник! Саныч сперва хотел запираť щенка на ночь под полубак, но потом мы решили, что такое еще больше Шерифа травмирует и обидит.

Внутрисудовая мелкая политика и даже дворцовые перевороты не для дублера капитана. Я прикомандированный. И в интриги Арнольда Тимофеевича со щенком тоже не совался. Но попробуйте избежать склок в квар-

тире, если в кухне у единственной плиты день изо дня толкаются Спиро, Фомич, Ушастик, тетя Аня и вы.

И я тоже сорвался, ибо Шерифа полюбил, причин для раздражения на Спиро скопилась полная запазуха. Ну-жен был только повод.

Арнольд Тимофеевич при обострении ледовой обстановки, как я уже сто раз говорил, уюркивает с мостика в штурманскую рубку. Когда кризисная ситуация разрешается, он возникает на мосту.

Иногда у меня даже мелькает подозрение, что Спиро плохо видит вдаль. Быть может, этим объясняется его стоическое сопротивление приказу выходить на крыло и смотреть вперед при движении в тумане и тяжелом льде?

И нынче, когда подошла «Арктика» и начали движение, он исчез.

Я с левого борта проворонил ледовый выступ правой бровки канала, поздно прибавил ход, в результате судно не зашло на поворот в ледовую щель с достаточным радиусом циркуляции, чудом проскочили, но чпокнулись сильно.

И сразу появился старпом:

— Намучился с радиопеленгами. Один другого забивает. Понасовали радиомаяков — и не разберешься с ними. Вот в тридцать девятом — было всего два! Не спутаешь...

— Арнольд Тимофеевич, вы ведете себя преступно, — сказал я. — Я сниму вас с вахты, если вы еще раз уйдете в штурманскую при движении в тяжелом льду.

— Вы позволяете себе со мной так разговаривать, потому что я беспартийный! — прошипел Арнольд Тимофеевич.

Доктор, который от безделья околачивался в рубке, прыснул. Все знают, что карьерные неудачи старпом объясняет беспартийностью. И потому у него на душе в смысле карьеры покойно, вообще-то.

— Простите, — сказал я. — Но от своих слов я не откажусь. Если обрисовать ваше поведение Службе мореплавания, то дальше Мойки вы больше не поплывете.

— А если обрисовать парткому, что вы слушаете антисоветские китайские передачи, то и вы далеко не уплывете, — многозначительным и холодным, как вода на Колыме, шепотом сказал Арнольд Тимофеевич.

Мы были близко от Колымы. Потому и пришло такое сравнение.

Дело заходило слишком далеко, чтобы я мог позволить себе роскошь безответности.

— Зарубите себе на носу! — заорал я. — Зарубите себе на лбу! Что это будет ваш последний рейс, если вы не будете вести судно! Марш на крыло!

Он только ошалело закосил на меня глазом.

Когда человек с перепугу бежать уже не может, прыгать, ясное дело, тоже не может и говорить не может, то ему одно остается — ошалело и дико косить глазом. И это производит впечатление на слабонервных.

Ведь самые жуткие портреты — когда взгляд в три четверти.

Вот автопортреты, например, взять. Жуть берет от некоторых. Художники-авторы чаще всего смотрят с бесмертных полотен зрачком, загнанным в самый угол век, в офсайт.

И старпом, когда его прихватываешь, также оказывается всегда к тебе боком и бросает дикий, злобный взгляд, именно загнав зрачки в самый корнер глаз.

Когда я оторался, он вылез на правое крыло и торчал там битый час, хотя мы скоро вошли в мелкобитый лед и ему как раз можно было бы и не торчать там.

Рублев сделал вид, что не слышал моего неуставного вопля. И для укрепления во мне такого ощущения с ходу принялся рассказывать о семейной жизни.

Первая жена архангелоса была из деревни. Звали Рыжая. До Рублева ей было как до лампочки, но необходима была ленинградская прописка. Через четыре дня после получения прописки Рыжая его покинула. Новая жена хорошая: все понимает, потому что плавала судовой поварихой. Теперь работает резчицей — режет ткань по выкройкам. Скудная работа. Девяносто — сто рублей. Требуется от Рублева мытья ног перед сном. Если он выкобенивается, сама ему моет, — еще одна в некотором роде Мария Магдалина. Недаром наш ас-рулевой носит такую знаменитую фамилию и имя.

У радиста первые связи прямо с Ленинградом. Слышно на два балла, но он просиял. До чего же всех людей тянет к домашнему.

С 12.00 до 18.00. Вдоль берега Прончищева, мимо бухты Марии Прончищевой и островка Псов с генеральным стремлением к заливу Терезы Клавенес проливом Мод под водительством атомохода «Арктика». Судя по шумихе в газетах и в эфире, атомоход, вероятно, уже докатился вослед Пушкину и Наполеону до шоколадных этикеток и пирожных, и витрин кафе типа «Полюс», и миллионов спичечных коробок. И свирепый осетин подобрел. Мил и заботлив. А может быть, он улетел в отпуск, а командует другой дядя? Во всяком случае, «Арктика» даже шутит — грубовато, но пошучивает и с трогательной заботливостью предостерегает о всплывающих ледяных рифах.

Ледоколы похожи на безжалостных, перегруженных операциями хирургов еще тем, что на подходе вместо знакомства спрашивают:

«Державино», у вас винто-рулевая группа в порядке?»

«Да!»

«У вас на машину жалобы есть?»

«Нет».

«Как с корпусом — водотечность была?»

«Нет, слава богу!»

« Попрошу не говорить лишних слов!»

«А где я лишние слова сказал?»

«А про бога — лишние. Вам не кажется?»

«Простите, вас понял. . .»

Идти за «Арктикой» первые четыре часа было трудно, а последние два — страшно. Атомоход рвал суда из десятибалльного льда, как зубы из здоровой челюсти. Есть понятие «рвать с болью», и еще одно — «драка до первой крови». Оба годятся для передачи ощущений от прошедших двух часов.

Но сперва «Устюг», потом «Гастелло» оказались кормой вперед в торосистой перемычке, что вызвало у них самих некоторое недоумение.

Добрый дядя с «Арктики» посуровел и выразил скромное желание видеть их носы на курсе, а не смотрящими в зад. Но его понукания не помогли. Караван затерло многолетним льдом, при взгляде на который у меня начинали ныть давно вырванные зубы мудрости и сосать под ложечкой. И атомоход наконец сказал, что он неспособен помочь отставшим и потому будет выводить поштучно. Правда, это он уже не сказал, а опять прорычал.

Нам адресовался первый рык:

— «Державино»! Начинаем с вас! Держать дистанцию пятьдесят метров! Работайте «самым полным»!

Я чуть было не нарушил морские традиции. Очень хотелось зарычать в ответ: «Ты там от своих атомов с ума не сошел?!» Но, конечно, сдержался и бесстрастно переспросил:

— Я — «Державино»! Вас не понял. Какую дистанцию держать?

— Пять-де-сят мет-ров! И не бойтесь! У нас такая моща, что в любой секунд дальше Брумеля прыгнем! По каравану! Слушайте внимательно!

И «Арктика» человеческим голосом объяснила всем судоводителям, что у нас инерция мышления, что мы боимся сверхмалых дистанций, а тактика плавания за атомоходом в тяжелом льду без промежуточного ледокола должна быть именно такой: минимальная дистанция и полный ход, так как атомоход вдруг заклинить и неожиданно остановиться при его мощности не может, а значит, и опасности впилить ему в корму с полного хода нет никакой.

Я честно попытался вникнуть в новую тактику возможно глубже, но не вник. И сказал Дмитрию Санычу:

— Фиг им, а не пятьдесят метров! Будем держать не меньше двухсот. Как думаешь?

— При полном ходе три фига им, а не пятьдесят метров, — мрачно сказал Саныч. — И не двести метров, а не меньше двух кабельтовых.

И мы врубались в дьявольский хаос шевелящихся, вертящихся, налезających одна на другую, опрокидывающихся, встающих на попа льдин за кормой «Арктики», так и не преодолев инерции своего старомодного мышления.

Сегодня я знаю, что новая тактика оправдалась и атомоход внедрил ее в сознание капитанов тех судов, с которыми часто работает. Но в данном случае старомодность мышления нас спасла, ибо «Арктика» плавала первую навигацию и еще недостаточно знала самоё себя.

Минут через двадцать адского движения «Державино» содрогалось, стонало и молило о пощаде, а мы дергались на крыльях мостика от сотрясений, как китайские болванчики, под аккомпанемент свирепого рыка: «Сократить дистанцию!»; так вот, минут через двадцать мы со смерт-

ным ужасом увидели, что атомоход встал! Встал перед нами так неподвижно, будто упер форштевень в мыс Баранова! А мы работаем «полным вперед» и давать «задний» бессмысленно — Ушастик и застопорить-то не успеет. И всякие «право-лево на борт!» также бессмысленны — на двухстах метрах никуда не отвернешь. По инструкции и согласно хорошей морской практике, в подобных ситуациях положено одно — пытаться попасть застрявшему ледоколу своим форштевнем в середину его кормы: меньше последствия удара для обеих сторон.

— Андрей, целься ему в . . .! — крикнул я Рублеву.

— Знаю! Стараюсь! Только все одно скулой врежем! Струей отбрасывает!

Какая уж там «струя». Под кормой «Арктики» была не струя. Там кипели зелено-белые буруны, гренландские гейзеры и все разом, включая «Самсона», петергофские фонтаны от продолжающих работать трех огромных винтов.

Через несколько секунд эти красоты скрылись из видимости, полубак «Державино» и надстройки атомохода — вот и все, что мы видели. Вяло и неторопливо я перевел телеграф на «полный назад».

— Отзвоните аварийный, три раза отзвоните, — посоветовал Дмитрий Санюч. — Для записи в журнал.

Громадина «Арктики» нависла над нами, мы уже двигались как бы под ней.

— И отзвонить не успеем, — сказал я и подумал о том, что Фомич, конечно, проснулся от адских сотрясений, с которыми мы шли последнее время, и сейчас стоит у окна каюты и горячо благодарит провидение за то, что на мостике в момент навала и аварии был дублер.

Вероятно, оставалось метра три, когда «Арктика» — несколько десятков тысяч тонн стали — в полном смысле этого слова присела, как обыкновенная лошадь перед прыжком, и прыгнула вперед: они успели вывести движители на полную мощность всех своих семидесяти пяти тысяч атомных лошадей и прошибли баррикаду стороженных льдов на границе ледяных полей, в которую уперлись. Кабы дистанция между нами была пятьдесят, а не двести метров, то . . . то секунд не хватило бы, и «Державино» оказалось без правой скулы и с затопленным первым трюмом — это как минимум.

Я перекинул рукоять машинного телеграфа на «пол-

ный вперед», очень торопливо перекинул — мощь семидесяти пяти тысяч атомных лошадей, превратившись в Ниагарский водопад кильватерной струи, ударила нам в нос, и «Державино» почти вовсе потеряло движение. Когда я дергал телеграф, то представил теперь Ивана Андрияновича в машине и то, как он сыплет проклятия на идиотов судоводителей, которые на мостике сами не знают, какой, куда и зачем им нужен ход.

Потом вытер холодный пот со лба.

Я вытер со лба действительно обильный пот, и он действительно был холодным не от ветра и мороза, а от пережитого.

— Нечистая сила! — выдохнул Рублев.

— Пожалуй, какой бы у нас сокращенный экипаж ни был, а следовало бы вызвать на вахту второго матроса и мерить льяла непрерывно, — сказал Дмитрий Саныч.

Оба были правы, то есть я был полностью с ними обоими согласен.

— Да, ребята, это вам не фунт изюму, — сказал я. — Но теперь будем держать пятьдесят метров. Уверен, после такого урока ледобои больше не зазеваются.

И оба соплавателя согласились со мной.

А когда мы вышли в полынью, вместе с нами из-за туч вышло солнце; дьявольские льды засверкали, вода заголубела. С «Арктики», которая описывала крутую циркуляцию, чтобы идти обратно в перемышку за оставшимися там корабликами, кто-то помахал нам ободряюще рукой. Настроение наше стало солнечным. Мы легли в дрейф и глядели вслед «Арктике» и на далекие черные точки — застрявшие кораблики, которым еще только предстояло осваивать новую тактику ледовой проводки за атомоходами, и чувство испытывали приблизительно такое, какое возникает у человека, уже расставшегося с проклятым больным зубом и вывалившегося из кабинета дантиста в коридор, где он видит бедолаг, ожидающих своей очереди на экзекуцию. Или такое чувство мы испытывали, как у драчуна, который с огромной радостью обнаружил у себя на физиономии кровь, и потому прозвучало долгожданное: «Брэк!»

Благополучно выдернув в полынью все суда каравана

на, «Арктика» подняла в воздух вертолет. Мне всегда кажется, что надо быть профессиональным самоубийцей, чтобы работать вертолетчиком на судне: взлет с тесной площадочки на корме и посадка туда же с косого нырка.

При этом на корме атомохода горит чадный, какой-то красно-черный, траурный костерчик — снос дыма показывает пилотам направление ветра над самой палубой.

К полудню атомоход отвернул правее, а нас отправил под наблюдением вертолета по прибрежной полынье, где чистая совсем вода.

И мы пошли по синей полынье, слева тяжелые и холодные, стальной тяжести снеговые тучи обложили берег Прончищева, в зените голубело непорочно, справа в белых льдах шла параллельно нам «Арктика», и вокруг всего этого дела стрекозой парил вертолет. И с него раздался голос в адрес головного:

— «Великий Устюг», подо мной большое-большое стадо моржей! На ледяном языке! Я над ними завис!

«Устюг» ничего не понял и переспросил:

— Кто, какое стадо висит?

— Моржи, моржи подо мной! Большое стадо!

— Понял! Спасибо!

И все мы поплыли дальше, тараща глаза в бинокли, а вертолет повис над далеким белым ледовым языком, как привязанный веревочкой. Вероятно, он спугнул зверей, потому что минут через десять «Устюг» сказал:

— «Державино», осторожнее! Не задавите моржей! Они тут вокруг плавают!

И мы увидели справа и слева плавающих тесными группками-семействами моржей. И мамы-моржихи на скакивали на маленьких и клыками гнали их в сторону от судов. . . Все — и большие и маленькие — были сивые, а бивни были белые.

Фомич вел судно. Он, конечно, чувствует некоторую виноватость передо мной. Ведь, когда судно попадает в стрессовую ситуацию, основной капитан, по неписаному закону, должен сам лететь на мостик и взваливать на себя ответственность.

Потому, услышав про моржей, он посмотрел на меня вопросительно-просительно и довольно неуверенно спросил:

— Викторыч, я объявлю, а? . .

До чего же он обожает сообщать по принудительной

трансляции экипажу всякие новости, когда экипаж спит после вахт.

И Фомич объявил о моржах и пригласил всех желающих на палубу. Прибежала и его супруга, и смотрела на моржей в бинокль, и ахала, все мы повизгивали и тоже ахали.

Как плохо будет людям без моржей!

Физиономии моржей смахивали на Виктора Борисовича Шкловского, прости он меня за такое.

И вспомнились его рассуждения. Он сидел на балконе Дома творчества в Ялте, подсматривал за Черным морем в щель между кипарисами и говорил сам с собой: «Даже вода устаёт течь. . . Киты устают отдавать ворвань людям. . . И перестают рожать. . . Устают стальные корабли. Они прежде всех. . . Моряки, которые шаркают вокруг земного шара, как платяные щетки, устают. . . Мне ничего не нужно, кроме того, чтобы мне не верили. Но на это мне пришлось потратить немало усилий. . .»

«Ослабленный теми или иными факторами длительного плавания, моряк, как любой больной, становится гораздо чувствительнее, он более быстро воспринимает все, что слышит и видит, а поэтому более подвержен вредоносным психическим воздействиям». (Подчеркнуто мной. — В. К.) Очень интересно, что происходит утончение чувствительности, а не задубливание ее.

Это из «Инструкции по психогигиене», очень толковой, откровенной, даже, сказал бы, мужественной инструкции. Наконец-то начали нам объяснять то, чего мы не знаем, но что знать необходимо с научной, а не интуитивной точностью. Например, открыто написано: «Оценка его половой способности женщиной представляет для моряка после возвращения из рейса особую важность. Потому необходимо объяснить моряку, особенно молодому, что дезорганизация полового акта обязательно зависит и от партнерши».

Традиционная российская целомудренность, часто переходящая в обыкновенное мещанское ханжество, в наш век играет особенно опасную роль. Ведь, если говорить честно, современная литература у нас часто такая беспоялая, что читатель теряет к ней интерес.

Теперь из другой оперы, но все-таки чем-то связанной с предыдущим текстом.

Перед трапом в кают-компанию висит большое зеркало. И каждый раз, когда я спускаюсь питаться, то вижу себя во всей красе, начиная с ног. В зеркале появляются кирзовые русские сапоги, а потом вся моя изящная фигурка, не отягощенная жировыми отложениями.

И вот каждый раз я думаю о том, что тяжеленные русские сапоги легко делают русского мужчину — мужчиной. Даже если он вовсе и не мужчина от самой природы или от смертельной усталости. Вот в чем тайна нашей непобедимости! Солдат, добывший себе сапоги, — вдвойне солдат. А уж если со скрипом, да новые, да ежели погромче прогрохотать подковами на ступеньках, то любой замурышка в русских сапогах уже и удалец из удалцев!

И стоит это укрепляющее средство двенадцать рублей.

06.00. «В эту заполярную ночь на черном серебре заштилевшего заполярного моря спали черным сном черные льдины».

Пожалуй, слишком красиво звучит, а?

Но это правда. В Арктике попадают угольно-черные льдины.

Мельчайшие пылевые частички при извержениях камчатских вулканов стратосферными траекториями заносит черт знает куда — они выпадают и на арктические льды. Солнце разогревает частички, лед вокруг них тает, они оседают, уплотняются и наконец покрывают льдину черной кожей, совсем черной.

И вот в штилевую заполярную ночь на серебре вод иногда спят черные льдины. Ну, а то, что им снятся черные сны, это я сам придумал. Уж больно злит Арнольд Тимофеевич. Душа просит поэзии хотя бы в самодеятельном исполнении.

После того как я сорвался и наорал на старпома, радист рассказал, что это Спиро был инициатором донорства на морском флоте.

Году в семидесятом в газете «Водный транспорт» появилась заметка «Во имя долга». Газета сообщила о новом замечательном почине: чтобы все советские моряки стали донорами.

И вот оказывается, это Арнольд Тимофеевич зарабатывал таким путем общественное признание и политический авторитет, компенсируя, так сказать, беспартийность.

Ну что ж, не самый дурацкий почин. Быть может, несколько тонн здоровой моряцкой крови спасли кое-кому жизнь или продлили ее. И можно считать, что одно божеское дело Спиро совершил и может теперь помирать спокойно.

А то, что после ночной вахты перед сном я частенько слушаю зарубежные передачи — это факт, и пускай старпом думает, что имеет против меня козырную карту.

Чудеса происходят с эфиром в Арктике. То доносятся голоса с другого края света, то вообще ничего не происходит ни на каких волнах.

Сегодня в три ночи по местному вдруг услышал передачу из Каира на русском языке.

Дикторшу в Каире зовут Наталья Шериф — тезка нашего щенка, который уже растерзал в клочья шлепанцы хозяина.

ВСТРЕЧА В ВИЛЬКИЦКОМ

К 14.00 подошел «Мурманск», повел на запад, прижимаясь к острову Большевик.

Около шестнадцати миновали меридиан мыса Челюскина — трудно он всегда дается, этот мыс!

Мысленно поклонился Семену Ивановичу Челюскину. С полярным штурманом сюда вышли три солдата. Они остались безмянными.

...И пусть солдат всегда найдет
У вас приют в дороге...

Поклонился я, конечно, всем четверым подвижникам.

Радировали нотис на пароход к лоцману в Игарку на вечер тридцатого. До чистой воды, по данным «Мурманска», четырнадцать-шестнадцать часов. То есть у меня будет еще шесть часов во льду — и все. Ледокол сказал, что ребята из экспедиции «Комсомольской правды» ничего

русановского на Большевики опять не нашли и уже вернулись домой в Москву.

Мимо островов Фирнлея в тяжелых перемычках.

Один раз застряли. Правда, и повод был: забирали с «Мурманска» двух пассажиров до устья Енисея.

«Мурманск» подошел изящно и четко в тяжелом льду, и мы приняли пассажиров спокойно, в полной для них безопасности.

Элегантный молоденький штурманец, в одной форменной курточке, при галстукке и в бальных туфлях на высоких каблуках, стоял в небрежной позе на самой корме ледокола (шел снег) и докладывал на мостик дистанции и свои советы (очень толковые) по работе машинами и рулем.

Красиво все это было — отличные ребята растут на ледоколах. Интеллигентные и вежливо-достойные. Догоняешь, к примеру, «Мурманск» (в тумане вдруг резко сокращаются дистанции до него), говоришь: «Ледокол, мы вас догоняем на «малом!»»

Вахтенный штурман ледокола: «Простите, «Державино»! Увлёкся радаром и зазевался! Добавляю ход!»

Когда бились в тяжелых полях под самым островом Большевик, «Мурманск»: «По каравану! У меня тут с правого борта медведь крутится! Попрощайтесь с ним!»

Мы: «Не отпугните его только!»

«Мурманск»: «Стараяемся!»

И он нас дождался — мишка. Был чрезвычайно недоволен нашим появлением. Недовольство и брюзгливая раздражительность сквозили во всем — от морды до походки. Очень толстый был мишка.

Попрощались, помахали ему ручкой. Живи, бродяга, и не кашляй, и пусть тебе на шею не водрузится автопокрышка!

На выходе из Вилькицкого у кромки лежал в тумане «Ленин» с табуном-стадом речных перегонных корабликов — боялся вести их в тяжелый лед на ост.

Я, конечно, не удержался, вылез на связь с флагманом табуна, спросил, идет ли капитан Малышев.

Флагман ответил, что Малышев ведет кораблик вокруг Скандинавии и еще не догнал караван.

Послушали разговоры перегонщиков на их канале:
— ...Выход на связь при чистой воде только при белой ракете...

— В Хатангу заворачивать не будем...

— Полыньи проходить, не подбирая буксиров...

— Да не танкер я! Я толкач! Я музыкант!

— Репетую: «Тридцать первый» не танкер, а из музыкантов!

— Спасибо, вас понял!..

Толкач — это речной буксир, приспособленный толкать носом баржи. Чтобы видеть поверх баржи, на толкачах изобрели и внедрили очень высокую рубку. В реках это хорошо и удобно. Но когда наблюдаешь толкача в море, где он качается на шестибалльной волне, то удивляешься, что несчастный ванька-встанька имеет на мостике еще живых людей.

Качаться там — то же самое, что космонавтам вращаться на центрифугах.

«Музыкантами» их прозвали потому, что первые перегонные буксиры-толкачи носили имена знаменитых композиторов: «Чайковский», «Глинка» и так далее. И хотя с нами, например, в шестьдесят четвертом шли художники — «Перов», «Верещагин», — но звали их уже только «музыкантами». Думаю, для перегонщиков этот тип судов останется «музыкантами» навсегда. Ведь в кличке просвечивает российское: «Пропадать — так с музыкой!..»

Капитаном-наставником Экспедиции спецморпроводок речных судов двадцать лет работал моряк и писатель Юрий Дмитриевич Клименченко. Ныне его уже нет на свете.

В трудный момент Юрий Дмитриевич протянул мне дружеский плавник. Я исчерпал материал, обмелел литературно. Стулья разъезжались подо мной. Царапающий скрип их ножек равно отвратителен всем на свете. Он не ободрял и меня, так как в довершение всех бед я разбил автомобиль, купленный на первый в жизни крупный гонорар за сценарий «Полосатого рейса». Автопогрузчик в катастрофе участия не принимал, ехал я не из Института красоты, а из Михайловского в Пушкинские Горы, «Волга» на крышу не перевернулась, и потому сам на попа не встал, череп сохранил в целости, но машину разбил вдребезги и, вместо волевого сопротивления не-

удачам и невезению, раскис, бросил работу, налег на согревательные напитки — благо морозы стояли жуткие.

Как до Юрия Дмитриевича дошли с Псковщины обо всем этом слухи, не знаю, но вдруг получил от него письмо: «Виктор, по агентурным данным, твоя литература дала полный задний и отдала оба якоря. В этом году у нас намечается большой перегон на Север, и есть возможность устроить тебя старшим помощником капитана на одно из судов. На эту тему я уже говорил с морагентом в Питере. Деньги платят приличные. Нужно вспомнить «Правила предупреждения столкновения судов в море». Мои литературные дела тоже плохи — повесть обкорнали с двух концов. Жму твой плавник. Ю. Д.».

...Сейчас передо мной школьное сочинение от 1 октября 1921 года. Бумага традиционно пожелтела, многочисленные орфографические ошибки подчеркнуты красными чернилами и видны хорошо, текст выцвел.

«Что я больше всего люблю на свете. Я больше всего на свете люблю пароходы. Пароходы для меня все. Когда я хожу по Неве, то я останавливаюсь перед каждым судном и осматриваю его, как величайшую редкость в мире. Один раз мы с Кокиным и Дубинским пошли на Неву, чтобы покататься на пароходе. Это было втайне от наших матерей. Мы взяли с собой хлеба. Ветер был огромный, и было очень холодно...»

Когда Юра Клименченко писал это сочинение, ему было одиннадцать лет. Тринадцати лет он нанялся юнгой на яхту «Революция», суденышко попало в шторм, мальчишка жестоко укачался, зарекся плавать, но... в следующий рейс пошел.

Мы познакомились в поезде «Владивосток — Москва» в пятьдесят третьем году. И я завидовал его капитанскому виду, трубке, дальним плаваниям и дару рассказчика. Я, конечно, знать не знал, что в первый день войны его судно было захвачено немцами, а сам он интернирован и четыре года провел в концлагерях.

Сейчас передо мной, кроме мальчишеского сочинения, праздничные «меню», которыми тешили себя интернированные моряки и которые играли роль как бы подпольных листовок: «С Новым 1943 годом! Меню. Бутерброды с кровяным паштетом. Страсбургский пирог (из крови и картофеля). Фруктовое желе «Вюльцбург» (это название лагеря. — В. К.). Световые эффекты.

Елка. Танцы. Музыка». Внизу рисунок — пароход под красным флагом и с красной полосой на трубе, — они верили, что поплывут под флагом Родины. А ведь это был еще только сорок третий год! За один такой рисунок, найди его немцы. . .

Юрий Дмитриевич автор и текста и рисунка. И он пронес «меню» сквозь все и вся. В лагере моряки отмечали дни рождения жен выпуском таких же листовок. Свои дни рождений не отмечались — только жен. На одном «меню» нарисована женщина, сидящая на диване с газетой «Правда» в руках, — опять расстрел на месте. Потому, вероятно, и в перечне блюд на самом первом месте — «запеканка с кровью».

Когда, после получения от Юрия Дмитриевича письма, я прибыл в прокуренную комнату штаба Экспедиции спецморпроводок для сдачи техминимума капитану-наставнику Ленинградского отряда Клименченко, он заставил расставить плюсы и минусы над синусами и косинусами в одной довольно сложной формуле из мореходной астрономии.

В будущем перегонном рейсе астрономия нужна была мне, как киту акваланг, но капитан-наставник был непреклонен. Ведь когда он начинал плавать, моряки были ближе к Солнцу, Луне, звездам, нежели в нынешний космический век. Светила и Время были дороже драгоценностей. Моряки знали повадки первых вечерних звезд, по неуловимому дрожанию звезды в зеркале секстана интуицией чувствовали рефракцию. Они узнавали звезду даже в маленьком окошечке среди густых туч, и звезда помогала им и вела их через море, как некогда волхвов через пустыни Египта. Звезда соединяла прошлое и настоящее. А прекрасная — маленькая и скромная — Полярная звездочка тысячелетия честно работала для моряков, легко указывая им широту.

Теперь летают навигационные спутники — звездочки, сделанные на Земле руками людей. И мощные волны радиомаяков проносятся над океанами, давая морякам свои пеленга. И радары смотрят сквозь ночную тьму и туманы. И эхолоты щупают дно. И то Время, которое раньше везли с собой моряки, храня его как величайшую драгоценность, укутав его в полированное дерево, в бархат, — хронометр, — теперь вообще можно не везти с собой, потому что сигналы Времени летят над планетой

каждые несколько минут. А все-таки было что-то значительное, символическое в том, как берегли прежние моряки Время на борту своих судов, в бурях и штилях, на севере и в жарких морях. Полезно вспоминать о Времени чаще. Полезно смотреть на вечные звезды. Полезно знать, отчего Солнце бывает при закате таким пронзительно, жутко красным. . .

Конечно, и сейчас молодого моряка учат астрономии. И будут учить еще долго. Но близость к звездам уходит, как ушли в прошлое скрипучие парусники. Сейчас многие уже считают, что нет смысла тратить время, отправляя молодых людей в учебные плавания на парусниках. Лучше использовать время на изучение электроники и полупроводников. Конечно, полупроводники такая же интересная и романтическая частица Вселенной, как и далекий Альдебаран. Конечно, во всем вокруг найдется достаточно прекрасного для ума и чувств пытливого человека. Но только нельзя ничем заменить тот шум, который рождается в глубине деревянной корабельной мачты, когда в паруса ровно давит ночной бриз. Этот шум говорит о вечных тайнах природы простыми словами одинокой сосны.

06.00. Ровно на последних минутах вахты вышли из льдов и распрощались с «Мурманском».

Напоминаю старпому, что надо проверить и продуть лаг — давно им не пользовались.

Думал, Спиро сам пойдет. Он посылает курсанта-практиканта, который, как и любой порядочный курсант, знать не знает ничего в электронавигационных приборах. И честно в этом признается. Тогда выясняется, что старпом сам не знает даже того, где на «Державино» шахта лага!

И вот ничего не знающий нудак все-таки посылает другого ничего не знающего продувать лаг. Занятная сцена (особенно для меня, который тоже знать не знает, где там у них продувается лаг).

Прогноз — шторм девять баллов от юга и юго-востока. Суда, идущие под берегом, будут прикрыты, а нам влупит по первое число — проложили курсы возможно мористее. И вот у Фомича очередные мучения: идти под берегом — там банки и проливы узкие; идти мо-

ристее — вжарит и будешь трепыхаться в свободном пространстве, как поплавок, — мы пустые идем, в балласте. . .

Все следующие сутки — гонки с «Гастелло» и «Устюгом» за место под солнцем Игарки. Кто вперед придет, тот первый под погрузку, тот раньше на две недели дома, — гонки клиперов из Китая на Лондон.

И у Фомича ретивое взыграло. В шесть принимает вахту у меня и говорит: «В восемь будет сто пятьдесят восемь оборотов!» И действительно, выдал из Ушастика целых сто шестьдесят.

Но тут в коленках у него появилась дрожь.

Есть на карте корректорская правка красной тушью. Среди тридцати — сорокаметровых глубин корректура «25». Так вот Фомич прокладывает курс правее острова Столбового, ибо опасается, что это «2,5» метра, а не «25».

Солнце. Голубизна. Штиль.

И два силуэта судов, уходящих влево, срезающих угол, а он терзается над картой, где вдобавок есть и следы прошлых прокладок. . .

Так и не пошел человеческим путем, то есть за «Гастелло» и «Устюгом»!

Объясняет всем на мостике:

— Мне что, мне карьеру не делать. . . Это молодым, молодые рвут и мечут, вот, значить; а кто из моих-то одногодков больше других рвал да метал, так, значить, где они? А уже и нет их, этих-то, кто карьеру метал, — померли уже, значить. . . Это молодые пусть, значить. . . На сокращенный экипаж, значить, рвутся или чего. . . — разглагольствует Фомич.

Он слушает переговоры судов по радиотелефону об очереди на погрузку в Игарке, о правилах связи с берегом, о получении денег.

И комментирует:

— Так, значить, мы последние придем, а раз последние — чего нам теперь-то? Это вы — кто первые — шевелитесь, а мы посмотрим. . . — И он глубоко счастлив тем, что придет последним, что впереди куча других, которые и утрясут все сложные вопросы отношений с берегом, и уточнят ситуации с портом, а ему пока можно чесать щеку, стоя в пижаме на мостике, и разглагольствовать об отсутствии карьерных побуждений.

Но сквозь разглагольствование пропечатывается что-то грызущее его, мучающее.

Да, страхолюбие не подарит ни на миг покоя; покой страхолюбам даже не снится. Но оно ничего общего не имеет с четким осознанием страха в себе.

В последнюю встречу Юрий Дмитриевич сказал, что больше не пойдет в море: решение окончательное и бесповоротное.

— Почему?

— Я начал бояться, Витёк.

— А раньше никогда и ничего не боялись?

— Это другой страх. Ты его еще узнаешь.

— Тогда для пользы дела пару слов.

— Шли на баре в Обь. И вдруг — страх. Обстановка вполне нормальная. Я раз двести там ходил в тумане и в шторма. Что за черт! Сказал старпому. Он повел судно. Я ушел в каюту. Все, Витёк. Больше плавать не имею права. И обманывать себя не буду. Это — возраст, Витенька.

И больше в море он не пошел.

Я клянусь его памятью, что этот разговор был и все это правда.

Разве скажет такое слабый?!

ЕНИСЕЙ, ИЛИ «СУСАННА И СТАРЦЫ»

30 августа вошли в устье Енисея.

До Игарки около суток. Там погрузимся досками и — домой.

Европейские речки добрее моря. Когда с зимнего моря входишь в Маас, Эльбу, Везер или Шельду, то кажется, что сразу можешь услышать мычание коровы и что все морские передряги остались позади. Конечно, такое недолго кажется — фарватер по какой-нибудь Западной Шельде сложный, — и хотя идешь всегда с лоцманом, но и сам смотришь в оба, чтобы не вывалиться из какого-нибудь белого сектора маяка и чтобы красный буй у кромки банки Спийкерплат оставить справа...

Входить в западноевропейские речки вечером при хо-

рошей погоде, вообще-то, приятное дело. Близко мелькают на автострадах фары машин, разноцветными окнами светят жилые дома, небоскребы, красуются в лучах подсвечивающих прожекторов шпили соборов и башни церквей. . .

А лоцман — какой-нибудь мсье Пьер — болтает о том, что инфляция растет и ему скорее всего придется отправиться в Кению: там лоцмана-европейцы зарабатывают пока прилично.

Зима. Холодно. Но мсье Пьер одет в легкую курточку. И ты удивляешься, как и почему европейцы не умеют или не желают замечать зиму, хотя она достаточно дрянная, промозглая и гриппозная. Европейцы переживают зиму в легких куртках и с рюмкой бренди в желудке, но обязательно подняв у куртки воротник и укутав глотку здоровенным шарфом. . .

Енисей доброй рекой не назовешь. Он суров, как и то стылое море, которое осталось по корме. И ожидать мычания коровы с его далеких берегов не придет в голову. Подсвеченных соборов и небоскребов тоже здесь пока не увидишь.

Приняли двух лоцманов у Карги. Оба молодые, веселые, здоровенные и не дураки пожрать.

Лоцман только советчик. Ответственность с капитана не снимается, будь у тебя на борту хоть сотня лоцманов. Если куда вляпаешься, то судить будут тебя: «Судно всегда несет ответственность за возможную ошибку используемого им лоцмана».

Но с лоцманами, конечно же, легче дышать и этак немножко спадает с тебя напряжение.

Фомич (после обряда взаимных представлений):

— Вот, значить, прошу извинения, и в Тикси, и в Певеке, и на Диксоне мы никакой рыбки вообще не обнаружили. Не будете так любезны, значить, сообщить, как тут — река у вас большая, замечательная река! — так где посоветуете насчет рыбки поинтересоваться?

Оказывается, в Дудинке кое-какую рыбку еще можно сообразить, а в Игарке — только щука холодного копчения. Дудинку мы минуем без остановки. Потому щука вызывает у Фомича интерес и некоторое удивление:

— Она, вероятно, очень, значить, жесткая?

Оказывается, наоборот: мягко-раскисшая.

— А с грибочками в Игарке как? — интересуется Фомич.

Оказывается, в Игарке уже были заморозки и с грибочками дело табак.

Лоцмана не очень оживленно поддерживают разговор. Надоели им рыболобы и грибоеды: небось на каждом проводимом судне хоть по одному Фоме Фомичу, но есть.

Загрустивший Фомич произносит свое знаменитое:

— Вот те, значить, и гутен-морген...

И отправляется в каюту, чтобы сообщить супруге печальные новости.

Около часа ночи. Тьма кромешная. На нас прет мощь огромной реки, пресная и бесшумная мощь.

У левого окна — вахтенный лоцман. У правого — подвахтенный, которому почему-то не спится. У радара в позе командира подводной лодки (возле перископа на всплытии) — Дмитрий Александрович. На руле — Рублев.

Я по извечной привычке хожу взад-вперед и из угла в угол по рубке, автоматически огибая во тьме всякие препятствия.

Разговор о проблемах здоровья. Попутно обсуждается, какая из дикторш телевидения симпатичнее: которая ведет журнал «Здоровье» или которая заведующая «Музыкальным киоском».

— Чуть все это со здоровьем, — говорит вахтенный лоцман. — В последнем журнале «Наука и жизнь» я вычитал, что с одной бутылки пива человек получает столько энергии, что может бежать трусцой тридцать пять минут. В таком случае позавчера я должен был только на пиве бежать шесть часов подряд. И не трусцой, а галопом. Потом я две рюмки коньяка принял и мог бы играть в настольный теннис один час и сорок минут. А учитывая то, что я еще кружку браги выпил, то мог один час и двадцать минут горным туризмом заниматься. И все это без жратвы. Правда, эту чушь немцы выдумали.

— А главная чушь, — говорит подвахтенный лоцман, — это о необходимости движения. У меня отец всю жизнь здесь в Енисее отлоцманил. Какое уж тут движение у организма, а он до девяноста лет протянул.

— Виктор Викторович, разрешите, я свои соображения о замкнутом цикле жизнедеятельности выскажу? — спрашивает с руля Рублев.

В крошечной тьме далеко впереди по курсу подмигивают створные огни. Мы идем по реке с мощным течением, и рулевому, вообще-то говоря, положено молчать, чтобы не рассеивать внимание. Но я слишком хорошо знаю таланты Рублева и разрешаю.

Однако вахтенный лоцман относится к этому иначе.

— Вася, — говорит он напарнику, — встань-ка сам на руль, если рулевому поболтать захотелось. Можно, мастер?

Мне, конечно, не видно во тьме рубки выражение физиономии Рублева, но я знаю, что сейчас это выражение счастливого тельенка.

Подвахтенный лоцман Вася становится на руль.

И... наконец-то Рублев добирается и до Виктора Викторовича Конецкого.

Я даже как-то вздрагиваю, когда слышу рядом собственный голос, с этим моим дурацким мягким «л» и дурацкой присказкой: «понимаете ли».

— Замкнутый цикл жизнедеятельности, понимаете ли, гениальная штука, это вам не фунт изюму. И я, понимаете ли, не возражаю, чтобы научные работники или, ясное дело, космонавты, понимаете ли, пили продукты своей жизнедеятельности. Им, как я, понимаете ли, догадываюсь, за это неплохо платят...

Первым прыскает Дмитрий Александрович. Лоцмана же еще плохо знают мою манеру говорения и пока выжидают.

Подлец Рублев продолжает:

— Понимаете ли, без замкнутого цикла, конечно, далеко в космос не улетишь, но я лично, понимаете ли, пить продукт жизнедеятельности ни за какие коврижки не буду, потому что, понимаете ли, я не научный работник, а простой эксплуатационник...

— Ну же ты и задрыга, Рублев, — говорю я.

В ответ:

— А вот, товарищи, в отношении бездвижения для организма, я, понимаете ли, без телевизора все это наглядно вижу. Возьмем современную утку в магазине. Бог мой! И что там в этом создании, понимаете ли, от мышц

осталось? А? Ни одной, понимаете ли, мышцы в этой вонючей утке, а сплошной так называемый жир. Вот вам наглядное, понимаете ли, свидетельство, что такое вольерное содержание скота. Простите, понимаете ли, я оговорился, не скота, а уток. Заплатишь, понимаете ли, пять рублей сорок семь копеек. Потом переводишь этот утиный жир в чад на кухне часа полтора, понимаете ли. Потом, понимаете ли, часа два квартиру вентилируешь, потом, понимаете ли, жевать в ней нечего. А корень, понимаете ли, в чем? А в том, что эта несчастная утка всю жизнь провела без движения. . .

Я много раз слышал свой голос и по радио, и с магнитофона, и даже по телевидению, и каждый раз удивлялся, как это люди меня могут терпеть; но в исполнении Рублева это звучит просто потрясающе.

Хохочут уже оба лоцмана, не выдерживает и сам Рублев, полувисит на локаторе Дмитрий Александрович.

Затем Рублев вопрошает:

— А вот кто из вас знает, почему Фома Фомич ванны боится?

— Ты лучше расскажи, как Фома Фомич в Лувре был и на древнегреческого Геракла любовался, — просит Дмитрий Александрович.

— Не, это потом, — говорит Рублев. — Это я теще расскажу.

Если бы не было на флоте таких людей, как наш Копейкин, думаю я, то все мы, конечно (прав Сиволапый!), неизбежно оказывались бы в дурдоме после одной только разгрузки в порту Певека.

Мои глубокомысленные размышления прерываются нечеловеческим, но женским воплем. Потом мы слышим, как где-то на трапе бьется посуда. Судно не качает, плывем в реке, и происходящее совершенно непонятно.

— Аньку опять кто-то насильничал? — гадательным голосом спрашивает тьму Рублев.

И, черт побери, он оказывается прав.

Анна Саввишна несла нам бутерброды и чайник с кофе, а из душевой, благо ночь глухая, в совершенном неглиже вылез третий механик и столкнулся с тетей Аней тет-а-тет.

В Тикси на голую тетю Аню набросились одетые мужчины. А тут голый мужчина набрасывается на одетую тетю Аню.

И тарелки с нашими бутербродами и наш растворимый кофе обрушились на распаренного механического Адама. Спасаясь от девственницы, третий механик задрался обратно в душевую.

Все это мы узнаем потом, а пока только прислушиваемся к звону бьющихся тарелок и воплям.

Наконец тьма рассекается острой полоской света из дверей. Вместе со светом и с его скоростью в рубку влетает Анна Саввишна.

— Ой, голубчики, ой, что это на пароходе делается!

— Закрывай дверь, дура, — говорит вахтенный лоцман, — мы на поворот заходим, а ты нас прожекторами слепишь.

Тетя Аня захлопывает дверь. И в еще более глухой тьме, которая всегда бывает после неожиданного света, мы слышим ее, тети Ани, но молодой напев:

Калинушка с малинушкой — лазоревый цвет,
Веселая беседушка — где мой милый пьет...

Ну, ясное дело, понимаете ли, это поет уже Рублев.

— Янот бяхвостый, — следует на этот куплет уже настоящий голос тети Ани. — Одних тарелков на пять рублей разбила, а он хикает.

— Успокойтесь, Анна Саввишна, — говорю я, хотя еще не знаю, что на трапе голый третий механик совершил наскок на нашу буфетчицу.

Вот так продолжает течь жизнь лесовоза «Державино», когда мы, преодолевая силой трех тысяч лошадей течение, заходим на поворот в очередную излучину огромной, мощной, даже чудовищно мощной реки.

Енисей иногда почему-то напоминает мне Орион.

— А пожрать все-таки принеси, — говорит подвахтенный лоцман тете Ане, — но если с ковра бутерброды обратно поднимать будешь, я на тебя в Верховный Совет пожалуюсь.

— Да что вы, мальчики, — бормочет во тьме Анна Саввишна, — сейчас и новую кофю заварю, и бутербродов наделаю.

— Только дверь за кормой быстрее захлопывай, — просит вахтенный лоцман.

Опять острый свет из дверей пронзает тьму рубки.

— Вася, ты все-таки больше на течение бери, —

говорит захтенный лоцман напарнику. — Смотри, как несет. Тут на снос и двадцать градусов мало будет.

— Да я двадцать пять давно держу, — говорит тот, который заменяет на руле Рублева.

— Давай-ка все-таки про Лувр, — возвращает всех нас к прежней беседе Дмитрий Александрович.

— Не, сказал, не буду про Лувр, и не буду. Сперва про то, как Фома Фомич ванны боится и шею не моет.

Рублев не был бы Рублевым, если бы, сказав «нет», потом изменил своему слову.

Дмитрий Александрович, когда-то мечтавший о ВГИКе и театре, чтобы дать Рублеву паузу и возможность сосредоточиться для очередного номера, профессионально, как Ермолова-Лауренсия в «Овечьем источнике», читает:

Трусливыми вы зайцами родились! ..
.. К чему вам шпаги?!
Ведь командор повесить уже хочет
Фрондозо на зубцах высокой башни,
Без права, без допроса, без суда!
И всех вас та же участь злая ждет! ..

Странно звучат слова Лопе де Вега во тьме и мощи Енисея.

Я вспоминаю свое прибытие на борт «Державино» в Мурманске и говорю Саньчу:

— Типун тебе на язык!

— Любимые стихи Соньки, — говорит Рублев. — Она ими плешь начальству переела.

Телефонный звонок. Звонит Фомич, просит меня. Беру трубку.

— Викторыч, как там обстановка? Можете ко мне спуститься на минутку?

— Вполне могу. Тут все спокойно.

— Андрей, пожалуйста, не рассказывай без меня, — прошу я. — Вернусь моментом. Мастер просит спуститься.

— Есть! Не буду! Я пока поводырям о том расскажу, как мы на якорь в Певеке становились.

— Это можешь, — соглашаюсь я. — Дмитрий Александрович, не забывай записывать траверзы и повороты, — добавляю на всякий случай. Не мешает напомнить

вахтенному штурману самые обыкновенные вещи. Именно они чаще всего вылетают из сферы внимания.

— Есть!

Два часа ночи. Чего это Фомичу не спится? В дела моей вахты он за весь рейс нос не сунул ни разу. В этом отношении выдержка у него замечательная. Вернее, это не выдержка, а тот факт, что в заветном ящике у Фомича лежит взятая еще на выходе в Баренцево море расписка: «полностью несет ответственность с... до... и т. д.». Ему выгодно не совать нос в мои дела на мостике. Но! Он ни разу и замечаний никаких мне не сделал, а чтобы штатный капитан не сделал замечаний своему дублеру уже после вахты — вот тут уж нужна настоящая выдержка. Ведь каждого судовода так и тянет указать на чужие ошибки. А у меня их — ошибок, ошибокек и промахов — было вполне достаточно.

Капитанская каюта затемнена. Фомич стоит у лобового окна. Он в исподнем — в собственноручно связанных кальсонах и фуфайке. Когда человек в кальсонах, он всегда выглядит по-домашнему и симпатично. На голове нечто вроде чалмы. Оказывается, мокрое полотенце.

— Постой-ка тут, значить, послушай, — говорит Фомич. — Во! Чу! Слышал?

Я становлюсь с ним рядом и начинаю вслушиваться.

— На мосту-то не слышно, а здесь... Во! Опять! Чувствуешь сотрясение?

— Так это мы на бревна наезжаем, — говорю я. — Знаете, сколько тут коряг плывает?

— Надо бы ход сбавить, — бормочет Фомич.

Мы идем против течения. Даже на полном ходу на поворотах сносит со створов, а он хочет сбавить ход. Конечно, неприятно слышать удары, но они такие заметные только потому, что волна от форштевня откидывает встречные бревна в стороны, потом «в седловине» их подтягивает к борту, и они скользящим ударом тюкают в него. Трюма пустые, от удара в них раскатывается и долго, неприятно гудит тоскливый набат. Но что нашему «Державино» бревно, когда позади все виды арктического льда?

— Фома Фомич, — говорю я голосом доктора, утешающего больного, очень мягко и вкрадчиво говорю. — А вы вот представьте, понимаете ли, себе, что вы бы не

на море, а речником работали. Так всю жизнь малым ходом и плавали бы? Ведь на какой же нашей русской, разгильдяйской реке не плывет черт те знает сколько леса в океаны, а?

Фомич задумывается. После долгой паузы говорит:

— А все-таки, значить, удары сильные.

— Эхо в трюмах. Вам нездоровится?

— Есть немного, — бормочет Фомич и машинально дотрагивается до мокрой чалмы на затылке.

— Течение мощное. Не хочется ход сбавлять, — говорю я. — Конечно, если вы приказываете, то...

— Нет-нет! — пугается Фомич. — Тебе с моста виднее.

— Я много по речкам плавал, — успокаиваю его опять докторским голосом. — И оба лоцмана на мостике. Вы легли бы.

— Да-да, сейчас, значить, лягу... не люблю речек...

Мне как-то грустно, когда я поднимаюсь обратно в рубку, раздумывая о том, что Фомич, очевидно, вступает в тот возраст — переходный к старости, — когда человек особенно остро начинает ощущать непрочность человеческого существования на этом свете.

И еще думаю о том, что Фомич не ляжет. Так и будет стоять в затемненной каюте в своих гарусных кальсонах и прислушиваться к мрачному набату от удара бревен, доносящемуся из пустых трюмов.

Вот оно — капитанское одиночество.

Вот оно — «Труд моряка относится к категории тяжелого».

— Можно начинать, Виктор Викторович? — спрашивает Рублев.

— Прошу.

Дмитрий Александрович от радара тоном конфетансье:

— Леди энд джентльмены! Сейчас будет исполнена новелла под названием «Сусанна и старцы»!

В рубке наступает тишина, соответствующая тому моменту, когда артист собирается с духовными и физическими силами, чтобы выйти из-за кулис к рампе.

И мы все — я глубоко уверен в этом — одинаково

чувствуем, как Копейкин духовно подбирается, как он перевоплощается в Фому Фомича и как ему нужно для этого определенное время.

Наконец:

— Значить, мы тогда не почту возили, как ныне-то, — начинает он коронный номер. — Я молодой был, матросом; все, значить, у меня на месте было, все в аккурате. Ну, солоший до женского полу, значить, как все молодые. Но в руках себя держал, не как ныне-то некоторые. Под каждую юбку не лез, тактично все заделывал, чтобы ни ей, значить, ни мне никаких там родимых пятен в личное дело не лягнули. На судне — ни-ни! Ни под каким, значить, резонем никаких амуров! Один только получился у меня такой, значить, гутен-морген, что я за бортом в Кильском канале оказался. Врать не буду, честно скажу, получился у меня полный срыв и срам в морально-политическом, значить, смысле, и в общественно-политическом, и в прямом, так сказать, смысле. В прямом эт потому, что я за борт сорвался из ейного иллюминатора.

Да, значить, с женщинами в морях-океанах не соскучишься...

И ведь как меня дед да отец строго учили да воспитывали, а я, значить, ихние заповеди нарушил, и в результате что? В аккурат в январе в Кильском канале за бортом оказался во враждебной Западной Германии; среди ночи, значить, льдов и в самом начале карьеры. Ведь дед с отцом — ну кто они были? Костыли да шпалы сажали всю жисть — обыкновенные железнодорожные работяги, но правильно меня учили, правильно! Не охальничай, учили, там, где живешь и работаешь; охальничай там, значить, где не проживаешь и не работаешь, где, значить, не прописан постоянно. А тут у нас на «Колхознике» — либертос старый — пошла в рейс пупочка этакая, повариха, пышности, значить, необычайной, Сусанной ввали. Я со старпомом вахту стоял. В шесть утра посылает меня эту пупочку, значить, поднимать, чтобы она завтрак варганила. Есть, говорю. Не первый раз, значить, а тут в аккурате у нее дверь-то и не закрыта. Обычное-то дело: постучишь, покричишь: «Сусанночка! Пышечка! Ать-два, милая!» Она аукнется и — все. А тут дверь-то, ядри ее, дуру, в душу, забыла закрыть. Я случайно ручку-то надавил и ввалился прямо в ейную

каюту, а из койки, значить, совершенно наружу все ее пышности торчат. Вот те, думаю, и гутен-морген! И хлоп — в автоматическом, значить, режиме — на нее и возлег. А она глаза вылупила, но так все в аккурате, тихо, значить, без активных действий или там сопротивлений. И тут, значить, слышим, матрос-уборщик в коридоре ведром гремит.

«Вот те и гутен-морген, — это она говорит, — улазь, — требует, — через форточку».

Ну, я молодой, все в аккурате, полез в иллюминатор, уже до шлюпбалки дотянулся — и брякнулся: обледенело железо-то, ядрить ее, дуру эту набитую, в корень!

«Колхозник» сновидением, значить, таким мимо меня, — хорошо, под винт не затянуло: в полугрузу шли.

И вот вокруг меня льды, холодная война и международная напряженность. Булькаю, врать не буду, как дерьмо, значить, в проруби. К берегу не гребу — фашисты там, и в тюрьму, значить, затем обязательно посадят, а куда тогда, ядрить ее, дуру эту пышную, плыть?

Гляжу: катер ко мне прет, и по всему борту «полицай!» Я от него, значить, за льдину ихнюю кильскую прячусь, так нет — глазастые полицаи оказались, норовят меня отпорным крюком за шиворот, значить, зацепить, а я, значить, насмерть сопротивляюсь, потому как, сами понимаете, вокруг холодная война и международная напряженность.

Согрелся, значить, даже, пока они меня победили и на борт выволокли. Ору на них — а по-ихнему, врать не буду, мало знаю, — ору, значить: «Хальт! Хенде хох! Цурюк!» А они, падлы, ядрить ее, дуру эту набитую, меня скрутили и в пасть снапс льют. Чего, значить, делать? Глотаю ихний снапс...

Я не прерываю здесь рассказ Рублева-Фомичева ре-марками — бог с ним, с литературным правдоподобием. А теперь скажу, что самое удивительное, как наше «Державино» не укатило со створов к чертовой бабушке, ибо в рубке ни одного живого слушателя к этому моменту уже не было: все мы, кроме Рублева, были как певекский

капитан порта после визита Фомы Фомича, то есть обесилели. Пожалуй, даже суровый Енисей улыбнулся, а «Державино» тряслось от хохота вместе с нами.

Под конец исполнитель все-таки устал, завял и уже буднично и обыкновенным, своим голосом проинформировал слушателей о развязке истории, ибо знал из опыта, что его все равно заставят ответить на неясные пункты. И Рублев дорассказал, как полицаи доставили Фомича на родной борт в мертвецки пьяном виде; как именно этот факт спас честь поварихи: начальство решило, что ухнул матрос в Кильский канал, потому что нализался какой-то дряни; как засунули Фому Фомича в ванну и по приказу капитана «намылили ему шею», и искупали в крутом кипятке, — в те времена еще считалось, что отогревать переохлажденные организмы следует в кипятке; как фрицы пытались объяснить капитану, что его матрос буйно помешанный, ибо он отбивался от спасателей и сокрушил несколько ихних спасательно-полицейских челюстей, и как все это спасло фомичевскую карьеру.

Но вот ванна и мытье шеи с тех самых пор стали для Фомы Фомича кошмаром номер один...

За Дудинкой появилась зеленая трава на берегах, и стога сена, и кусты по речным обрывчикам. Здравствуй, живое зеленое!

Теперь и мычание коровы можно надеяться услышать.

Вечером радуется неровность уже лесных берегов, верхушки деревьев четко рисуются на фоне закатного неба.

Из разговоров судов на подходах к Игарке:

«Вам куда дали?»

«На Пристон идем, последнюю партию на Пристон взяли».

«На Бордо потянули».

«На Гуль последние дрова».

«Куда там еще товар остался?»

«Только на Алжир и в демократии».

«А на Александрию весь товар вышел?»

«Нет, туда и вам хватит!»

Александрия вызывает у морячков уныние — там всегда очень долго ждешь разгрузки, иногда месяцами.

«Державино» ни о чем не спрашивает. Оно заранее знает, что наши доски идут в ГДР.

В час ночи 1 сентября стали на якорь напротив мыса Кармакулы.

Сложность постановки на якорь в данном случае была не только в том, что Фомичу, как всегда, казалось, что лоцмана ставят нас слишком близко к берегу, но и в том, что после новеллы Рублева «Сусанна и старцы» лоцмана видеть спокойно Фому Фомича не могут. Они вдруг прыскают в самые неподходящие и серьезные моменты. Фомич, естественно, удивляется такому поведению ответственных должностных лиц. Легкомысленное поведение лоцманов еще более усиливало его опасения, и он все повторял:

— Вот стали, так, значить, стали! Если кормой к берегу развернет, так, значить, можно прямо на песочек трап подавать, а?

— Да вы не беспокойтесь, мастер, — успокаивал его лоцман Вася, кусая в кровь губы. — Тут даже сумасшедший ветер вас поперек течения не развернет. Сильное у нас тут течение. Вот в каналах, например, конечно, так становиться опасно — в Суэцком там или в Кильском... А у нас, мастер, речка — все тип-топ будет.

И Фомич налил лоцманам по традиционному стопарю, а Галина Петровна дала им по соленому огурчику.

Вообще-то, в данном случае опасения Фомича в отношении близости берега я в какой-то степени понимаю и разделяю. Во-первых, в море привыкаешь к удаленности берегов. Во-вторых, именно когда судно стоит, как-то особенно обостряется чувство позиции, в которой оно находится. Например, если отданы два якоря и с кормы швартовы на берег, — а так мы станем через несколько суток в Игарке под погрузку, — то у меня в подсознании так и вертится подобная позиция судна при разгрузке в сирийском порту Латакия на «Челюскинце», когда случился двенадцатибалльный шторм с тягуном и нам вырвало левый кормовой кнехт с корнем.

Лоцмана уехали. На судне наступила стояночная тишина.

Впереди нас такая длинная очередь из других лесовозов, что огней Игарки вообще не видать.

Особое наслаждение при вкушении безделья и безответственности.

Маркони приносит радиogramму: «Т/Х ДЕРЖАВИНО ДУБЛЕРУ КМ КОНЕЦКОМУ ПРИХОДОМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКА ЗПТ ЯНВАРЕ УЧЕБА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ».

Ну вот. Свершилось то, о чем просил.

За бортом уставшего «Державино» журчит пресная волна Енисея.

И я вдруг ловлю себя на мысли, что уже люблю и «Державино», и людей, с которыми здесь свела судьба и работа. И что даже Спиро Хетович не убьет во мне этой любви.

Ночь. Но я не сплю: дегустирую разные виды покоя. И еще чудом обнаружил давеча в судовой библиотеке десятый том Чехова. Там «Из Сибири» и разные записки.

Боже, какое счастье, что был на свете Чехов! Все здесь мною читано, в этом томе, но за одну интонацию спокойного и сильного благородства хочется на Чехова молиться: «На Волге человек начал удалью, а кончил стоном, который зовется песнью; яркие золотые надежды сменились у него немочью, которую принято называть русским пессимизмом, на Енисее же жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Так по крайней мере думал я, стоя на берегу широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая со страшной быстротой и силой мчится в суровый Ледовитый океан...»

Выпало вот читать такое, когда стоишь у мыса Кармакулы и за бортом стремит живой Енисей.

ИГАРКА

Еще в начале рейса мы получили шифровку. С Нового года предполагается повышение зарплаты плавсоставу. Для проведения в жизнь приятного мероприятия следует каждый оставшийся месяц заставить каждого

морьяка отгулять двое суток без подмены, чтобы на экономленные средства создать, «заложить» первоначальный фонд, запас денег, ибо повышение зарплаты тяжелым бременем ляжет на бюджет пароходства именно в самом начале приятного мероприятия.

Обычно моряки за выходную субботу получают деньгами, а воскресенье приплюсовывается к отпуску. Ведь «выходных» в море нет, а на земле субботу и воскресенье советские люди отдыхают. Судно же в море должно двигаться даже во всенародные праздники. Лишних людей на судне нет. Потому взять выходной и провалить его в каюте вы даже при появлении такого извращенного желания не можете.

Наш рейс в Арктике двухмесячный. Значит, согласно шифровке, мы должны отгулять сами и заставить отгулять каждого члена экипажа четыре дня на льдинах и среди белых медведей. Именно в силу особо трудных условий работы в арктических рейсах и невозможности здесь человеческого отдыха, существует специальное Положение, по которому за месяц арктического плавания к отпуску моряка приплюсовывается не четыре воскресенья, а пять.

Конечно, капитаны судов, одновременно получившие в Арктике шифровки о принудительном отгуле выходных, немедленно связались друг с другом и обсудили вопрос сообща. И пришли к выводу, что нас указание не касается, а относится только до тех судов, которые работают в человеческих условиях и капитаны которых могут выгнать отгуливать выходные хоть весь экипаж сразу где-нибудь на островах Самоа и хоть на целую неделю.

Фомич после длительных раздумий такое толкование отклонил. Сократ пошел по стопам Соломона. Он решил выполнить указание на двадцать пять процентов — заставить морячков отгулять один выходной за два месяца в любых погодных условиях.

Толпа в первом же порту вошла в контакт с другими толпами и выяснила, что Фомич вносит штрейкбрехерский элемент во всю эту историю. Поднялся шумок. Тогда Фомич сам первый вообще отказался от выходного и даже подменил на обыкновенной вахте грузового помощника, когда тот задержался в Певеке по служебным делам. При этом он смело и прямо объявил толпе, что

давно плевать хотел на то, что там про него в низах думают, и что он рискует уже потому, что заставляет отгуливать по одному выходному, а не по четыре.

Вообще, странная штука демократия на флоте нынче. С одной стороны, рядовой морской труженик так запутан сложностями в оплате его труда и во всяких правах, что предпочитает помалкивать в разговоре с начальством на такие темы. С другой стороны, начинающий, только выпущенный из мореходной школы, серый, не знающий еще толком, чем нос от кормы отличается, матрос, проплавав рейс в роли уборщика, уже имеет наглость подойти к капитану и заявить претензию. Он, мол, не для того год учился в мореходной школе, чтобы тряпкой возить! И он требует перевода на второй класс из уборщика. И капитан терпеливо с ним разговаривает, объясняет трудности со штатом, что вот у нас совмещенный экипаж и вообще нет матросов второго класса, и так далее. Конечно, Фомич вворачивает (тем более я рядом), что вот он перед войной закончил ФЗУ по пятому разряду, а послали его на работу по третьему, и он пикнуть не смел...

В Игарке возникла возможность решить проблему отгулов. В очереди на погрузку мы последние, рядом чудесный лес — спускай вельбот и поехали на пикник.

Но!

Фомич прознал, что как-то здесь в лесу исчез человек — крупный человек, из леспромхозного начальства — пошел за грибами и не вернулся. А в лесу, оказывается, подо мхом и разными симпатичными травами есть пустоты от протаявшей вечной мерзлоты, очень опасные ловушки. И еще медведи есть. Крупного человека искали вертолетами и не нашли, пока он сам нормально не пришел, переночевав в лесу у костерка, — вероятно, взял с собой слишком много горючего, вот и закемарил крепко.

Ужасные пустоты начали преследовать Фомичову психику, как примерзшая к грунту стамуха в Новосибирском море. Сомнения в миллионный раз берут его мягкими пальцами за твердый лоб. А лес манит. И вот Фомич опять попытался найти соломоново решение:

заказать автобус и свозить людей на коллективную экскурсию не на близкий левый берег Енисея, а на правый — на околицу Игарки: как бы в лес, но и не в настоящий лес. Однако автобус требует денег из культфонда, а эти деньги еще на Диксоне при помощи моей подначки истрачены в честь и славу Дня Военно-Морского Флота.

В такой ситуации и при таком количестве нюансов и настоящий Соломон свихнул бы мозги набекрень.

И мы поехали на коллективную экскурсию в левобережный лес. Перед экскурсией Фомич провел тщательный инструктаж, главным в котором было требование ходить по лесу табуном на расстоянии друг от друга не больше десяти метров, то есть со спутанными, как у лошадей, ногами.

Я, естественно, со свойственным мне индивидуализмом от табуна немедленно отбился и провел несколько часов наедине с флорой. Как потом выяснилось, и весь остальной табун нетактично развалился на одиночек или микрогруппки, ибо если мускусным овцебыкам необходим отдых от стада, то людям и подавно.

Тишина была в лесу. Осень. Лиственницы, елки, березы, мох, заросли ольхи, россыпи брусники; подсохшая уже, сморщенная черника.

Наломал букет для натюрморта «Осенние листья».

Черника смотрела на меня и букет скорбными и зовущими глазами, как застарелая девственница на здорового дворника. И я не выдержал, сжалился над ней, присоединил к букету несколько черничных веточек.

Потом набрал добрый килограмм брусники. Набрал, и все думалось: а для кого? Для себя — как-то и смысла никакого нет. О матери вспомнилось. Она очень любила осенние букеты и любила кленовые листья под стеклом на столе или между страниц книг.

Тихо было в лесу, и тихая грусть была во мне.

Старею.

Потом вышел к Енисею, соорудил костер из плавника, слушал шелест камыша и шорох песочка на плоских речных дюнах. И думал о вредности нашей привычки, вернее необходимости, счета круглыми цифрами:

десять, сто, тысяча... Вот тебе стукнуло тридцать, сорок, а вот накатывает пятьдесят...

Жуткое дело круглый счет. Круглые даты давят на психику. Давления можно было бы избежать при беспериодичности счета. Но бог рассудил иначе, заставив крутиться планету и вокруг самой себя и вокруг звезды. Он ввел чередование дня и ночи, зимы и лета; он захотел, чтобы мы ощущали время именно периодами и подводили под каждым периодом черту, он лишил нас безмятежной постепенности. И мы послушно вводим недели, месяцы, годы и века, хотя в глубине истинной природы их нет. Ну нет же у материи воскресений, черт возьми!

«И потому моряки ближе всех к истинной материи!» — так закончил я размышления, начиная тревожиться тем, что от далекого, но хорошо видимого «Державино» все не отваливает вельбот. Ему пора было отваливать.

Конечно, у вельбота отказал мотор.

Все собрались возле костра и сумерничали часа полтора, пока этот проклятый вельбот прибыл.

Знаю, что «сумерничать» обозначает сидеть без огня, в ожидании темноты, и подремывать. Мы сидели с огнем, ожидали вельбот и не дремали, но больно уж к месту слово. Было как-то по-деревенски просто все: и окружающий мир был прост, и мир был в душе каждого.

Зато на судне я взял у артельщика банку мясных консервов и сожрал ее в каюте с такой жадностью, урчанием и чавканьем, с каким белые медведи жрут тюленью печенку. Вот тебе и отсутствие жадности к еде у тонкого интеллектуала и лирика.

Бруснику отдал Анне Саввишне. За время моего отсутствия она вымыла и выскребла мое жилище. Вызывает уважение стойкость, с которой тетя Аня отказывается от эксплуатации пылесоса и другой техники: «Можно и тряпкой да метлой чистоту и блеск навесь, коль ты женщина чистоplotная...»

Четыре часа одиночества в лесу и на берегу реки срабатывали, как сто лет в замечательном романе Габриэля Гарсиа Маркеса.

И букет из веточек осенней флоры навевал мне этим тихим вечером мелодии старинных русских романсов.

Под эти мелодии я раздумывал о том, что все наши понятия закованы в слова. А от каждого слова падает столько теней, полутеней, световых бликов и столько звучит в бесконечности мелодий и полутонов, сколько элементарных частиц во Вселенной.

Если мы смиряемся с тем, что никогда не узнаем цель нашего прихода в мир и ухода из него, то приходится смириться и с простотой рассказа классиков, ибо невозможно вылезти из самого себя, не став смешным и наглым, то есть негармоничным. Это отчетливо, как мне кажется, понимал и всегда помнил Чехов.

Отсюда его тихая усмешка Моны Лизы.

Ведь если автор не сопровождает художественный показ жизни своими внятными комментариями, то он в какой-то степени сознательно играет в загадывание шарад читателю. Это внешне углубляет произведение, ибо все мы любим отгадывать и любая необходимость отгадывания усиливает заинтересованность, но в то же время получается сознательная заданность и использование чем-то нечестного приема со стороны автора. Это одно из тех противоречий, которые меня мучают с самого начала литературной работы.

Ну, а если хочешь рассказать о том, что между слов, пиши музыку...

2 сентября в четыре утра снялись с якоря и поплыли в ковш Игарки.

К девяти утра под оба борта подвели баржи и явились докеры — молодежь зеленая, студенты из сибирских вузов. В основном будущие химики-целлюлозники и бумажники из Красноярского института. Серые ватники, оранжевые каски, тельняшки. Не по мобилизации, а по собственному желанию: подрабатывают на каникулах. Волосья, ясное дело, до плеч. У грузчика-студииоза, которому попалась каска № 13, по всей окружности каски надпись: «Да поможет мне бог!»

И совсем не веселая эта надпись. Профессия докера — сложная и трудная. Она осваивается годами, она строится на специальном обучении и опыте, опыте, опы-

те. Работа с досками — опасная и требует точного исполнения как правил техники безопасности, так и правил укладки досок в трюмах.

Студюозы ровным счетом ничего во всем этом не понимают и не знают. Ужасно видеть, как девчонки-талмана бегают по фальшборту, кокетничая со всем белым светом, или стоят под опускаемой в трюм вязкой досок, задрав башку и раскрыв рот, в который каждую секунду может вывалить из вязки лесина длиной в пять метров.

Одну девицу в эту навигацию уже прихлопнуло.

Все вместе называется: «нехватка рабочей силы»...

Утренний чай.

В кают-компании завтракают старпом, третий штурман, второй механик и я.

Свиная колбаса, хлеб, жидкое чайное пойло.

Третьего штурмана старпом с восьми часов ставит на вахту. Тот сопротивляется. В коллективном отгуле выходных на природе он не участвовал, и потому вчера его выгнали гулять в Игарке. После этого гулянья он немного опух.

— По трудовому кодексу, — говорит третий старпому, — выходной день это двадцать четыре часа ноль-ноль минут. Я же вчера в разгар отдыха ездил получать деньги, ходил то есть за деньгами. Три часа ходил и получил. Не для себя, между прочим, а на судно. Значит, отгулял двадцать один час. И до одиннадцати часов вы меня ставить на вахту права не имеете.

Арнольд Тимофеевич:

— Я здесь кушаю. Здесь не положены служебные разговоры. Кусок этой вульгарной свинины не усвоится в моем желудке. А вы, между прочим, стоянку в Ленинграде помните? У вас малолетний ребенок был на судне целые сутки. И жена. А вы вахту стояли и права на такое не имели. В результате на вашей вахте цепь у стrelы порвалась. Это по какому кодексу?

Старпом умеет вспоминать прошлые грешки окружающих в нужный момент.

Второй механик Петр Иванович, который, как и положено суперпродукту НТР, листает за чаем журнал «Знание — сила», говорит:

— Интересно! Послушайте. Оказывается, состав человека по элементам — ну, водород, азот, углерод и так далее — полностью соответствует в процентном отношении космической материи. Во! Цитирую: «Между химическим составом звездной материи и человеческим телом обнаруживается поразительное сходство». Арнольд Тимофеевич, как вам это нравится?

— Я отношусь к этому индифферентно, — говорит старпом, тщательно прожевывая свинячью колбасу.

— А ты? — интересуется Петр Иванович у третьего штурмана.

Тот отмахивается, потому что обдумывает ответ старпому.

— Теперь мне понятно, — говорит Петр Иванович, — зачем наши космонавты скоро полетят на Солнце.

— Что за глупости вы несете? — спрашивает Арнольд Тимофеевич.

— А вы не знали? — удивляется второй механик. — Когда они получили задание готовиться к полету на звезду, то выразили, конечно, полное и единодушное согласие, но один все-таки спросил: какая, мол, там теперь температура? Ему говорят, миллион градусов. Он опять интересуется нюансами: как, мол, мы там будем обитать при такой сравнительно высокой температуре? А ему объясняют такой нюанс, что отправят их в полет на Солнце ночью...

Я силой вырываю у второго механика «Знание — сила» и отправляюсь читать о том, что мы и звезды — одно и то же.

Но прочитать не удастся. В каюте сидит Фома Фомич, расстроенный. Оказывается, доктор и моторист угодили в милицию. Крупная неприятность для судна.

И впервые за рейс (надо отдать Фомичу за это должное) капитан «Державино» попросил использовать мою принадлежность к прессе, чтобы без шума извлечь бумаги погоревших из милиции и не выносить мусор с парохода.

Вызвал доктора. Видок бледный. От страха «власть с ушей свились», как писали в монастырских летописях.

Выпил чуть-чуть в честь рождения сына. Возвращал-

ся на судно около десяти вечера. На вопрос пограничника в проходной порта о названии судна: «Вы откуда?» — ответил: «Из Санкт-Петербурга». И на этом, мол, всё — все его грехи.

Задержан за пререкания пограничниками, передан ими в милицию, переночевал там, утром отнес тридцать рублей штрафа, принес и извинения; но ему было сообщено, что соответствующая бумага пойдет куда следует.

С мотористом в милиции не виделся и про него ничего не знает. . .

Ночное их отсутствие ребята от начальства скрыли («думали, у бабы задержались»).

Хорошо у нас налажена служба!

— А вы знаете, голубчик, — сказал я, — что смена дежурств в милиции происходит утром около восьми часов?

— Нет. А зачем мне знать?

— Вас когда выпустили?

— В шесть утра.

— Если бы вы сразу доложили о происшедшем, мы, понимаете ли, успели бы к старому дежурному и попробовали уговорить его вернуть акт о вашем задержании. А теперь акт уже передан новому дежурному и внесен в реестр происшествий за прошлые сутки. Это две большие разницы, голубчик.

— Накрылась диссертация, — сказал доктор, и его интеллигентные глаза покраснели. — Ведь бумагу из пароходства мне в институт перешлют, как вы думаете?

— Обязательно, — сказал я. — И сделают это с удовольствием. Одним неприятным инцидентом у пароходства будет меньше, когда оно отфутболит это милицейское досье в ваш институт. Вы ведь временный у нас?

— Да, — и его глаза покраснели и набухли слезами.

— Не распускайте нюни. А сейчас — правду. Вы сильно оскорбили солдата-пограничника? Стоит, мол, Ванька, дубина стоеросовая, спрашивает у старого мореплавателя, только из ужасного рейса пришедшего, ерунду всякую с чухонским акцентом, ну, вы ему и ответили с санктпетербургским гонором. Так?

— Наверное. Но я помню плохо.

— Помните плохо, а выпили «чуть-чуть»?

Он окончательно заплакал.

— О чем диссертация? — спросил я, чтобы отвлечь его немного.

Он понес что-то об особенностях кровотока из ножных вен при разных видах гипертонической болезни.

Милиция в Игарке размещается в здании старинной полярной архитектуры, то есть без следов ампира, барокко или других излишеств. Зато живые зеленые деревья и кусты окружают милицию. И тени от их ветвей колышутся по стенам, и солнце просвечивает в окна кабинетов сквозь листву.

Дежурный, не спрашивая меня ни о поводах и причинах пришествия, ни о моей личности, сказал, что начальник в горкоме и вернется минут через сорок. Вежливо предложил подождать на воздухе.

Мы вышли. И док спросил:

— Можно, как вы считаете, мне пива выпить?

Я видел, что ему плохо, и разрешил. Но велел обязательно и съесть что-нибудь. Он сказал, что здесь есть место, где жарят шашлыки прямо на улице, и он выпьет там пива и съест шашлык.

Ожидание омерзительно в любом случае, но ожидать предстоящих объяснений, заранее слышать свое бормотание (с поджатым, как у провинившегося ледокола, хвостом): «Я... понимаете, книжки пишу... У потерпевшего, то есть, простите, у этого типа, диссертация, и я...» и те-де и те-пе...

Да, любое ожидание противно. Но и самые странные встречи происходят чаще всего, когда ожидаешь трамвая, поезда, самолета или начальника милиции Игарки. Наверное, тебе так скучно ожидать, так хочешь какой-нибудь встречи или разговора, что они и происходят.

Я сидел под пыльными кустами возле милиции. Вокруг было много самого разного дерева — столбов, заборов, мостков, опилок.

— Слушай! Здорово! Вот встреса! — раздался неповторимо-сюсюкающий голос милицейского лейтенанта.

Передо мной стоял Стасик Соколов, с которым шесть лет тому назад в зимней Керчи мы вместе ночевали в вытрезвителе. И вместе поносили керченские и все другие органы внутренних дел.

Мы обнялись со Стасиком.

Первый раз в жизни я обнимался с милиционером.

— Какими судьбами? Кем ты тут?

— Волсебником! Знаес: жизнь усил не по усебникам... Ты здесь сидис засем? Сам припух или вырусает кого?

— Выручаю одного дурака.

— Хоросый селовек?

— Плохо знаю. Но помочь надо. Молодой.

— Если ты говорис, что надо помось, попробуем.

— Кто ты все-таки здесь?

Он засмеялся. Это был в какой-то степени смех счастливого человека. И сквозь смех процитировал: «Много видели, да мало знаете, а сто знаете, так дерсите под замоськом!»

Я встречался со Стасиком трижды:

1) В Керчи в вытрезвителе — на равных началах пациентов этого заведения.

2) Году в семьдесят первом он ночевал у меня, будучи в Ленинграде проездом. Пьяный явился вдребезги.

3) В следующий приезд он пил уже смертельно. И мне с большим трудом удалось устроить его в институт имени Бехтерева.

И вот очередная встреча. Спокойный и уверенный в себе мужчина с густой сединой и тяжелым, волевым лицом бывшего боксера.

— За минуту, Стас, до твоего появления, — сказал я, — мне думалось о странных встречах.

— А вспоминаес Керсь? — спросил Стасик.

Это означало: вспоминаю ли я Керчь.

Дальше я не буду пытаться создать речевую характеристику Стасика. Это трудно и нудно.

Объясню только, что язык он перекусил, когда ему как-то не дали после ужасного запоя опохмелиться, и с тех пор говорит он, заменяя большинство шипящих звуком «с». Это даже бывает мило, ибо соответствует душе Стасика — доброй и тонкой, и даже детской. Шипящие звуки не очень нужны человеку, имеющему кулаки, которыми он в припадке пьяного ревнивого буйства сам себе переломил ключицу.

ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ МИФОВ

Чем, люди добри, так оце я провинився?
За що глузуете? — сказав наш неборак. —
За що знушається ви надо мною так?
За що, за що? — сказав, та й попустив патьоки,
Патьоки гирких слиз, узавшись за боки.

*Артемовский-Гулак,
Пан та собака.¹*

...Где не будет лучше, там
будет хуже, а от худа до добра
опять недалеко.

М. Ю. Лермонтов, Тамань.

Вы когда-нибудь сочиняли записку по поводу вашего пребывания в вытрезвителе?

Попробуйте.

Мне, например, не помог даже писательский опыт. Как-то хромает стиль. Нет музыкальности и ритма прозы. В район туманности Андромеды улетучился юмор.

На самом дне морской жизни в самый мой черный день не было штормов, сигналов о спасении души и окровавленных тельняшек.

На дне морской жизни тихо, как ночью в покойнице кой или уже утром в вытрезвителе.

На древний Корчев мы шли из Италии. В каюте висела ветка с лимонами и торчал из ржавого железного ведра сардинский кактус.

В ночь с 8 на 9 января 1969 года зазеленели на экране радара отметки далеких коктебельских гор Карадага и Сюрю-Кайя. Было холодно, прогнозы обещали тяжелый лед в Керченском проливе.

Около четырех ночи я сменил очередную карту, пере-

¹ Чем это я так, люди добрые, провинился?
За что изводите меня? — сказал бедняга. —
За что вы так издеваетесь надо мною? За
что, за что? — сказал он, схватившись за
бока, и разразился потоком горьких слез.

*Артемовский-Гулак, Пан та собака.
(Перевод Н. В. Гоголя)*

нес на нее точку и увидел на берегу Керченского пролива набранное мелкими буквами название «Тамань».

«Повесть эта отличается каким-то особенным колоритом: несмотря на прозаическую действительность ее содержания, все в ней таинственно, лица — какие-то фантастические тени, мелькающие в вечернем сумраке, при свете зари или месяца». Так писал Белинский.

Я рад был бы приветствовать любую таинственность и фантастичность. Я с удовольствием послушал бы песенку коварной девушки-контрабандистки о старых кораблицах, приподнявших крылышки, разметавшихся по морю в злую бурю. Коктебель и Тамань навевали романтическое настроение. И я даже измерил расстояние по карте от торгового порта Керчи до Тамани. Авошь выпадет свободное время — смотаюсь на рандеву с теньми Лермонтова и Печорина. Хотя я знал, что грузиться мы будем сложным грузом на Сирию и Ливан — триполифосфат и стальной прокат, части земснарядов и бумага, автомобили и проволока, рельсы и синильная кислота — около двухсот наименований общим весом более семи тысяч тонн.

Такая погрузка сулила бессонные ночи, общее истощение и значительную потерю нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются. Но я еще не знал, что впереди ждет меня самое дно казенных неприятностей, и, перечитывая рваные фразы радиограммы, где сообщался список предполагаемого груза, я с некоторым даже восхищением бормотал про себя: «Що, боже ти мий, господи, чога нема на тий ярмарци!»

Из радиотелефона доносились голоса портовых диспетчеров, голоса глохли в извивах Керченского пролива, в мокром снегу, тумане, над промерзшими насквозь лиманами: «Юнга»? Яка «Юнга»? Пшел к бису! Той буксир в Камышовую слободку побиг... Немае свободных буксиров! Як поняли? Да ни! Ни! Кому балакаю! «Дельфин» приїде, пошлю...»

Ныне на берегах Черного моря балакают на черт те знает каком наречии: одесский говорок, разбавленный расхожими малороссийскими жаргонами, с местечковым еврейским акцентом, и все это на великорусской основе. Уши вянут. И ведь большинство, как слепой мальчишка в «Тамани», отлично могут объясняться на обыкновенном русском, но обязательно коверкают его. И через

недельку погрузки в черноморском порту ловишь и себя на «немае», «совсим», «ни». И кажется, тебя так лучше поймут, за своего примут, легче работать будет. . .

. . . Лед, ледакол «Афанасий Никитин», метель, мороз, туман, негорящие буи, спихнутые со штатных мест ве- хи. . . И маленький порт, битком набитый судами, — ры- баки, торгоши, танкеры, масса какой-то мелочи — кате- ра, лихтеры, самоходки. . .

На причалах пирамиды грузов: заметенные снегом, смерзшиеся ящики, мешки, железо, экспортные автомо- били. . .

А всего 274 часа тому назад я ожидал наступления нового, 1969 года на острове Сардиния, в ее столице Кальяри.

Новогоднее торжество было отмечено зрелищем фут- большого матча между нашим «Спартакoм» и сборной Сардинии. После зрелища матросики повлеклись на ба- зар. Я отпустил их в шумную веселую толкучку одних, очередной раз нарушив флотский закон табунного шата- ния по базарам и универсамам. Уселся на скамеечке в том углу площади, где продавали цветы и где ничто не загораживало от меня сардинское солнце, курил, смо- трел на сардинцев, как они покупают фикусы у крестьян — нашенские, обыкновенные фикусы в кадках. Как крестьяне-мужички разгружают ручные тележки, выта- скивают из-под брезентов огромные снопы алых гвоздик и один сардинский мужичок держит сноп, сгибаясь от его тяжести, а другой обрезает стебли садовыми ножни- цами. И все это на фоне Средиземного моря тридцать первого декабря. И море потягивалось довольной кош- кой и блестяло вылизанной ветрами шерстью. А позади весело шумела ярмарка.

И вздыхали, мечтая о далеких соснах, пальмы возле самой моей скамеечки. . .

Не успели мы подать веревки на причал, как кто-то с керченской тверди замахал руками и заорал деловые вопросы о грузовом плане, готовности трюмов и т. д.

Не успели пограничники покинуть борт, а матросы снять последнюю лючину с четвертого трюма, как

портовые краны заурчали, застонали и понесли к черному провалу нашего пустого брюха огромные вязки катанки — стальной проволоки в бухтах.

Начиналась погрузка, которая называется вариантом «вагон — борт». Я опешил, ибо к такой оперативности в нашем порту готов не был.

— Шоб я так жил! За три дня погрузим! — сказал стивидор Хрунжий.

Интуиция вопила о подвохе: рьяность начала погрузки настораживала.

— Шариковые ручки очень любишь? — спросил я Хрунжего, ибо стивидор весьма выразительно вертел в корявых пальцах мою импортную авторучку.

— Уже таки!

— Можешь ее забрать. Пойдет все хорошо — получишь еще набор таких, в шикарнейшей коробке, — сказал я. — Стихи можешь не слушать. Слушай прозу: «При приеме экспортных грузов перед погрузкой грузовым помощникам осматривать все партии груза на складах порта или у борта судна...» Почему ты не дал мне осмотреть груз?

— Шоб я так жил! Ты ржавого железа не видел?

— Слушай дальше. «Грузовым помощникам систематически проверять тальманские листы приемо-сдатчиков порта. В процессе грузовых операций осуществлять контрольные просчеты подъемов, а также контролировать добросовестность работы тальманов порта...» Я хочу проверить первый подъем. Пошли.

— Слышал слово «чумак»? — спросил Хрунжий. — Биндюжники такие были, обозники, в Крым за солью ходили, а видцеля с рибкой в Чумакию тикали... Так ты, шоб я так жил, не с их числа?

— По-нашему это «куркули» называется, — сказал я. — Ты выпить хочешь?

— Який прозорливый!

Эта прозорливость и привела меня спустя трое суток на самое дно морской жизни, ибо я достал бутылку испано-малайско-арабско-международно-отвратительного рома. Я был еще очень неопытный на торговом фронте человек. Я боялся грузов, погрузочных документов и сдачи грузов прохиндеям получателям. Я еще не знал, что надо сразу и четко определить линию поведения и выдерживать потом ее с незыблемостью сфинкса. Или:

беспощадная придирчивость, строгость, проверка всего и всех, никакого выпивания со стивидорами и бригадирами грузчиков и т. д. Или: выпивка, обильные «презенты» (но действительно обильные, широкие, а не десяток шариковых ручек) плюс панибратство и задушевные разговоры. Середины нет.

А я, прослуживший в свое время десять лет на военном флоте, был слепым щенком на коммерческом поприще. Я еще пытался соединить обе эти линии, то есть скрещивал кобру с жар-птицей и ожидал появления гибрида в виде Георгия-Победоносца.

Мой идеализм и раньше махрово проявлялся, например в том, что я автоматически считал всех профессиональных, кондовых моряков хорошими людьми. Я считал, что благородство моря и опасности профессии делают из любой шельмы конфетку. Или же путем естественного отбора сепарируют шельм и центробежно вышвыривают их из морей на берега. Боженьки мои родненькие, как я изумился, когда впервые обнаружил патологического труса в заслуженном капитане!..

Керченский стивидор Хрунжий, оказалось, тоже раньше служил, но на суше, в войсках ПВО старшиной-сверхсрочником, и уволился в запас, когда ПВО стала переходить на ракеты. Зенитные пушки нравились Хрунжему потому, что стояли в городах или (в крайнем случае) в пригородах. Ракеты же покинули благоустроенные жилые массивы и подались в удаленные леса и доли. Это Хрунжего не устроило. И он утик из армии!..

Уже у трапа Хрунжий сказал, оглядывая бесконечные штабеля груза на причале, бесконечные цуги вагонов на путях и странно неподвижные (после недавней бурной деятельности) порталы краны:

— Шоб я так жил! Крутишься между начальством и вами, штурманами да работягами... Хоть у петлю лизь! Где ж мой грузчики? — задал он вопрос метели и серым небесам, направляясь к «Москвичу».

— А дачка-то есть? — спросил я.

— Ни! Яка дачка? Огород е невеличкий. Пьят соток.

— С огорода «Москвича» и сообразил? — спросил я.

— Ни! С премий, — сказал он, машинально проверяя

груз моих подхалимских презентов в кармане брезентового плаща.

— Где ж люди все-таки?

— Сейчас побачимо...

...Грузчики появились и краны опять ожили только через сутки, но в таймшите уже было записано: «Начало погрузки на два хода 14.30 — 16.00».

Хрунжий свое дело знал, и то, что я ягненок, тоже усек с первой минуты.

Каждую встречу он начинал с замечания, что я плохо выгляжу и что, если я буду так дергаться и переживать по поводу погрузки, то отправлюсь в ящик значительно раньше естественных сроков.

Неприятно, когда тебе часто говорят, что ты плохо выглядишь.

Погрузка шла безобразно, но первое время в пределах нормы безобразия.

Конечно, потом в Ливане, где очень дотошные приемщики, которые считали рельсы в связках поштучно, у меня не хватило много чего. Тщательные ребята в порту Триполи. Не то что в Сирии. Цветущая, богатая страна была Ливан в шестьдесят девятом году. И потрясающе красивая. Мы съездили из Триполи в Бейрут. Автострада следует извивам берегов Средиземного моря. К морю спускаются террасами бассейны для выпаривания морской соли. В них отражаются оливковые рощи. А близко горы со снеговыми вершинами. И туристы могут утром купаться в море, днем кататься на лыжах в горах, а вечером кутить в шикарнейших заведениях Бейрута — «Восточный Париж» — так его называли. И потому я, который видел эту колдовски красивую страну, сейчас с животочащей болью смотрю телевизионные репортажи из разрушенного Бейрута и разоренных деревень. И лица ливанских беженцев для меня не только мимолетный телекадр. Ведь, как и на всем Ближнем Востоке, в богатом Ливане разница между богатыми и нищими огромная. А кто в первую очередь страдает и гибнет под израильскими ракетами и бомбами? Бедные люди. Богатые переведут деньжата из местного банка в швейцарский, прыгнут в самолет — и все дела.

Ближневосточный конфликт тянется слишком долго.

Зрители во всем мире привыкли к нему. Уже не ощущают трагедии, только умственно отдают себе в ней отчет. А ведь там падают бомбы и рвутся снаряды. Кто слышал вой бомб и знает, как от их воя живот поджимает к сердцу или сердце проваливается в живот, обязан вспомнить эти моменты, читая примелькавшиеся газетные заметки о войне в Ливане.

Отношения с Хрунжим начали резко обостряться, когда выяснилось, что автомобили «газики» не лезут через «порог» твиндеков. «Газики» были с брезентовым покрытием. Всего двух-трех сантиметров не хватало, чтобы автомобили пролезли нормально. И пришлось снимать с машин пломбы, опускать верхи, заталкивать их в таком виде, а уже в твиндеке опять поднимать на место верхи. Внутри автомобилей ящики с запчастями и масса всяких других соблазнительных и дорогих вещей. Потому сразу после заталкивания «газика» надо не только восстановить его прежний вид, но опять опломбировать, ибо ценные и дефицитные детали испаряются моментально. Воровать их из-под пломбы сложнее и опаснее — можно и срок получить.

А Хрунжий, несмотря на мои вопли, все не посылал и не посылал пломбировщика.

Сейчас-то я ученый и понимаю, что процент с украденных и проданных деталей получал и он. И потому тянул с пломбировкой. Тогда же я довольно долго верил, что у него просто нет свободного человека и что он не меньше меня беспокоится за сохранность автомобилей.

Последней каплей оказалось его требование начинать погрузку техники на крышки нижних трюмов, хотя там были тяжеловесы, еще не раскрепленные. Одно дело крепить крупногабаритные тяжеловесы при дневном свете в открытых трюмах, другое — в тесноте и тьме уже закрытых. Загнать туда работяг, конечно, можно, но работают они при переносных люстрах и в тесноте такое, что на первом хорошем крене тяжеловесы пойдут гулять в парк культуры и отдыха.

Еще раньше порт потребовал погрузки на палубу автобусов и бензовозов «без упаковки». Существует положение: «Разрешается отгрузка без упаковки на палубах морских судов грузовых автомобилей, тракторов, строи-

тельно-дорожных машин из портов Черного моря в страны Черноморского бассейна и в порты Средиземноморья, если суда имеют грузоподъемность не менее 7000 тонн, при условии, что их трюмная загрузка не будет превышать 80% его грузоподъемности в летнее время и 60% в зимнее».

Дальше, конечно, о том, что «экипажи обязываются принимать все зависящие от них меры, продиктованные хорошей морской практикой, в целях сохранной доставки упомянутых грузов, перевозимых на палубах морских судов».

Наша грузоподъемность соответствовала положению, ибо была больше 7000 тонн, но и трюмная загрузка была больше 60%.

Такие серьезные вопросы ложатся уже не на штурмана, а на плечи капитана. Учитывая: а) порт забит товаром; б) технику ждут наши бедствующие друзья; г) переходы открытым морем от Керчи до Босфора и от Дарданелл до портов выгрузки маленькие, — было принято решение рискнуть и автобусы с бензовозами на палубу без упаковки брать. Хотя мы рисковали еще и добавочно, потому что грузовые стрелы на переход морем теперь невозможно было крепить «по-походному», то есть в горизонтальном положении. Их приходилось оставлять в поднятом к мачтам виде, а это опасно, если угодишь в шторм. На дворе же была зима, когда штормит часто.

Вообще, погрузить автомобиль на судно и закрепить не так просто, как покажется, например, философу. Природа не изобрела колеса для движения живых созданий в пространстве. Правда, природа заполнила вращением весь мир. Вращаются планеты, звезды и галактики, но они мертвые. Колесо изобрел человек. Быть может, он глядел при этом на звезды, а быть может — на обыкновенное перекасти-поле. Почему природа дала млекопитающим ноги, а не колесо?

Даже взятые на тормоза, колеса сохраняют неукротимое желание нести перевозимый тобой автомобиль за борт. Потенция движения сидит в самом нутре колеса.

Это изобретение и хорошо и плохо тем, что соприкасается с твердью лишь одной точкой. Когда грузишь автомобили на судно, хочется обнаружить у них плоско-стопие или даже лапы и копыта. Природа снабдила нас

конечностями, заботясь о добротном упоре в землю. Нога, лапа, копыто полны сосредоточенности, а колесо, черт бы его побрал, легкомысленно.

Так вот, мы пошли навстречу порту в ряде серьезных и опасных для себя ситуаций, а пломбы на «газиках» все не появлялись, и каждую смену я обнаруживал раскуроченные машины.

Хрунжий издевался над моим бессилием.

Хорошо помню дату, когда опустился на самое дно морской жизни. Это случилось в ночь с двадцать седьмого января на двадцать восьмое. Дату помню так хорошо, потому что после ужина часок смог посидеть у телевизора — была метель, и порт прекратил погрузку. Смотрели передачу из Ленинграда в честь годовщины снятия блокады. Выступала Берггольц.

Для блокадника вспоминать блокаду дело нервное, тяжелое. Смотря передачу, я больше всего боялся, что не смогу удержать слезы. Уж больно неудобно пускать слезу на глазах молодых матросиков — можно и авторитет подмочить.

Тут явился Хрунжий, сильно поддавший, и потребовал какой-то документ. Мы поднялись с ним в каюту. Там оказалось полно женщин в противогазах, куклуксклановских халатах и с вонючей химией в баллонах: старпом вызвал уничтожителей тараканов. Работницы такой службы женщины грубые и безобразничают больше необходимого, обрызгивая все и вся ядохимикатами. Грузовые документы, разложенные на диване, столе, полу, уничтожители свалили в кучу малу в углу каюты. Или старпом забыл предупредить меня о мероприятии, или я сам из-за блокадных эмоций протабанил. Во всяком случае я взбесился, выпроводил уничтожителей, открыл все иллюминаторы и рылся в документах, задыхаясь от ядовитой гадысти.

Хрунжий стоял в дверях и издевался надо мной не менее ядовито.

Нужный документ не находился. Я сказал, что погрузка прекращена и что с этой бумажкой можно обождать до утра, за ночь я разберусь, а вот если через час на борту не будет пломбировщика, то я больше не буду никуда писать просительные письма, я просто и обыкно-

венно разобью ему морду при помощи кое-кого из морячков-любителей этого вида спорта, тем более что он пьян и это засвидетельствуют все — от вахтенного у трапа до последнего кнехта. Он, конечно, понес меня. Тут пришел сдавать вахту третий штурман — молодой парень, отличный моряк и интеллигентный человек. Сейчас он уже капитаном работает. И мы в четыре руки спустили Хрунжего с трапа. Прямо скажу, что трап был длинный и кувыркался стивидор до причала довольно долго.

После этого я принял у третьего вахту, помыл кое-как каюту и засел разбирать перепутанные бумажки.

Конечно, кабы не Берггольц да не тараканья история, то я бы себе такого бессмысленного и даже вредного для дела поступка не разрешил.

Скоро ветер усилился баллов до восьми. Метель мела, и вечером ложиться спать я не стал — беспокоили швартовы. Сидел и детектив читал.

За тонкой перегородкой плакал ребенок — ко многим морякам приехали из Ленинграда жены с детьми.

Москва транслировала «Чио-Чио-сан».

Где-то около полуночи вахтенный матрос доложил, что пришла женщина пломбировать автомобили.

«Вот, оказывается, как надо для пользы дела разговаривать с Хрунжим», — подумал я, надел ватник и выбрался на палубу.

Отвратительная ночь бушевала над зимней Керчью. Противно было даже смотреть на металл, простывший до дрожи. Снеговые сугробы покрывали судно, поземка металась между надстройками, и ветер надрывно сопел в снастях.

Возле четырехугольного узкого лаза в трюм стояла в полном смысле слова снежная баба.

Она стояла у черной дыры, привязанная к ней невидимым поводком обязанности зарабатывать на хлеб насущный. Она казалась более одинокой и несчастной, нежели собака, привязанная у магазина и намеренно забытая хозяином.

Я хорошо представлял работу, которой женщине придется заниматься во тьме и стылости трюмов. «Газики» была раскреплена толстой стальной проволокой, и концы закруток торчали пиками и штыками в самых неожиданных местах.

И вот когда я поглядел на эту одинокую бабу и представил, как она будет лазить между креплениями в трюме, в полном одиночестве, подсвечивая простывший металл слабым лучиком ручного фонаря, и как она будет ставить по четыре пломбы на каждый автомобиль, то мне стало ее жаль.

— За что же тебя на работу ночью кинули? — спросил я.

— А кто знает?

— Пойдем в каюту, я тебя сперва чаем отпою.

Она, конечно, согласилась. Она выпила бы дегтю, только бы дольше протянуть резину и не лезть в стальной сейфовый холод трюма.

На палубе среди метельной ночи пломбировщица представлялась пожилой женщиной. В каюте же я увидел, что это девушка, которой не больше восемнадцати-девятнадцати лет. Ее звали Люба. Ее испуганные глаза смотрели сквозь выбившиеся из-под ушанки и платка заснеженные волосы. Огромные валенки. Ватные брюки. Солдатский ремень с пряжкой поверх полушубка. Фонарик торчит из-за пазухи, а пломбир висит на веревочке, привязанной к ремню.

В таком водолазном снаряжении и самый ловкий матрос загремит с первой скобы трюмного скоб-трапа. — Снимай малахай, — сказал я.

И когда она сняла полушубок и ватник, то из здоровенной бабищи превратилась в довольно миниатюрную девчущку.

Я дал ей горячий чай с лимоном. Она взяла кружку обеими руками и от счастья даже не сразу решилась пригубить.

Любопытство — вещь, свойственная путешествующим и тем более записывающим людям. А судьбы молоденьких девушек, заброшенных прогрессом женской эмансипации в суровые края и на тяжкие работы, интересуют меня особенно.

Навсегда запомнилась девушка из поезда «Воркута — Москва», девушка в красном пальто, лживая и неудачливая.

Но я знаю, что бог не дал мне таланта вмешиваться в чужие судьбы, ибо я только запутываю их. И потому не вмешиваюсь. Только любопытствую.

Через десять минут я знал, что Люба из Темрюка, училась в торговом техникуме; отец попал под поезд; студенткой в техникуме жила плохо; чтобы купить платье для танцев, обрезала и продала за шестьдесят рублей косу — «гарна була чуприна». Конечно, пыталась скрыть этот факт от наезжающей из Темрюка в Керчь на побывку матери. Но однажды помыла голову, легла спать, а мать и приехала, побила дочь пояском от купленного платья, а поясок был с металлической пряжкой, так что получилось больно. Мать утверждала, что спереди дочь «еще так сяк, а сзади похожа на черта». Пробовала всякими усилиями отрастить косу обратно, «но у хлопцев, например, скильки ни бройся, борода опять лезет, а коса бильше не растет». Нынче учится на тальманшу и подрабатывает пломбиривкой, потому что ученицам премии не положены. Оклад сорок пять рублей, пятнадцать из них платит за комнату в домике на окраине Керчи, домик плохой, в коридор сквозь щели надувает снег, а она не может достать войлок закрыть щели. И возле порога комнаты надувает сугробик.

Когда девушка рассказывала о проданных косах, из приемника звучала уже какая-то красивая иностранная музыка. В каюте было светло, тепло, чай был свежий и вкусный, лимон итальянский. И я с опозданием понял, что не надо было уводить Любу от черной дыры люка, потому что теперь, когда она здесь оттаяла и раскисла, ей еще страшнее будет опять напяливать промерзший малахай и начинать тяжкую работу.

Дело, естественно, кончилось тем, что я полез с ней вместе в этот проклятый трюм и светил фонариком, а она клепала пломбы на «газики». И даже напевала: «Сонце низенько, вечер близенько, спишу до тебе, мое серденько!»

Вот уж чего я не мог предположить, так это того, что рядом со мной ползает по трюму и напевает обаятельным голоском песенки мой будущий Иуда Искариот.

Увы, никто из мужчин не знает точного числа измен женщин. Я не о физических изменах, об изменах духовных. Последние обнаружить куда труднее.

Мы опломбировали штук тридцать «газиков», когда в трюм спустился Хрунжий. Он протрезвел, имел вид виноватый; заверил, что теперь пломбиривщица не уйдет с судна, пока не закончит всю работу.

Я сказал Любе, что пора сделать перерыв, и мы все трое вылезли на свет черный из черного трюма, чтобы еще попить чайку с итальянскими лимонами.

В каюте на столе стояла здоровенная бутылка дешевого портвейна.

— Ну, добре, погорячились, и хвате, — пробасил Хрунжий. — Обое тут як мавпы крутимся. Родина не ждет. Ну, чего в очи дивишься? Хлопни кружку. Пойло — дерьмо, но краше, чем ничёго... Я тоби обдурить хотив, ты меня с трапа пхнул, поквытались. Як дрыжать у тебе руки! Глотни стаканчик на мировую.

Мне не хотелось пить дрянной портвейн.

— Хватить, погорячылись. Тай годи!

И мы выпили. И Люба с нами.

— Зрада була завжды не для одного дила...

«Предательство было всегда. И обман. Для пользы дела. Я закон нарушал, ты его тоже нарушил. И мы квиты». — Так все сказанное выше переводил я для себя. — Вудь, мол, здоров и держи хвост пистолетом. И чего это ты сам по трюмам лазаешь? Видишь, от такой работы у тебя уже руки дрожат. Виски седые, а сам с пломбировщицей между автомобилями ползаешь».

Короче говоря, мы помирились.

Через пять минут он ушел, пообещав с утра прислать еще и рабочих для раскрепления тяжеловесов во втором трюме.

Дальше из моей объяснительной записки:

«Глубокой ночью, когда я уже лег отдыхать, меня вызвали с судна якобы для согласования изменений в карго-плане. На самом деле от меня потребовали подписать заготовленный портом документ о моей ответственности за часовой простой всех судов на рейде.

Порт был забит товаром, частые перерывы в подаче электроэнергии и низкая организация обработки судов вынуждали местные власти искать козлов отпущения среди судовой администрации. Подписывать документ я отказался в достаточно резкой (грубой) форме».

В помещении находились: милиционер, стивидор Хрунжий, дежурный диспетчер и неизвестное мне лицо. Вот этот консилиум из четырех человек и потребовал, чтобы я подписал бумагу о взятии на себя ответственности за простой судов на рейде, так как не разрешаю

грузить технику на крышки твиндеков до раскрепления тяжеловесов.

Пока мы спорили на эту тему, пришла и тихо села в уголке Люба. И тогда Хрунжий сказал, что спорить тут вообще нечего, потому что грузовой помощник пьян. Он, Хрунжий, и вот пломбировщица видели своими глазами, как он пил на судне спирт. И что надо составить документ о факте его пьянства, потому что и присутствующие это могут подтвердить.

Все у них было уже готово — и проект документа тоже.

— Я с пломбировщицей с полночи до двух часов лазал в трюме, — сказал я. — И это единственное, что она вам может подтвердить.

— А зачем вы сами там лазали?

— А просто боялся за нее, за девушку. Она могла пораниться о крепления автомобилей. Люба, а почему ты молчишь?

«Если она сейчас не скажет правду, немые возопиют и слепые Янко прозреют», — подумал я.

— Ни. Со мной никто ни лазав. Говорит, сам не знает! Пломбы сама ставыла.

Хрунжий — черт с ним! Все остальные — черт с ними. И даже я сам — черт со мной. Но Люба? И как торжествует! Прямо хитрая разведчица, вернувшаяся из-за линии фронта. Или все-таки правильной будет сказать, как подсадная утка в банде уголовников.

И я сказал самую идиотскую и бессильную из расхожих фраз человечества у се времена и у всех народов:

— Как тебе не стыдно?

— Шо бачылы очи, то и казала, — засмеялась Люба.

Я вспомнил, как она стояла у черной дыры люка и казалась мне более одинокой, нежели собака, забытая возле гастронома. Следовало по примеру Печорина ухватить ундину за косу одной рукой, а другой за глотку. Но, черт побери, у моей ундины и косы не было.

— Плохо кончишь, Люба, — сказал я. — Кто так жизнь начинает, тот обязательно плохо кончит, одумайся.

— Много видели, да мало знаете, а что знаете — так держите под замочком, — сказала она на нормальном русском языке, как в школе на уроке литературы.

«Ну, или орел, или осел и решка!» — решил я и сказал:

— Ничего не остается делать, как провести экспертизу. Я требую доставки меня в милицию, лучше в медвытрезвитель. Если вы меня не доставите, я сам туда доберусь. И так ли, иначе ли вы будете отвечать за клевету.

Прошью уважили без всяких добавочных требований. Через минуту я влезал в «раковую шейку», переоборудованную из годного на все руки «газика». Устраиваясь на жесткой скамье, я пробормотал себе под нос: «Ну, братец, назвался груздем — полезай в кузов...»

Кузов «раковой шейки» содрогался на ухабах и снеговых заносах ночных керченских улиц хуже торпедного катера на шестибалльной волне в Баренцевом море. Когда так трясет, или качает, или швыряет на волнах, я предпочитаю стоять, но в кузове милицейского «газика» не встанешь. Вероятно, это сделано для того, чтобы ты привыкал к глаголу «сидеть».

В приемном холле вытрезвителя ни одного образа ни в одном углу не было — как известно из «Тамани», дурной знак.

— Чего ты его сюда, ко мне привез? — бегло скользнув по мне профвзглядом, спросил дежурный лейтенант у того милиционера, который сопровождал меня из диспетчерской.

— Сам просил, — сказал милиционер. — Не хочет признавать, что выпивши. А Петр Степаныч и plombировщица видели, как спирт пил. И все диспетчера утверждают, что пьяный. Вот документ от них за четыремя подписями, — и он передал документ дежурному.

Лейтенант внимательно просмотрел документ.

Милиционер, который привез меня, вышел из комнаты.

— Пили? — спросил лейтенант.

— Три часа назад бутылку портвейна на троих, — сказал я. — А обвиняют меня в больших грехах. Вы сами видите, что я не пьян. Это мне и надо зафиксировать.

Пожилая фельдшерица (в белом халате поверх шубы) сидела и слушала или не слушала.

— Проверьте! — строго сказал лейтенант.

— Идите сюда! — сказала фельдшерица.

На улице фыркнул «газик» и уехал.

— Дыхните, — сказала фельдшерица и подставила мне сложенные лодочкой ладони.

Я дыхнул. Она понюхала.

— Ну? — спросил лейтенант.

— Выпивши. Так он и сам сказал.

— Идите отсюда, — вдруг сказал лейтенант.

— Нет. Так не пойду. Мне нужно, чтобы вы написали, что я не пьян. Меня обвиняют, что. . .

— Степанов, я его отпускаю, а он не хочет. Видел таких из тверезых? — спросил лейтенант рядового сотрудника.

Тот пожал плечами.

— И еще я убедительно попрошу вас, товарищ лейтенант, — сказал я, — доставить меня в порт на машине. В Керчи я первый раз, ночь, города не знаю, судно под погрузкой, а я на вахте.

Между прочим, я только в тот момент вспомнил, что плюс ко всему я еще и на вахте. Злость отбила память на мелочи.

— Речевое возбуждение у него, — сказал лейтенант. — Заметил, Степанов? Интересно ему у нас, да, Степанов? Еще поговорите? Или все сказали?

— Наш брат — нынешний человек — суетлив и действительно суесловен, — сказал я, ведя себя так, как нынче вел себя наш доктор с солдатом-пограничником, то есть высокомерно и глупо. Ведь от меня действительно пахло, и этого факта было вполне достаточно, чтобы отправить меня в кутузку и сделать козлом отпущения за любые преступления мира. — И потому нынешний человек, — продолжал я, уверенный в своей нравственной чистоте, — не получает настоящего удовлетворения от общения с другим человеком, даже если этот другой очень умный и образованный человек, ежели тот не является лицом, обладающим властью. С человеком же, который власть имеет, разговаривают уже с неподдельным интересом, хотя он и глуп, как пуп.

— Степанов, он меня дураком считает, а? — сказал лейтенант рядовому милиционеру.

— Вы меня неправильно поняли, — сказал я. — Я только заметил, что с вами интересно. Но мое судно под погрузкой, а я грузовой помощник капитана. Мы через денек снимаемся на Ливан. Повезем арабам технику и стальной прокат. Без меня там таких дров наломает. . . Кроме того, я член Союза писателей и. . .

— Степанов, если гражданин себя Шолоховым назо-

вет, посади его в душ, — сказал лейтенант и зевнул. — А сейчас помоги пьяному раздеться и веди в камеру. Спиртом от него так разит, что с души воротит. Небось чистым матом закусывал?

— Наши алкоголики лучшие в мире! — сказала фельдшерица, кого-то цитируя или повторяя известное присутствующим высказывание.

Лейтенант засмеялся. И я, дурак, тоже. Я все еще тупо не понимал, что Хрунжий капкан на мне захлопнул.

— Раздевайтесь, — сказал Степанов.

— Для вас эти шутки плохо кончатся, — сказал я лейтенанту.

Он только рукой махнул — слышал он тут угрозы и похлестче.

— Раздевайтесь. До исподнего, — сказал Степанов.

Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил керченское портовое спокойствие и, как камень, сам пошел ко дну. Это было илистое, холодное, омерзительное дно. Я погружался медленно, захлебываясь в зыбях человеческой лжи и несправедливости. Зыби уже смыкались над головой.

На короткие мгновения пытался увидеть все происходящее со стороны, представить, как спустя годы буду рассказывать приятелям новеллу с названием, с названием...

Под натужными воспоминаниями и попытками глядеть на происходящее со стороны неотрывно стоял страх. Какой уж юмор, когда душа полна страха!

Объяснение с капитаном, отношение в отдел кадров, персональное дело на партсобрании, запись в личное дело — и захлопнут визу.

Шапка, ватник, куртка, брюки, рубаха...

Каждый предмет одежды оказался связан с моим человеческим естеством интимными связями.

Я остался в исподнем, голый до пояса и в носках.

Фельдшерица сонно читала книгу, лейтенант ухмылялся, рядовой Степанов хмурился. Последнему, мне хотелось на это надеяться, не нравилось происходящее.

— Ну, пойдем, моряк, отдохнешь, — сказал он.

— Босым я никуда не пойду, — сказал я.

Хотя меня заставили поджать хвост и хотя меня трясло, как собаку на морозе, как Каина, но эта дрожь

из нервной и ознобной стала превращаться в слепое дрожание души. В таком состоянии я вижу впереди как в перевернутый бинокль — с четкостью фотовидеоискателя начинают работать зрачки. А все, что не прямо по направлению взгляда, расплывается в красноватой мути. Я видел стол, лейтенанта, телефон рядом с ним и графин на подоконнике. И я бы забыл великую истину: «Спорить с милицией или патрулем может только салага!» И я бы взялся за графин, если бы Степанов не дал мне две калоши сорок девятого или шестидесятого размера.

— Обуй. И не переживай. Утро вечера светлее, — сказал Степанов.

Возможно, он уберет меня от непоправимого.

Далеко не в первый и, скорее всего, не в последний раз переступил я порог милицейской камеры.

Двадцать шесть лет назад в континентальном городе Фрунзе потерял гражданскую девственность, украв стакан урюка у старой киргизки или ведро угля на сортировочной, — точно не помню. И услышал сакраментальное: «В камеру! Утром заговорит!» Била малярия, рядом валялся на грязных досках пола пьяный безногий солдат, в углу сидела на корточках и разговаривала сама с собой, нажеваввшись мака, спекулянтка рисом.

С тех пор знаю, как медленно бледнеет за решеткой под потолком окошко на рассвете. И знаю, что рано или поздно все это кончится. Нужно только стиснуть зубы и не делать глупостей.

Внешний вид и интерьер заведений подобного рода весьма интернационален. В том смысле, что в самых разных странах удивительно схож. Мне приходилось (по делам, к счастью) заглядывать и в американские, и французские, и английские полицейские участки. И впечатление такое, будто один и тот же художник трудился над их оформлением.

Но в Керчи я попал не в обыкновенную, а в вырезательную камеру. Там стояло шесть металлических коек, застеленных байковыми одеялами, и за ночевку на них брали десятку. Насколько известно, в гостинице «Украина» в Москве за десятку можно получить люкс.

К чести города Керчи, четыре койки клиентов не имели. Вероятно, день полочки миновал давно.

Без всякого блеска горела над дверью синяя

лампочка. В ее свете расхаживал по камере здоровенный громила. Он завернулся в простыню и смахивал на римского патриция. Когда дверь за мной захлопнулась, коллега привалился к притолоке и уставился в глазок. Любопытства ко мне он не выказал.

Громиле было лет пятьдесят. На левом боку и левой руке зияло несколько фантастических по величине старых шрамов. Перегаром от коллеги пахивало, но пьян он не был. Или уже проспался, или я не был первым, попавшим в это богоугодное заведение по некоторому недоразумению.

Второй коллега находился, прямо скажем, в плачевном состоянии. Лежал он не на чистой и симпатичной койке, а на полу; скрипел зубами, как токарный станок; пена засохла на губах, взгляд был мутный, покойнический; общее выражение лица и поза выказывали крайнюю степень отчаяния и муки.

Я облюбовал койку в углу, сдерживая острейшее желание заметаться по камере, рвать и ломать, биться башкой в стенку и орать. Процедура раздевания — именно эта процедура — травмировала мою нежную психику. Все остальное можно было пережить без особых стрессов. Я знал, что утром они должны меня выпустить в любом случае. И тогда я сразу прямым ходом помчусь в горком. Планы мщения, один другого прекраснее и сокрушительнее, так и калейдоскопили в моем воображении! Я понимал, что даже непрофессиональный в вопросах алкоголизма и пьянства секретарь горкома, посмотрев на меня утром и поговорив со мной, поймет, что этот человек не мог быть пьян до вытрезвительного состояния четыре-пять часов назад. Но я знал и другое: факт ночевки вахтенного штурмана в вытрезвителе никаким поздним реабилитанством не вытравишь из памяти товарищей кадровиков. Да и сами морячки такие штуки забывать не умеют: нет дыма без огня, и т. д.

— Курить охота, — сказал громила-патриций, оторвался от глазка и лег поверх одеяла на койку рядом со мной, потер фантастические шрамы и мирно зевнул.

— Автомат? В упор, что ли? — спросил я.

— Пулемет, — рассеянно ответил громила.

Он не врал и не шутил.

Древний и чужой спал за стенами вытрезвителя горд. Низкорослые дома, ограды из булыжников, камы-

шовые крыши, еще оставшиеся кое-где. И метельный ветер выкрутасит по улочкам, сотрясает окошко за решеткой, бьет в стекло обледеневшими ветками акации, доносит слабые гудки буксиров или локомотивов...

Ветры вихрят с Азовья, торосят льды в проливе. На студеном мелководье сбита, утоплена, искорежена навигационная обстановка — буи, вехи, бакены; чертятся сейчас гидрографы, ждет их впереди нудная работа...

Хорошо все-таки, что судьба с детства приучила к казенным домам.

Хорошо все-таки в тепле и в чистой койке, когда за окном метель и штормовой ветер.

Ну вот, друг ситный, думал я, пошел ты в моря и океаны на охоту за мифами, не можешь ты без мифов, не сидится тебе на Петроградской стороне, — получай теперь обычную реалистическую прозу, изучай ее в Тмутаракани, в Тмутаракани, в Тмутаракани...

— Не спи, кум, — сказал громила. — Тебе утром башку надо чистую иметь, а так заспишь и не выступишь.

— Тоже верно, кум, — сказал я и открыл глаза.

Перед важным делом лучше вовсе не спать, нежели спать коротко. Это космонавты умеют спать в любой миг по самоприказу и получать таким макаром свежесть. А я таким макаром получаю вялость.

Для утреннего визита в горком и поисков справедливости лучше было обойтись без сонной опухлости. И так физиономия после двух недель адской работы в Керчи напоминала печеное или гнилое яблоко.

Громила сел на койке. Он был лыс, и синий блик бродил по его корявому черепу. Морщины уже давно обжились на его лице, нашли свои точные места, закрепились, обозначая склонности, пережитые страсти, пороки и святости сложными, трудными для быстрой расшифровки иероглифами. Из иероглифов глядели темные маленькие глаза и усмехались довольно безмятежно.

— Давно облысел? — спросил я.

— Начавши пить, по волосам не плачут, писатель.

— Что, слышал, как они меня сделали?

— Слышал. Прижала тебя супруга-жизнь, кум. Взяли тебя ребята в ерши. Ну, Стас вроде чуть очухался. Давай-ка его в постельку уложим. Мне одной рукой несподручно было. Еще отбивается, а здоров як бык.

— Здоровей тебя?

— Куда мне. Страшной силы человек Стас.

Страшной силы человек был очень тяжелым, но никакого сопротивления не оказал.

Он уткнулся в подушку и заплакал.

— Воды ему надо, — сказал я. — Весь рот запекся.

Громила пошел к дверям и постучал аккуратно, согнутым пальчиком. Открыл Степанов.

— Сведи до лейтенанта, Павло Михалыч, — попросил громила.

— Иди, — сказал Степанов.

Они, видно, давно были спокойно знакомы.

В дверях опять щелкнул ключ.

А меня повело метаться из угла в угол. Калоши спадали, метаться в них было невозможно. И потому удалось взять себя в руки и уложить в койку, и заставить вспоминать что-нибудь постороннее, прошлое.

Представилась вахта в Мраморном море, когда я получил радостную телеграмму о том, что в Керчь мне летит подмена. Нервная была вахта. И подмену потом не прислали. . .

Бывает, что с первых минут вахты не чувствуешь уверенности в месте судна. Принял все нормально, а внутри необъяснимые и нечленораздельные сомнения. И стало казаться, что старик «Челюскинец» задумал набедакурить в море с холодно-красивым названием — Мраморное. Дело в том, что берега этого моря вовсе и не мраморные, они расплывчато-глиняно-холмистые, и радар плохо берет их. А здесь радар вообще вышел из строя. Дно Мраморного моря ровное, приметные глубины ухватить эхолотом невозможно. На определение по радиопеленгам времени не было — сплошь встречные и попутные кораблики. Четыре часа непрерывных расхождений при малой видимости и неуверенности в месте. И еще под самый конец вахты вдруг прямо по курсу и в непосредственной близости ударил в глаза прожектор, через несколько секунд — еще раз. Я заорал: «Право на борт!» И тут ударила третья вспышка где-то совсем уже под форштевнем. Судно увалилось с семидесяти девяти градусов на девяносто пять, а с правого борта несся обгоняющий танкер. Я висел с левого крыла мостика, чтобы увидеть лайбу, с которой сверкнули прожектором, но так и не увидел ничего. Потом метнулся на правое

крыло, увидел танкер в кабельтове на правом крамболе, заорал: «На прежний курс!»

Застопорить машину нельзя было, потому что прямо в кильватер шло еще одно судно. Оно держалось за нами уже два часа, и его штурман привык к равности наших скоростей, он обязательно впилил бы нам в корму, сбавь я резко ход... Отвратительная вахта. И нужно было вспомнить именно ее! Как будто мне не хватало веселья и без таких воспоминаний.

Громила вернулся с водой для Стасика и куревом для нас, спросил:

— Знаешь, кто тебя сюда упек?

— Все вместе.

— Точно. Дежурный диспетчер — твоего стивидора двоюродный брат.

— А, черт с ними. Меня девка ихняя обидела крепко.

— Любка?

— Ты в порту работаешь?

— Случаем бываю. Мы со Стасом по руде спецы. Когда руду отгружают, в порту работать приходится. Они тебе в портвейн спирт намешали. Заметил?

Нет, я этого не заметил. Мне любой портвейн так омерзителен, что, будь он хоть с амброзией, я, кроме отвратительного портвейнового запаха, ничего не ощушу. И потому я и выпил-то этой подлой смеси не больше стакана.

— Тут тебе и повезло. Вывернешься, кум. Лейтенантику уже дежурный по городу звонил. Там тебя ищут с парохода, шум поднимают.

Я знал, что меня будут искать, но факт-то! Факт ночевки в вытрезвителе уже свершился!

— А Любка — курва. Не одного морячка под монастырь подвела. Послушная девка. Вот они ее и используют в разных нужных случаях.

— Давай познакомимся, — предложил я.

— Лысый Дидько. Такое прозвище. Домовой поздешнему. Срок отбухал — вот Домовым и назвали.

— Пожалуй, тебя и без срока можно было так прозвать. Здоров больно.

Выяснилось, что сейчас он уже слабак, а вот до войны, в юности, поднимал быка на плечи.

— Брал за рога, покручу башку туда-сюда, он смирится, стоит как овечка, тогда я ему под брюхо лезу и этот фокус показываю...

Мне вспомнилось «Камо грядеши?» Сенкевича и Урс, который сворачивает быку голову. Я посмотрел на шею сосуществователя и поблагодарил природу за то, что она дает сильным людям добродушные характеры.

— Добрый ты человек, кум, да? Даже с похмелья злости в тебе нет.

— Это ты верно. Добрый. Только вот он, — и громила ткнул пальцем в затихшего немного Стасика, — куда как добрее. Я еще в давнее время сел. Нет, не думай, за дело сел. По справедливости. А Стас вольным там работал. Техникум заканчивал и в пятьдесят втором нами командовал. Трудная работа, а?

Мы закурили с Лысым Дидько по второй беломорине. И у меня немного полегчало на душе и от сознания, что ребята с парохода начали поднимать за меня полундру, и от беседы со славным человеком.

Стас был наследственным алкоголиком, знал он недопустимости для него вина вообще, до тридцати лет не пил совершенно. С подчиненными не пил. Они его уважали. Когда Лысого расконвоировали, Стас взял его к себе жить. Лысый к тому моменту уже решил, что жизнь кончена, а Стасик его к жизни вернул. И Лысый тоже закончил горный техникум. Потом на шахте случилась авария, пострадали люди. И Стас первый раз выпил. К этому моменту он женился. Очень любил жену. У нее было двое пацанов-близнецов от другого человека. И когда Стас запил, то у него началась мания ревности. Он чуть не убил жену, попал в отделение, там выпросил бумаги, чтобы написать жене письмо. Ему дали школьную тетрадку. А у Стаса, очевидно, начинался алкогольный психоз. Он писал на тетрадной странице извинительные слова жене и умолял ее не изменять ему. Написанные слова с бумаги исчезали. Он писал их снова и снова. Они опять и опять исчезали. Он впал в буйство и так бил себя в грудь кулаком, что сломал левую ключицу. Потом выломал дверь и пытался бежать к жене. Просто он каждый раз переворачивал страницу, исписав ее, и видел чистый лист. Но тогда ему казалось, что это проделки жены, что она не хочет получать от него письма.

Думаю, патологическая ревность у алкоголиков — следствие опустылевшего сознания вины перед женщи-

ной за пьянство. Вина может быть и не осознана, но она давит, от нее муторно, она терзает. И, чтобы облегчить терзания от виноватости, надо и в женщине найти вину, уравновесить свою. Вина измены больше вины пьянства. Потому пьяница может уже не только виниться, но даже бить женщину или убить ее. Построение всех этих силлогизмов происходит, конечно, бессознательно и именно в тех случаях, когда пьяница истинно любит женщину, то есть особенно сильно страдает от тех мучений, которые ей доставляет.

Всю эту предысторию Стасика Соколова рассказал мне тогда в Керчи Лысый Дидько. Оказалось, что он сам выпил немного и в вытрезвитель пробился вместе со Стасиком, чтобы не оставлять друга одного. Стас был в Керчи в командировке. Жена от него ушла. И Лысый собирался уговорить Стасика остаться в Керчи и жить с ним.

Довольно длинный рассказ сморил Урса, и он вырубился.

Стас стонал. Ему было очень плохо. Но глаза глядели уже не мертвым взглядом. Я давал ему воду и держал руку на лбу, и твердил избитые слова вроде: «Вот уже и отпускает... Держись... Скоро станет еще легче... Обойдется. Все будет хорошо...»

Я знаю, что иногда такие примитивно-обыкновенные слова помогают людям. Но нам не так-то просто говорить их. Нам их говорить бедствующему человеку трудно. Как будто отдавая утешительное бормотание другому, мы отнимаем от самих себя грамм или частицу уверенности в том, что и с тобой тоже все обойдется. Ослабляем себя. И при этом оправдываем скупость на слова утешения тем, что, мол, они лживые и произносить их как-то неудобно и стыдновато: какое уж тут «станет легче» или «все будет хорошо»! А если не может скоро стать легче и не будет впереди для утешаемого ничего хорошего, то, мол, на фиг я буду ему чушь бормотать?

Эти силлогизмы складываются в нас тоже подсознательно. Они требуют сохранять для самого себя психические силы, для своего спасения в длительном сражении с жизнью и смертью.

Я сказал еще Стасу, чтобы он приезжал в Ленинград, что у меня есть знакомые врачи в Бехтеревке и что я устрою его на лечение, и что жена вернется к нему, и что он начнет новую прекрасную жизнь. Уж больно понравилась мне эта парочка могучих людей с лицами громил и бандитов и с грудными клетками величиной с холодильник «Минск».

Стасик затих и повернулся лицом к стенке.

Я тоже лег. И смотрел на светлеющий, вернее, мутно-сереющий квадратик тюремного зарешеченного оконца и раздумывал об утрате своих морских иллюзий. И сознание их утраты поганило и саднило едва ли не больше неприятностей самой вытрезвительной истории и ее возможных последствий.

Многие годы я хранил и лелеял в душе чистое отношение к морю и морской работе. Многие годы мне удавалось вылезать из неизбежной грязи так, чтобы быстро забывать о ней. Я старался помнить о рассветах над океанами, а остальное...

Ведь мне писать, а я не могу писать без девственной чистоты любви к предмету писания. А от чистой любви оставались ножки да рожки. Нет, не оставалось даже ножек и рожек: из них сварили вонючий столярный клей...

Однако не забывай, сказал я себе, в блокаду столярный клей спас тебе жизнь!

В горькоме никого, кроме дежурного, не оказалось, потому что наступила суббота.

В десять утра капитан, помполит и я явились к начальнику морской милиции Керчи, где я заявил требование об отпущении за незаконное задержание в вытрезвителе, признав факт грубого отношения к стивидору. Подполковник милиции счел обе стороны равно виновными и предложил похерить дело без разбирательства. Я попытался упорствовать, но капитан вывел меня в коридор и объяснил, что я и так уже напрочь испортил отношения с портом, а нам еще не раз и не два приходится сюда в будущем. И что судно уже восемь часов грузят без грузового помощника. У судна дифферент на нос, в любой момент можем сесть на грунт, и вообще, хватит валять дурака.

Для чистой формальности подполковник попросил написать короткую объяснительную. Я упрямо написал, что своей виной признаю грубость по отношению к стивидору Хрунжему, которая выразилась в том, что я выгнал его с борта, но что одновременно я заявляю о безобразии, допущенном по отношению ко мне работниками милиции.

Начальник мельком глянул на мое сочинение и сказал:

— Правду, товарищ Конецкий. Только правду. Всю правду. Прошу указать, что вы употребили за час до разговора в диспетчерской двести граммов портвейна.

— Сто пятьдесят, — сказал я.

— Вот и напишите.

Я взглянул на капитана. Он уже бесился, стучал безымянным пальцем по столу.

Есть неписанный закон, по которому капитан должен сражаться за честь своего помощника до упора. Капитан должен любыми средствами сохранить честь помощника, ибо этим он сохраняет свою честь, честь судна и судовладельца. Другое дело, что потом он может и должен наказать виновного или даже списать его с судна.

Но мой капитан был слишком начитанный человек. Он на память процитировал: «И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а осьмнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила?»

Я поставил под текстом объяснительной постскрипtum и написал: «За час до скандала я выпил со стивидором стакан портвейна, который он принес на борт».

— Кто это видел? — спросил начальник.

— Что видел?

— Что именно стивидор принес?

— Пломбировщица.

— Она опять откажется, и вы попадете в еще более нелепое положение, — сказал капитан.

И я отступил за Москву и даже за Урал. Я устал, перегорел, потух и смертельно хотел спать.

Не успели мы закончить погрузку, как пароходство уже получило телегу с приложением справки о моем пребывании в вытрезвителе.

Не в самом хорошем настроении уплывал я из Керчи. Да и какая-то тоскливая неразбериха преследовала судно. В машине полетел шатун. Буксирами нас вытаскивали кормой вперед на рейд, чтобы освободить причал.

Молодой, вязкий лед не хотел расступаться перед нашей кормой. Буксирчики задыхались от натуги. Два с половиной часа потребовалось, чтобы отойти на милю и стать на якорь. Температура же стремительно падала. К утру снег уже не был влажным, ударило минус двенадцать градусов, небо прочистилось, портовые дымки потянулись к зениту ровными столбами, все на палубе застекленело, рейд схватило сплошным льдом. Плавкран, который таскал к нам необходимые машине детали из судоремонтной мастерской, застрял посередине рейда, влип, как муха в мед. До него было метров сто. Чуть-чуть! Это знаменитое «чуть-чуть»! Сто метров — и мы стоим на месте шатун и уходим к апельсиновым берегам...

Уродовались еще двое суток с ремонтом.

В пять утра пятого февраля наконец явились пограничники и таможня оформлять отход.

Я спал в каюте на диване одетый.

Когда загрохотали солдатские сапоги и грохнул о дверной косяк приклад автомата, открыл глаза, но не встал. Надоели мне все власти на этом свете.

— Здравствуйте, — вежливо сказал таможенник.

— Доброе утро, вернее, ночь... Или утро, — сказал я.

— Доброе, доброе, — зловеще-профессионально согласился таможенник. — Вы кто?

— А на двери каюты написано, — сказал я. — Второй штурман.

— А, устали, значит?

— Отдохнул, — сказал я.

— Валюта есть?

— Итальянские лиры, восемь тысяч.

— В декларацию внесены?

— А вы взгляните. Она у вас в руках.

— Здорово устали, — с непонятым удовлетворением констатировал таможенник, разглядывая меня. — Конечский?

— Виктор Викторович, — согласно правилам ответил я.

Молодой и румяный пограничник отодвинул ствол автомата полог над койкой.

— Знакомая фамилия, — сказал таможенник. — Вы в Керчи уже бывали?

— Нет. И надеюсь больше не быть.

Он изобразил на физиономии вопрос. Я почесал свалявшиеся волосы и сел на диване. Лежать становилось неудобно.

— Для меня на веки веков Керчь — самый скверный городишко из всех приморских городков России, — ответил я на безмолвный вопрос.

Таможенник загадочно хмыкнул.

— Передайте привет нашим друзьям арабам, — сказал он.

Я обещал передать.

Представители власти традиционно пожелали счастливого плавания и убыли.

В каюте пахло тараканьим хлорофосом и сапожной ваксой. Такая смесь слишком напоминала казенный дом. Пришлось отдрать иллюминатор.

Морозный пар, шорох льда, плеск воды и мутный рассвет. И в двадцати верстах к востоку — скалистый берег Таманского полуострова, корявый домик казачки Царицыхи, пистолет странствующего по казенной надобности офицера на грунте, под слоем ила, стылой воды и грязного льда.

Подходил ледокол. Его яростный гудок раздался близко. И среди серых льдин и рыжеватых полыней заметалось что-то живое, завилось галактической спиралью, стремительно рванулось в высоту и оказалось огромной стаей уток.

Их спугнул ледокол.

Приблизительно через год я был дома в отпуску.

Болела мать.

И я часами мотался между аптеками. Потому что нынче врачи обязательно выписывают такие лекарства, которых нигде не достанешь, и рекомендуют такие продукты для диеты, которых нигде на всем свете нет.

Мать, естественно, понимала, что аптекарская деятельность для мужчин хуже любого урагана.

И хотя ты изо всех актерских способностей изображаешь довольного жизнью бодрячка, мать каждую секунду переживает, что вот сын вернулся из плавания, а

из-за нее вынужден тратить драгоценный отпуск на аптекарски-магазинную каторгу. И больше всего она боится, что ты с тоски напьешься. И правильно боится. Ибо, покинув очередную аптеку и проходя мимо очередной забегаловки, тебя тянет успокоить нервы и психику стаканом коньяка. И дома тянет, потому что от притворства и лжи в изображении бодрячка сухо во рту. Но ты держишься, готовишь еду, перестилаешь матери постель и т. д. Все сам: никто другой угодить ей не может, любая самая опытная женщина все сделает «не так».

Наконец вечер. Мать уснула. Можно почитать или посмотреть телевизор — и то и другое своего рода наркотик, потому что уводит от окружающей действительности.

И — дзынь! дзынь! дзынь!

Врача я не вызывал, знакомые без телефонного звонка не приходят.

Я открыл дверь и увидел Стасика.

Он был пьян.

Если что могло убить мать без помощи даже врачей и их неосуществимых рецептов, то это появление у меня пьяного дружка. Любая мать, жена и дочь считают, что их сыновья, мужья и папы выпивают по вине дружков-собутыльников. А Стасик мне и никаким дружком не был, и не виделись мы после Керчи.

Я отпихнул Стасика от порога, вышел на площадку, притворил дверь, спросил:

— Тебя откуда принесло?

— Из Мончегорска, — объяснил он. — Дуба режу. Ночевать негде. Помоги.

— А деньги есть? — спросил я.

Деньги у него были большие. И тогда я объяснил, что болеет мать, ночевать у меня невозможно, с деньгами он где-нибудь устроится и, кроме всего этого, когда я трезв, то не терплю пьяных.

— Прости, — сказал он и стал совать мне авоську с яблоками — весь свой багаж.

Он был пьян застойно, уже очень ослабший, в том состоянии, когда не бывают агрессивными и не делают хамских поступков. Но я не мог пустить его ночевать. Это наверняка обозначало бы «неотложку» для матери через пять минут.

— Шлепай, — сказал я.

Он послушно повернулся и пошел вниз.

Не очень-то весело так выпроводить человека, с которым раньше сводила судьба в тяжелой ситуации.

Мать, конечно, проснулась от трезвона, поняла, что приходил «дружок». И сразу обычное: «Ну, прогуляйся, прогуляйся с ним, ведь ты только и ищешь повода, вот он, повод, и явился...»

Я обозлился.

— Нынче это не так, мать, — сказал я. — Нынче ты отлично чувствуешь, что нет никакого повода. По инерции говоришь.

И объяснил ей, что выгнал на улицу бездомного человека, что это Стасик (про керченскую историю я ей раньше подробно рассказывал), что знаю его мало, но это хороший человек, и мне теперь до гроба будет стыдно при воспоминании о том, как я Стасика выгнал в мороз и снег.

Мать велела бежать за ним, найти и хоть из-под декабрьского снега выкопать. Я помчался сломя голову.

Слава богу, Стас завалился на скамейку во дворе-сквере прямо напротив парадной. И, слава богу, у него была бутылка портвейна. Этим портвейном я по капельке поддерживал его часов до двух ночи, когда он уснул на ковре на полу — лечь на диван он отказался категорически. А Лысого Дидько мне в помощь, как вы понимаете, не было.

Несмотря на тяжелое опьянение, Стас был в состоянии довольно вразумительно рассказывать о своих мытарствах и кошмарах. И все повторял: «Нисего, я споткнулся о боську, это к завтраму все засивет...»

Отца Стас не помнил — тот погиб в шахте до войны. Мать уехала на фронт вместе с отчимом. Была ранена осколком снаряда, которым убило его. Приехала в батальон на санитарной машине; танки отчима стояли в укрытии, но под обстрелом; была много раненых. Танкисты сидели под машинами, отчим ее увидел, из-под танка вылез, снаряд разорвался как раз между ними: его в клочья, ее ранило.

— А была красивая, — рассказывал Стасик. — Мягкая была мама. А после войны стала твердая. Меня как-то перестала любить. По чужим людям жил. Но вот когда армии из-под Берлина на Японию перебрасывали, она мне сала привезла. Это хорошо помню. Потом она

в Караганде очутилась, а я в Мончегорске. Она еще одного мужика нашла, но жила плохо. И тот тоже скоро помер. Ну, она ко мне тогда приехала, в аптеке работает. «Женщины, говорит, вообще полезная очень плесень. Как пенициллин». А про меня говорит: «Ах, поручили бы тебе, мямле-недоноску, большое, аховое дело, ах, как бы ты его лихо провалил!» Это она говорит, когда по телевизору какие-нибудь героические фильмы смотрит. Может, и верно говорит. Хотя я ведь и нынче не с ангелами работаю. Ведь много людей есть, которые работать под землей могут и умеют, но выкладываться не хотят. А скажи такому заветное слово — он тебе в вечной мерзлоте тройную проходку даст без крепежа всякого и без лозунгов. Отчаянные есть ребята, но за человеческое обращение откроются. Только надо, чтобы это человеческое обращение натуральным было...

Вот так мы с ним побеседовали, пока он не заснул.

Утром я позвонил знакомому врачу-психиатру в Бехтеревку и объяснил, что надо попытаться спасти одного хорошего алкоголика.

— Вы мне уже двадцать раз говорили, что наши алкаши лучшие в мире, — ответил доктор. — Но, простите, я не нарколог. Я специалист по сумасшедшим чистой воды, а не водки.

— Мне не до шуток, — сказал я.

— Он приехал с женой?

— Нет. Она его бросила, когда он во второй раз пытался ее зарезать.

— Если он здесь без какого-нибудь близкого родственника, все равно не примут.

— Я выдам себя за его брата, а вы подтвердите.

— Ладно. Лечиться он хочет твердо?

— Стас, ты хочешь лечиться от алкоголизма в самом знаменитом институте? — спросил я.

— Нет. Я не готов, — сказал Стас. — Я просто споткнулся позавчера о бочку, это к завтраму все заживет.

На том и расстались. И я поставил на нем крест. И уже стал бояться, что он опять и опять начнет возникать из ночи, пугать мать, сбивать мне работу или в письмах просить пятерку, надрывая мою чуткую и нежную душу, ибо, когда гибнет человек, художник не может

сочинять настроенческую прозу и начинает злиться, чтобы злостью задавить в душе бессильную и бессмысленную жалость.

Случилось иначе. Письмо из Мончегорска действительно пришло, и мне не хотелось его вскрывать, но писал Стасик о том, что опять пережил белую горячку и готов теперь к чему угодно.

Приехал он с матерью, опять пьяный, остановились они в Доме колхозника. Мать, которая казалась мне после его рассказов какой-то сурово-цинично-сильной женщиной, была на деле маленькой, высохшей старушкой и все время плакала.

Наркологическое отделение Института имени Бехтерева — не вытрезвитель. Туда принимают людей, которые в твердом уме и чистом сознании заявляют о желании пройти достаточно невеселый курс лечения.

И стоило большого труда уломать главврача взять Стасика в том виде, в каком он находился (Стасику хотелось вставить пальцы в розетку вместо телефонного штепселя, чтобы связаться с Кремлем и сообщить о большой опасности для СССР со стороны острова Ямайка).

Через три дня он начал делать по утрам зарядку и проситься на работу, и врачи разрешили навестить его.

Первой его фразой было: «Викторыч, какое это счастье — быть трезвым, ощущать свое тело, запахи, хотеть есть, и укладывать в штабеля дрова, и чистить снег под деревьями! На морозе! Я так люблю мороз!»

Черт знает, но что-то сблизило нас. Быть может, то, что мы выдумали, что уже встречались и до Керчи где-нибудь в Нижних Крестах или на Кильдинстрое в Мурманске.

Кстати говоря, счастливое ощущение товарищества, друженности вызывает в россиянах такое душевное возбуждение, взлет, которые зачастую опять же ведут к водке, ибо их хочется как-то разрядить, разрядить перенапряжение положительной эмоцией. Вот так актеры, отдав зрителю себя полностью, до самых глубин, потом часто пьют. Так и в случае взрыва российского товарищества иногда получается.

Стас оказался не только запойным пьяницей, но и запойным книгочеем. Он ничего не просил кроме книг,

книг, книг. Прочитал он их за жизнь великое множество. И удивлял меня афоризмами собственного изобретения. Например: «Вечный раб в протрезвевшем человеке особенно заметно проявляется после буйства».

Когда я привык к его «с» вместо шипящих, то с интересом выслушивал исповедальные рассказы.

Удивительной искренности он человек.

И про любовь рассказывал не таясь:

— Я, знаешь, Викторич, робкий в таких делах человек. И вот сосед заболел. И вот к нему участковая врачиха стала приходить. А я ей дверь открываю и пальто вешаю. Один раз она говорит: «У вас тут душно, как в бараке, надо чаще проветривать». Я ей говорю: «А вы поживите с нами в таком бараке, тогда узнаете, что тут форточку открывать нельзя». — «Вы, — она говорит, — такой могучий мужчина — и форточки боитесь». Вот в этот момент меня как-то так и ударило прямо в сердце. Увидел я ее. Как в первый раз увидел. И покой потерял. Сосед давно выздоровел, она приходит перестала. А мне в поликлинику к ней смелости не хватает. Решил, надо самому в натуре заболеть, простудиться, чтобы ее вызвать на дом. Кайло в шахте брал, до полного пота намахаюсь, потом без ватника сижу, жду, когда кашель появится. Ничего не брало. Здоров больно. Ни температуры, ни даже чиха. Ну, я ночью как-то разделся до трусов, вылез на крыльцо в мороз и водичкой себя поливаю из чайника. Тут уж получилась настоящая простуда. Послал соседа, тот участковую вызвал. Лежу и трясусь весь от переживаний, представляю, как она войдет. И ты представляешь, какая несправедливость! Является какой-то старикан и сразу мне: «Такие, как вы, только на том свете простужаются. Зачем вам бюллетень нужен? Признавайтесь». Знаешь, из таких стариков-ворчунов, которые сквозь землю видят. Я тогда беру и говорю: «Знаешь, терапевт, или кто ты там по узкой специальности. Тут к соседу другая врачиха приходила. И теперь я без нее жить не могу». Он мне говорит, что у нее двое детишек-близнецов и что вообще таким путем в наше время романы не закручивают. Отчитал меня, обругал, воспаление в легких нашел крупозное, но в больницу я отказался. И тогда он говорит: «Ладно. Завтра тебе другое лечение будет». И действительно, приходит на следующий день она, такая вся худенькая, бледная.

Южанка, а пришлось на Севере жить. Я как ее увидел, думаю, сейчас на воздушном шаре полечу. Разведенная. Через месяц и поженились. . .

По писательской привычке я расспрашивал Стаса о галлюцинациях при белой горячке. Он их четко помнил:

— Ночь. Тихо. Я так спокойно лежу, хорошо мне. В окно стук. Открываю окно. Женщина на снегу, голая и в черном платке на голове. Говорит: «Поддай-ка мне будильник!» Я ей спокойно отдаю будильник и думаю еще: «Как бы без будильника не проспать». Здесь из стен начинают вытягиваться нити, обыкновенные нитки, и тянутся к окну. По дороге изгибаются под прямым углом. Швабра была в комнате. Я ее схватил и бью по ниткам, порвать их хочу. Ан нет! Швабра в нитках запуталась, и они меня тянут к окну. А там в сугробе эта женщина лежит и говорит мне: «Сейчас к тебе мальчики придут!» Я швабру бросил и побежал дверь держать, потому что еще раньше мне казалось, что должны прийти четыре мальчика. Я дверь держу, а они с другой стороны тянут и перетягивают. На маленькую щелочку перетянули. И в эту щелочку проскочили. Стали за рубашку меня дергать, за волосы. Возле печи топор лежал. Я его схватил и по ним луплю, а они уже не мальчики, а чертики. Пищат. Я кровать и стол изрубил. Потом понимаю, что я болен, что я это не я, что вокруг не жизнь, вокруг болезнь. И вот, с одной стороны, понимаю, что все это только мерещится, а с другой — все так и есть: и черти, и пищат они, и когда я по ним топором попадаю, то из них дымок вылетает. И еще вдруг осенило, что мальчики были ее, жены моей, дети от других каких-то любовников. А она-то на деле прекрасная женщина. И честная, и умная. . .

Я ушел в рейс еще до того, как Стас выписался.

От врачей знал, что он хорошо поддается гипнозу. Seriously хочет бросить пить. И врачи надеялись освободить его от зеленого змия навсегда.

И вот встретились в Игарке.

— Кем ты здесь? — естественно, спросил я первым делом.

— Работаю в спесмедслужбе.

•

— Господи! Боже мой, Стас, куда это тебя занесло?! Зачем тебе заниматься таким невеселым делом?

— Зимой много свободного времени. Читаю. И народ изучаю. Где его еще так изучишь, как в милиции Игарки?

— Темнишь, Стас.

— Русских реалистов прошлого века читаю. У них сказано, что общественное отрицание связано с поэтичностью, исходящей из национально-народных источников.

— Темнишь, Стас. И говоришь такими цитатами, что тошнит.

— Создал здесь общество по борьбе с пьянством. Главным образом, мы поддерживаем друг друга тем, что вместе чем-нибудь занимаемся, обсуждаем разные вопросы. Историю пьянства, например. Старинные книги достаю, когда в отпуск езжу. Недавно в Москве у букинистов «Историю кабаков» Фрэнкеля достал. Читал?

— Нет.

— Обыкновенная книжка. Но интересно, что Горький оттуда одну штуку украл. Что сквозь мысль у нас всегда просвечивает чувство. Что мысль и чувство у нашего брата особенно неразрывно слиты.

— Стас, ты разговариваешь точь-в-точь как герои «На дне»: чересчур умно для лейтенанта спецмедслужбы. Мы не в Сорбонне. Хватит темнить. Чего тебя сюда занесло?

Он уже собрался сказать правду, но явился грешник-доктор. И забормотал о новорожденном сыне.

Стас долго глядел ему в глаза. Изучал. Тяжелый взгляд выработался у него за то время, что мы не виделись.

— Так, — сказал Стас мне, — надо, чтобы на судне немедленно сочинили выписку из протокола командирского совещания: «Поведение такого-то, мол, было обречено и осуждено всем экипажем теплохода...» Ну, решение соответствующее: «Выговор в приказе, сам экипаж будет воздействовать, ранее плохих поступков не совершал, в пьянстве не замечался». Так, а теперь ты, Викторыч, дай честное слово, что впишете этому хлюпiku по первое число.

Стасик говорил все это в присутствии доктора, но как бы больше не замечая его, и только последние слова адресовал грешнику:

— Марш на судно! Даю тридцать пять минут. Печать на выписке должна быть круглой. Бумагу отдадите начальнику милиции. Я его предупрежу.

Док наярил по опилкам и доскам Игарки вниз к причалам, как молодой олень.

— Ну, так что случилось? — вернул я Стасика к нашему разговору.

— Лысого шпана забила до смерти. Вот я и пошел сюда служить. И вообще, это длинно объяснять. Просто слишком рано я решил, что устал от жизни. И что у меня поводов и причин на эту усталость достаточно. И что в таком случае имею право спиться. Уставать имеют право слоны и носороги, а люди — нет. Умирать мы право имеем, а уставать — нет. Дело у меня невеселое, ты прав. Но пьяных легко обобрать и избить. Вот я и борюсь со всей этой гадостью. Изнутри.

— Стас, ты сам-то понимаешь, что являешь собой законченный тип дурацкого и прекрасного русского человека? — поинтересовался я.

— Куда отходите? — спросил Стас.

— На Мурманск, — сказал я. — Ты не тяни с документами доктора. И, знаешь, я тебе завидую.

— Это я могу понять, — сказал Стас. — Но нельзя объять необъятное. А ты и так стараешься не отрывать-ся от людей.

— Спасибо, — сказал я.

— Вот приезжают к нам лекторы, писатели. На свой кружок, в общество трезвенников их стараюсь затащить. Есть у нас тут несколько поэтов доморощенных. Писатели всегда их в литературщине обвиняют. А вот того, что вся жизнь вокруг и есть литературщина, этого и самые хорошие писатели не понимают. И ты не понимаешь. Или понимаешь, но сказать боишься.

Я вспомнил про задержанного моториста.

Но Стас объяснил, что сам принимал его, что моторист человек скользкий и ходатайствовать за него он не станет.

— Тогда прощай, дружище, — сказал я. — На судно пора.

— Как мама? — спросил Стас.

— Умерла. А как твоя?

— Тоже.

— А с женой что?

— Вернулась. Сейчас в Сочи с парнями. Ну, счастливого плавания. И спасибо за все.

— До встречи! Тебе спасибо.

Стас по-милицейски круто повернулся и зашагал в свои милицейские заботы. Он не обернулся, хотя я довольно долго буравил ему затылок, глядя вслед и раздумывая о том, что местечко где-нибудь на окраине райского пустыря Стасику найдется, если он взялся защищать интересы русских пьяниц «изнутри».

Ведь не было и нет несчастнее и бесправнее человека в мире, нежели горький пьяница.

ШУТОЧКИ ФОМЫ ФОМИЧА И ПОВОРОТ ПОД ПОПУТНУЮ ВОЛНУ

В третий период плавания, «дизадапционный» (2—3 месяца), притупляется чувство ответственности, особенно у плавающих меньше трех лет, и, наоборот, появляются чрезмерные боязливость и опасения у плавающих свыше пятнадцати лет.

«Инструкция по психогигиене для старших помощников и капитанов судов морского флота»

07.09.15.00.

Снялись из Игарки. До лоцманского судна «Меридиан» — двадцать шесть часов по реке, по Енисею.

Унылая штука — конец рейса. Он уныл, как наша пицца сегодня. Кислые щи и макароны с мусором — кончаются продукты. И вот унылость кислых щей и макарон с мусором пропитывает наши души. Дело, конечно, не в продуктах, а в накоплении усталости — там, внутри клеток, внутри хромосом, без заметных сигналов вроде бы... Унылость мироощущения — это и есть сигнал.

Творческое выползло из души, остался голый реализм натуральной прозы. И вот облака уже не волокут по бледной тундре на невидимых буксирных тросах свои фиолетовые, тяжелые, как бульдозеры, тени. И волны Енисея уже не кажутся синим чаем, как они казались раньше, — вода была цвета крепкого чая, но с яркосиней пленкой. . .

Унылость мироощущения порождена не только естественной усталостью после ледового плавания и трудной, очень трудной погрузки леса, но — главное — атмосфера на судне тяжелеет час от часу.

У второго механика украли джинсы с десяткой в кармане.

Хотя состав организма у Петра Ивановича такой же, как у Млечного Пути, шум по поводу пропажи он поднял ужасный. Суть шума в том, что его моторист оставлен в милиции Игарки, и этот прискорбный факт Петр Иванович логично старался скомпенсировать каким-нибудь обвинением в адрес высшей судовой администрации. И шумел он на тему отсутствия вахты у трапа. А вахта почти не неслась по причине насильственного отгула выходных.

Далее. Впервые потерял выдержку и крупно надерзил старпому Дмитрий Саныч. От момента погрузки лесоматериалов до момента их выгрузки ответственность за груз лежит на судне. И опытный Саныч ротором крутился в трюмах, чтобы не терять ни на минуту контроля за ходом погрузки. Тем более, груз шел в пакетах. Это дело новое. С переходом от загрузки судов пиломатериалами россыпью к загрузке пакетами плотность укладки стала значительно меньше. Раньше доски укладывались слой за слоем, одна в стык другой, и еще «расшпуривались», то есть специальными клиньями их сдвигали, чтобы уменьшить до предела ширину щелей-пустот. Работа эта муторная, и заставлять грузчиков заниматься «расшпуриванием», когда главное для них было, есть и будет — навалить за смену возможно большее количество груза, чтобы выполнить и перевыполнить план, было тяжело: тебе на башку могла «случайно» и доска упасть, если лазаешь по трюмам и заставляешь работяг терять время на забивание клиньев между досок. Зато пустот в трюмах оставалось мало.

При нынешней загрузке пакетами выигрывается вре-

мя, и это выгодно, ибо на море время и оборачиваемость судов — это чистое золото. Но с точки зрения морской практики здесь многое еще не отработано. В трюмах между торцами пакетов остаются сотни и сотни кубометров пустого пространства. А это уже опасно и для тебя, и для твоих близких родственников.

И вот в разгар сложнейшей погрузки Фома Фомич отправил Саныча на берег искать представителя «Экспортлеса», подписавшего гарантийный договор с грузополучателем об отказе его от претензий по качеству товара, перевозимого на палубе, то есть «в караване». Капитан приказал Санычу выкопать представителя из-под земли и добыть копию договора. Всякий груз, перевозимый на палубе, идет всегда на риске грузополучателя — такая практика существует уже столетиями.

И вот Саныч часов двенадцать провел на берегу, гоняясь за копией договора и ее носителем, который от Саныча нормально начал прятаться, ибо еще никто у него копии не требовал и он искренне решил, что Саныч сумасшедший. А Саныч после певекской истории решил выполнять приказы Фомича буквально и не выполнил: не дали ему никакой копии.

Все это время (три смены) погрузку вел старпом.

Фомич тоже не сидел без дела. Призвав меня в соавторы, он составлял бумагу в пароходство с просьбой уменьшить рейсовое задание, выданное нам (5000 кубов леса), до 4800 кубов по причине слабости борта и частых поломок машины.

Мы составили вполне нелепую бумажку, и Фомич убыл на берег, чтобы отправить телекс и еще сдублировать его, позвонив в пароходство по телефону.

В награду за подвиги в милиции Фомич предложил мне спать, а за себя оставил старпома.

Так как жизнь коротка, а пребывание на посту капитана еще короче, то я с радостью дал Арнольду Тимофеевичу капитанствовать, а сам выполнил наказ Фомича.

Разбудил Саныч.

— Порт напорточил, — сообщил он довольно тревожным голосом. — В трюма шла сосна, сейчас навалили уже метр каравана на палубу, а весь караван — листовница. Что делать? Фомы Фомича нет, Арнольд Тимофеевич не хочет меня даже слушать.

— Объясните толком. Не допираю со сна, — сказал я.

— Удельный вес сосны — ноль целых шесть десятых тонны. Удельный вес лиственницы — ноль восемь.

Тут я понял. Представьте себе детский пластмассовый пароходик в тазу. Теперь осторожно укладывайте ему на палубу стальные гайки, а внутри пароходика — святой дух, или воздух, или пробка — что-то, во всяком случае, намного легче стальных гаек. Что делает пароходик в тазу? Пока он стоит неподвижно, то тихо и равномерно погружается. Но вот вы его чуть толкнули на свободу, и — аут — переворачивается.

— Стармех на борту?

— Нет. С капитаном ушел. Тимофеич Галину Петровну развлекает. Я вас попрошу меня туда отконвоировать, — сказал Саныч.

Старпом сидел за капитанским столом в капитанском кресле и угощался вареньем. Галина Петровна гадала ему на картах.

Кстати, мне она тоже гадала. Очень профессионально она это делает.

— Арнольд Тимофеевич, какой удельный вес палубного груза вы считали? — спросил Саныч с места в карьер, потом спохватился и попросил у Галины Петровны извинения за вторжение.

— Какой был, такой и считал, — не без капитанской надменности сказал Арнольд Тимофеевич. — Сосновый.

— В караван идет лиственница.

— Тем лучше, — сказал старпом. — Чем легче наверху, тем и лучше.

— Лиственница — одно из самых тяжелых деревьев Сибири, — сказал Саныч, сохраняя спокойствие. — Она намного тяжелее сосны.

— Галина Петровна, вы разрешите, мы присядем, — сказал я, поняв, что разговор не получится коротким. Сам я в него вступать не собирался, ибо мой опыт работы с лесным грузом маленький. За жизнь сделал один рейс с досками из Ленинграда на Гданьск и Лондон и с осиновыми балансами — на Арбатакс. Из северных портов возить лес не приходилось, а здесь много специфики. И хотя всю стоянку в Игарке я присматривался, изучал документацию и пособия, но одно дело — бумаги, а другое — опыт.

— Я лучше уйду, чтоб вам не мешать, — сказала Галина Петровна со вздохом. Ей хотелось гадать дальше.

— Какая ерунда! — воскликнул старпом. — Как лиственница может быть тяжелее сосны, если она лиственничная, то есть без смолы!

— Арнольд Тимофеевич, у лиственницы и смола и иголки, — объяснил Саныч. — Она практически не гниет, потому дороже сосны и ели; до революции в России лиственницу запрещено было употреблять в дело частным лицам, она предназначалась только для казенных надобностей, по корабельным сооружениям, между прочим. Нужно немедленно остановить...

— Не учите меня, — сказал Арнольд Тимофеевич. — Придет Фома Фомич, и разберемся.

— Нужно остановить лиственницу, болван вы нечесаный, немедленно! — сказал Дмитрий Александрович.

— За такие оскорбления... при исполнении мною... вы по суду ответите! — тоненько взвизгнул старпом.

— Не пугайте меня, Арнольд Тимофеевич, — сказал Саныч. — Я прошел огонь, воду и сито. Из меня давно получился такой пирог, что, пока я горячий, лучше и быть не может, но зато в холодном виде я черств, как камень, и вам никакими силами не разгрызть меня, уж будьте уверены! Немедленно прикажите в машину, чтобы отключили ток со всех лебедок! Динамо у нас перегорело. В дым перегорело. Ясно вам?

— Как перегорело? — ошалело спросил Тимофееч. Предложен был гениальный ход.

Мы грузились своими лебедками, ибо «судно в порту выгрузки и погрузки предоставляет фрахтователю и отправителю груза в свободное и бесплатное пользование свои лебедки, которые должны быть в хорошем рабочем состоянии, и свою энергию в достаточном количестве для того, чтобы можно было работать одновременно на всех лебедках днем и ночью».

Чтобы остановить поток лиственницы, текущей нам на палубу, и спокойно разобраться с портом, заменить лиственницу на более легкий груз, но без официальной и скандальной остановки работ, Саныч предлагал симулировать поломку дизель-динамо.

— Ничего у нас не перегорало! — сказал старпом.

И хотя Галина Петровна давно скрылась в спальной каюте, мой выдержанный напарник перешел на английский язык, чтобы высказать Арнольду Тимофеевичу свои о нем соображения.

Саныч прочитал полное собрание сочинений Джозефа Конрада в подлиннике, чем вызывает у меня нездоровую зависть, ибо я читал только какой-то жалкий двухтомник, напечатанный у нас лет пятнадцать назад.

Старпом разбирался в английском на моем уровне, но и он и я кое-что уловили из тех слов, которыми свободно оперировал Саныч. Во всяком случае, «фул», «олд дог», «ривоултинг мен» — «дурак», «старая собака», «отвратительный человек» — это мы поняли. Я еще, кажется, уловил «рикити» — «рахитик». Остальные «риб-элдс» — непристойности — зря обрушились в атмосферу.

Закончил монолог Саныч на русском:

— Итак, у нас перегорело динамо, стармеха нет на борту, механики не могут запустить второе динамо. Надо тянуть Тома Кокса, пока не подтащат другой товар. Все ясно?

И Тимофеич наконец усек, в чем дело, и сам направился в машину вульгарно сокрушать наши дизель-динамо.

Фома Фомич к вопросу погрузки подошел, как часто у него бывает, с совершенно неожиданной стороны.

— Тут, значить, накладка не так, значить, судна, как грузоотправителя, «Экспортлеса» и здешней лесобиржи — или, как там, ихнего комбината. Тимофеич, значить, протабанил, но мы под это дело еще кубов на двести меньше грузика возьмем. Оно нам и спокойнее будет, а бумажку-то из всех ихних представителей выьем замечательную, они еще какую неустойку пароходству заплатят — вот и все серые волки будут сыты. Как, Викторыч, я рассудил?

— Замечательно вы рассудили, — сказал я.

Ну какой был резон объяснять ему, что еще тысячи и тысячи полетят в атмосферу из кармана нашего родного социалистического государства?

И Фомич с ходу очередную бумажку очень толково сочинил и отправил с ней на берег... опять грузового помощника!

— Пушай, значить, администрировать учиться, если в капитаны рвется, — объяснил Фомич мне. — Я ему цельный портфель мадеры дал. Если и с таким газом его вокруг пальца обведут, то... — и здесь Фомич сделал

своим указательным пальцем такие быстрые угрожающие качания в воздухе, что пальца и не видать стало, как спиц у велосипедного колеса на полном ходу...

Тимофеич продолжал руководить погрузкой, сияя именинником.

Лиственницу порт остановил. В караван шла сосна. Но когда караван достиг полутора метров, судно вульгарно и неожиданно скренилось на правый борт до четырех градусов.

Выровнять кран грузом не удавалось. Наоборот, «Державино», подумав, на манер Фомича, некоторое время, перевалилось на левый борт на пять градусов.

Когда при погрузке леса судно кренится, это действует на нервы. И не только на капитанские, но и экипажа, хотя ничего сверхособенного здесь нет. Ведь это мы на бумаге считаем: «Удельный вес сосны 0,6 тонны куб». А на деле одна партия леса идет с одной влажностью и весит 0,5 тонны; другая сосна распилена на тонкие доски, третья — на толстые: промежутки в пакетах между досками, конечно, разные, значит, и весят они разное и т. д.

Потому одним из основных законов при работе с лесом является закон о глухой задрайке всех иллюминаторов ниже главной палубы (а лучше и в надстройке их держать задраенными). Чтобы, если судно скренит, вода не пошла в иллюминаторы. Но у нас тут получился неприятный нюанс, связанный опять-таки с гальюнами. Ну что поделаешь — все про гальюны да про гальюны приходится рассказывать! Про восходы и закаты — мало, а про гальюны — чуть не на каждой странице. Правда, я вас уже где-то предупреждал, что моряк чаще слушает не «голос моря» и видит не «зеленый луч на небосводе», а вещи более земные и приземленные.

Так вот, у нас гальюнные иллюминаторы, расположенные ниже главной палубы, задраены не были.

Судовой гальюн рассчитан на строго определенное число эксплуататоров, это научный расчет согласно санитарным нормам. Его еще в КБ делают. Если в низах проживает двадцать человек экипажа, то и пропускная способность каждого стульчака рассчитана на три персоны.

Но лес в Игарке подвозят на баржах-плашкоутах, где никаких гальюнов нет. Судно стоит не у причала, а

без всякой связи с сушей. Таким образом, три смены грузчиков, лебедчиков, тальманов — около двухсот человек за сутки — пользуются судовыми галюнами. Традиционный российский пипифакс в лучшем случае — газета, в худшем — журнал «Огонек». Под каким бы напором ни подавать воду в галюны, они то и дело при таком нюансе забиваются. Как бы ни надрывались вытяжная и вдувная вентиляции, пробыть в галюне без противогаса больше одной минуты не сможет и скунс. Потому, какие бы строгие приказы по заглушке иллюминаторов ни отдавались, они не выполняются. Даже если бы на иллюминаторы можно было повесить амбарные замки и опечатать их пломбами с гербовой печатью, грузчики их отдрают. Тут тебе даже милиция не поможет...

Причина крена, к счастью, обнаружилась быстро. Просто-напросто старпом забыл запрессовать кормовые балластные танки.

Фомич довольно крепко раздолбал Арнольда Тимофеевича, танки запрессовали, и «Державино» стало на четыре копыта в ожидании того, что с ним еще сделают хозяева.

Все время, пока Саныч накапливал административный опыт на берегу, Шериф жил у меня. И я узнавал о скором прибытии на борт грузового помощника, когда катер еще только подходил к трапу: Шериф начинал ломиться в дверь.

Пес не любит выпивших. Для хозяина он тоже не делает исключения. Конечно, радуется его прибытию, но лает с подвывом и осуждением.

Саныч из тех нормальных людей, которые могут и любят выпить, но под хорошую закуску и только по субботам. Пить по заказу он не умеет. Портфель газа, которым его снабдил Фомич и с помощью которого он выбил нужную бумажку, потребовал соучастия в истреблении газа.

И при помощи Шерифа я узнал об этом еще до того, как грузовой помощник ступил на трап.

Обозленный бесконечными хождениями по канцеляриям с протянутой рукой, уставший и весь даже какой-то посеревший от неплановых выпивок, Дмитрий Алек-

сандрович принимать бразды правления у старпома отказался, ибо по графику его суточная стояночная вахта закончилась. При этом он записал в черновой судовой журнал по часам и минутам все свои похождения с указанием фамилий и должностей лиц, у которых побывал по приказанию капитана, и сформулировал эти приказы.

— С волками жить — по-волчьи выть, — объяснил он мне свои манипуляции с судовым журналом, явившись за псом.

— Садись, забулдыга, — приказал я. — Сейчас будешь нашатырь глотать и солюксом облучаться.

Саньч внимательно рассмотрел себя в зеркале над умывальником, пригладил непокорные седеющие кудри и заявил, что до солюкса далеко, но так как ему хочется поцеловать Шерифа в морду, то это означает, что Устав был в некоторой степени нарушен; зато бумажка оформлена просто замечательная, и Фомич ее поцеловал вза-сос, как Сусанночку-пышечку.

И я почувствовал, что Саньч уже сам, но незаметно для себя втягивается в азартную игру выбивания бумажек, ему уже нравится, что он бумажку выбил.

Саньч встал в позу и продекламировал из чартера (договора на перевозку груза):

Судно обеспечивается
палубным грузом,
Перевозимым на риске
фрахтователя,
Но в количестве того,
что может быть уложено разумно
И перевезено судном
сверх такелажа
спаряжения,
припасов и инвентаря!

— Амины! — сказал я. — Но мне не нравится эта формула: «С волками выть...» И что ты какие-то записи стал в журнал делать, тоже не нравится.

— А если я погрузку даже в бинокль не наблюдаю третьи сутки? А если нас прихватит в Карском? — спросил Саньч, не удержался, подбросил визжащего Шерифа к потолку и чмокнул в морду. — А если караван улетит за борт? Мне под суд идти? Или запрет на Австралийско-Новозеландскую линию третьим помощником, по семь месяцев рейс, — и будешь шататься, как под

наркозом... А у меня два огольца растут, и у жены смещение диска в позвоночнике, корсет носит.

— Не идет вам, Дмитрий Александрович, на один уровень со Спиро становиться.

— Ах, бросьте! Все в нас запрограммировано. И нечестность. И добро. Когда, предположим, я совершаю честный поступок, то это не я, — сказал Саныч, подошел к окну и продолжал, уже наблюдая за погрузкой носового каравана: — Кто-то во мне велит: «Делай так!» Или: «Не бойся — все боятся! Ну, убьет тебя, ну и что? Иди на него! Не бойся!» Но все это — не я. Очень неприятное ощущение! Очень! Наша запрограммированность на хорошее или дурное злит меня больше всего, больше насилия любой внешней власти. Вы на таком себя ловили?

Конечно, я про эту запрограммированность думал, и в последний раз недавно совсем — в Певеке, но не так четко формулировал. Обычно я ее вспоминаю, когда к смерти себя готовлю, к тому, чтобы в последние минуты достойно себя держать. И гадаю: будет тебе тогда внутри говорить кто-то «другой» или тут уж ты голеньким, совсем самим собой останешься?..

Всю ночь судно переваливалось с борта на борт. Немного — градуса на два-три. Это можно было объяснить неравномерностью работы судовых бригад: одна бригада быстрее работает, но по неопытности большую часть груза укладывает только на один борт — вот и крен.

Около пяти утра позвонил Фомич и попросил явиться на совещание. Я отправился в шлепанцах.

Капитан же сидел в форме. У него уже был стармех. Ждали старпома. Фомич молчал. Сидел как истукан. Впервые я видел его таким сурово-сосредоточенно-серьезным.

Явился Стенька Разин.

Фомич наконец открыл рот, подправил пальцем вставную челюсть и объяснил, что собрал нас по чрезвычайному поводу: старпом без его личного разрешения прекратил принимать груз и, мало того, сразу начал заводить на караван найтовы, и к данному моменту караван в корме уже полностью закреплен.

— Я, значить, двести кубов под всяким, значить, со-

усом, но отфутболил, отбил, — говорил дальше Фома Фомич тихим, но зловещим в тишине голосом и загибал пальцы, — это, значить, раз. Второе. Под соусом, значить, лиственницы еще двести кубов нам списали. А план-то был пять тысяч. Значить, должны взять четыре тысячи шестьсот кубов. Душу вон, но должны. Фомичев если что обязан сделать, то и сделает. Прошу, значить, извинения, что обязался сделать, то уж это Фомичев сделает по честности. Теперя выясняется, что у нас на борту всего четыре тысячи четыреста кубов, а старший помощник начал найтовы класть и у меня не спросил; беспокоить, объясняет, меня не хотел, чтобы я, значить, отдохнул хорошо. А экипаж что? Экипаж-то без премии остается. Такой рейс делаем, люди работают — хорошо там или плохо, но пароход-то дышит, значить, а экипаж за невыполнение плана без премии сядет. Я людей на выходные гонял, они, значить, пошипели, но осознали, и вот им такой гутен-морген. Баржи, слава богу, по ночному делу от борта еще не отошли. Я, значить, их успел за хвост ухватить и с диспетчерами связался. Приказываю: всем принять меры, чтобы рейсовое задание душу вон — выполнить свайка в свайку. Товарищу Кролькову, как парт-оргу, обеспечить политическое настроение. Дублеру моему товарищу Конецкому возглавить отдачу найтовок обратно с кормового каравана. Старпом, коль он их на-клял, пусть сам своими руками и откручивает. Бодман с ним будет работать и два матроса. Этим сверхурочные пообещать. Сверхурочные оплачены будут из премии старшего помощника. Даю на подготовку к продолжению, значить, погрузки один час. Все. Все свободные!

«Во как Фомич завернул! Драйвер! Настоящий драйвер! — Так восхищался я, передеваясь в каюте в рабочее платье. — И ведь каким голосом говорил! Ни разу громкости не прибавил, все на тихом тоне. . .»

И в тот же момент Фомич опять опрокинул меня навзничь способностью к неожиданным поворотам, ибо из каюты старпома, сотрясая тонкую переборку и мои барабанные перепонки, донесся чудовищный мат, который, естественно, никакая бумага не выдержит, потому оставляю только цензурные слова, а четырехточечные цезуры заполняйте соответственно мере своей образованности: «. . . Блоха беременная, почему остановил погрузку? Ага! Как пароход закачался, так и полные штаны

наложил?! Если очко старое играет, собирай чемодан и уходи в бухгалтерию! Ничего сам решиться не можешь! Ото льда бегал! Переросток старый! Сдохнешь ты скоро, скоро сдохнешь! Со страху сдохнешь! Катись на берег, тебе сказано!»

Фомич орал так, что сотрясалась не только переборка моей каюты и мои барабанные перепонки, но и баржи с досками у нас под бортами. Ей-богу, я как раз сапоги натягивал, когда Фомич начал арию, и сразу ноги в голенищах застряли — ни взад, ни вперед. Куда там Шаляпину!

До арктического рейса «Державино» работало на отшлифованной, трафаретной линии на Гамбург и Антверпен. Там не могло случиться ничего особенно неожиданного. Там экипаж терпел своих храбрых начальников и держал дисциплину, ибо эти короткие рейсы выгодны в валютном отношении, плюс через каждые двенадцать дней — сутки дома. Там для Фомы Фомича лучшего, нежели Спиро, старпома и не нужно было: не пьет и сиднем сидит на судне в родном порту — красота! За последний год Фомич выдал верному старпому две денежные премии и повесил его на Доску почета. Думаю, они и внутренне как-то сблизились, сжились, когда вместе выбирали какой-нибудь сверхперестраховочный курс по двадцатиметровым глубинам, имея осадку в шесть с половиной и еще завышая ее старательно и на просадку от скорости, и на крен, и на опресненность воды. А в Арктике на их дружбу или, скажем, близость обрушились льды, чужие и жесткие воли ледоколов, туманы с метелью, непривычный лесной груз в пакетах и разложение экипажа, привыкшего к коротким и выгодным рейсам. Здесь от старпома потребовались воля, знания, смелость, а Спиро боится не только льдов, но и людей — судовых «низов», шхер и студиозов-грузчиков.

К тому моменту, когда я преодолел голенища сапог и притопнул каблуками, Фомич за перегородкой выдохся. Все-таки он не был настоящим Шаляпиным, который мог потрясать люстры и стены ночи напролет. И я услышал, как тонким голосом закричал Спиро:

— Хорошо! Уйду! И каждый день на вас доносы писать буду! Каждый! Я не позволю! Забываете, как за меня благодарность получили? Это я про кровь придумал, а вы примазались! — На этом он заткнулся, как

будто на столб налетел. Что там у них произошло, я только потом узнал, но вдруг наступила мертвая тишина.

Суть же вопля Спиро заключалась в том, что, когда он объявил почин донорства, то первым, естественно, пришлось расстаться с кровью экипажу «Державино» во главе с капитаном, и Фомич получил свою долю гадетной славы.

Итак, мы вышли в рейс, когда на судне все переругались, перессорились, оставив на берегу моториста и джинсы второго механика и недобрав четырехсот плановых кубов (но полностью заменив эти кубы бумажками весом в двадцать граммов). К этому надо добавить массу пустот в трюмах и хреновую остойчивость.

Повели нас вниз по Енисею те же веселые лодмана, которые вели вверх. Но они сразу почувствовали атмосферу на судне и поскучнели.

Да и вести судно вниз по могучей реке сложнее, нежели вверх. Течение прибавляет тебе скорости, но и уменьшает поворотную силу руля.

Через три часа после отхода я сдал вахту Фомичу, спустился в каюту, и так мне стало в ней тошно, что я открыл иллюминатор и вышвырнул за борт осенний букет, который еще недавно навевал романсовые настроения.

Эстонцы называют морскую тоску Большим Халлем. Он иногда идет за моряком, как злобный пес. Об этом прекрасно написал Смуул. Когда Халль нападает только на тебя одного, с ним еще можно бороться. Помогает рюмка виски, музыка (но не рок-н-ролл, а океанская мощь глухого Бетховена), треп легкомысленного соседа, эпическое спокойствие слепого Гомера. И дельфины еще очень хорошо помогают. Они гоняют Большого Халля по морям, как сидорову козу. Он их боится, как слоны мышей. Знаете, мыши перегрызают слонам нежную кожу между пальцами ног. И потому слоны ужасно мышей боятся. Так Халль боится лукавых дельфинов.

Но вот если все судно охвачено Халлем, тут дело хуже. Тем более и дельфинов в Енисее нет.

Отправился к Андриянычу. Сидит и вяжет авоську. Значит, и его прихватило. Он вяжет сеточки, если чем-то недоволен или долго нет радиограмм из дома.

Оказалось, что кроме общесудовых дел у него есть и чисто машинные заботы. Очередь за топливом в Игарке оказалась большая, добрать топлива под завязку не удалось. Вообще-то, до Мурманска хватит с запасом, но...

Решили позвать свежего человека — подвахтенного лоцмана и чай пить. Чай-то дед заделал превосходный, но лоцман оказался человеком веселым только тогда, когда другие люди анекдоты рассказывают, а по сути грустным.

Звать Митрофаном Андреевичем, закончил владивостокскую мореходку, обплавал весь мир, надоело, вернулся на родину в Красноярск, работал в «Енисейрыбводе»; после постройки ГЭС над рыбой началось такое издевательство, что ушел сюда в лоцмана; подумывает стать смотрителем маяка, тянет к тихой жизни...

Здесь он вытащил записную книжку, из книжки сложенную вчетверо журнальную вырезку и дал нам прочитать. Вырезка из журнала «Англия». Там рассказывалось о британском каторжнике, отсидевшем три срока. Его приняли на работу смотрителем удаленного маяка в диком месте. В интервью бывший каторжник говорит: «Вы видите эти книги на полке? Там написано обо всем. Если бы вам довелось встретиться со мной в тюрьме, то там у меня было штук шесть книжонок про ковбоев и больше ничего. А теперь у меня книги про погоду, о морских птицах, поварские книги... Иногда люди, живущие на берегу и ничего обо мне не знающие, говорят: «Не знаем, как это он может там существовать. Ведь жить там — все равно что сидеть в тюрьме». А я в таких случаях с трудом держу язык за зубами. Моя теперешняя жизнь совершенно не имеет ничего общего с пребыванием в тюрьме, скорее — все наоборот».

— Я этого типа понимаю, — сказал Митрофан Андреевич. — Везде нынче как-то шумно.

За бортом проплывали опять уже безлесные берега, впереди ждало вовсе уж дикое устье Енисея, где тишины было по самую макушку, а этому странному человеку и здесь было громко!

На ночной вахте неунывающий Рублев попытался поднять нам настроение. Рассказал, вернее, исполнил с обычным блеском номер «Саныч и птички, или Почему

все радисты боятся Саныча». Но как-то «не прозвучал» номер. Потому и здесь не буду пытаться передать имитацию Рублева. А суть в том, что шикарный лайнер делал челночные круизные рейсы между Норвегией и Португалией. И каждый раз в холодной Норвегии на теплоход садились воробьи или какие-то другие маленькие и беззащитные птички. И каждый раз на подходе к Лиссабону прилетал салазаровский кобчик и пожирал птичек. Так было шесть раз. Саныч утверждает, что всегда это был один и тот же кобчик. Или, может быть, сыч, но обязательно тот же самый. На седьмой раз Саныч потратил всю специально накопленную для этого валюту на примитивный дробовик и заявил на отходе из Норвегии, что не даст больше кобчику или сычу жрать беззащитных птичек на борту советского пассажирского теплохода. На подходе к Лиссабону Саныч занял позицию на пеленгаторном мостике. Когда рассвело, кобчик или сыч оказался тут как тут. И уселся на клотик мачты, чтобы оглядеться и выбрать самую аппетитную птичку. Саныч шарахнул разбойника с первого залпа. Сыч-кобчик рухнул за борт. Вместе с разбойником рухнула за борт и главная судовая радиоантенна, ибо Саныч прихватил крупной дробью ее фарфоровые изоляторы. . .

Странно устроены мужчины. Дмитрий Александрович не любит вспоминать этот конфуз. Он, конечно, старается не показывать этого, но мне казалось, что ему неприятно. Ну, так, как если бы вы промазали в тире все пульки на глазах любимой.

И нынче мое ощущение подтвердилось. После исполнения номера Рублевым он пробормотал:

— Андрей, ты единственный человек на судне, которому не надо следить за порядком на рабочем месте — закрыл рот, и полный ажур! . .

В начале пятого ночи недалеко от Сопочной корги, где происходит расставание с лоцманами, в рубку поднялся Фомич, объяснил, что не спится, предложил мне идти отдыхать.

Вахту ему я официально с удовольствием сдал, но в каюту не хотелось.

В рубке была обычная кромешная тьма, оба лоцмана (уже со своими чемоданчиками); на штурманской вахте был Спиро и торчал, переживая утрату джинсов, десятки и моториста второй механик.

Все молчали.

Вчерашние, нынешние, завтрашние заботы, тревоги и надежды бесшумно конвоировали теплоход «Державино» в Карское море.

— Тимофеич, звякни боцману на бак, — приказал Фомич. — Пусть штормтрап проверит. И выброску чтоб не забыли привязать. Это, значить, чье дело о веревке и спасательном круге думать? Мое или твое?

Старпом не ответил. Молчал в углу, уперев лоб в стекло окна.

— С какого борта вам трап? — спросил Фомич лоцмана.

— С правого.

Фомич убавил ход и поинтересовался:

— Тимофеич, ты там оглох? Не видишь, лоцмана уже намыливаются?

Совсем затих наш теплоход, едва трепыхалось в стальном чреве его уставшее сердце.

Было четыре сорок ночи.

Старпом молчал.

— Оглох он там, значить? Или характер показывает? — гадательно пробормотал Фома Фомич, разглядывая в бинокль черные близкие берега.

— У вас, Фома Фомич, голосок-то посильнее шалыпинского, — заметил я. — Такую арию Тимофеичу спели, что и бегемот оглохнет.

— На глотку не жалуюсь. Пожалуй, и ныне еще смогу на милою звуковой сигнал подать, — сказал Фома Фомич не без удовлетворения. — Бот подойдет или сам «Меридиан»? — спросил он лоцманов.

— Сам, — ответил кто-то из них.

— Разрешите доложить? — спросил от руля Ваня.

За рейс салага в значительной степени повытряхивал из волос и сено, и солому. И уже даже начинает огрызаться на боцмана.

— Чего тебе? — спросил Ваню Фомич.

— Спит старпом. Нормально кемарит, — доложил Ваня с четкостью Рублева.

Да, такое с любым моряком может случиться. Раз — и вдруг вырубился человек, уперев рога в стекло рубки. Внешне все нормально: штурман крепко стоит на ногах и внимательно смотрит вперед, а на деле — вырубился.

Так можно вырубиться и на несколько секунд, и на минуту, и на пять минут. Очень опасная вещь. Очевидно, для таких ситуаций психологи и считают полезными «маленькие аварии». Со мной такое происходило за жизнь три или четыре раза. Самое страшное, когда очнешься и осознаешь, что спал на ходовой вахте, а у тебя под ногами несколько десятков человек полностью полагаются на твоё внимание и предусмотрительность. Потому даже не считается зазорным при таком состоянии вызвать капитана и попросить подмены на часок, чтобы проспять затмение. Однако редко у кого из штурманов хватает внутренней смелости признаться в грехе и позоре, срабатывает самолюбие, в результате лишние, бессмысленные аварии.

— Это что, значить, получается? — спросил окружающую тьму Фома Фомич. — Он кемарит, а мы здесь вкалываем? Тсс! Тихо! Я ему сейчас в сновидении такое кино покажу! Тихо! Ваня, бери ратьер и бегом на бак! Скажи боцману, пушай все три огня врубит и на рубку направит. Викторыч, стань пока на руль.

— Чего боцману сказать-то? — не понял Ваня.

— Цыц! Не ори, — сказал Фомич. — Тот сам догадается.

У ратьера — ручного фонаря — красный, зеленый и белый огонь. Если их все разом включить и направить с бака на мостик, то получится картинка, очень похожая на огни судна, идущего прямо тебе в лоб.

Боцман у нас с юмором, имеет солидное брюшко, но утверждает, что от работы на лесовозе «Державино» так ужасно истощал и похудел, что может спрятаться от любой погранзаставы или даже таможни за обыкновенной шваброй.

Ваня взял фонарь и отправился на бак.

Я много раз говорил, что милое и лукавое хулиганство взрослых мужчин, работающих тяжелую работу, таит в себе не меньше обаяния, нежели таится его иногда в прекрасной игривости молодой девушки.

Но здесь назревало что-то не то.

Кажется, и лоцмана это «не то» почувствовали.

Пока Ваня преодолевал на пути в нос баррикады лиственнично-соснового каравана, потенциальный отшельник и пустынный Митрофан Андреевич тихо рассказал мне, как еще в те времена, когда он плывал на Дальнем

Востоке, назначили к ним на судно четвертого штурмана. «Ну, прямо-таки мальчишка, вовсе мальчуган, вроде Тома Сойера. Отходили с Охотска. На рейде шлепнули якорь, «добро» ждем на окончательный выход. «Добро» все не дают. Ночь, мальчуган и закемарил в рубке. Капитан заметил. Но спокойный такой мужчина. «Давайте, — говорит мне, — на крыло удалимся, пусть судоводитель отдохнет, коль минутка выпала свободная, не будем его разговором тревожить». Мы удалились, треплемся, «добро» ждем, его все не дают. Мальчуган свои минуток пятнадцать ухватил, проснулся и видит ужасную картину — прямо на кучу огней его пароход прет. А это «Советский Союз» на рейд втягивался. Малец огляделся, а в рубке-то пусто! И у штурвала никого! Он прыг к штурвалу, одной рукой его крутит, другой к телеграфу тянется, третьей к тифону, четвертой к телефону, чтобы капитану звонить. А мы стоим на крыле и наблюдаем за его маневрами. Наконец капитан спрашивает: «А чего вы, голуба, в данный секунд делаете?» Мальчуган докладывает: «Расхожусь со встречным судном, следующим прямо или почти прямо нам навстречу!» — «Мы, — успокаивает его капитан, — второй час на якоре кукуем. Ты не беспокойся. Отдохни еще минут двадцать. Я разбужу, когда надо будет». И что, вы думаете, из всего этого вышло? Заикаться паренек начал. И так сильно, что через год плавать бросил...

Впереди вспыхнули пронзительные красный и зеленый бортовые отличительные и белый топовой огонь встречного судна — боцман врубил ратьер.

— Полундра! — опять по-шалапински и прямо в ухо старпому заорал Фома Фомич.

Был у меня в жизни случай, когда одно судно, чтобы обратить на себя внимание, выстрелило в нашу сторону ракету, и ракета эта случайно угодила прямо в открытое окно рубки и пошла с шипением и искрами метаться в узком пространстве, отскакивая от каждого предмета, как шаровая молния. Все, конечно, вылетели тогда из рубки кто куда, а я заполз под диван в штурманской.

Таким ракетным способом заметался и Арнольд Тимофеевич, но ракета металась минут пять, а этот всего минуты две.

Единственная членораздельная команда, которую отдал старший помощник, оказалась: «Шлюпки долой!»

Или он этим хотел сказать, что перед лицом смерти следует скинуть шапки долой, или почему-то решил, что в момент неизбежного столкновения шлюпки ему чем-либо могут помешать.

Боже, в каком восторге был Фомич! И было в этом восторге нечто даже зловещее. Вернее, мне показалось, что у капитана Фомичева к старшему помощнику Федорову пробудилась истинная злобность.

— Будешь на меня бумажки?! Будешь?! Донор нашелся на мою голову! — орал Фомич. — Кровосос-передовик! На вахте дрыхнет! «Шлюпки долой!» — торжествовал он. — Я вот тебя сейчас с вахты сниму! Газетки-то, газетки твои где?!

Тут-то и выяснилось, что гробовая тишина, возникшая вдруг во время объяснения Фомича со Спиро за переборкой моей каюты, была вызвана тем, что Арнольд Тимофеевич всегда возил с собой отблеск донорской славы, то есть газеты и другие печатные издания, где упоминался его славный почин. И вот Фомич их тогда порвал в клочья, чем и лишил старпома дара речи...

— Погасите, пожалуйста, иллюминацию, — попросил лоцман. — «Меридиан» оказался. Как бы и там полундру с вашими шуточными огнями не подняли. Тут и сам черт в штаны наложит.

Осознав, что к чему, Арнольд Тимофеевич попытался засмеяться и, вообще, изобразить бодренького участника коллективной шутки, который, мол, и свой грешок понимает, и ничего против затейников не имеет. Но вдруг схватился за живот и, не спросив разрешения, покинул рубку.

В методических рекомендациях судовым врачам «Психогигиена и психопрофилактика» (только для медиков!) написано:

«Большую роль в структуре значимых переживаний плавсостава играет фактор повышенной готовности на случай авральных и аварийных ситуаций. Различные категории моряков по-разному реагируют на такие ситуации. Опытные моряки побеждают и не показывают свой страх, напряжение и даже бравируют этим. После ликвидации опасности отмечаются аффективные и вегето-сосудистые реакции: общее возбуждение, повышенная двигательная активность, многословность, расторможенность. Молодые моряки при аварийных ситуациях замет-

но бледнеют, пугаются и теряются. После аварии бывают подавлены и заторможены».

Наш Степан Разин пошел ненаучным путем — его прихватила медвежья болезнь.

А все-таки, подумалось мне, не стоит Фомичу забывать, что слабый человек типа Спира Хетовича всегда полон злобной мстительности. Чужое превосходство он способен долго переносить и терпеть с приятной даже миной на лице, но и с миной за пазухой, ожидая чужого промаха с выдержкой рыси. Арнольд же Тимофеевич не может не ощущать, что он и Фома Фомич далеко не одного поля ягодки.

Через десяток минут подвалил к правому борту «Меридиан», лоцмана пожелали нам традиционного «Счастливого плавания!», принять рюмку отказались и в какой-то стеснительно-тоскливой тишине, нарушаемой журчанием и бульканьем воды между бортом «Меридиана» и бортом «Державино», полезли по штурмтрапу в темноту Енисея.

Пожалуй, лоцманская работа дает не меньше возможностей изучать людскую натуру и жизнь во всех ее спектрах — от черного до белого и от инфракрасного до ультрафиолетового, нежели в милиции Игарки. Подумайте, сколько судов проведет за жизнь лоцман, и на каждом своя атмосфера, свои чудачки, мудрецы, дураки, добряки, мерзавцы; сколько сценок, одноактных пьес и полнометражных спектаклей видит лоцман. И именно в роли отстраненного зрителя, со стороны видит, а со стороны все острее и виднее рассмотреть можно...

Так что прав Митрофан Андреевич — и на Енисее шума многовато бывает ныне...

РДО: «СЛЕДУЙТЕ ОБЫЧНЫМИ НАВИГАЦИОННЫМИ КУРСАМИ ОГИБАЯ ОСТРОВ БЕЛЫЙ ВЫХОДИТЕ ТОЧКУ 7100/5900 ДАЛЕЕ 7000/5800 ЭТОМ ПУТИ ЛЕД 2/4 БАЛЛА ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ 5/6 БАЛЛОВ ДАЛЕЕ НАЗНАЧЕНИЮ ТЧК ВСЕМ ПУТИ МОГУТ ВСТРЕЧАТЬСЯ ОТДЕЛЬНО ПЛАВАЮЩИЕ ЛЬДИНЫ ТУМАНЕ ЗПТ ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ-КНМ ВАКУЛА».

Выход из Енисея был обставлен следующим образом: стармех и электромеханик в машине, три судовода на мостике, боцман на баке, маневренный ход. Так волоклись по трем створам от Сопочной корги до мыса Шайтанского — между десятиметровой изобатой и островными вехами, в дистанции около одной мили от берега и при отличной видимости.

Затем Фома Фомич вопросительно пробормотал мне:

— А там льдины плавают, одиночные, в Карском... значить, ночь опять же уже, говорят, темная... Полным ходом-то ночью идти нельзя, значить, а?

Возможно, он меня уважает за быстроту соображения, но одновременно это вызывает в нем глубокую тревогу, и даже суеверный страх мелькает в его глазах иногда. Он меня может послушаться, но всеми фибрами мне не доверяет. Он не доверяет тому, кто решает быстро. Этот процесс может быть добротным только тогда, когда он медлителен.

Бюллетень погоды Карского моря 8 сентября 1975 года 15 МСК: «ПОГОДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТЫЛОВОЙ ЮЖНОЙ ЧАСТЬЮ ЦИКЛОНА ЦЕНТРОМ СЕВЕРНЕЕ АРХИПЕЛАГА СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ. ПРОГНОЗ НА СУТКИ. МЫС ЖЕЛАНИЯ ОСТРОВ БЕЛЫЙ ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ, ЮЖНЫЙ НАЧАЛЕ УЧАСТКА ЗАПАДНЫЙ 11/14 МС ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ НОЧИ ДНЕМ 14/17 МС МЕСТАМИ ОСАДКИ ВИДИМОСТЬ ХОРОШАЯ. ОТ ОСТРОВА БЕЛОГО ДО ДИКСОНА ВЕТЕР ЮЗ, Ю 14/17 МС ВРЕМЕНАМИ ДОЖДЬ ВИДИМОСТЬ ХОРОШАЯ ДОЖДЕ 4—6 КМ...»

Разбирая прогнозы с Амдермы и Диксона, Фома Фомич долго крутил над картой спирали то над югом, то над севером Новой Земли. Наконец выяснилось, что он путает Новую Землю с Северной Землей и оба минимума давления относит к одной Новой Земле. Здесь я взбеленился и сказал, что в осеннее время лучшего прогноза он не дождется.

Вообще-то, сведения Амдермы и Диксона в ряде пунктов противоречили, и это не очень нравилось.

В помполитовской каюте, где живу, хранится годовой комплект журнала «Отчизна». Журнал издается на русском для соотечественников за рубежом, то есть для

эмигрантов типа старичков парикмахеров в Монтевидео или парализованных скрипачей в Сиднее. Журнал многолетний. Я в нем недавно вычитал и такую информацию по гидрометеорологии: «Ослы ревут — к ветру», «Овцы стучаются лбами — к сильному ветру», «Пауки собираются группами — к сухой погоде», «Мухи гудят — к дождю»... Таким образом, если имеешь журнал «Отчизна», осла, пару овец, группу пауков, десяток мух, то никакое неприятное явление погоды тебя не застанет врасплох. Ослы у нас, вероятно, есть, но овец, пауков и мух вообще нет. Потому проверить бюллетень не представлялось возможным. А хотелось. Очень почему-то хотелось.

С ноля девятого сентября барометр начал падать. Ветерок крепчал. И начинал надавливать от юга и юго-запада.

Когда прошли остров Носок и легли к Свердрупу, я сдал вахту Фомичу. Видимость была отличная, море чистое, но что-то такое саднило... предчувствие какое-то...

Сквозь сон чувствовал, что шторм крепчает, но отдавал себе отчет в том, что все в каюте закреплено хорошо, и потому продолжал дрыхнуть. В десять утра услышал сакраментальное: «Электромеханику срочно на мостик!!» Высунул из койки и узрел волны, которые шли в правый борт; судно уже сильно и очень тяжело кренилось. Оно не должно было так крениться, если бы нормально принимали шторм в бейдевинд на малом ходу. И зайти в правый борт ветер не мог так быстро, если раньше давил в левый.

Я оделся потеплее и вылез на ботдек, чтобы оглядеться. Всю жизнь не могу приучить себя к летящему мячу: жмурюсь, когда он летит на меня. И потому отвратительно играю в волейбол, хотя играть в него мне хочется. Особенно где-нибудь на пляже, под взглядами прекрасных женщин. А от брызг я научился почти не жмуриться. Веки деревенеют, некоторые капли влепят прямо в зрачок, все плывет в тумане, пока не сморгнешь, но на брызги я почти не жмурюсь.

Здесь зажмурился и подумал, что надевать надо не штаны, а резиновые кальсоны — такое нижнее белье выдают киноартистам, когда они снимаются в морских

фильмах и обречены прыгать за борт или совершать какой-нибудь другой подвиг.

Картину сильного шторма на неуправляемом лесовозе с трехметровым караваном на палубе — вот что я увидел. Невеселая картина.

Поднялся в штурманскую, прочитал РДО: «ВСЕМ СУДАМ ШТОРМПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ = БЛИЖАЙШИЕ 6 ЧАСОВ РАЙОНЕ КАРСКИХ ВОРОТ ЮГО-ЗАПАДЕ ТРАССЫ КАРСКИЕ ВОРОТА ОСТРОВ БЕЛЫЙ ТРАССЕ Ю ШАР АМДЕРМА ОЖИДАЕТСЯ ВЕТЕР ЮЖН ЗАП 14/21 МС = АМДЕРМА ПОГОДА».

Как только Фомич высунулся в Карское, естественно, ветер и волны от юго-запада усилились. И он сразу повернул на обратный курс и еще убавил ход до маневренного! На попутной волне и уменьшенном ходу судно рыскало до двадцати градусов от курса. И мы получили оплеухи от обгоняющих волн с обеих сторон. Караван трещал, рулевая машина не тянула, лесовоз слушался только при положении руля «на борт».

Я испытал самый настоящий страх. Его можно сравнить с тем страхом, который вы испытаете, если будете ехать в автобусе с сумасшедшим шофером за баранкой. Поворот под попутный шторм на лесовозе с минимумом остойчивости, то есть с «потенциальным креном»!

Под почерневшей кожей Карского моря бежали уже не отдельные мышцы, а целые ягодицы, и каждая из них вмазывала нам в перо руля, в винты и под корму, повергая судно не только в крены, но и в судорожную крупную дрожь одновременно.

Да, самая добрая тетка злится, когда ей отдают ногу в трамвае. И самая добрая волна злится, когда ей в лоб тычется корма лесовоза.

— Как пошли остальные суда? — заорал я Фомичу изо всех голосовых сил: Карское море грохотало уже под восемь баллов.

Конечно, «Великий Устюг» и «Гастелло» пошли, ясное дело, малыми ходами на волну к острову Белому, принимая шторм в бейдевинд и чихая на него с высокого дерева.

— А мы решили повернуть, значить! — объяснял мне

Фомич. — Топлива-то у нас мало, если кончится, то это уже аварией считаться будет! И потом, значить, стойки у каравана всего в три доски — боюсь, они лопнут! Где позади спрячемся от ветра — переждем, значить, шторм!..

Радиограмму о повороте на обратный курс он дал с объяснением одной причины: «нехватка топлива» — удар по Ушастику! Это механик не запасся топливом, а он, Фома Фомич Фомичев, тут где-то сбоку припека!

Облака крутились в зените над судном, как собаки за своими хвостами, — нехороший признак.

Но мне нечего было на мостике делать, ибо, как я и говорил, на судне один капитан — был, есть и, дай бог, будет всегда один. И я собрался идти досыпать в каюту, хотя под ложечкой сосало.

Старпом доложил о встречном судне, и Фомич заматся по мостику.

Навстречу спокойно шел «Пермьлес».

— Право на борт! — заорал Фома Фомич. И мое сосание под ложечкой сменилось чистой воды страхом. Не тем, о котором когда-то предуведомлял меня капитан и писатель Юрий Дмитриевич Клименченко, а живым, животным страхом — от слова «живот», но не в смысле «жизнь», а в том смысле, что живот поджимало.

Рулевой мигом скатал руль на борт, и мы стали лагом к волне и повалились на левый борт.

А я подумал о том, что пора Фомича вязать манильским тросом, если я хочу еще увидеть родные берега.

Понимаете ли, на лесовозе, покидающем порт без крена, но с некачественно уложенным пилолесом в пакетах, под воздействием целого букета внешних и внутренних сил груз за счет пустот начинает смещаться в сторону подветренного борта, уплотняясь на одном борту и создавая небольшой постоянный крен. Замедленный и малоприметный на общей качке, этот процесс в какой-то момент может принять лавинообразный характер — чем больше крен, там активнее происходит заполнение пустот и уплотнение каравана и его смещение на один борт. При значительных углах крена палуба со стороны подветренного борта начинает уходить в воду, пилолес с этого борта в караване намокает, становится тяжелее и еще больше увеличивается крен. Наконец,

часть палубного каравана смещается за габариты судна, и оно оказывается в критическом положении. Здесь даже рекомендуется не ожидать, когда лопнут крепления и караван самостоятельно уйдет за борт, а отдавать найтовы самому, чтобы сбросить часть груза, вернуть судну остойчивость и сохранить само судно и основную часть груза. Вот что такое «недостаточно плотно уложенный пиломатериал».

И вот почему меня прихватило таким страхом, что я подумал, не пора ли Фомича вязать манильским тросом, если я еще хочу увидеть родные берега. Без всяких шуток в голове мелькало разное на эту тему.

Но я все-таки неторопливо и членораздельно объяснил ему, что встречное судно идет в бейдевинд волне и отлично управляется, что нас всего двое на все Карское море и потому мы найдем место, где разойтись.

— Он у нас на курсе! На курсовой! Смотрите радар! — заорал Фомич.

— Ну и черт с ним! — заорал я. — Оставьте его в покое! Скажите по радиотелефону, что мы плохо управляемся, — вот и все!

— Лево на борт! — заорал Фомич, потому что до него наконец дошло, что мы уже «лежим в корыте», то есть лежим лагом к волне, и это пострашнее встречного судна. Но команда «Лево на борт!» могла оказаться его последней командой, ибо надо было вывести пароход из критической ситуации с мимозной нежностью и постепенностью. . .

Ведь какой удивительный сплав оголтелой перестраховки и своеобразной силы одновременно есть в Фомиче, если он повернул на сумасшедший обратный курс, хотя на него давили: 1) жена, которая скоро взбесится от такого своего отпуска и считает часы до Мурманска; 2) три четверти экипажа, которые должны в Мурманске списаться с «Державино» и через четверо суток сесть там же, в Мурманске, на «Камалес», то есть любая задержка означает для списываемых невозможность слетать в Питер в этот промежуток; 3) я, ибо Фомич знает, что я смотрю на его маневры из последних сил.

Мы вывернулись, и я уже не отходил от рулевого, пока не прибавил ход и не набрал его, то есть пока судно не начало более или менее управляться. А Фомич

бормотал про три доски на стойках каравана и нехватку аварийного запаса топлива: «Ежели, значить, мы теперь постоянно лесовоз, так надо бревна выписать и с собой возить, чтобы стойки для каравана самим делать... Из сосны крепче или из ели?..»

В 10.30 навстречу человеческим курсом прошел еще один лесовоз.

К 11.30 шторм достиг критической силы. И давление начало подниматься так же стремительно, как падало (минимум был 992 миллибары).

Существует известное правило, которое никогда не имеет исключений даже в такой исключительно зыбкой области, как погода. Если ветер усиливается, почти не меняя направления, а давление при этом падает, то центр циклона пройдет над местом наблюдения. При прохождении центра циклона ветер ослабевает, давление, оставаясь низким, не изменяется; после прохождения центра циклона ветер резко усиливается и изменяет направление на противоположный румб, давление начинает резко возрастать.

Все так классически и было.

Мы разминулись с центром циклона, который несся со скоростью 40 км/час от юга Новой Земли к Северной Земле. И ветер заходил по часовой стрелке, меняясь на чистый вест, а потом и норд-ост.

Глянуло солнце.

Высветило с резкостью и беспощадностью границы между пеной на волнах, самими волнами и тенями под гребнями.

Видны стали доски нашего каравана в кипении никак не вологодских кружев.

И тут радист принес две радиограммы. Первая — об урагане на Диксоне, то есть там, куда Фомич так стремился.

РДО: «ИЗ ДИКСОНА ВСЕМ СУДАМ ШТОРМПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ=СЕГОДНЯ В РАЙОНЕ ДИКСОНА В ПЕРИОД ОТ 09 ДО 11 МСК ОЖИДАЕТСЯ УСИЛЕНИЕ ЗАПАДНОГО ВЕТРА ДО 30/35 МС=ДИКСОН ПОГОДА».

Вторая — бытовая: список членов экипажа, которые уже ехали в Мурманск, чтобы сесть на «Державино» и плыть в ГДР.

В этом списке была буфетчица Деткина. Не знаю, что больше потрясло Фому Фомича и Арнольда Тимофеевича: ураган в предполагаемом порту-убежище или появление на горизонте Соньки.

Я сейчас без шуток.

Фомичев не понимал, что мы полным ходом прем вдогонку за циклоном. Он глядел в радиограмму остекленевшими глазами и бормотал:

— Таким, значить, санпаспорт нельзя выдавать, а ее, значить, опять к нам! . .

Ураган на Диксоне Фому Фомича, наоборот, утешил и как бы даже развеял. Он подошел к вопросу урагана опять с совершенно неожиданной стороны:

— Значить, теперь никто к нам не придерется, что назад повернули! Тридцать пять метров ветер, вот, значить, и все хорошо!

Удивительного качества и рода оптимизм зарыт в этом самородке.

Принимать ураганный ветер в корму!

Я пытался что-то втолковать ему, но он уже опять тыкал пальцем в фамилию «Деткина» на бланке радиограммы и орал о том, как он купил вкусное вино в Испании, а она выпила его и налила в графин кофе, а потом ukrала две бутылки водки из медизоляторатора.

(Водку в таком неподходящем месте прятал, как вы догадываетесь, старпом. Он же и проводил потом расследование — ползал со штурманской лупой по медизолятору и обнаружил на влажном линолеуме след женской туфли.)

Я понял, что Фомич находится в шоке, плюнул и пошел в каюту читать Чехова.

Правда, до этого я посоветовался по радиации насчет урагана с «Пермьлесом», и мы пришли к выводу, что штормовое предупреждение касается как раз того штормового пика, который уже миновал нас.

Качало очень сильно, и вообще было тошно от ощущения обратного движения. Боже, как я ненавижу всякое попятное движение! Оно физически рвет мне печень, как орел Прометею.

Потом я заклинил на диване в каюте и читал, как Чехов не разрешал прохожим содержателям сибирских гостиниц называть себя «превосходительством» (все дру-

гие его попугачики разрешали), и на этом я начал успокаиваться.

В 15.00 стали у острова Сибиряков (на Диксон идти было опасно).

Когда Антон Павлович над Енисеем думал о будущей удали и мощи русской реки, то он завидовал землепроходцу Сибирякову. Как Пушкин — Матюшкину. Хотя сам-то не в туристическую экскурсию ехал! А на Сахалин...

«Я завидовал Сибирякову, который, как я читал, из Петербурга плывет на пароходе в Ледовитый океан, чтобы оттуда пробраться в устье Енисея...»

Почитайте такое, стоя на якоре в трех милях от восточного берега острова Сибирякова в Енисейском заливе, укрываясь за островом от тяжелого шторма, вернее урагана, в который только что сунул свой побелевший от страха нос...

Думалось еще о том, с каким постоянством к концу каждого рейса начинает тянуть на классику и цитирование! В записных же книжках Чехова ничтожно мало цитат — две-три всего, включая строку из Лермонтова.

О штормах Антон Павлович заметил так: «Юристы должны смотреть на морскую бурю как на преступление».

09.09. 18.00.

Опять наперекор всем прогнозам — полный штиль.

Фомич капитально закемарил, испытывая глубокое удовлетворение по поводу покоя. Хотя следует немедленно идти по штилю на Диксон и садиться там на башку танкеру «Апшеронск», если уж мы ради приемки топлива совершили весь этот марш-бросок.

...Штиль был абсолютный и мягкий — как будто на кухне погоды сварили для нас кисель из голубики и подали его на стол Енисейского залива с молоком...

10.09 10.45.

Стали на якорь в бухте Диксона.

Грязный прошлогодний снег в лощинах. Он задержался здесь на все лето, как недобрый гость в передней за шторой. И ждет своего часа. И час его близок...

Как только вошли на рейд Диксона, так Фомича обуяла тоскливая необходимость швартоваться к танкеру «Апшеронск» (за тридцатью тоннами дизельного топлива). Недавно тонны эти были любви и милы Фомичу, ибо дали ему возможность удрать со штормового моря. Теперь они превратились во врагов.

Фомич боялся швартоваться к танкеру, который «водило» на якорях. Для начала он зарезервировал себе левый борт танкера, сославшись на свой крен в левую сторону. Потом у него появилась мысль уговорить капитана танкера подойти к нему, Фомичу. И Фомич так открытым текстом и сказал в радиотелефон, что не пожалеет бутылку, вернее «полбанки», но «Апшеронск» принял это за грубоватую и туповатую шутку.

Ну кто это будет готовить машины и сниматься с якоря для передачи тридцати тонн топлива зачуханному лесовозу за «полбанки»?

В 18.15 благополучно ошвартовались к «Апшеронску» с отдачей левого якоря, включили стояночные огни и палубное освещение. И Фомич, подумав и пожевав губами, приказал палубное освещение выключить. «Если, значить, лампа лопнет, то взрыв может произойти», — так он объяснил и мотивировал свое решение.

За этот рейс мои глаза уже давно вылезли из орбит, но после заявления Фомича они покинули и мой лоб.

— Слушайте, — сказал я. — Но у танкера-то горит палубное освещение! Всю его танкерную жизнь горит! И он еще не взорвался!

— Ну и пусть у него горит, а у нас, значить, лучше пускай не горит, — сказал Фома Фомич, добавив, что он, значить, очень извиняется. . .

Но это не значить, что мы с ним были недовольны друг другом во время швартовки, — нет, мы работали душа в душу и понимали друг друга с одного взгляда.

Очень холодно, и я на контрапункте вдруг вспоминаю стыковку теплохода «Невель» и танкера «Акса́й» у берегов жаркой Анголы. И как португальский военный катер, который за нами вел наблюдение, бегал передохнуть в бухточку Санта-Мария.

Из лоции мы знали, что там есть несколько рыбацких хижин. И все звучали для меня «Голоса из рыбацких хи-

жин». Так называется поэма великого португальского поэта Герры-Жункейру.

Поэмы я не читал, но несколько строчек встретились в чьей-то книге и запали в память:

Ночами, о море, рыдаешь ты в горе,
Гремя, содрогаясь;
И в холод и в бурю — всегда
На водах твоих несутся суда,
Под песни бесстрашных матросов качаясь...

Потом судьба свела с живым пиренейским писателем Луисом Ландинесом, который каким-то чудом вырвался от Франко или Салазара и очутился в зимней Малеевке под Москвой. И я потряс его знанием португальской и испанской поэзии при помощи этих пяти строк. Потрясенный Ландинес подарил мне роман «Дети Максима Худеса», написав на первой странице пожелание: «Хорошего ветра в попу». Так я узнал, что по-испански «попа» означает «корма». Странными путями расширяешь свой словарный запас.

У берегов Анголы в тропической духоте я с безнадежной завистью вспоминал зимнюю Малеевку, морозные ели, снега под луной, замерзшую Вертушинку и поход с Ландинесом за пивом в Рузу.

А на Диксоне, конечно, вспоминаешь тропическую жару и мечтаешь о ней...

Когда начали приемку топлива, явились Иван Андриянович и начальник рации. И сказали, что записывают все самые выдающиеся чудачества Фомичева и хотят, чтобы я делал то же. А потом надо будет отдать все это психиатру.

Это говорилось без юмора и без злобы. Они оба боятся, что Фомич угробит судно, после смены части экипажа в Мурманске. Они считают, что раньше — до автомобильной аварии — он был более нормальным человеком и не таким самоубийцей-перестраховщиком. Последняя капля — выключение палубного освещения на период приемки топлива — это чистой воды бред параноика, вообще-то говоря. Но этот параноик отлично объяснил стармеху свою затею с «полбанкой» для танкера: «Если, значить,

он к нам подходить будет и стукнет, то по закону он и отвечает, а если мы к нему будем подходить и стукнем, то, значить, мы отвечаем».

Отшвартовались от «Апшеронска» в 22.00 с великими трудами и ужасами (надуманными), а потом начались ненадуманые: не горели створы на островке Сахалин — есть такой в бухте Диксона. На южном выходе из бухты не горел буй.

Выходили северной дыркой — очень узкая и коварная дырка.

Выводил судно Фомич. В полной темноте. Работал уверенно и даже спокойно.

Зато радист шипит и брызжет, так как его завалили подходными РДО (снабжение, стирка белья, списки смен плюс частные телеграммы), а ни Мурманск, ни Ленинград их не берут.

На траверзе острова Белый торжественное объявление о сдаче книг в судовую библиотеку.

12.09. 07.00.

Семь часов в тумане, дожде, мороси. А семь часов вахты вместо шести выпали мне потому, что отвели назад время.

Рефрен: «Суда, идущие на восток от Карских ворот! Я теплоход «Державино»! Кто слышит? Прошу ответить!»

Скорость в тумане я сбавлять не стал, жарили полным. Льда в западной части Карского моря уже не встретишь, радар работал отлично. Но для некоторой перестраховки кроме звуковых туманных сигналов мы испускали в эфир еще вопли.

Около десяти утра туман и морось прочистились. И скользнули мы в арку Карских Ворот при отличной видимости и солнце.

«О ГОЛУБКА МОЯ...»

— С сорок пятого меридиана накрывается, значить, нам полярная арктическая надбавочка, — напомнил Фома Фомич. — Вот те и гутен-морген — весь вышел, весь один и семь десятых процентов.

Мы приближались к этому диалектически прекрасно-гадкому меридиану, то есть из Азии перевалились в Европу.

И Фомич со вздохом приказал:

— Тимофеевич, запишешь этот нюанс в журнал. Третий штурман пусть выписку сделает. Для расчетного отдела пароходства. Начнут там, значить: сутки сюда, сутки обратно, мать их в . . . Любят бумажки, только бы им бумажки всякие для зацепки. С души воротит, как про них подумаешь. . .

— Арнольд Тимофеевич, скажите, пожалуйста, третьему, чтобы он и для меня копию выписки сделал, — сказал я старшему.

— А тебе это зачем, значить? — насторожился Фома Фомич.

— А затем, что с данного вот момента я, согласно приказу начальника пароходства, заканчиваю свое вам дублерство, — объяснил я. — Давайте обнимемся на прощанье, и я спать пойду.

— Как это, значить, извините, понимать: «обнимемся, и спать пойду»?

— А вы, Фома Фомич, хотите поцеловаться со мной, что ли? — спросил в ответ я.

Фома Фомич задумался.

И я тоже как-то так беспредметно задумался, глядя на небеса по курсу. Там над горизонтом сгрудились облачка, как кролики в светлом углу клетки. Они грелись в лучах низкого солнца и только чуть-чуть шевелили ушами.

«Все морское — только через земное, — уже осознанно подумал я. — Все морское — только через земные ассоциации, образы. Прямое, непосредственное изображение, передача морского не получается и никогда не получится».

— На «Жигули» мой вроде покупатель нашелся, — вдруг изрек Фомич. — И чего вам спать ложиться, когда до обеда один час остался?

— Ладно. Не буду ложиться, — согласился я. — А вы, Фома Фомич, характеристику на меня сочините к Мурманску. И благодарность в приказике неплохо бы. Так, мол, и так: за образцовое поведение, выдающуюся трезвость и моральную устойчивость. Намек поняли?

— Сами характеристику пишете, значить, на то и писатель. А я подпишу.

— Не выйдет, Фома Фомич. Я человек скромный. Напишу, что к «своим обязанностям относился серьезно» — и все. А мне надо для биографии чего-нибудь более героическое. Запузырьте так: «В условиях тяжелого и опасного арктического рейса, самоотверженно трудясь на боевом посту», ну, и так далее.

— Не буду, — упрямо сказал Фомич. — Вам характеристика нужна, а не мне. Потому сам и пиши.

Бог знает, куда зашли бы наши препирательства, если бы этот спор о беспорочном зачатии девы Марии не прекратила Галина Петровна, позвонив на мостик и попросив супруга вниз.

Внизу Фомич здорово задержался. И, как потом выяснилось, по серьезной причине.

Еще утром у него произошел с супругой скандалчик. Озверевшая от бархатного сезона в Арктике Галина Петровна с тоски и безделья начала укладывать свои чемоданы в середине Карского моря. Такое занятие женщины (некоторые) любят даже безотносительно к нужде, то есть к приезду или отъезду куда-нибудь. У Галины Петровны повод был, ибо рейс приближался к концу. Но есть морское поверье, что собирать шмутки, пока якорь не отдан или швартовы не закреплены, не следует. Фомич немного суеверен и укладку чемоданов пресек в корне, выбросив все уложенное обратно в рундуки и шкафы каюты. Конечно, Галина Петровна, как доложил Ушастик, сопротивлялась, по его выражению, «будто корова, когда ей хвост ломают».

В Мурманске на отходе эта бедная женщина была пухленькой и даже еще миловидной. Ныне она почернела и превратилась если не в корову, которой хвост ломают, то в уссурийскую тигрицу.

Уходя на мостик, Фомич закрыл все шкафы и рундуки, куда вывалил шмутье супруги, на ключи, чтобы она без него не начала обратно укладываться, но... шкафы-то и рундуки он закрыл, а заветный ящик в столе с самыми ценными своими бумажками первый раз за рейс и не запер. Что, на мой взгляд, да и на взгляд физиолога Павлова, вполне естественно: условный рефлекс на запираение при уходе заветного ящика у Фомича уже полностью разрядился, пока он вертел ключами во всех

других шкафах и рундуках, атакуемый еще при этом с разных направлений Галиной Петровной.

Сменять меня Фомич прибыл на мост с опозданием в десять минут и попросил за это извинения.

Видок у него был восторженный.

А мы как раз наконец услышали разговор какого-то впереди идущего судна с встречным, которое только что прошло Карские Ворота. Ну, обычный разговор. Одно спрашивает про лед в Карском, другое интересуется видимостью в Воротах и т. д.

Восторженный супругой Фомич, нацепляя треснувшие очки и разыскивая карандаш на штурманском столе:

— А вот мы, значить, тоже ихние информации себе на карандаш. Возьмем, значить, на карандаш, а то слышать-то что? Слышать, значить, одно, а карандаш и бу-мажка — уже и совсем другое. . .

Пока он все это разглагольствовал, то вокруг уже ничего и не слышал, и встречные суда все друг другу успели сказать и закрыли связь.

Фомич — у всех, кто в рубке:

— А что они? . . . Чего? . . . От Оленьего сто пятьдесят? А где Олений-то? Эт как сто пятьдесят? Пеленг, что ли? Это от его если, так пеленг? Или, значить, вот этак?

Я:

— А хрен его знает — пеленг или дистанция: вы же, Фома Фомич, записывали, а не я!

Фомич (забормотав очень глубокомысленно):

— Как так «хрен его знает»? А нам, значить, где получается информация?

Я:

— Вот я и говорю, что хрен его знает, где теперь наша информация!

Раньше он сам с собой не разговаривал. С предметами — разговаривал (с конфетой, например), но не сам с собой.

В данном случае дело было плевое, никакой информации нам не требовалось, потому что видимость была хорошая и все вообще было прекрасно. Но даже если Фомичу какая-то информация нужна была, то он мог выйти на связь и попросить суда ответить на волнующие его вопросы. Ведь если мы слышали их разговоры, то и они бы нас услышали, но Фомич так был восторжен, что даже до такой элементарной вещи допереть не мог. Старпом же,

астрепанный в Игарке и Енисее Фомичом, может быть, и мог бы ему это подсказать или просто-напросто сам выйти на связь с судами, но молчал в углу.

И я помедлил в рубке, чтобы дать Фомичу обрести рабочую форму. Вот тогда-то он мне и объяснил причину опоздания на вахту, присовокупив, что с женщинами, значить, ни в море, ни на земле не соскучишься, что он на веки веков зарекся бабу в рейс брать, а виноват во всем стармех, потому что подначивал.

В таком вот, значить, морально-политическом климате мы и вывалились из Азии в Европу.

Дальнейшие события развивались так. Во-первых, к обеду в кают-компанию не явились ни Фомич, ни его супруга. Во-вторых, в капитанскую каюту обед затребован не был, и на тактичный звонок тети Ани капитану с напоминанием, что суп стынет, Галина Петровна бенгальским тигром прорычала нечто неразборчивое. В-третьих, в святая святых был вызван доктор. Храня тайну по Гиппократу, доктор даже мне — его спасителю — ничего о происходящем в капитанском семейном гнезде не сказал. В-четвертых, опять нашел туман, но капитан на мост не поднялся, а я, считая свою миссию законченной, после обеда собрался завалиться спать сном агнца, ибо не спал уже больше суток.

Но Дмитрий Александрович, по привычке к моему присутствию на мостике во время его вахты, о полосе тумана впереди по курсу доложил мне. Так как вплывали мы уже в цивилизованный мир, где могли быть и встречные и поперечные кораблики, и рыбаки любых калибров, и вояки, то пришлось идти на мост.

В штурманской рубке глянул в карту. Болванский Нос был уже прямо по корме. Это северный мыс острова Вайгач. Вам небось и неизвестно, откуда наш «болван». А «болван» — обрубок дерева, воткнутый в землю. На северном мысу Вайгача у ненцев был своего рода храм — несколько десятков таких обрубков. Каждый представлял из себя божество. Божества ненцы кормили, мазали их тюленьим жиром и оленьей кровью, ухаживали за ними. Отсюда и название мыса — Болванский Нос. Потом ненцев перевели в православие и с болванами повели решительную борьбу. И уже полтора века назад ненецкий храм уничтожили. Сделать это было, конечно, легче, нежели взорвать махину Цусимского собора.

Этимология «болвана» в какой-то степени осознается и современными моряками из поморов. Помню, у нас на спасателе был матрос типа Рублева. Когда его посылали на бессмысленно опасное дело на воде, то он говорил: «Я еще не болван, я еще не по уши деревянный, чтоб туда идти!»

Ведь это дерево плавает на воде, а человек в воде тонет.

Так вот, матрос своим заявлением подчеркивал, что вообще он согласен с тем, что бревно он порядочное, но не до самого все-таки конца бревно...

Туман. Плавная зыбь с запада. И в такт зыби плавно приподнимаются и опускаются в планирующем полете спутницы-чайки. Вокруг чаек крутятся темные небольшие птички, которые сами ловить рыбу не умеют, но умеют отнимать ее у чаек в тот момент, когда чайка выходит из пике с добычей в клюве, то есть потеряла скорость и плохо управляется. На Дальнем Востоке этих хулиганок зовут почему-то «солдатками».

В рубке обсуждаются таинственные события в капитанском семействе.

Рублев (голосом тети Ани):

— Прощлый год у Галины Пятровны пиницыт был, апярацию делали. Боль в ей признали — на фсю глотку кричала! Ноне — обострение, но не кричит: нас боиться.

Радист (разглашая служебную тайну):

— Ерунда. Что-то с самим Фомичом стряслось. Он собирался отпуск после ГДР брать, а давеча подмену запросил в Мурманск.

Я (в адрес стармеха, который торчит в рубке, но хранит молчание):

— Андрияныч, а ты что думаешь?

Ушастик (ворчливо и даже истинно сердито):

— Я вот про то думаю, что за Арктику на «Софье Перовской» сделали всего две тысячи триста реверсов, а вы мою керосинку дернули три тысячи шестьсот семьдесят семь раз! И еще хотите, чтобы в машине ничего не горело и все нюансы были в норме! Да как бы мои маслопупики ни крутились, цилиндры стучать не будут и поршни в масле купаться не будут при таких судоводителях. Ведь если очень даже тактично обыкновенную ло-

шадь за два месяца три тысячи шестьсот семьдесят семь раз взад-вперед дернуть, то и у нее хвост отвалится...

Прав дед. На все сто процентов прав.

И, чтобы избавиться от неприятных обличений, я предлагаю последний раз «дернуть» время — перейти на московское.

Все согласны.

Это особенное ощущение — возврат к московскому времени, это ощущение возврата в свою оболочку, под свое одеяло: первая сигарета, например, после обеда вдруг совпадает с последними известиями по «Маяку». И это очень приятно.

Дед манит меня пальцем в штурманскую. Там шепотом объясняет ситуацию. Оказывается, дурацкие радиogramмы от «Эльвиры» Фомич не выкидывал, а сохранял в заветном ящике. И супруга всю его любовную переписку надыбала. Ведь ящик он не запер, и она, ясное дело, немедленно засунула туда свой женский нос. Фомич пытался объяснить бенгальской тигрице, что все это пошлые шутки и что хранил он любовные радиogramмы, чтобы сдать их в политотдел, партком, прокуратуру, профком, произвести расследование личности отправителя и наказать последнего, но все эти жалкие и вульгарные объяснения на Галину Петровну не подействовали, и она трахнула его по большой башке чем-то тяжелым. Чем именно — Ушастик не знал, но трахнула крепко. И теперь Фомич лежит пластом, а доктор ставит ему клизму или проводит какое-то другое оздоровительное мероприятие. И что он (это уже Иван Андриянович), как парторг и вриопомполит, просит меня навестить Фому Фомича и выяснить, насколько тот в состоянии профессионально исполнять капитанские обязанности, потому что мы все-таки в Баренцевом море плывем, а не на дачном огороде грядки копаем.

Все это докладывал Иван Андриянович сбивчиво и с настоящим волнением. Степень необычности состояния стармеха я почувствовал еще в рубке, когда он врезал по судоводителям «Державино» за астрономическое количество реверсов без всяких шуток и смягчающих горькую истину интонаций.

В результате сбивчивости Ивана Андрияновича только потом выяснилось, что клизму доктор ставил не Фоме

Фомичу, а Галине Петровне — она, как и положено коварно обманутой жене, наглоталась седуксена с эуноктином, изображая самоубийство на почве ревности.

«Интересно, — подумал я, — как бы вела себя к концу рейса и в подобных кошмарных обстоятельствах Жюльетта Жан или Мария Прончищева?»

В конце концов, ведь это факт, что Галина Петровна повторила тернистую дорогу этих отважных женщин (в географическом смысле слова, естественно).

Фомич был не так уж плох, как выходило из рассказа стармеха. Но, прямо скажем, я без труда понял, что психически он травмирован.

— Во! Слышишь? Во, как храпит подруга жизни, а? — слабым голосом спросил он меня с дивана, на котором полулежал, укрывшись нашим общим, честно отслужившим свое тулупом.

Галина Петровна храпела богатырски. О чем я и сказал Фомичу.

— Виктор Викторович, значить, у меня к тебе просьба. Сядь.

Я сел, почему-то вспомнив, как когда-то попросила меня сесть Вера Федоровна Панова.

— Все знаешь? — спросил Фомич.

— Все, — сказал я.

— Коэффициент усталости у меня превзошел норму, значить, — сказал Фомич.

И я увидел, как блеснула в уголке его глаза влага. Грустно все это было.

— Ты человек, конечно, заслуженный и интересный, но только тут такой гутен-морген со мной получился, что доведи-ка пароход до точки.

К сожалению, я из тех типов, которые ради острого словца не пожалеют и отца; потому на языке так и завертелось, что, мол, пароход до точки уже дошел. Но тут я сдержался.

— Доведу, Фома Фомич, — сказал я. — И чего тут вести-то его? Тут он и вообще сам бы доплыл. Через сутки шлепнемся на якорь у Анны-корги в Мурманске. Все хорошо будет. Вам подмена приедет. Я за эти сутки вам еще кое-какие сдаточные бумажки напечатаю.

Фома Фомич немного оживился:

— Возьми-ка сдаточный акт. В папке на столе сверху лежит.

Я нашел бланк акта.

— В графе «Состояние корпуса» знаешь что, значить, надо будет написать?

Графа эта сформулирована в типовом бланке так: «Состояние корпуса (указать вмятины, гофрировку и т. д.)».

— Ну? И чего вы тут хотите написать?

— Напиши: «Смотри акт осмотра корпуса от 3 апреля 1975 года при доковании в порту Ленинград».

— Фома Фомич, сегодня двенадцатое сентября, и позади у судна два сквозных плавания по Арктике. Какой дурак у вас будет принимать старый акт вместо существующего ныне корпуса?

— Конечно, — согласился Фомич, — все они перестраховщики, я и сам это понимаю. А все одно напиши, как я сказал. Дальше не твое дело. Приедет, значить, такой перестраховщик, как наш Стенька Разин. Я нынче Тимофеичу говорю: «Принеси сертификаты на спасательные плотики!» Он на пятнадцать минут глаза в потолок уставил, потом мне — мастеру! — говорит: «Я за них, за эти сертификаты, расписывался и потому вам отдать не могу, потому что я тогда без них останусь». А? Вот спи-рохета, мать его в... Я ему: «Спишу с приходом и еще с проколом в дипломе». А он мне, значить, что?

Задав этот вопрос окружающему пространству, Фомич надолго задумался. От храпа Галины Петровны, плавного на зыби покачивания судна, тусклых туманных гудков и просто от усталости меня повело в сон.

— Ну, а он что? — спросил я, стряхивая сонливость.

— А он: «Вот как уйду с флота, ничего не буду делать, кроме как на вас вульгарные доносы писать; каждый, говорит, день по бумаге буду на вас писать, пока вам шею не свернут». Я его, гадюку, на Доске почета, значить, каждый год пригревал, а он мне?.. Или вот симпатия ваша, второй помощник. Знаете, как про меня в Александрии выразился прямо при агенте? «Вы, говорит, типичный представитель тех людей, которые в парламентских государствах существуют только за счет налогоплательщиков». Так и выразился. Во, загнул! Память-то у меня, значить, еще есть. Слово в слово запомнил. Он, симпатия ваша, моряк хороший, спорить не

буду, не Стенька, из тех... из этих, ну, как сказать... Вот молодой был, посылают на какое дело, я спрашиваю: «На какое дело посылаете? Мне с собой десять человек брать или трех ребят?» Вот он из, значить, тех трех, но зачем на меня так обидно выразился? Что, я всю жизнь не своим трудом прожил? Что, это не я в сорок втором на фронте в партию вступил?

— Правы вы во всем, Фома Фомич, — сказал я. — Трудная и сложная штука жизнь. А сейчас я на мост пойду. Туман все-таки. Вы спокойно отдыхайте.

— Я и про его шуры-муры с Сонькой знаю, — сказал Фомич. — Вот отбился я от нее, не послали ее на «Державино», а теперь сам себе подмену запросил... Да. Иди, Викторыч, иди. И у Кильдина всегда кораблей много крутится. Поосторожнее там.

— Есть, — сказал я.

— Позывные поста, кажись, «Восход», помнишь?

— Они уже двадцать лет «Восход», Фома Фомич. Отдыхайте спокойно.

Расхаживая из угла в угол по рубке, я думал о том, что если посчитать все убытки, которые принес, приносит и будет еще приносить Фомич государству своими всегда законными уклонениями, стояниями, отстаиваниями, страховками и перестраховками, то они, пожалуй, превысят стоимость «Державино» вместе со всей сосново-лиственничной начинкой плюс караван на палубе. Но все у него по нулям, и никто никаких официальных претензий к капитану Фомичеву предъявить не может. И померет он с такой чистой совестью, как лапки у морских чаек.

Миновали Канин Нос, и моя старушка «Эрика» потребовала, чтобы я надевал на нее чехол и укладывал в чемодан. Она просится туда, как пес в привычную конуру. Устала, хочет отдохнуть. Но разрешить это машинке не могу: печатаю для Фомича сдаточные бумажки.

И все больше крепнет во мне мысль о том, что пора завязывать с морями навсегда, и уже без дураков навсегда.

Известно, что хороший капитан должен уметь сохранить в глазах команды чуточку тайны, как умная жена умудряется сохранить для мужа в себе какую-то частицу тайны до самой смерти.

Так вот, пора и мне покидать флот, чтобы он оставил для меня в себе чуточку неизведанного и таинственного, чтобы морская работа — водить корабли — не до конца потеряла бы для меня юношескую привлекательность.

Еще один рейс со Спиро Хетовичем — и мне концы.

Потому — к черту курсы повышения квалификации. Через неделю я буду свободным художником. Хватит поддаваться на подначки друзей: «Ты засиделся на берегу, штаны протер, пыль с ушей отряхни...» и т. д.

Ладно, решение увольняться принято. Если решение принято, оно выполняется. И это почти всегда мой закон, хотя я и не самый волевой человек на свете. Ах, все «я» да «я»!..

Только почему бы не отболтаться на курсах? Два месяца с сохранением последнего оклада. И новенькое что-нибудь узнаешь из радионавигации или об определениях места по спутниковой аппаратуре... Нет! Если решение принято, оно выполняется. И тогда будем рубить сразу. И заявление об увольнении по собственному желанию подаю сразу с приходом.

И, чтобы закрепить решение, я печатаю на старушке «Эрике» заявление, ибо написанное пером не вырубись топором.

Напечатанное пером я тут же рву в мелкие клочья. Потому что это типичный перегиб. Обычный, типичный для меня перегиб — от слабости.

Является третий штурман — тот самый парень, который стонал по поводу трех часов выходного времени в Игарке и не давал желудку Спиро Хетовича толком усвоить вульгарную свинину. Третий или четвертый штурман самые несчастные, потому что они еще и главные судовые машинистки.

Третий приносит выписки из журнала и характеристику. Сочинил все-таки Фомич мой служебно-психологический портрет:

«...В условиях тяжелого и опасного арктического рейса по трассе Севморпути в навигацию 1975 года, самоотверженно трудясь на боевом посту, тов. Конецкий В. В. показал себя грамотным судоводителем, имеющим достаточный опыт по управлению судном. Добросовестным отношением к своим обязанностям

способствовал успешному, безаварийному завершению рейса. За время работы показал себя требовательным командиром как к самому себе, так и к подчиненным, способствовал поддержанию судовой дисциплины на теплоходе и выполнению требований техники безопасности...»

Так и вжарил Фомич: «Самоотверженно трудясь на боевом посту». Какой боевой пост? Где война? И где «опасный арктический рейс»?

И ведь я далеко не уверен в том, что здесь нет определенного юмора, что здесь только чистой воды дундукизм. Далеко не уверен... Ох, не прост Фома Фомич Фомичев. И память у него даже при отшибленных мозгах все еще отменная: слово в слово вжарил.

Укладываю в папку всякие рейсовые бумажки, дневник, страховочные документики. В конце рейса это так же приятно делать, как рвать черновики, заканчивая книгу.

14.09.00.00.

Полночь. Прошли Териберку.

Кометный хвост северного сияния в черной пропасти небес.

Красота северных сияний так же недоступна живописи, как и красота льдов при солнце, синей воде и штиле. И неверно, что из льдов и стужи «чист и свеж наш вылетает май».

Красота отстраненности. Она должна существовать сама по себе. Попытка пропустить ее через человеческое сердце бесплодна, ибо космический холод подобной красоты исчезает, согревшись в человеческом сердце. А без космического холода это уже какая угодно, но не та красота. Врубель умудрялся не пропускать *ту* красоту сквозь свое сумасшедшее сердце. Во всяком случае, он пытался делать это. Недаром же всю жизнь писал Демона.

Мы на подходе к Кильдину. В рубке особая приходная тишина. Молчит Рублев. Молча определяется и наносит точки на карту Саньч. Молча горят сигнальные огоньки на пультах. Молчит «Державино». Все, кто не на вахте, спят и видят приходные сны.

И в этой тишине из рации:

— Судно, идущее к норду от Сундуков, ответьте «Восходу»! Судно, идущее к норду от Сундуков, ответьте «Восходу»!

Беру микрофон:

— «Восход»! Судно, идущее к норду от Сундуков, теплоход «Державино»! Следуем от Карских Ворот на вход в Кольский залив. Как поняли?

— «Державино», вас поняли. Продолжайте следовать!

Сундуки — это такие злобные и коварные камни на восточной оконечности острова Кильдин. Сундуки. А напротив на материковом берегу скалистый мыс Три Сестры. Сестры даже зимой черные. Ветер сдувает с отвесных скал снег. Сестры чернеют и сквозь туман, и сквозь метель. Между Сундуками и Тремя Сестрами рейд с веселым названием Могильный.

«При проведении аварийных работ на СРТ-188 утрачены: калоши «слон» — восемь пар, мотопомпа МП-600 — две штуки, вельбот спасательный — один...»

Прибой бил траулер о камни. От ударов из вскрывшихся трюмов выбрасывало рыбу и соль. Передвигаться по накренившейся палубе во тьме и мокроте было скользко и трудно. А здесь еще эта проклятая соль. Рыбаки не израсходовали ее в рейсе, и теперь соль тоннами выкидывало из трюмов. Пробоины были под фундаментом главного двигателя, машинное отделение было затоплено, определить размер повреждений днища было невозможно, переносная мотопомпа МП-600, когда мы попытались спустить ее в машинное отделение, застряла на трапе; о заводке пластыря нечего было и думать, пока судно не сдернут с камней; добраться к пробоям в машинном отделении было невозможно, даже если бы у нас были водолазы; вельбот, на котором мы пришли на траулер, минут тридцать попрыгал под бортом, потом оборвал все концы — по четыре фалиня с носа и кормы — и исчез в бурунах под берегом Кильдина; и мы остались куковать на этом траулере, пуляя в небеса ракеты всех цветов, пока они не кончились...

Очень не хотелось помирить. И вот тогда: «О, так это и бывает? Нет! Только не со мной! Я еще буду рассказывать обо всем этом! Еще буду вспоминать все это! Нет,

я-то не поскользнусь, нет! На мне резиновые бахилы с нарезной подошвой! Я молодец, что не надел валенки! Резина, если давишь ею сильно и прямо, не скользит, и я не поскользнусь! Я еще буду все это вспоминать!» Но не всегда можно ступить прямо и сильно, когда лезешь по внешней стенке ходовой рубки и видишь, как волна первый раз хлестнула в дымовую трубу ниже тебя. Но видишь плохо, потому что ресницы смерзаются, руки коченеют, одна варежка потеряна, а сердце все чаще дает перебой, легкие в груди сдавлены страхом и усилением мышц, теснящих ребра. Легкие не могут вздохнуть, сердце зашкаливает, тогда слабнут ноги, им не помогает резина, скользит подошва по мокрой, обледенелой стали...

Кукуя на тонущем траулере, мы, чтобы, вероятно, хоть немного приглушить страх, орали «Голубку». Была в те времена модная такая песенка, кубинская. Сейчас ее редко исполняют.

Да, прав Стас. Жизнь — сплошная литературщина, и в ней часто бывает «как в кино». И именно как в плохом, бездарном кино, где нет драматургии, а есть случайные совпадения, на которых и держится фабула.

«...Всюду к тебе, мой милый, я прилечу голубкой сизокрылой...»

Когда отчаянный капитан-лейтенант Загоруйко (имя не помню) подошел за последней партией людей к тонущему траулеру, я уже временами терял сознание, но все-таки умудрился прыгнуть в шлюпку и сразу получил вальком весла в лоб. Загоруйко снимал нас на обыкновенной весельной «шестерке». Гребцам в прибое и на зыби да еще среди торчащего из бурунов железа не до тонкостей было...

— Судно, идущее к норду от Сундуков! Теплоход «Державино»! Сбавьте ход! Потяните резину на траверзе Кильдина! Из залива супертанкер вылезит!

— Я «Державино»! Вас понял, «Восход»! Мы не топимся!

— Добро!

Нам и так пора наступила сбавлять ход, чтобы застопорить машины для приемки лоцмана в заливе. Раскрутил дед керосинку.

Три тысячи шестьсот семьдесят семь раз мы насильно вали дизеля во льдах. И теперь уж — в нормальной об-

становке — следовало относиться к ним с сестринской нежностью. И потому ход начинаем сбавлять по десятку оборотов, а чтобы не приближаться к устью залива, отворачиваем мористее.

— Ложись на чистый норд, — говорю я Дмитрию Александровичу.

— Право помалу! Ложись на чистый норд! — говорит он Рублеву.

— Есть право помалу! Есть на чистый норд! — репетует Рублев.

Все нынче у нас четко и без шуточек.

Звонит Иван Андриянович. Как начали сбавлять обороты, так дед сразу и проснулся. Ведь он опытный морячина: если начали сбавлять обороты, значит, подходим к заливу и к месту приемки лоцманов, то есть втягиваемся в узкость, а в узкости старший механик должен сам быть в машине. Интересуется, почему я его не предупреждаю, что входим в узкость. Объясняю что и как, рекомендую отдохнуть еще минут сорок.

Сияние в черной пропасти небес перемещается к зениту, слабеет и меркнет.

— На румбе ноль!

— Так держать!

— Есть так держать!

Делать абсолютно нечего. Иду в радиорубку. Маркони — главный хранитель музыки: магнитофон, проигрыватель, пластинки и записи в его заведовании. Спрашиваю, есть ли на борту «Голубка» в исполнении Шульженко.

— Чего это вас на музыку потянуло?

— Сантименты. Молодость вспомнилась.

— К концу рейса всегда что-нибудь неподходящее вспоминается. «Голубка» есть. На обороте «Простая девчонка». Вы сами найдите. У меня сейчас Ленинград будет, а при сиянии проходимость аховая, будь они неладны, эти полярные штучки. . .

Нахожу на полке-стеллаже «Голубку» и ставлю на проигрыватель. Хорошо, что полный штиль и не качает. Сажусь на вращающееся кресло второго радиста и слушаю голос молодой Клавды Шульженко. Рядом пищит из приемника морзянка и стучит на машинке маркони. Он в наушниках — Шульженко ему не мешает. Да и громкость я сделал слабенькую.

По корме остров Кильдин. Апатиты, Петрозаводск, Ленинград, набережная Лейтенанта Шмидта. По носу Северный полюс.

Тарам-там-там... Тарам-там-там...

Когда из Гаваны милой отплыл я вдаль,
Лишь ты угадать сумсла мою печаль...
Заря золотила ясных небес края,
И ты мне в слезах шепнула: «Любовь моя!»...

... Итак, будет серый ленинградский декабрь, оттепель, черные отвалы снега возле разбитого тротуара бывшей Динабургской улицы. Из водосточных труб будет с утробным гулом обрушиваться оттаявший лед и высыпаться под ноги горами чистейших кристаллов. По Екатерингофке под деревянным Гутуевским мостом будет плыть незамерзающая, нефтяная вода. У отдела кадров, у безликого казенного здания, которое занимает место бывшего ночлежного дома имени Ф. Фора, будут ожидать топтаться и курить молоденькие морячки в заграничных тряпках. И я пройду сквозь них, как старый ледокол сквозь молодой ледок, с заявлением об увольнении по собственному желанию в кармане...

... Где б ты ни плавал, всюду к тебе, мой милый,
Я прилечу голубкой сизокрылой.
Парус я твой найду над волной морскою,
Ты мои перья нежно погладь рукою...

... «Окончательно решили?» — задаст мне вопрос кадровик, мой младший однокашник по военно-морскому училищу, бывший командир подводной лодки, схвативший инфаркт в самый разгар бурной военной карьеры и теперь заведующий старшим судоводительским составом в кадрах торгового пароходства.

«Окончательно, тезка».

И он небось сострит что-нибудь вроде: «Ну, совершайте тогда последний круг почета» — и выдаст бланк обходного листа. Я просмотрю графы: «Спортивный инвентарь», «Техническая библиотека», «АХО», «Бухгалтерия», «Комитет ВЛКСМ»... Спрошу однокашника: «А в комсомол мне зачем?» И ткну пальцем в свой седой висок.

«А так положено», — не без некоторого удовольствия объяснит мне бывший командир подводной лодки и взглянет безулыбочным, кадровиковским взглядом.

«Есть. Ясно».

И я пойду совершать последний круг почета...

...О голубка моя, будь со мною, молю,
В этом синем и пенном просторе,
В дальнем чужом краю...
(Тарам-там-там...)
О голубка моя, как тебя я люблю,
Как ловлю я за рокотом моря
Дальнюю песнь твою...

... В технической библиотеке две милые девицы-библиотечарши будут минут пять не замечать моего прибытия, сидя среди кораллов и раковин, привезенных клиентами-подхалимами из далекой Гаваны. Девицы будут обсуждать последнюю кинокомедию Гайдая, и только когда я зарычу на них Галиной Петровной, то есть бенгальским тигром, они наконец меня заметят и с презрительными гримасками небрежно шлепнут штампик мне на обходной. В АХО подобная же девица будет изучать иностранный журнал мод, поднесенный ей для пользы дела каким-нибудь бывалым старпомом. И мне опять придется зарычать тигром, ибо приду я без журнала мод и даже без жевательной резинки, и девица опять же замечать меня не захочет...

...Когда я вернусь в Гавану, в лазурный край,
Меня ты любимой песней моей встречай:
Вдали от Гаваны милой, в чужом краю
Я пел день и ночь прощальную песнь твою...

... В комитете ВЛКСМ инструктор спросит, почему он должен отмечать мне обходной, если я уже лет тридцать не комсомолец. И я ему смиренно объясню, что так положено. Он чертыхнется и скажет, что формализм нас губит, что он тридцать раз уже ставил вопрос о бессмысленности подобного буквоедства и т. д.

...Где б ты ни плавал, всюду к тебе, мой милый,
Я прилечу голубкой сизокрылой.
Парус я твой найду над волной морскою,
Ты мои перья нежно погладь рукою...

... В коридорах пароходства я буду на каждом шагу встречать знакомых и прятаться от них за углы, чтобы не признаваться в том, что дезертирую с морей и океанов, что мне их хватит.

Вот так все это будет. Или только чуточку иначе.

- Викторыч, дали «добро» на вход, — это Саныч докладывает.
- Ложись прямо на остров Торос.
- Есть.

Поворот в Кольский залив в миле от островка Торос. Приемка лоцмана у Тюва-губы.

Лоцман оказывается старым знакомым и однокашником Саныча. Обычный для однокашников обмен информацией: «Севка утонул в Находке... Держиморда деканом в мореходке у рыбаков... Ваньку с третьего этажа выкинули... Вася Пуп в капитаны быстро вышел, на Южную Америку работал, сейчас на этаж ниже смайнали — погорел на чем-то... Про старушку анекдот знаете? Ну, как она со второй полки в вагоне упала? Упала и крестится. У нее спрашивают: «Бабуля, ты чего это сверзилась?» — «Тарзан, голубкí, говорит, мне приснился. Совсем как живой, и требует: подвинься, мол, с тобой лягу... Вот я и подвинулась...»

В пять утра 14 сентября отдали якорь в трех кабельтовых от Анны-корги на рейде Мурманска.

Слабый рассвет.

Все. Круг замкнулся.

Приехали.

Спиро Хетович, рассматривая близкий берег в бинокль: «А вот в тридцать девятом здесь у Апатитового причала пыли было по колено, но деревья росли...» И под самый занавес — мне: «Отдайте, пожалуйста, электрочайник, он за мной числится...»

ЗАНАВЕС

1

16 мая 1978 года. 02.00. Время местное.

Широта 59° 51,1 северная.

Порт Ленинград. Причал на Петроградской стороне. Какой-то остров в дельте Невы. Я живу здесь, но названия острова не знаю.

И вот швартуюсь к причалу безымянного острова, то есть ставлю точку в рукописи этой книги. Я швартуюсь с отдачей обеих якорей и подаю на береговые кнехты все

судовые концы: здесь предстоит задержаться надолго. Я делаю работу по швартовке в полном одиночестве, ибо экипаж судна «Вчерашние заботы» сегодня уже далеко.

Из приемника — ночной концерт по заявкам рабочих с трассы БАМа. Они решили открыть рабочее движение поездов на Чару в этом году.

Концерт «ночной» только для меня. Для строителей восточной части БАМа и горняков Наминги он утренний. И вся передача называется «С добрым утром!». И песню поют с таким же названием.

Скоро два с половиной года, как я не был в море. Много льдов натаяло и опять замерзло на трассе Северного морского пути за это время.

Грустная штука ночная музыка, даже если она веселая.

«Эх, — думаю я, слушая ночной концерт, — эх, услышать бы сейчас, как чухает дизель, когда выйдешь на крыло, дав полный ход; услышать, как он набирает обороты и судно начинает подрагивать, а дизель ведет себя будто собака, пробежавшая километр или страдающая одышкой, и высовывает язык дыма, и часто-часто дышит... Услышать бы все это еще разок, Викторыч...»

Я думаю о себе, как вы видите, слишком по-хемингуэвски.

Возможно, потому, что заканчиваю одинокое дело.

«Писательство — одинокое дело», — сказал Хемингуэй. И еще написал в письме другу: «Больше всего он любил осень... Желтые листья на тополях... Листья, несущиеся по горным рекам со сверкающей на солнце фольгой... А теперь он навеки слился с этим».

Слова из письма превратились в эпитафию — выбиты на постаменте бюста Хемингуэя в штате Айдахо в местечке Кетчем, возле тропинки, по которой он любил гулять семнадцать лет назад.

Быть может, я еще так по-хемингуэвски думаю потому, что узнал о его смерти в день выхода из диких пространств северного Забайкалья после командировки вдоль пятьдесят пятой параллели семнадцать лет назад. Сколь все-таки огромна жизнь, и сколько в нее вмещается...

И еще думаю, что смесь дневника с вымыслом — взрывчатая и опасная, как гремучий газ. Ведь, честно го-

воря, я в этой книге первый раз, пожалуй, и кое-что плохое, неопрятное о флоте писал. И вдруг кто признает себя в старпومه Арнольде Тимофеевиче Федорове, или в драйвере Фомичеве, или в шаловливом гидрографе? Но и не того боюсь, что кто-то, себя угадавший, мне в подворотне шею намылит, а того, что в пароходствах заинтересуются, начнут прототипов искать. И вполне невинным, незнакомым даже мне людям жизнь испорчу, карьеру поломаю, ибо нарушаю многие табу. Есть, например, каноническая заповедь: про покойников или хорошее, или ничего. Но кое-кто из моих героев уже покойники!

Или есть заповедь: про живых капитанов говорить и писать только как про покойников — опять или хорошее, или ничего. Вероятно, такая традиция сложилась в связи с тем, чтобы не подрывать авторитета всех бывших, существующих и будущих капитанов; все капитаны априори мудры, толковы, смелы, добродетельны. И тут морской писатель попадает в адский круг: про живого капитана нельзя ничего плохого, потому что он живой; а когда он помрет, то про него нельзя ничего плохого, потому что он покойник, — в таком аду сам бес копыто сломит!

Или возьмем вопрос терминологии. Сколько в этой рукописи друзья наподчеркивали спецморских терминов! А ведь, как я уже объяснял, в наш недоверчивый век автору приходится тянуть в книгу, завоевывая ваше доверие, не только терминологию, даты, подлинную географию и время событий, но и подлинный, натуральный документ — и за хвост его тянуть, и за уши. Ведь скажи я сейчас громогласно: «Дорогие товарищи читатели! Ничего-то из здесь написанного на деле не существует: ни Фомы Фомича, ни Ивана Андрияновича, ни Стасика (он, кстати, уже старшего лейтенанта получил), ни Арнольда Тимофеевича, ни Сони, ни «Державино» (из последнего реестра «Позиции судов» в газете «Моряк Балтики» мне известно, что судно сейчас следует из порта Гавр в порт Бильбао) — всего этого в природе нет, не было и не будет, ибо все выдуманно. И «Я» — выдуман. И прототипов даже нет — потому не ищите их нигде, кроме как в самих себе», — ведь скажи я так, скажи, что обманули вас, дорогой читатель, где удачнее обманули, где послабже, — обидно как-то, не правда ли?

Мне-то точно обидно.

Потому рудименты автобиографичности в книге и наличествуют.

Должен заметить, что сочинение себе эпитафии (а ведь автобиография весьма ей родственна) — дело тоже достаточно невеселое. Вроде как наблюдаешь за своими бренными останками, опускающимися в люк крематория. И хотя автобиография входит в книгу лишь отдельными элементиками, и хотя я глубоко усвоил законы логики о качественной разнице совокупности и элементов, но и сам ловлю себя на особенном отношении к тем элементам, которые касаются именно меня одного. То есть к ним я пристрастен. И понять того товарища или гражданина, который, узнав вдруг себя в стивидоре Хрунжем, захочет поговорить со мной в подворотне, я вполне смогу...

Еще я думаю, слушая передачу «С добрым утром!» в два часа ночи на Петроградской стороне на шестом этаже спящего городского дома, о том, что для пишущего человека народная мудрость: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» — вовсе даже и не верна. Всего два месяца потребовалось нам на «Державино», чтобы сделать порученное дело в Арктике. И два года, чтобы доплыть до точки еще лишь в черновике книги.

Юрий Сергеевич Кучиев успел уже навестить Северный полюс и стал Героем. Мало того. Про легендарный рейс «Арктики» на макушку планеты морячки-острословы и разные имитаторы успели уже сочинить кучу весьма соленных и малосольных анекдотов...

Ну, куда ты от этих копейкиных денешься? Беда с ними да и только! Наш натуральный Андрей Рублев за эти два года выкинул вовсе фантастический фортель: окончив с отличием мореходное училище, он — потомственный моряк и помор — покинул флот ради цирка или эстрады. Талант имитатора победил судоводительские гены — Андрей учится на клоуна!

— Теперь я ей кузькину мать покажу! — заявил он голосом Фомы Фомича в последнюю нашу встречу, имея в виду под «ей» свою тещу, которая развязала первую мировую войну. — Я с ее художественной образины первую репризу слеплю!..

Возможно, на неожиданное решение Рублева повлияла Соня Деткина.

Соня поступила в музыкальное училище. Она попала на хоровой факультет, то есть на факультет, где готовят дирижеров-хормейстеров. Но на любимой трубе Котовского — корнет-а-пистоне — Соня продолжает играть. Нынче она считает, что корнет-а-пистону подходят мелодии скорее мягкого, женственного стиля, нежели воинственного.

Озорство Сони с радиограммами от имени Эльвиры нынче, конечно, уже всем известно. Но как-то чудится мне, что тут не только озорство, а через такое действие она как бы тянула к «Державино» некую ниточку. И таким завуалированным способом не давала судну забыть себя. Но не мое дело в такие интимные сложности пытаться проникнуть...

2

Недавно справляли мы четвертьвековую годовщину первого выпуска нашего училища, которое нынче носит длинное очень название: Высшее военно-морское подводного плавания училище имени Ленинского комсомола.

По традиции, всех наших воспитателей, учителей, командиров мы приглашаем на годовщины.

Нынче адмирал Никитин прибыть не смог. Ему ампутировали обе ноги много выше колен — война, конечно.

Мы бы и на руках принесли Бориса Викторовича в родное училище, но ему и этого нельзя было.

И группа делегатов поехала к адмиралу домой.

Наш адмирал сохранил величавую и чуть загадочную осанку. Его тяжелое лицо оставалось таким же суровым. Он был в форме, при орденах и раскатывал в кресле на колесах возле стола, накрытого в честь нашей годовщины с такой щедростью, что уронить рюмку на скатерть не представлялось никакой возможности.

Командир «Комсомольца» капитан первого ранга Савенков, который первым когда-то назвал нас «военными мальчишками», присутствовал здесь же. Он тоже был при всех регалиях. И предложил первый тост за тех, кто сейчас в море охраняет рубежи нашей родины и, исполняя долг воинской службы, явиться на юбилейное торжество не смог.

За этих ребят мы выпили сидя.

Они для нас Васи и Пети.

При втором тосте бывшие военные мальчишки, а ныне уже послевоенные Герои Советского Союза и послевоенные адмиралы встали, чтобы выпить за адмирала Никитина, который встать не мог.

Он попытался зачитать обращение, написанное им к годовщине выпуска. Оно должно было быть оглашено во время торжественной части в клубе училища. Но предварительно Борис Викторович решил зачитать его нам сам.

И здесь на третьем слове: «Мои боевые друзья...» выдержка изменила непроницаемому контр-адмиралу. Думаю, первый раз в жизни.

Он откатился в тень абажура и сунул текст Савенкову.

— Не могу. Читай кто другой, — сказал адмирал Никитин. — Боюсь ослезиться.

Что-то много плачут у меня в этой книге мужчины.

Скорее всего потому, что сам старею. И сам становлюсь по этой части слаб. Но все-таки не вру, что на годовщине было много слез. И пролитых на мундиры, и зажатых последним усилием тренированной воли под неморгающими веками.

Полковник Соколов их не прятал, когда я напомнил ему нашу историю с винтовкой. Борис Аркадьевич — замначальника по строевой части и мастер парадных дел — оказался просоленным моряком торгового флота, плавал матросом еще в тридцатые годы с Юрием Дмитриевичем Клименченко и, как выяснилось, теперь был моим читателем и сам собирался писать воспоминания о флотской службе.

Тут мои слезы быстро высохли, ибо получаю от ветеранов столько воспоминаний, заявок на воспоминания и дневников с просьбой их издать, — как будто я издатель! — что хоть в петлю полезай от бессилия помочь.

3

А вот моему напарнику Дмитрию Александровичу и без его просьбы помогу в опубликовании стихотворного экспромта.

Однажды ночью, где-то на открытой воде и в средней силы шторм, я случайно подслушал, как он, отойдя к заднему ограждению мостика, прочитал нашему кильватерному следу:

Суров твой бог, зыбей ужасна сила,
Но тишину и мир хранят глубины.
Суров твой бог, ночей ужасна тьма,
Но даль твоя светла.
Атлантика! Возьми меня с собою!

Почему-то уверен, что стихи эти — его собственная импровизация.

Саныч плавает опять уже старшим помощником, и опять на шикарном лайнере, и скоро будет капитаном.

Как выяснилось во время процедуры моего развода с морем в отделе кадров пароходства, капитан Фомичев объявил благодарности аж восемнадцати лицам державинского экипажа, который «... проявил себя с положительной стороны, со знанием дела выполнял служебные обязанности, что способствовало успешному выполнению задания по перевозке народнохозяйственных грузов. В тяжелых ледовых условиях экипаж обеспечил безаварийное плавание по трассе Севморпути. На основании вышеизложенного приказываю...» и т. д.

Так вот, первым в списке стоял я, последней тетя Аня, а вторым был... Арнольд Тимофеевич Федоров! Сиречь: не руби сук, на котором сидишь.

Дмитрия же Александровича в благодарственном списке не оказалось. Это Фомич припомнил ему Александрию и Певек — строптивость, отказ выбить из певекского начальства идиотическую справку и нехватку двухсот двадцати банок рыбных консервов.

На судьбе Саныча зловещая акция Фомы Фомича не отразилась. Ибо уже в Мурманске выяснилось, что Ушастик прав: после постановки на попа в автомобильной аварии и множества других сотрясений черепа наш капитан нервно заболел.

В Ленинграде Фомич угодил в лечебное заведение.

Таким образом, он в какой-то минимальной степени, но повторил судьбу капитана Ахава из «Моби Дика». Хотя нельзя сказать, что Фомич гонялся по арктическим морям с целью убить Белого кита, символизирующего все

Зло мира. Я же в свою очередь невольно повторил судьбу другого персонажа «Моби Дика» — Измаила. И такое стечение обстоятельств позволило мне сказать замначальнику пароходства по мореплаванию, что он не совсем прав, утверждая, будто «уйти в море может и дурак, а вот вернуться из моря может только умный». В век НТР эта истина стала относительной. Потому-то я не решился выставить столь эффектный, вообще-то, афоризм в виде эпиграфа к данному произведению.

— Интересно, — задумчиво спросил меня Шейх, — хорошо то, что люди с сотрясенными черепами при помощи НТР способны безаварийно водить корабли или нет? Хорошо это для будущего человечества и всей нашей цивилизации или как раз наоборот?

Ответить я затруднился. . .

С Разиным судьба больше не сводила. Был только один телефонный контакт. Спиро Хетович позвонил мне домой в неслужебное время и заявил, что я пережег электрический чайник, который он выдал мне на Диксоне, и это просто пошло с моей стороны, потому что надо с киндеров знать, как производится эксплуатация электронных нагревательных приборов в век Космоса.

В ответ я утверждал, что чайник не пережигал и что старпом сам виноват: должен был, согласно всем инструкциям, при приемке чайника проверить не только его внешний вид, но и опробовать аппаратуру чайника под током в действии, стоя при этом на резиновом коврике. И только после этого принять у меня чайник. А он все эти законы и установления нарушил, и потому сам будет возмещать государству материальные убытки. Тут он мои вульгарные объяснения прервал, бросив трубку.

Увы, ныне Арнольда Тимофеевича на свете нет.

Узнал я об этом, случайно встретив возле Владимирского собора Анну Саввишну. Она шла ставить в помин души вечного старпома свечку. И я сопровождал ее. Ведь все мы люди добрые. И когда умирает какой-нибудь и не очень-то симпатичный моряк, один соплаватель обязательно вспомнит случай, когда умерший сам стал на руль, а рулевого послал на бак подменить впередсмотрящего, чтобы тот немного отогрелся; другой подумает-подумает да и вспомнит какую-нибудь добродушно-смешную историю про усопшего и т. д. Здесь срабатывает,

вероятно, даже не только обычная врожденная человеческая доброта. Кажется, Островский заметил, что исправлять человека или народ, пытаться их улучшить можно только в таком варианте, если будешь показывать и то, что знаешь за ним хорошего, а не одно плохое. Конечно, на это можно ответить, что исправлять или улучшать народ наш нет резона, а исправлять или улучшать спиро хетовичей — дело безнадежное. И что стопроцентная ненависть к нравственной темноте, нечистоплотности и трусости запрограммированы в нормальных людях самой природой. Природа такую программу в нормальных людей заложила потому, что нравственная тупость и трусливость угрожают поступательному развитию сознательной материи, то есть самой эволюции человечества. И потому надо спиро хетовичей рубить, рвать в клочья и вешать в детстве. Но природа заложила в нормальных людей еще и бессознательную тончайшую хитрость: бороться со злом добром.

В результате всего этого дьявольского коварства природы я отправился вместе с Анной Саввишной во Владимирский собор и даже пожертвовал целковый на свечку. Возможно, тут и еще один факт свою роль сыграл. Оказывается, умер Арнольд Тимофеевич в очередном арктическом рейсе в Тикси и похоронили его на том то-скливом кладбище, где землю никак нельзя назвать пухом.

Анна Саввишна у иконы Николая Морского тихо, почти даже беззвучно прошептала какую-то молитву. Она ее так тихо шептала, как будто шерстяной носок штопала.

Из всего бормотанья разобрал я только три последних слова: «Спи покойно, Кутя...» И вдруг впервые подумалось мне, что Тимофеич был в жизни глубоко несчастным человеком. Молодым он, верно, был романтиком военизированной власти и дисциплины в виде красивой показухи. И вот ничего такого у него не получилось, не осуществилось. И стал он обыкновенным неудачником. Правда, человеческая глубина Арнольда Тимофеевича равна была глубине его неудачливости, то есть представляла из себя отрицательную величину. Но ведь подобная злая неудачливость в некотором роде болезнь. Неприятная для самого себя, для окружающих и тем более для подчиненных, но болезнь.

После языческого обряда установки свечек мы с тетей Аней посидели четверть часика на скамейке в саду у собора. Холодно было — середина октября.

Тетя Аня рассказала о последних днях и часах Арнольда Тимофеевича.

Они были счастливыми.

Скончался отставной капитан-лейтенант скоропостижно в санитарный день, когда на судне всё моют и стирают. Анна Саввишна застелила ему чистое белье и приготовила чай с вареньем, а старпом пошел в душевую. И не вышел из нее. Так и умер под душем. Анна Саввишна сказала, что в гробу он вроде как улыбался.

Тело Тимофеича родственники не затребовали, на похороны в Тикси никто не прилетел.

Не знаю, кто был тогда капитаном «Державино», но ему, бедняге, досталось. Ибо «Инструкция по организации похорон моряка» занимает четыре страницы убористого шрифта и состоит из шести параграфов и полусотни пунктов и подпунктов. Для примера приведу страничку, не неся ответственности за чересполосицу сослагательных и повелительных наклонений:

«Если труп на судне, вызывается скорая помощь и милиция, которые составляют акт о смерти.

Позвонить в морг, чтобы приехали за трупом.

Приказом по судну назначается комиссия, которая, проверяя каюту, составляет акт с описью личных вещей покойного. Акт составляется в 4-х экземплярах, один из которых вместе с вещами передается родственникам. Труп доставляется по договоренности (морг, место гражданской панихиды и т. п.). Справку о смерти получают в часы, назначенные в морге. Далее со справкой о смерти, военным билетом, паспортом обращаются в районный загс. Загс выдает «Свидетельство о смерти».

Со «Свидетельством о смерти» происходят следующие оформления: 1) Выделение места на кладбище. 2) Выписываются счета и производится оплата: а) захоронение, б) транспорт, в) колонка, г) надпись на колонке, д) раковина, е) венки и лента на венок, ж) покупается покрывало, з) гроб, и) оплачивается доставка гроба в морг, к) берутся на прокат орденские подушки. . .»

И т. д. и т. п. — еще три страницы убористого шрифта.

Так что и родственников можно понять, и капитану посочувствовать от души. Тем более что, скорее всего, в Тикси взять на прокат «орденские подушки» для медалей бывшего капитан-лейтенанта, вероятно, было затруднительно, ибо полярники в силу первоначально-первобытной дикости своей профессии пышных похоронных церемоний терпеть не могут.

На кладбище, что между аэродромом и поселком, проводила Арнольда Тимофеевича тетя Аня. Там — недалеко от огромного бутафорского якоря с надписью «Т И К С И» — и стал на свой мертвый якорь наш вечный старпом.

Рассказывая эту печальную историю, Анна Саввишна еще несколько раз назвала его Кутей. Она и не скрывала, что они заключили как бы неофициальный союз: доживать жизнь вместе. Таким образом, на его закат печальный мелькнуло нечто вроде любви улыбкою прощальной. Каким макаром все произошло, история умалчивает, но и кому до этого дело? . .

В собор тетя Аня пришла помянуть Кутю после того, как уже с того света Арнольд Тимофеевич напомнил ей о себе. Оказывается, он составил завещание, которое обнаружили только намедни. И весь сберегательный вклад (сумму Анна Саввишна не назвала) завещал ей, а не законной вдове.

4

О Фоме Фомиче.

Поехал я к нему на дачу, когда драйвер находился после больниц, санатория и отпусков в ожидании решения вопроса: пустят его еще плавать или, значить, не пустят. В последнем случае дослуживать до пенсионера ему приходилось бы на берегу на малооплачиваемой должности, то есть и пенсион выходил маленький — ведь травмы свои Фомич получил не при исполнении служебных обязанностей, не на производстве, не в Кильском канале, а сугубо в личной жизни.

Застал я Фомича в обществе Ивана Андрияновича.

Галина Петровна с Катенькой уже перебрались в город с дачи, а Фоме Фомичу нужен был свежий воздух. Физический труд на участке тоже ему был полезен. И Фомич, не падая, как и в раннем детстве, духом, предприни-

мал серьезные усилия, чтобы закопать все-таки свои ма-стодонтские трубы вокруг бунгало вертикально, укрепив одновременно пошатнувшееся здоровье.

Принимать рюмку Фомичу было запрещено категорически.

И потому рюмку под замечательные грибки, отварную картошку, соленьикие огурчики и маринованную корюшку принимали только мы с Андриянычем, а Фома Фомич принимал воду с экстрактом шиповника.

Рюмка в чужих руках и устах таинственным образом действует и на присутствующего в непосредственной близости наблюдателя. И Фомич не оказался исключением, возбудился, пошел-поехал делать психологические зарисовки всех старых и новых членов экипажа «Державино».

Начал он, конечно, с нового капитана, который только и делает, что бумажки из ящика в ящик в столе перекладывает, а закончил — со свойственной ему неожиданностью — выпадом в адрес присутствующего за дружеским столом Ивана Андрияновича.

— Всю жизнь ты отплавал, а, значить, культуры в тебе — ни на шестипенсовик! «Нюанс» да «нюанс»! Нюанс-то обозначает маленькую величину, а ты: «Весь груз марганцевой руды перевалился на правый борт, крен стал пятьдесят градусов, и после этого нюанса парход уже и потонул...» Это чудо, значить, что мы на «Державино» с тобой-то в машине ни разу не потонули!

Иван Андриянович после такого нетактичного и вульгарного выпада сперва пошевелил ушами, прищурил маленькие, цепкие глазки и с едким раздражением сказал Фомичу, что тому совсем мозги отшибло, если он не понимает, что «нюанс» в неправильном употреблении — смешно, а без смеха на море только крысы плавают.

И угодил я между Сциллой и Харибдой. И предпринял несколько отчаянных маневров курсом и скоростью, чтобы попасть в точку, где они должны окончательно сшибиться, и сыграть в этой точке роль обыкновенного кранца, то есть смягчить удар. Попробуйте засунуть самого себя между стремительно сходящимися гранитным надолбом и доисторическим до ядовитости наконечником копья! 1) Опасно. 2) Бессмысленно. Даже такой за-

мечательный кранец, как автопокрышка КРАЗа, не может смягчить удар. Наоборот, покрышка окажется у тебя на шее, как у белого медведя в проливе Вилькицкого.

Этим для меня маневрирование и закончилось. Но сперва оба соседа по дачному поселку обменялись серией следующих обвинений.

Фомич (стиснув от эмоционального возбуждения кисти рук между коленок):

— Ты помполита замещал, а женщин распустил! Сколько раз, значить, я тебя просил за бабским персоналом в низах наблюдать? Тимофеич покойный с Анькой спутался, а где от тебя информация поступала?.. Потому как у самого рыльце в пухе, значить, и перьях — я с твоим досье давно ознакомлен! .

То есть изучал личное дело стармеха в кадрах. На это капитан имеет право. Иногда нужно хоть из бумажек что-то успеть узнать о людях, с которыми идти в море, жизнь и смерть которых ложится на твои плечи и командовать которыми, возможно, придется в самых неожиданных ситуациях. Но встречаются и такие капитаны, которые принципиально никогда не пользуются правом на знакомство с официальными подноготными будущих подчиненных и целиком полагаются только на свое личное изучение их уже на судне, на свою интуицию.

Андряныч (уже взявший себя в руки и со спокойствием Сократа, попивающего цикуту, посасывающий водочку, стоянную на березовых почках Галиной Петровой):

— А я с вашим досье тоже ознакомлен. И как вы в Киле купались, и другие нюансы отлично помню. . . У вас опыт по буфетчицам с сорок восьмого года есть. Вы этими пошлыми в низах делами сами и занимайтесь. . . Вот и Викторыч подтвердит, что вообще дамы на судах весело и хорошо работают, если за ними плотно ухаживают. А вот на коротком плече (на коротких рейсах, когда моряки часто бывают дома у жен и подруг) дамы истеричничают и меняют пароходы, как английские лорды перчатки, потому как никто уже из мужского плавсостава ими не интересуется! Отсюда и вся текучесть кадров обслуживающего персонала. . .

В этот момент меня озарило, что «спутывание» Анны Саввишны с Арнольдом Тимофеевичем произошло не без

намеренного сводничества Ушастика, и что делал это Ушастик для добра, и что Тимофеич ему обязан коротким светлым лучом перед закатом, перед кладбищем в Тикси. И что Ушастик, конечно, профессиональный сплетник и в чужом грязном белье копатья обожает, но умеет и молчать рыбой, совершая какие-то ему только ведомые влияния на судьбы окружающих людей. . .

— Давайте, друзья-товарищи, выпьем за Степана Тимофеевича, — решил наконец вклиниться я между Сциллой и Харибдой. — Хватит лаяться. Мы у вас, Фома Фомич, в гостях сидим, а вы дурацкое прошлое начали на свет божий тащить. И себе капельку водочки налейте. . .

Вот тут-то я и получил автопокрышку от КРАЗа себе на шею.

— Ишь, как распился наш Викторыч! — заметил Фома Фомич, тщательно обдумав мое предложение. — А я, значить, между прочим, и с вашим досье ознакомился. Я про все ваши керченские подвиги информирован теперя. И почему вы в рейсе сухой закон держали, мне понятно: чтобы, значить, тверезым за нами наблюдение вести. Так вот еще раз по-товарищески тебе скажу. Душить алкоголизм лучше всего триппером! — как всегда неожиданно закончил он надевание на мою шею автопокрышки.

Но за этой неожиданной концовкой, ой, какой глубокий смысл был и намек: попробуй, мол, наше грязное белье на свет божий тряхануть, я те через твое личное дело такую кузькину мать покажу!

Я не обиделся. Медики объяснили, что после сотрясения мозга Фомы Фомича у драйвера стали неприметно гипертрофироваться наиболее отрицательные черты и черточки характера и психики. И что в таком факте нет ничего странного или особенного. Может случиться после сотрясения черепа так, а может и наоборот: сотрясенный человек превращается просто в стопроцентного ангела — опять же за счет гипертрофикации всех хороших и добрых черт и черточек характера.

Мы капнули на хлеб по капельке водки и выпили за Тимофеича как положено, не чокаясь и в молчании.

Молчание первым нарушил Фомич.

— Вообще-то, значить, никому из живых не идет коричневое, — сказал он со вздохом и потрогал затылок. Под «коричневым» Фомич имел в виду гроб.

— Кроме эсэсовцев, — тоже со вздохом сказал Иван Андриянович. И опять я не могу поручиться, что в этом точном и объективном замечании вовсе уж не было яда. — А гидрограф Бобринский тоже помер, — продолжал дед. — Говорят, перед кондратом письмо написал начальству в Москву. Мне, мол, всю жизнь пришлось в Арктике Колыму открывать в силу графского происхождения. Я, мол, имел большие планы для гидрографического изучения Берега Слоновых Костей, но визу не открывали. А на тот свет визу открывают без волокиты бюрократической и всяких других хлопот через нюанс рака печени. А дальше написал, что просит выделить ему ноль один — это он цифрами написал, и в скобках еще добавил прописью «один» — адмиралтейский якорь... Такой буквоед был.

— А зачем ему якорь, ежели он уже концы отдавал? — заинтересовался Фома Фомич.

— На могилу. Чтобы знали, что там морской человек лежит, — объяснил Ушастик.

— И выписали ему якорь? — спросил Фомич.

— Выписали. И даже не на Северном там или Южном кладбище похоронили, куда нашего брата завалят за черту видимого горизонта, а на Красненьком. Оказывается, в свое время больших дел граф в Арктике надедал.

— Вот те и гутен-морген, — с неопределенной интонацией сказал Фомич. — Но, все одно, настоящий адмиралтейский якорь ему не выписали, это уж, прошу прощенья, и ни в жизнь не поверю. Верп шлюпочный еще могли выписать, а чтобы настоящий якорь...

— Что слышал, то и говорю, Фома Фомич.

Мне, конечно, вспомнилось, как арестованные простым арестом матросики строили трамвайную линию мимо кудрявого и зеленого Красненького кладбища. И представилось, как теперь мимо могилы шалуна-гидрографа живо и весело гремят трамваи, мчась к замечательным паркам и тихому взморью Стрельны...

— Вот, значить, я за спирохету здоровье алкоголем подрываю, — сказал Фома Фомич, вытаскивая из пижамных брюк здоровенный, как парус на фрегате, носовой платок. — По твоей опять же, Викторыч, подначке. На Диксоне за вояк банкет, значить, наподначивал. Ныне под Тимофеича. А он доносы-то на меня написал! Я уже

в больнице раком от болезненных ощущений в области головы стоял, а он — доносы. Левой рукой писал: по всем, значить, правилам детективов.

— Правда? — спросил я Ивана Андрияновича, который в этот момент тоже вытаскивал из форменных брюк носовой платок, но не такой большой, как у Фомича, и с кружевной оборочкой по периметру.

— Факт, — подтвердил Андрияныч.

— И левой рукой — факт?

— После такого нетактичного случая, как на Енисее, он бы и правой ногой написал, — подтвердил Андрияныч.

И я невольно вспомнил, что сочинитель прошлого века И. П. Белкин раскопал в летописи сведения о земском Терентии, жившем около 1767 года и умевшем писать не только правой, но и левою рукою; сей необыкновенный человек прославился в околотке сочинением всякого роду писем, челобитьев, партикулярных пашпортов и т. д. Неоднократно пострадав за свое искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшествиях, он умер в глубокой старости, в то самое время как приучался писать правою ногою, ибо почерка обеих рук его были уже слишком известны... Да, не переводятся на Руси самородки самых различных талантов и характеров.

Фома Фомич за время моих размышлений по всем правилам подготовил к употреблению носовой платок, то есть расправил его, посмотрел сквозь него на свет божий, убедился в полной пригодности паруса к постановке и тогда тихо всхлипнул.

— Эх, Стенька, ты мой Стенька, значить, сколько лет мы с тобой откачались? — пробормотал Фомич. — Как, значить, краб-отшельник с актинией... И ныне все грехи тебе и доносы, значить, отпускаю, чтобы душа чисто жила. Как старики учили, так и теперь, значить. Давай, Викторыч, наливай! Черт с ним, с организмом! До конца лей!

Иван Андриянович тоже всхлипнул.

Фома Фомич уронил в рюмку большую и чистую слезу.

И мы еще раз выпили за Арнольда Тимофеича.

После чего и Фома Фомич и Иван Андриянович употребили в дело носовые платки. А я, понимаете ли, по-

думал, неопределенно подумал, расплывчато, что в слезе Фомича проблескивает вся моя надежда; на ней, этой слезинке, быть может, эквилибрирует, понимаете ли, весь мой оптимизм при взгляде на будущее как России, так и человечества.

Ну, вроде всех упомянул, со всеми попрощался? Нет, чуть Шерифа не забыл. Не прижился пес в городской цивилизации. Еще ни одного случая не знаю, когда бы настоящая северная, азиатская лайка оказалась совместимой с Европой.

Сперва Саньч эвакуировал пса из Ленинграда в деревню к родственникам на Вологодчину. Там и мороз был, и снега, и приволье, и забота Шерифу — все было, а... ностальгия. И пришлось Дмитрию Александровичу много хлопот принять, чтобы отправить пса обратно на родину — в Тикси — туда, где землю никак не назовешь пухом.

5

Странное чувство испытываешь, заканчивая книгу. Оно схоже с чувством окончания рейса. Не очень-то удачного рейса.

...Но вот
Неполный, слабый перевод,
С живой картины список бледный...

Кто когда-нибудь пробовал рисовать акварелью с натуры зимний пейзаж в сильный мороз, тот поймет мои ощущения. Мокрая акварель на морозе мгновенно застывает. Краски на бумаге с чудесной силой передают красоту мира и восторги твоей души от красоты мира и своей удачи. Свет солнца пронизывает ледяную красочную пленку, где зафиксировались в самых нерукотворных и замечательных сочетаниях твои мечты; белизна бумаги отражает солнечные лучи сквозь кристаллы остановившейся в ледяном покое воды — и получается остановившееся мгновение. И остановил его — ты!

Ну, а теперь, полюбовавшись своим созданием, можешь со спокойной совестью выкидывать его на помойку, ибо, если принесешь рисунок домой, то лед растает, краски превратятся в бурду, а бумага раскиснет.

Утешаюсь тем, что когда рисовал акварелью на морозе, то хотел передать правду и только правду. И в конце концов, то, каким ты себя и мир придумал, тоже имеет право на существование: ведь это плод именно твоего опыта, восторга, воображения и неизбежной печали о прошлом.

СОДЕРЖАНИЕ

Четыре страницы от автора	5
-------------------------------------	---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

По старой дорожке	11
Мурманск	31
Начало выяснения отношений	45
Фома Фомич в институте красоты	63
День ВМФ на Диксоне	85
Доброхоты жизневерия	93
Диксон — мыс Челюскина	119
О судовых пожарах и как Фома Фомич играет в шахматы	135
Необыкновенная Арктика	152
Повседневность и некоторые исключения из нее	172
Тикси	183
Тикси — Певек	202
Единство и борьба противоположностей в Фоме Фомиче Фомичеве	212
Улыбка Колымы	227

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В порту назначения	243
Шаловливый гидрограф и южак в Певеке	254
Поплыли из Певека в Игарку	275
Встреча в Вилькицком	291
Енисей, или «Сусанна и старцы»	298
Игарка	311
Вытрезвитель мифов	322
Шуточки Фомы Фомича и поворот под попутную волну	358
«О голубка моя...»	388
Занавес	405

Виктор Викторович
Конецкий

ВЧЕРАШНИЕ ЗАБОТЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель»
1979. 424 стр. План выпуска 1979 г.
№ 36

Редактор *Ф. Г. Кацас*
Художник *Л. Д. Авидон*
Худож. редактор *М. Е. Новиков*
Техн. редактор *М. А. Ульянова*
Корректоры *Ф. Н. Аврунина*
и *И. Г. Клейнер*
ИБ № 1727.

Сдано в набор 13.03.79. Подписано
к печати 10.07.79. М 07136. Бумага
тип. № 1. Формат 84×108¹/₃₂. Литературная
гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 22.26. Уч.-изд.
л. 22.13. Тираж 30 000 экз. Заказ
№ 353. Цена 1 р. 70 к.

Издательство «Советский писатель»,
Ленинградское отделение. 191186,
Ленинград, Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 5
Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.